

Н. Страховъ.

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

ОБЪ

И. С. ТУРГЕНЕВЪ и Л. Н. ТОЛСТОМЪ

(1862—1885)

Издание третье

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-литографія С. М. Николаева, Вас. Остр., 3 л., 40.
1895.

Н. СТРАХОВ

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
О
И.С. ТУРГЕНЕВЕ И Л.Н. ТОЛСТОМ
(1862-1885)

Ижевск
2011

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2=Р_{ус})5
С 836

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. Тургенев и Толстой в критических очерках Н.Н.Страхова	7-18
Предисловие Н.Страхова к третьему изданию	I-III
Предисловие ко второму изданию.	III-XI
Предисловие к первому изданию	XI-XIX

И.С. Тургенев 1–189

I. <i>Отцы и дети</i>	1–49
II. <i>Дым</i>	50–86
III. Два письма Н. Косицы	87–123
За Тургенева	87–100
Еще за Тургенева.	101–123
IV. Последние произведения Тургенева (1871)	124–166
V. Поминки по Тургеневу	167–182

Л.Н.Толстой 183–484

I. Собрание сочинений (1864).	183–224
II. <i>Война и мир</i> , т. I, II, III и IV. Статья первая	225–274
III. <i>Война и мир</i> , т. I, II, III и IV. Статья вторая	275–337
IV. Литературная новость (появление V-го тома)	338–339
V. <i>Война и мир</i> , т. I, II, III и IV. Статья первая	340–389
VI. Несколько слов к предыдущим статьям	390–392
VII. Обучение народа (<i>О народном образовании</i>)	393–414
VIII. <i>Чем люди живы</i>	415–418
IX. Взгляд на текущую литературу (<i>Об Анне Карениной</i>)	419–457
X. Французская статья о гр. Л.Н.Толстом	458–484

С 836 Страхов Н.Н.

Критические статьи о И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом. —
Ижевск, 2011. — 524 с.

Репринтное издание «Критических статей об И.С.Тургеневе и Л.Н.Толстом» (1895) Н.Н. Страхова способствует возвращению в современную филологическую науку одного из оригинальных отечественных критиков XIX века, наследие которого в советский период было почти полностью изъято по идеологическим причинам. Издание рассчитано на самый широкий круг читателей, интересующихся отечественной словесностью, историей и культурой России.

© Г.В. Мосалева, вступ. статья, 2011
© ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2011

ТУРГЕНЕВ И ТОЛСТОЙ В КРИТИЧЕСКИХ ОЧЕРКАХ Н.Н. СТРАХОВА

Имя Н.Н. Страхова (1828–1896) — одно из самых выдающихся имен среди невероятного многоцветия и разнообразия Золотого века русской критики. Наряду с А.А. Григорьевым, К.Н. Леонтьевым, М.М. и Ф.М. Достоевскими, Ю.Н. Говорухой-Отроком¹, Н.Н. Страхов является одним из ярких выразителей «почвеннических» идей в отечественной культуре. Он словно проникается озабоченностью А.С. Хомякова о возможности создания русской художественной школы² в литературе, о развитии словесного искусства на духовных основаниях ее более чем тысячелетнего существования, о ее освобождении от всего заимствованного, второсортного, «побочного и неважного», для русской литературы разрушительного.

С самого начала своей деятельности он выступает противником западных теорий, являясь последовательным критиком нигилизма и материализма, партии «прогресса», «передовой критики» — выразителей революционно-демократической идеологии. Неудивительно, что на долгие десятилетия его критическое творчество было «изъято» из научного оборота советским литературоведением и искажено в угоду идеологической конъюнктуре.

Возвращение его критического наследия в полном объеме — одна из насущных задач современного литературоведения. Напомним наиболее важные вехи его творческой биографии³.

Николай Николаевич Страхов родился 16 (28) ноября 1828 года в Белгороде в семье протоиерея, профессора Белгородской семинарии. Н.Н. Страхов лишился отца в раннем детстве, и мать увезла сына к своему брату, который был вначале ректором семинарии в Каменец-Подольске, а затем в Костроме, где с 1840 по 1844 годы и учился Н.Н. Страхов. С начала 1845 года Страхов является вольнослушателем камерального (юридического) факультета Петербургского университета, а с конца лета того же года становится студентом математического отделения.

В начале 1848 года Страхов переходит в Главный педагогический институт на «казенный кошт» и заканчивает его в 1851 году. Свое стремление к естествознанию Страхов объясняет необходимостью вести полемику со своими оппонентами — материалистами и нигилистами.

После окончания института Страхов в течение восьми лет вынужден был служить: в 1851 году он служит учителем физики и математики в одесской гимназии, а в 1852 году — учителем естественной истории в петербургской. В эти годы Страхов продолжает заниматься естественными науками и даже защищает магистерскую диссертацию по зоологии («О костях запястья млекопитающих»).

С конца 1850-х годов Страхов ведет в «Журнале министерства народного просвещения» отдел «Новости естественных наук». Он интересуется естественнонаучной литературой, рецензируя ее новинки, переводит книги по естествознанию (среди переводимых Страховым авторов А.Э. Брем, К. Вернар).

В 1859 году в нескольких номерах «Русского мира» публикуются «Физиологические письма» Н.Н. Страхова, которые в 1872 году вошли в книгу «Мир как целое. Черты из науки и природы». Основные философские работы Страхова: «Об основных понятиях психологии и физиологии», С.-Пб., 1886; «О вечных истинах (мой спор о спиритизме)», С.-Пб., 1887; «Философские очерки», С.-Пб., 1895.

В 1859 году начинается дружба Н.Н. Страхова с А.А. Григорьевым, с интересом отнесшимся к «Физиологическим письмам» Н.Н. Страхова. А.А. Григорьев побуждает Страхова к занятиям литературной критикой. Для Страхова же А.А. Григорьев является неизменным образцом, он называет его лучшим русским критиком, развивая в своем литературно-критическом творчестве принципы «органической критики» А.А. Григорьева.

В этом же году состоялось и знакомство Н.Н. Страхова с Ф.М. Достоевским. Страхову принадлежит один из лучших разборов «Преступления и наказания» Достоевского, опубликованный им в 1867 году в 3—4 номерах «Отечественных записок». Страхов оставил и «Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском». В журналах М.М. и Ф.М. Достоевских «Время» и «Эпоха», являющихся выразителями почвеннической идеологии, Н.Н. Страхов становится ведущим критиком. Именно в журнале «Время» публикуются его литературно-критические статьи о сочинениях Писемского, романах Тургенева и пьесах А.Н. Островского: «Несколько слов о Писемском по поводу его сочинений» («Время», №7. 1861); «Новое художественное произведение и наша критика» («Время», №3. 1863).

Свои статьи Страхов подписывает, как правило, псевдонимом «Н. Косица», указывая тем самым на связь своего псевдонима с литературной маской Феофилакta Косичкина А.С. Пушкина.

Предметом принципиальной критики Н. Страхова был «нигилизм», являющийся идеологией журналов «Современник» и «Русское Слово». «Нигилизм», как определял его Страхов, был формой «крайнего западничества», оторванного от коренных основ русской жизни. Критике «нигилизма» посвящены книги Н.Н. Страхова «Из истории литературного нигилизма: 1861—1866» (Пб., 1890), «Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки» (С.-Петербург, 1882—1896). В последнюю входили главы, посвященные критическому разбору произведений А.И. Герцена.

Статьи о Тургеневе Страхов публикует с 1867 года в журналах «Отечественные записки», «Заря», «Русь», позже он помещает «тургеневский цикл» вместе с «толстовским циклом» в одну книгу «Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом», вышедшую в С.-Петербурге в 1885, 1887, 1895 годах.

В 1868 году Страхов знакомится с Н.Я. Данилевским, оказавшим огромное влияние на развитие почвеннических идей в России публикацией своего труда «Россия и Европа», вышедшего отдельной книгой в 1871 году.

От системы взглядов Н.Я. Данилевского о существовании четырех различных культурно-исторических типов в мировой истории будет позднее отталкиваться и К.Н. Леонтьев в своей знаменитой работе «Византизм и славянство».

Статьи Страхова о «Войне и мире» Л.Н. Толстого появляются в журналах «Отечественные записки», «Заря» в 1869—1870 годах, прежде чем выйти отдельной книгой «Критический разбор «Войны и мира» в 1871 году. Страхов называет свою работу о Толстом «критической поэмой в четырех песнях»⁴.

С августа 1871 года Страхов начинает часто бывать в Ясной Поляне, помогает Толстому в чтении корректур.

С августа 1873 по 1885-й годы Страхов становится библиотекарем юридического отдела Императорской публичной библиотеки. Страхов является почетным членом различных обществ и комитетов: Ученого комитета Министерства народного просвещения, Психологического общества, Славянского общества, Страхов был и членом-корреспондентом Академии наук.

Вместе с Толстым он посетил Оптину Пустынь в июле 1877 года, а в 1881 году побывал на Афоне. Свое путешествие на Афон Страхов описал в книге «Воспоминания и отрывки» (1892).

Высшим достижением в русской литературе Н.Н. Страхов считал творчество А.С. Пушкина, работы о котором вошли в его книгу «Заметки о Пушкине и других поэтах» (СПб.,

1888). В предисловии к третьему изданию «Критических статей об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом», датированному «25 февраля 1895 года», Н.Н. Страхов писал: «Позволительно не читать всех изданных авторов; но не будет никогда сведущим в русской литературе тот, кто не читал прилежно Пушкина, кто не вчитался в него, не дошел до некоторого понимания его силы и прелести⁷. Пушкин для Страхова — это мера и образец «главного и существенного» в деле различения от «побочного и неважного» для русской культуры.

Репринтное издание знаменитой книги статей Н.Н. Страхова о Тургеневе и Толстом представляет собой стремление восстановить весомый голос Н.Н. Страхова в истории русской литературной критики. Эта книга издавалась после смерти критика, вплоть до 1908 года. Предпринимаемое нами третье издание этой книги было осуществлено в 1895 году в С.-Петербурге и являлось последним прижизненным изданием Н.Н. Страхова. Его предваряют «три предисловия»: к «третьему» (1895), «второму» (1887) и «первому» (1885) изданиям, проявляющих эволюцию взглядов критика в отношении Тургенева и Толстого. В «предисловии» к третьему изданию Страхов отдает явное предпочтение Толстому как продолжателю Пушкина, выразившему в своем творчестве «главное и существенное» русской народной жизни.

Композиция книги Страхова изначально была призвана символизировать антитетичность Тургенева и Толстого: на одном полюсе — «западничество» Тургенева, на другом — «русская самобытность» Толстого. Статьи Страхова о Тургеневе свидетельствуют об изменении его отношения к писателю: от приятия к отталкиванию по мере возрастания интереса к Толстому. До конца жизни Толстой для Страхова непререкаемый авторитет, запечатлевший в слове коренные основы русской жизни и сам ее дух, сформированный Православием.

«Тургеневский цикл» статей Страхова состоит из пяти глав. Одной из лучших статей этого цикла является открывающая его статья, посвященная разбору знаменитого ро-

мана Тургенева 1860 года — «Отцам и детям». Именно в этой статье наиболее отчетливо проявляется особая тактика Страхова-критика: статья на точку зрения оппонента, «вчувствоваться» в «чужую» аргументацию, чтобы увидеть «изнутри» ее изъяны. Оттого-то Страхова и называют объективным критиком, рассматривающим предмет изучения с разных сторон. Страхов-критик словно оказывается «над борьбой», он никогда не начинает с отрицания и противопоставления, как это особенно свойственно представителям так называемой революционно-демократической критики.

Разговор об «Отцах и детях» Страхов начинает с внимательного рассмотрения разных точек зрения внутри одной партии критиков, объединившихся вокруг двух журналов «Русское Слово» и «Современник» — выразителей «базаровского» («оторванного от жизни») мировоззрения. Внимательно разбирая статьи Писарева и Антоновича, Страхов говорит об их неприятии романа Тургенева и его главного героя, хотя они, по точному замечанию Страхова, должны были бы приветствовать и автора, и Базарова, выражающего их взгляды. В итоге Страхов берет на себя роль адвоката и Тургенева, и его героя. Страхов отмечает у Тургенева «подвижность, чуткость, любовь к современной жизни» (6—7), верность своему «художническому дару». По мысли Страхова, эта «верность художническому дару» позволяла Тургеневу выражать в своих произведениях правду жизни, не согласующуюся с идеями самого Тургенева. Страхов измеряет произведение искусства, его создателя и героев «областью вечного» (9). Отдав дань Базарову как наиболее значительному лицу романа, назвав все его положительные свойства, Страхов и его измеряет «областью вечного», «жизнью», которая есть «лицо», «стоящее выше всех лиц» и даже Базарова (43). К образу Базарова Страхов возвращается и в других главах «тургеневского цикла». Он относит его к категории «лишних и больных духом людей» (138).

Глава, посвященная роману «Дым», вызвавшего в критике не меньшую полемику, чем «Отцы и дети», строится в соот-

ветствии с той же тактикой Страхова-критика: внимательного рассмотрения всех аргументов противников романа Тургенева. Основной смысл романа Тургенева, по Страхову, заключается в противопоставлении «западной цивилизации» и «черноземной силы». Название романа метафорично. «Дым» — метафора западной жизни: «Не дым все русское» (86). Эту метафору Страхов использует в главе «Последние произведения Тургенева»: «Вся сфера нашего прогресса, все, что у нас рождается и растет под влиянием Европы, все это шелуха и дым» (137). В этой главе Страхов защищает «последние произведения» Тургенева («Призраки», «Довольно», «Собака», «Степной король Лир»...) от обвинений критиков в их слабости. Значение Тургенева как создателя этих произведений Страхов видит в том, что «помимо своей воли» Тургенев «развенчивает» своих героев.

В двух главах «За Тургенева» и «Еще за Тургенева», оформленных в жанре «писем» критика Н. Косицы в редакцию «Зари», Страхов обращает внимание на «постоянную тему» Тургенева: «передовой человек, носитель дум поколения» и вывод, вытекающий из нее: «несостоятельность передового человека»: Веретьева, Рудина, Инсарова, Базарова (95). Страхов называет Тургенева «одним из людей, наиболее болеющих своим веком», «увлеченных идеею прогресса» (98). Но при всем интересе и любви к передовому человеку, Тургенев, по мысли Страхова, «останавливается на том, что попроще», на «непосредственном»: «он любит на какого-нибудь Касьяна с Красивой Мечи» (96).

Силу Тургенева Страхов видит в чуткости к «красотам природы», в «поэтической правде». Именно «поэтическая правда» не позволяла Тургеневу «фальшивить ни в каком случае, ни перед какими явлениями». Страхов защищает Тургенева «против него самого» в связи с признанием Тургенева в «сочувствии Базарову»: «Поэтам не всегда следует верить, когда они принимают сами истолковывать свои творения» (110). Страхов говорит о противоречивости нигилизма Тургенева, определяемого Страховым как «пестрый» и не соглашающийся с его «поэтической деятельностью».

Семь томов новоизданных сочинений Тургенева Страхов образно и не без иронии называет «просторным лазаретом», «правдивой картиной людей, искаленных внутреннею духовною болезнью» (120). «Благотворной силой поэзии», по мысли Страхова, Тургенев «казнил и развенчал» «наше западничество». Заслугу Тургенева Страхов видит в изображении «нашего западничества» «в его истинном свете».

В последней главе «Поминки по Тургеневу» Страхов говорит о Тургеневе как «певце нашего культурного слоя», а о его творчестве как об акварелях. Воспринимая Тургенева как преемника Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Страхов не ставит его художественный дар выше Гончарова, Островского, Достоевского и Писемского. Страхов отмечает пристрастие Тургенева к «героям дня», к «современным героям», к «представителям нашей образованности». Вместе с тем, Страхов говорит о чисто русских симпатиях Тургенева к людям: «Простота, хрустальная ясность души, золотое сердце — вот что добрый и мягкий Тургенев ставит ... выше всяких других достоинств» (174).

Несмотря на «живую память сердца», Тургенев, по мысли Страхова, «не верил во внутреннюю силу России».

«Толстовский цикл» состоит из десяти глав. В первой главе, посвященной разбору сочинений Толстого, изданных в 1864 году, предметом разговора Страхова оказываются ранние произведения Толстого: «Детство», «Маркер», «Люцерн», «Рубка леса». Главным качеством Толстого в этих произведениях, по мысли Страхова, является правдивость, так как правдивость и простота являются «коренной чертой нашей литературы». Герои ранних произведений Толстого «ищут идеальной стороны жизни», поэтому главный центр Толстого, как замечает Страхов, «в томительной думе об истинной жизни и красоте, и о душевном бессилии, не дающим людям доступа к этой жизни и красоте» (197).

Главы II—VI посвящены роману «Война и мир», изданному в Москве в 1868—1869 годах.

Страхов говорит о «Войне и мире» как о великом произведении великого писателя. По мысли Страхова, в «Войне

и мире» все необыкновенно: Толстой «выводит на сцену великие события и лица огромного исторического значения» (235). Критик отмечает «объективность», «образность» «Войны и мира» («он [Толстой] ничего не рассказывает от себя»), «тонкое и верное изображение» автором «душевных движений» героев, стремление автора при изображении героических событий показать их «человеческую основу». Страхов говорит о вере Толстого в жизнь, о его интересе к человеку, что позволяет Толстому подняться на высшую точку зрения — «религиозный взгляд на мир».

Страхов отмечает влияние на «Войну и мир» двух произведений, восходящих к жанру «семейной хроники», — пушкинской «Капитанской дочки» и аксаковской «Семейной хроники». Вместе с тем влияние пушкинской прозы на «Войну и мир», по замечанию Страхова, не ограничивается только «Капитанской дочкой». Страхов пишет об усвоении Толстым пушкинского Белкина как смиренного русского типа. Отдельно Страхов в связи с образом Белкина останавливается на приоритете установления значимости этого образа А. Григорьевым⁶, впервые из русских критиков показавшего его благотворное влияние как на творчество самого Пушкина, так и на русскую литературу вообще. Критику Григорьева Страхов противопоставляет «теории прогресса» Белинского и «критической деятельности» Добролюбова, суть которой «перетолковывание смысла художественных произведений в пользу своей теории» (302).

Создание образа Белкина Страхов определяет как «величайший поэтический подвиг» Пушкина, с которого и начался «русский художественный реализм». В плане наследования Толстым белкинскому типу Страхов определяет «Войну и мир» как «огромную и пеструю эпопею», «апофеозу смиренного русского типа»: «На Бородинском Поле простые русские люди победили все, что только можно представить себе самого героического, самого блестящего, страстного, сильного, хищного, то есть Наполеона и его армию» (321).

Страхов называет «Войну и мир» «самым непонятным из всех произведений русской литературы», «полной картиной

человеческой жизни», а Толстого — «поэтом в старинном и наилучшем смысле этого слова». Смысл «Войны и мира», как определяет его Страхов, в том, что «простота, добро и правда победили в 1812 году силу, не соблюдавшую простоты, исполненную зла и фальши» (353). По мысли Страхова, в «Войне и мире» Толстой дал «новую формулу героической жизни» — «чисто-русское героическое во всевозможных сферах жизни»: «превосходство смиренного героизма над героизмом деятельным» (359).

Страхов защищает Толстого от критики Тургенева, отказывая последнему в «самостоятельности и независимости».

Главы VII—VIII посвящены проблемам педагогики Л.Н. Толстого и творчества для народа. Предметом разговора в VIII главе становится «народный рассказ» «Чем люди живы».

Глава IX «Взгляд на текущую литературу», ранее опубликованная Страховым в форме статьи в газете «Русь» в 1883 году, состоит из восьми частей и имеет характер монографического исследования. Собственно, Л.Н. Толстому посвящена седьмая часть. В ней Страхов обращается к разговору об «Анне Карениной». В шести частях, предваряющих этот разговор, Страхов рассматривает явления отечественной словесности в широком культурном поле. Прежде всего, Страхов указывает на внешний характер просвещения в России: «Просвещение у нас почти не растет само собой, из своих естественных корней, а распространяется сверху... <...> мы вечно гонимся за Европой и вечно от нее отстаем» (425). По мысли Страхова, «поворот в нашей умственной жизни» начинается со славянофилов.

Страхов отмечает влияние «Дневника Писателя» Достоевского и самого Достоевского как представителя «петербургского славянофильства» для русской культуры. Критик подчеркивает важность одной черты, свойственной полемике Достоевского с западниками: эта черта — «отсутствие злобы» у Достоевского. Интересно, что в этой работе Страхов видит в Достоевском не мыслителя и публициста, а художника, различающего «правду и заблуждение, добро и зло» (433).

Главной темой Достоевского, как определяет ее Страхов, был «раскаившийся нигилист»: Раскольников, Шатов, Карамазов...

Наиболее читаемыми авторами в русской словесности 1870-х годов Страхов называет Достоевского, Некрасова, Толстого, Салтыкова-Щедрина. Их творчество подтверждение того, что «у нас есть серьезная словесность». Вместе с тем, Страхов предлагает остановиться на трех произведениях: «Нови» (1877), «Анне Карениной» (1877) и «Братьях Карамазовых» (1881), так как они представляют собой, по характеристике критика, «любопытные указания на духовное состояние наших образованных классов» (336).

Страхов критикует автора «Нови» за вялость, бессвязность и скуку повествования, приходя к заключению, что «никакое содержание не спасет произведения, грешащего против художества» (444). По мнению Страхова, Тургенев в этом романе «сочинял, а не вдохновлялся широкою и свободною точкою зрения» (445). Проблески света Страхов видит лишь в некоторых лицах романа. Все же остальное, по определению Страхова, «мрак и хаос».

Понятие хаоса оказывается самым важным при взгляде Страхова на три названных произведения. Именно это понятие оказывается общим при характеристике Тургеневым, Толстым и Достоевским духовного состояния образованных классов.

По замечанию Страхова, весь роман «Анна Каренина» есть «изображение общего душевного хаоса, господствующего во всех классах, кроме самого нижнего». Если Левин в итоге находит спасение «в религиозных мыслях», то Анна, «принадлежащая к миражному верхнему слою, несмотря на свои мучения, не образумилась ни на минуту» (452).

«Нравственный хаос» — предмет изображения и в «Братьях Карамазовых». Вместе с тем, Страхов говорит об общности отношения Толстого и Достоевского к ситуации хаоса в обществе: оба писателя указывают на религию как на выход из хаоса и отчаяния» (456).

Последняя глава книги Страхова посвящена проблеме восприятия французским критиком Вогюэ героев «Войны и мира» и характеристике мировосприятия Толстого в целом. Самым непостижимым для французского критика образом, как отмечает Страхов, является Платон Каратаев. Тайну и силу этого образа как «олицетворения духа простоты и правды» Страхов и пытается объяснить Вогюэ: «В русском художнике, выведшем на сцену Каратаева, очевидно сказалось христианское чувство, проникающее собою весь русский народ, бессознательно живущее и в тех классах, которые стараются идти по другим путям» (472).

Страхов замечает, что Вогюэ не может опознать Источник высоких духовных чувств (братская простота, беспредельное сострадание, беззаветная любовь к людям и к природе) героев Толстого, возводя их к чему угодно (к Шопенгауэру, индийскому буддизму, духу арийского племени), только не к христианству: «Для самого Толстого всего важнее, всего драгоценнее то, чтобы согласовать свои мысли с учением Христа, вполне проникнуться его учением. ... Но мы не хотим этому верить. Наши понятия о христианстве так сузились, что мы не опознаем его... <...> Мы обращаем внимание на частности, на мелочные различия и из-за них упускаем из виду самое существенное, потому что давно потеряли чутье к этому существенному, давно потеряли корень того дела, о котором судим» (477).

Толстой ценен, по мысли Страхова, как один из «прямых выразителей и представителей» «глубокой народной жизни», в которой «наша сила и наше спасение»: «Религия есть действительно душа нашего народа, и святой человек — его высший идеал» (484).

Книга Страхова о Тургеневе и Толстом представляет собой одно из лучших сочинений критической мысли второй половины XIX века и входит в Золотой фонд русской литературной критики. Публикация репринтного издания книги статей Страхова 1895 года способствует возвращению в филологическую науку одного из оригинальных отечественных крити-

ков XIX века, наследие которого в советский период всецело оказалось под запретом или было в значительной степени урезано.

Интерес к Страхову, возобновившийся с середины 1980-х годов, в современном литературоведении последних десятилетий только усиливается, свидетельствуя о востребованности мира идей критика, посвятившего свою жизнь делу любовного толкования русской словесности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Говоруха-Отрок Ю.Н. (1850—1896) — публицист, прозаик, литературный критик, рассматривающий русскую литературу в свете Православия. Одно из ярких имен в русской литературной критике второй половины XIX века, изъятых в советский период из научного оборота по идеологическим причинам.

2. См. Хомяков А.С. О возможности русской художественной школы. Статья Хомякова впервые опубликована в Московском художественном и ученом сборнике за 1847год, в Москве. В ней Хомяков рассуждает об условиях появления русского национального искусства, свободного от западного заимствования и подражательности.

3. Один из авторитетных биографов Н.Н.Страхова — Б.В.Никольский. См. его книгу: Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк. СПб., 1896.

4. Переписка Л.Н.Толстого с Н.Н.Страховым. Пб., 1914. С. 38.

5. Страхов Н.Н. Критические статьи об И.С.Тургеневе и Л.Н.Толстом». (1862—1885). С.-Пб., 1895. С. III. Там же. Здесь и далее ссылки на это издание с указанием страницы в тексте.

6. См. ст.: Григорьев А.А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина // Русское Слово, С.-Пб., 1859. №2.

Г.В. Мосалева

ПРЕДИСЛОВИЕ КЪ ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ.

Этой книгѣ посчастливилось: она выходитъ третьимъ изданіемъ. Причина такого успѣха, конечно не въ особенныхъ качествахъ книги, а въ ея предметѣ. Каждый желаетъ имѣть сужденіе о Тургеневѣ и о Толстомъ, а потому нашлись читатели и для моихъ статей.

Таково направленіе современной образованности. Она стремится къ знакомству со всякими выдающимися предметами, со всѣми славными дѣятелями науки, искусства, религіи, политики, и прошлыми и настоящими. А кто хочетъ дать полноту своему образованію, тому, по нынѣшнему взгляду, слѣдуетъ не только знать нѣсколько языковъ и читать самому великихъ писателей, но, сверхъ того, поѣздить по знаменитымъ городамъ и мѣстностямъ, взглянуть на знаменитыя собранія художественныхъ произведеній, на памятники и слѣды древности, даже, если можно, объѣхать вокругъ земнаго шара.

Все это очень сложно, очень трудно и необыкновенно разсѣиваетъ нашъ умъ и нашу душу. Для облегченія составляются энциклопедическіе словари, сборники, историческіе обзоры, біографіи и т. д. Эта межеумочная литература имѣетъ огромный успѣхъ, случается

даже большій, чѣмъ иные писатели, художники, композиторы, которымъ она посвящена. Дѣло кончается, однакоже, какъ извѣстно, тѣмъ, что мы бываемъ со всѣмъ знакомы, но ничего хорошенько не знаемъ, что мы перестаемъ путать имена безчисленныхъ знаменитостей, но почти ни объ одной изъ нихъ не имѣемъ основательнаго понятія.

Что же касается до разсѣянія нашихъ мыслей, то это уже дѣйствительное зло, противъ котораго нужно вооружаться всѣми мѣрами. Нужно откинуть заботу объ энциклопедизмѣ и болѣе всего добиваться во всякой области сознательнаго и строгаго усвоенія хотя бы многихъ главныхъ предметовъ. Недавно знаменитый современный философъ Спенсеръ объявилъ, что онъ вовсе не знакомъ съ сочиненіями Ренана. Вотъ намъ поученіе; изъ него можно смѣло вывести, что образованному чело-вѣку не стоитъ непремѣнной надобности читать всѣхъ знаменитостей, напримѣръ, что позволительно не читать и самого Спенсера. Какъ жалко было бы наше просвѣщеніе, если бы главнымъ предметомъ его было то, что появилось лишь въ послѣдніе годы!

Русская литература въ настоящее время, кажется, больше всего другаго привлекаетъ вниманіе нашихъ читателей. Нѣтъ конца изданіямъ полныхъ собраній сочиненій нашихъ писателей и старыхъ и новыхъ, и даже самоновѣйшихъ. Тѣмъ больше тутъ нужно отличать главное и существенное отъ побочнаго и неважнаго. Позволительно не читать всѣхъ изданныхъ авторовъ; но не будетъ никогда свѣдущимъ въ русской литературѣ тотъ, кто не читалъ прилежно Пушкина, кто не вчи-

тался въ него, не дошелъ до нѣкотораго пониманія его силы и прелести. А теперь, съ великой гордостью, мы можемъ присоединить здѣсь къ имени Пушкина еще имя Толстаго. Если настоящая моя книга помогаетъ читателямъ понимать произведенія автора *Войны и мира*, то я имѣю право считать ее небезполезною и искренно этому радоваться.

Н. Страховъ.

25 февр. 1895. Спб.

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Ich sah des Ruhmes heil'ge Kränze
Auf der gemeinen Stirn entweiht.
Schiller.

И въ печати и на словахъ, меня упрекали въ томъ, что статьи мои о Тургеневѣ противорѣчатъ одна другой, и что, вмѣсто того, чтобы предложить читателямъ опредѣленное сужденіе, я передъ ихъ глазами перехожу отъ одного взгляда къ другому. Въ извиненіе можно бы сказать, что, для внимательныхъ и соображающихъ читателей, основаніе, и слѣдовательно смыслъ такого перехода можетъ не нуждаться въ толкованіяхъ. Но, конечно, мнѣ самому это дѣло вообще должно быть яснѣе, чѣмъ читателямъ; поэтому, на мнѣ лежитъ обязанность изложить его, и я постараюсь сдѣлать это, хотя бы лишь въ самыхъ главныхъ чертахъ.

Собственно, разногласіе есть только между первою статьею объ *Отцахъ и дѣтяхъ* и остальными статьями. Въ то время, когда я писалъ разборъ знаменитаго романа *Отцы и дѣти*, Тургеневъ стоялъ на верху своей славы, а нигилизмъ проходилъ лучшую пору своего развитія. Живо помню, съ какимъ сердечнымъ благоговѣніемъ, почти непростительнымъ для тридцатилѣтняго человека, смотрѣлъ я на Тургенева въ 1859, или въ 1860 году, на университетскомъ обѣдѣ. Онъ уже написалъ тогда *Дворянское гнѣздо* и совмѣщалъ въ себѣ, для меня, все очарованіе, какое я привыкъ связывать съ мыслью о литературѣ и великихъ писателяхъ. Въ тѣ годы, онъ былъ, по общему признанію, первый между своими сверстниками и, казалось, далеко выше другихъ. Думаю, что нѣтъ нужды описывать мои чувства; они такъ понятны и обыкновенны.

Другое дѣло—нигилизмъ. То, что творилось въ умахъ въ 1860, 1861, 1862 годахъ, есть нѣчто совершенно особенное, о чемъ едва-ли многіе ясно помнятъ, или имѣютъ ясное понятіе. Было что-то фантастическое въ томъ радостномъ возбужденіи и движеніи, которое господствовало тогда въ образованномъ классѣ, и всего больше въ литературѣ. Освобожденіе крестьянъ какъ-будто подало лозунгъ ко всяческому освобожденію умовъ. Обновленіе, обновленіе во всемъ, обновленіе до самыхъ основъ жизни и мысли,—таково было общее стремленіе, неудержимо захватывавшее не однихъ юношей, а и людей пожилыхъ, и извѣстныхъ ученыхъ, и сановниковъ.

Работа языковъ и перьевъ шла неутомимо, кипѣла ключемъ. Никогда въ Петербургѣ не было такихъ ожив-

ленныхъ собраній, такого множества шумныхъ и интересныхъ кружковъ по понедѣльникамъ, вторникамъ, и по всѣмъ днямъ недѣли. Литература была коноводомъ всего движенія и росла не по днямъ, а по часамъ. Общюю же цѣлью литературы считался переворотъ въ умахъ, и вся она безпощадно гнала и ломала старое и стремилась проповѣдывать новыя идеи. Журналисты задавались цѣлью раскрыть и разработать въ своемъ журналѣ нѣкоторое новое направленіе, еще неслыханное, но единое истинное. Писатели стремились дать—кто новую педагогію, кто новую эстетику, новую исторію рода человѣческаго, новую философію, и т. п. Это происходило публично; въ частныхъ же разговорахъ можно было услышать предложеніе сочинить и новую религію. Въ сущности, во всемъ этомъ уже сказывался нигилизмъ, но еще въ самыхъ широкихъ и общихъ своихъ формахъ, еще полный надеждъ и чреватый неизвѣстнымъ будущимъ. Для болѣе зоркаго взора, тутъ обнаруживалось только то, какъ мало крѣпкихъ корней имѣли всѣ понятія, весь обиходъ мыслей нашей интеллигенціи. При малѣйшемъ толчокѣ, люди отрывались отъ почвы и носились своимъ умомъ по волѣ вѣтра. Но я тогда не былъ расположенъ къ такимъ низменнымъ взглядамъ.

Прямого участія въ тогдашнемъ кипучемъ движеніи я никакого не принималъ, да и никогда не чувствовалъ я въ себѣ ни охоты, ни способности выступать предводителемъ, поучать, направлять умы. Поэтому, я стоялъ въ сторонѣ и только наблюдалъ, только судилъ о томъ, что дѣлаютъ другіе. Естественно, что я смотрѣлъ на нихъ съ ихъ лучшей стороны и охотно готовъ былъ

отдавать имъ справедливость. Мнѣ казалось, что это огромное возбужденіе умовъ не можетъ не принести какихъ-нибудь хорошихъ плодовъ. Отрицаніе, сомнѣніе, пытливость—это лишь первый шагъ, думалъ я, это—неизбѣжное условіе свободной работы мысли. А затѣмъ второй шагъ будетъ уже—выходъ изъ отрицанія, положительная мысль, подъемъ на болѣе высокую степень пониманія. Такъ, вѣдь, выходитъ и по Гегелю. И мнѣ приходили на умъ всякіе философы съ ихъ глубокими запросами и отрицаніями. Такимъ образомъ, я вообразилъ, что въ родной литературѣ совершается важное движеніе мысли. По уваженію къ литературѣ, еще не охладѣвшему у новичка, я не могъ прійти къ дерзкой мысли, что вся она дастъ одинъ пустоцвѣтъ въ огромныхъ размѣрахъ. Несмотря на всѣ безобразія, рѣзавшія мнѣ глаза и противъ которыхъ я уже сталъ полемизировать, я все продолжалъ думать, что живу не въ будни, а въ праздникъ, что передъ моими глазами русскій умъ, такъ или иначе, вступить въ какой-то новый фазисъ.

Вотъ объясненіе того настроенія, въ которомъ написана статья объ *Отцахъ и дѣтяхъ*. На Тургенева я въ ней смотрѣлъ какъ на чистаго художника, руководящаго своимъ высшимъ даромъ и потому обладающаго такою проницательностію и многосторонностію взгляда, какой не бываетъ у простыхъ смертныхъ. Роль художества состоитъ именно въ томъ, что оно выводитъ „на всенародныя очи“ самую глубину и ширину жизни, почему оно сильнѣе и правдивѣе всякихъ умствованій. Такую самостоятельность и высоту приписывалъ я Тур-

геневу. Въ *Отцахъ и дѣтяхъ* онъ, очевидно, преклоняется передъ Базаровымъ, точно такъ, какъ въ послѣдствіи въ *Нови* преклонился передъ Соломинымъ. И я послѣдовалъ за поэтомъ и подробно указалъ на всѣ черты его героя, которыми онъ превосходитъ окружающія лица. Исповѣданіе Базарова, нигилизмъ, я также выставилъ съ самой сильной его стороны, какъ чистое отрицаніе, какъ порывъ мысли освободиться отъ старыхъ понятій, какъ послѣдовательное исканіе новаго пути для жизни и дѣятельности ума. Однакоже, такъ какъ это исканіе есть лишь минута перехода, незаконченный процессъ, такъ какъ весь Базаровъ, въ самомъ его изображеніи въ романѣ, есть только зачатокъ, эмбрионъ какого-то будущаго дѣятеля (такихъ эмбрионовъ вообще не мало изобразилъ Тургеневъ), то мнѣ казалось, что Тургеневъ не просто преклоняется передъ нимъ, а стремился взять его объективно. Приписывая Тургеневу всю силу поэтической зоркости и поэтического возвышенія надъ изображаемымъ предметомъ, я думалъ, что свѣтлыя и нѣжныя краски, которыми писана вся картина, окружающая Базарова, употреблены въ романѣ вслѣдствіе чувства художественнаго контраста между душевнымъ складомъ этого упорнаго теоретика, и теплою, истинно-живою жизнью. Поэтому я и написалъ, что по смыслу романа, жизнь, въ настоящемъ значеніи этого слова, стоитъ выше, одерживаетъ верхъ надъ Базаровымъ. Думаю, что это сужденіе вѣрное, даже независимо отъ романа. Можно было предполагать, что изъ тогдашняго нигилизма выродится и нѣчто положительное; но самъ по себѣ этотъ нигилизмъ никакъ не

могъ считаться прогрессомъ, еще не имѣлъ въ себѣ ничего зиждательнаго; потому-то онъ, такъ или иначе, былъ подавленъ и подавляется истинно-живыми началами.

Такимъ образомъ, разбирая *Отцевъ и дѣтей*, я, очевидно, идеализировалъ и Тургенева, и, слѣдуя за Тургеневымъ, самый нигилизмъ; на автора я смотрѣлъ, какъ на настоящаго поэта, а на нигилизмъ, какъ на настоящій поворотъ умовъ. Мнѣ кажется, что я имѣлъ нѣкоторое право на такую идеализацію. Если потомъ стало ясно, что я ошибся и въ томъ, и въ другомъ, и въ Тургеневѣ, и въ нигилизмѣ, то вѣдь источникъ этой ошибки не во мнѣ одномъ; поворачивая обвиненіе, я могъ бы сказать, что виноватъ и самъ Тургеневъ, и самъ нигилизмъ: они меня обманули; они выступили съ притязаніями, которыхъ не выдержали, и съ надеждами, которыхъ не исполнили.

Уже при первыхъ разговорахъ съ Тургеневымъ въ 1862 году, и потомъ въ 1864, я замѣтилъ въ немъ безпокойство, которое мнѣ было не по душѣ. Онъ видимо боялся той брани, которая тогда сыпалась на него въ журналахъ. По моей наивности, я воображалъ, что онъ долженъ былъ бы оставаться въ томъ олимпійскомъ спокойствіи, которое прилично художнику, и развѣ только радоваться шуму, какъ доказательству вниманія къ его произведенію. Передъ нашими глазами такъ поступалъ и поступаетъ Л. Н. Толстой, — блистательный примѣръ, который, къ нашему счастью, существуетъ въ нашей литературѣ, и на который можно сослаться, когда рѣчь идетъ о самостоятельности писателей.

Впрочемъ, время *Отцевъ и дѣтей* и тогдашнее положеніе Тургенева было особенное и, можетъ быть, я судилъ его слишкомъ строго. Это было время *литературнаго террора*, когда писателей казнили, лишая ихъ, такъ сказать, гражданской чести. Но я, по вольнодумству, которое не прошло мнѣ даромъ, никакъ не могъ, даже въ самый разгаръ этого террора, принять его за серіозное дѣло. Тургеневъ, болѣе опытный и близко знакомый съ литературными кружками, очевидно, лучше понималъ опасность и не совсѣмъ напрасно тревожился.

Нѣкоторое время, однако, онъ держался въ приличномъ спокойствіи, хотя и видно было, что онъ чѣмъ-то пораженъ. *Призраки* (1863), *Довольно* (1864), *Дымъ* (1867) — все это отзывается тоскою и раздумьемъ. „Все русское — дымъ“, говорилъ себѣ Тургеневъ, какъ будто желая утѣшиться, желая считать пустякомъ и то осужденіе, которому подвергся. Но онъ не выдержалъ такого напряженнаго положенія и скоро склонилъ голову и призналъ себя виноватымъ. „На мое имя легла тѣнь; я знаю, эта тѣнь съ моего имени не сойдетъ!“ — напечаталъ онъ въ 1869 году.

Итакъ, Тургеневъ, въ сущности, не хотѣлъ и не могъ быть тѣмъ художникомъ, свободу и высоту котораго я такъ восторженно восхвалялъ въ *Отцахъ и дѣтяхъ*. Онъ былъ неисцѣлимо зараженъ вѣрою въ прогрессъ, и прогрессомъ для него было то движеніе, которое совершалось въ литературномъ кружкѣ, когда-то его воспитавшемъ. Это отсутствіе всякихъ твердыхъ опоръ внутри человѣка, эта боязнь, при которой онъ уже не можетъ самъ различить, правъ ли онъ, или виноватъ,

наконецъ, это очевидное желаніе загладить свою миную вину и заслужить прощеніе, все это было поразительно въ такомъ талантливомъ и знаменитомъ человѣкѣ, и, мнѣ кажется, невозможно было смотрѣть на это безъ горькаго чувства. Тургеневъ вѣдь кончилъ тѣмъ, что воспѣлъ намъ Соломина (*Новь*, 1877) какъ нѣчто положительное, какъ послѣдній фазисъ нашего прогресса, послѣднюю ступень нашего развитія.

Непонятное, слѣпое суевѣріе! Какъ можно было такъ упорно коснѣть въ этомъ предразсудкѣ, когда этотъ прогрессъ давно уже обнаружилъ свою сущность? Нигилизмъ ничего не произвелъ и не могъ произвести; онъ оказался простымъ подражаніемъ, и только повторилъ давнишніе ходы мысли, приводящіе ко всякому злу, но ничего не созидающіе. Грустно подумать, въ какихъ огромныхъ размѣрахъ тутъ проявилось безплодіе русскихъ умовъ. Нигилизмъ есть новая черта въ русской литературѣ; эта черта составляетъ главную характеристику большого періода, всей литературы прошлаго царствованія, и эта черта, къ величайшему нашему горю, имѣетъ отрицательный показатель, она есть признакъ подражательности и безплодія. Когда въ 1866 году разнеслась вѣсть о покушеніи Каракозова, мнѣ живо представилось, что циклъ всего содержанія нигилизма закончился. вмѣсто литературнаго террора наступалъ уже терроръ физическій. Послѣдовательность была очевидная, и меня только изумило, что за первымъ злодѣйствомъ такъ долго не наступали новыя попытки. Но смыслъ нигилистическаго движенія былъ уже окончательно ясенъ. Оно было запоздалою реакціею про-

тивъ Николаевского царствованія, и никакихъ сѣмянъ мысли въ немъ не было. Это былъ не умственный поворотъ, а безплодное шатаніе мыслей, не умѣющихъ и не стремящихся во-что нибудь сложиться. Это шатаніе быстро пошло по давно пробитымъ колеямъ революціонаризма и анархизма, то есть пошло въ отрицательную сторону, какъ самую легкую и всегда открытую, но оно не дало намъ никакого положительнаго плода. Мы остались на томъ же мѣстѣ, гдѣ и прежде были, потому что мы не любимъ медленно строить, не хотимъ трудиться и думать, а предпочитаемъ говорить и дѣйствовать.

Пусть же читатели мнѣ простятъ, что я когда-то не хотѣлъ повѣрить такому печальному взгляду на наше литературное движеніе, а также, что приписалъ сперва Тургеневу силу, которой у него не было.

27 сент. 1887

~~~~~

## ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Часто мнѣ совѣтовали издать мои критическія статьи, и я давно бы послѣдовалъ этому совѣту, если бы самъ былъ такъ же ими доволенъ, какъ нѣкоторые изъ моихъ читателей. Но критика въ тѣсномъ смыслѣ, то есть оцѣнка и характеристика художественныхъ произведеній литературы, всегда казалась мнѣ дѣломъ чрезвычайно труднымъ; я всегда думалъ, что едва-ли могу исполнять

его въ совершенствѣ. Мои статьи этого рода были писаны большею частію по желанію журналовъ, въ которыхъ я участвовалъ; и, хотя я прилагалъ къ этому писанію всяческую точность и добросовѣстность, всегда я чувствовалъ, что къ мыслямъ, изложеннымъ мною, слѣдовало бы прибавить еще другія черты и поясненія. Хорошая критика требуетъ не только горячей любви къ художественнымъ произведеніямъ, но и особенной чуткости къ формѣ художества, такъ чтобы общее впечатлѣніе и крупныя черты произведенія не заслоняли, въ глазахъ критика, частныхъ и второстепенныхъ развитій идеи. Кромѣ того, критикъ долженъ обладать глубокимъ и многостороннимъ чуткомъ жизни, то есть всякаго рода сердечныхъ движеній, различныхъ типовъ душевнаго склада людей, различныхъ видовъ красоты и безобразія, силы и слабости въ человѣческомъ образѣ дѣйствій. Въ такой чуткости къ жизни и къ художеству никто у насъ не превзошелъ *Аполлона Григорьева*. Вотъ почему, прежде чѣмъ издавать свои статьи, я приложилъ заботы о томъ, чтобы издать сочиненія этого у насъ несравненнаго критика \*); да и теперь, такъ какъ я обращаюсь къ читателямъ, интересующимся критикою русской литературы, то прежде всего посовѣтую имъ читать прилежно Ап. Григорьева, и лучшаго совѣта дать не могу.

Впрочемъ, хотя мои статьи не достигаютъ идеала критики, хотя въ нихъ больше господствуютъ мысли общія и отвлеченныя, однакоже, настоящій критическій

\*) *Сочиненія Аполлона Григорьева*. Томъ первый (съ портретомъ). Изданіе Н. Н. Страхова. Спб. 1876.

элементъ въ нихъ также есть, и, можетъ быть, иные читатели одобрятъ меня за ясность и опредѣленность тѣхъ чертъ, на которыхъ я останавливаюсь.

Прибавляю еще, что моя книга, вѣроятно, никогда бы не явилась на свѣтъ, если бы мнѣ не довелось и въ послѣднее время написать нѣсколькихъ критическихъ статей. Содержаніе ихъ настолько важно въ моихъ глазахъ, и я на столько доволенъ ихъ изложеніемъ, что съ большою смѣлостью рѣшаюсь предложить ихъ читателямъ въ отдѣльномъ изданіи. Прошу не упускать этого изъ вида, такъ какъ статьи расположены въ строго хронологическомъ порядкѣ, и слѣдовательно, къ моему огорченію, впереди стоятъ тѣ, на которыя я всего менѣе надѣюсь. Но читатель менѣе нетерпѣливый увидитъ пользу этой послѣдовательности. По этимъ статьямъ, писаннымъ во время перваго появленія различныхъ произведеній Тургенева и Толстаго, можно въ извѣстной мѣрѣ судить, какого рода интересъ связывался тогда съ этими произведеніями, каково было настроеніе публики и литературы, и какъ оно измѣнялось. Въ точности же моихъ указаній я до сихъ поръ не имѣю повода сомнѣваться.

Изъ своихъ критическихъ статей я издаю здѣсь только относящіяся къ двумъ названнымъ писателямъ. Причина, во-первыхъ, та, что это—главныя мои статьи, что, въ теченіе этого долгаго времени, я преимущественно писалъ о Тургеневѣ и Толстомъ, и слѣдовательно, тутъ именно и могу полагаться на ясность и выработку своего сужденія. А во-вторыхъ, эти два ряда статей представляютъ не только нѣкоторую полноту, но и контрастъ, поясняющій все дѣло. Во многихъ отношеніяхъ, Тургеневъ и

Толстой противоположны другъ другу. Одного можно назвать западникомъ, другаго славянофиломъ, хотя въ строгомъ смыслѣ эти названія къ нимъ не приложимы; художество, по самой своей природѣ, слишкомъ свободно, чтобы вполнѣ подходить подъ опредѣленія нашихъ партій. Далѣе, одинъ—подражатель и идетъ по теченію; другой—чрезвычайно самобытенъ и независимъ отъ всякихъ теченій; одинъ обнаружилъ слабость въ своихъ отношеніяхъ къ общественному мнѣнію, другой очевидную нравственную силу, и т. д. Мнѣ слѣдуетъ предупредить читателей, что они найдутъ въ настоящей книгѣ рѣзкія страницы противъ Тургенева. Пусть, однако, его поклонники обратятъ вниманіе на то, что и всѣ его достоинства здѣсь не упущены изъ вида.

Но главный центръ моей книги, отъ котораго зависитъ наибольшій ея вѣсъ, есть, конечно, Толстой. Тутъ помѣщены въ полномъ составѣ статьи, которыя могли бы подать мнѣ поводъ къ большой гордости. Задолго до нынѣшней славы Толстаго, до восторговъ, вызванныхъ его произведеніями за границей и повторенныхъ у насъ, въ то время, когда даже еще не была кончена *Война и миръ*, я почувствовалъ великое значеніе этого писателя и старался объяснить его читателямъ. Во всякомъ случаѣ, я могу сослаться на этотъ фактъ, какъ на доказательство живости и независимости чувства, внушившаго мнѣ поклоненіе, которое я съ тѣхъ поръ исповѣдую. Долго я подвергался за него насмѣшкамъ, но наконецъ сила вещей побѣдила, и теперь, вѣроятно, тотъ самъ заслужить похвалу, кто превзойдетъ другихъ въ похвалахъ Толстому.

Дѣло, конечно, не въ томъ, что я первый, и уже давно, печатно провозгласилъ Толстаго гениальнымъ и причислилъ его къ великимъ русскимъ писателямъ. Главное всегда—въ пониманіи духа писателя, въ томъ внутреннемъ сочувствіи, которое открываетъ намъ самую глубину его произведеній. Пусть судятъ читатели, насколько вѣрно и полно я, уже тогда, понялъ смыслъ Толстаго.

До сихъ поръ, это необычайное явленіе, чѣмъ больше уясняется въ моихъ глазахъ, тѣмъ дороже и выше становится, въ силу того же самаго смысла. Все въ немъ цѣльно и связано, какъ въ настоящемъ существѣ. Его художество вполнѣ своеобразно; оно представляетъ сліяніе самой яркой объективности съ самой глубокой субъективностью, и слѣдовательно, осуществляетъ идеалъ *современнаго* художества, не прежняго, античнаго, а нашего, христіанскаго. Чтò такое для насъ художество? Мы вѣдь уже не можемъ, какъ древніе греки, уходить вполнѣ въ созерцаніе красоты и, напримѣръ, смотрѣть на формы человѣческаго тѣла какъ на ея божественное воплощеніе. Для насъ искусство, какъ и все другое, есть только пища для духа. Мы не сливаемся съ предметами нашего созерцанія, а становимся отъ нихъ въ сторонѣ, стремимся стать выше ихъ. Возможность подняться надъ явленіями, расширить свой горизонтъ, ничего не потерявъ въ немъ, получить отъ предметовъ наиболѣе духовное воздѣйствіе, — вотъ что мы цѣнимъ въ искусствѣ. Такимъ образомъ, субъективность есть необходимый элементъ нашего искусства, какъ будто душа этого тѣла. Существенная разница между художниками

для насъ будетъ заключаться не только въ мастерствѣ ихъ объективности, но и въ силѣ и качествахъ ихъ субъективности. Въ приложеніи къ Толстому, можно сказать, что едва-ли есть художникъ, созерцающій съ такимъ живымъ чувствомъ тѣ самые образы, которые онъ творить. Всѣ усилія неподобной объективности, очевидно, дѣлаются лишь для удовлетворенія глубокой субъективной потребности, и художникъ иногда даже прерываетъ работу, уходя въ область отвлеченной мысли (напримѣръ, въ концѣ *Войны и мира*).

Но разрыва, противорѣчія у него нѣтъ. Настоящее искусство никогда не можетъ быть ни орудіемъ, ни помѣхою; оно, какъ и другія духовныя области человѣческой дѣятельности, имѣетъ свои неизмѣнные законы, но ведетъ, какъ и всѣ эти области, къ одной и той же цѣли, совмѣщающей въ себѣ лучшія человѣческія задачи, сливающей ихъ въ одно высшее стремленіе.

Какое дѣйствіе искусство производитъ въ душѣ человѣка? Созерцая свой предметъ во всей полнотѣ его существа, художникъ стремится не погрузиться въ него, а, напротивъ, *освободиться* отъ него, покорить его себѣ. Этотъ процессъ, то есть, какъ извѣстныя чувства и явленія не даютъ покоя художнику, поглощаютъ его душу, пока онъ наконецъ не воплотитъ ихъ въ ясныя формы, хорошо знакомъ людямъ, одареннымъ творческою силою, и на него указывалъ, напримѣръ, Гёте, а у насъ Гоголь. Понятно, что, вообще, должно происходить нѣкоторое отрѣшеніе отъ того предмета, которымъ наша мысль вполне овладѣла и который поставила *передъ* собою.

Итакъ, художникъ есть человѣкъ *свободный* душою. Не даромъ поэтовъ восхваляютъ за высоту ихъ взгляда, за то, что передъ ними наше великое оказывается ничтожнымъ, а наше малое открываетъ свою невидимую намъ красоту; не даромъ имъ приписываютъ также и олимпійское равнодушіе, и даже пантеистическое безразличіе, смѣшеніе добра и зла.

Но свобода, этотъ опасный даръ, не сама сбиваетъ насъ съ истиннаго пути; она есть только просторъ для дѣйствія существующихъ силъ. Поэтому, она есть необходимое условіе и для того, чтобы въ душѣ человѣка раскрылось самое чистое чувство, самое высокое разумѣніе, все, чтѣ подавляется и заглушается своекорыстною и будничною жизнью. Поэтъ вполне свободный, вполне чистый, непременно найдетъ въ себѣ путь къ Богу.

Произведенія Толстаго поразительны тою искренностію и серіозностію, съ которою въ нихъ совершается дѣло художества, и потому могутъ служить наилучшимъ примѣромъ, поясняющимъ сущность этого дѣла. Всякій предметъ, за который онъ берется, онъ стремится проникнуть насквозь, и вмѣстѣ съ тѣмъ, вы ясно видите, что онъ отвергаетъ его, уходитъ отъ него не удовлетворенный. Нѣтъ писателя, который бы съ бѣлшею охотою останавливался на картинахъ человѣческаго счастья, у котораго было бы столько сценъ мирныхъ, идиллическихъ; и нѣтъ писателя, у котораго было бы такъ ясно, что онъ не увлеченъ этими радостями, что онъ ихъ не воспѣваетъ, а напротивъ изображаетъ ихъ измѣнчивость и пустоту. Сколько различныхъ формъ жизни онъ изобразилъ, сколько формъ быта, занятій,



забавъ и дѣлъ,—и всѣ онъ отвергнулъ, ни за одною не призналъ полной законности.

Люди съ художественнымъ даромъ часто дѣлають изъ своего дара забаву; они живутъ двойною жизнью, то подымаясь въ область поэтической свободы, то опускаясь въ ту сѣть интересовъ, страстей и привычекъ, которая составляетъ ихъ настоящую жизнь. Читая Толстаго можно почувствовать, что для него такая двойственность невозможна, что здѣсь человѣкъ дѣйствительно страстно ищетъ свободы, и, когда найдетъ для нея точку опоры, уже никогда не покинетъ ея.

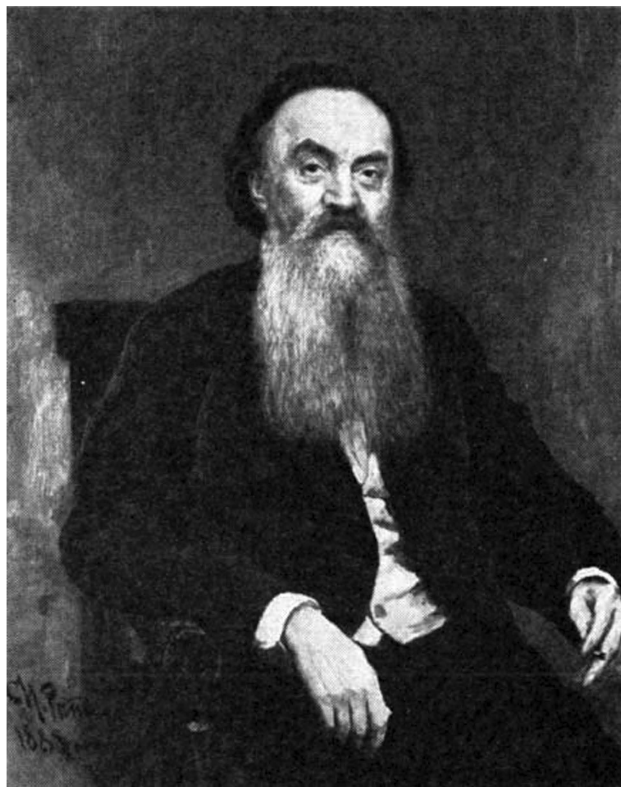
Какой же идеалъ постоянно раскрывается въ этой освобождающейся душѣ? Отъ самаго начала, ея борьба и трудъ имѣють ясный смыслъ, видимо направляются къ извѣстной цѣли. Не скептицизмъ, не обманутая жадность къ жизни, не холодъ гордости и себялюбія составляютъ главный нервъ этихъ исканій. Всѣмъ теперь очевидно, что, отъ самаго начала, сочувствія Толстаго устремлялись къ *простому и доброму*, что эта освобожденная душа, умѣющая видѣть жизнь не въ отвлеченныхъ формахъ и не съ частныхъ точекъ зрѣнія, а во всей ея полнотѣ и цѣльности, упорно доискивается *истинной жизни* среди всякаго рода фальшивыхъ явленій, и что она находитъ ее только въ томъ, что представляетъ самую чистую нравственную красоту, что бываетъ просто и смиренно до самоуничиженія и въ то же время твердо и спокойно до степени высочайшаго великодушія. Пусть это называютъ пантеизмомъ, или фатализмомъ, или буддизмомъ, но во всякомъ случаѣ пусть признають, что это путь, идущій къ Богу, и что Толстой, вышедши на

него, до сихъ поръ идетъ прямо, а не въ обратномъ направленіи.

Не буду и не могу, здѣсь, въ предисловіи, останавливаться дольше на такомъ плодovitомъ вопросѣ. Прибавлю только, что ни на какомъ писателѣ не лежить такъ ясно печать *русскаго духа*, какъ на Толстомъ. Это та самая форма нравственныхъ понятій, которую внушило нашему народу христіанство, или, если угодно, та, въ которую нашъ народъ воплотилъ религіозныя понятія. Духъ этотъ въ насъ живетъ, какъ мы ни заглушаемъ и ни отрицаемъ его, и если бы онъ покинулъ насъ, то Россія рушилась бы, какъ трупъ, оставленный жизнью. Поэтому не можетъ быть писателя болѣе намъ любезнаго, болѣе соотвѣтственнаго самымъ глубокимъ позывамъ нашего сердца, чѣмъ Толстой. Можно находить въ немъ много недостатковъ: можно быть недовольнымъ размѣрами его творческихъ силъ, признавать въ его произведеніяхъ неполноту и незаконченность, слабыя мѣста, безтактности, пробѣлы; но я одно хочу сказать: по своему *качеству*, онъ писатель несравненный и единственный, стоящій на высотѣ, которую теперь намъ даже трудно и опредѣлить. Одно уже и теперь ясно: не только *намъ* онъ кровно дорогъ, но, по величайшей цѣнности своего качества и по высокой степени, въ которой онъ проявилъ его, онъ долженъ занять мѣсто въ первыхъ рядахъ всемірной литературы.

22 сент. 1885 г.

~~~~~



КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

И. С. ТУРГЕНЕВЪ.

I.

Отцы и дѣти. Русскій Вѣстникъ 1862 г. № 2.

Чувствую заранѣе (да это, вѣроятно, чувствуютъ и всѣ, кто у насъ нынче пишетъ), что читатель всего больше будетъ искать въ моей статьѣ поученія, наставленія, проповѣди. Таково настоящее положеніе, таково наше душевное настроеніе, что насъ мало интересуютъ какія-нибудь холодныя разсужденія, сухіе строгіе анализы, спокойная дѣятельность мысли и творчества. Чтобы занять и разшевелить насъ, нужно нѣчто болѣе ѣдкое, болѣе острое и рѣжущее. Мы чувствуемъ нѣкоторое удовлетвореніе только тогда, когда хоть ненадолго въ насъ вспыхиваетъ нравственный энтузіазмъ, или закипаетъ негодованіе и презрѣніе къ господствующему злу. Чтобы насъ затронуть и поразить, нужно заставить заговорить нашу совѣсть, нужно коснуться до самыхъ глубокихъ изгибовъ нашей души. Иначе мы останемся холодны и равнодушны, какъ бы ни были велики чудеса ума и таланта. Живѣе всѣхъ другихъ потребностей говорить въ насъ потребность нравственнаго обновленія, и потому потребность обли-

ченія, потребность бичеванія собственной плоти. Къ каждому владѣющему словомъ мы готовы обратиться съ тою рѣчью, которую нѣкогда слышалъ поэтъ:

Мы малодушны, мы коварны,
Безстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцемъ хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки...

Давай намъ смѣлые уроки!

Чтобы убѣдиться во всей силѣ этого запроса на проповѣдь, чтобы видѣть, какъ ясно чувствовалась и выражалась эта потребность, достаточно вспомнить хотя многіе факты. Пушкинъ, какъ мы сейчасъ замѣтили, слышалъ это требованіе. Оно поразило его страннымъ недоумѣніемъ. „Таинственный пѣвецъ“, какъ онъ самъ называлъ себя, то-есть пѣвецъ, для котораго была загадкою его собственная судьба, поэтъ, чувствовавшій, что „ему нѣтъ отзыва“, онъ встрѣтилъ требованіе проповѣди какъ чтò-то непонятное и никакъ не могъ отнестись къ нему опредѣленно и правильно. Много разъ онъ возвращался своими думами къ этому загадочному явленію. Отсюда вышли его полемическія стихотворенія, нѣсколько неправильныя и, такъ сказать, фальшивящія въ поэтическомъ отношеніи (большая рѣдкость у Пушкина!), напримѣръ *Чернь*, или

Не дорого цѣню я громкія права.

Отсюда произошло то, что поэтъ воспѣвалъ „мечты невольныя“, „свободный умъ“ и приходилъ иногда къ энергическому требованію *свободы* для себя, какъ для поэта:

Не гнуть ни совѣсти, ни *помысловъ*, ни шеи...

Вотъ счастье, вотъ права!..

Отсюда наконецъ та жалоба, которая такъ грустно звучитъ въ стихотвореніяхъ „Поэту“, „Памятникъ“, и то негодованіе, съ которымъ онъ писалъ:

Подите прочь! Какое дѣло
Поэту мирному до васъ?
Въ развратѣ каменѣйте смѣло,
Не оживитъ васъ лиры гласъ.

Пушкинъ умеръ среди этого разлада, и, можетъ быть, этотъ разладъ не мало участвовалъ въ его смерти.

Вспомнимъ потомъ, что Гоголь не только слышалъ требованіе проповѣди, но и самъ уже былъ зараженъ энтузіазмомъ проповѣдыванія. Онъ рѣшился выступить прямо, открыто, какъ проповѣдникъ, въ своей „Перепискѣ съ друзьями“. Когда же онъ увидѣлъ, какъ страшно ошибся и въ тонѣ и въ текстѣ своей проповѣди, онъ уже ни въ чемъ не могъ найти спасенія. У него пропалъ и творческій талантъ, исчезло мужество и довѣріе къ себѣ, и онъ погибъ, какъ будто убитый неудачею въ томъ, чтò считалъ главнымъ дѣломъ своей жизни.

Въ то же самое время Бѣлинскій находилъ свою силу въ пламенномъ негодованіи на окружающую жизнь. Подъ конецъ онъ сталъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ смотрѣть на свое призваніе критика; онъ увѣрялъ, что рожденъ публицистомъ. Справедливо замѣчаютъ, что въ послѣдніе годы его критика вдалась въ односторонность и потеряла чуткость, которою отличалась прежде. И здѣсь, потребность проповѣди помѣшала спокойному развитію силъ.

Какъ бы то ни было, но только требованіе урока и поученія какъ нельзя яснѣе обнаружилось у насъ при появленіи новаго романа Тургенева. Къ нему вдругъ

приступили съ лихорадочными и настоящими вопросами: кого онъ хвалить? кого осуждаетъ? кто у него образецъ для подражанія? кто предметъ презрѣнія и негодованія? какой это романъ — прогрессивный, или ретроградный?

И вотъ, на эту тему поднялись безчисленные толки. Дѣло дошло до мелочей, до самыхъ тонкихъ подробностей. Базаровъ пьетъ шампанское! Базаровъ играетъ въ карты! Базаровъ небрежно одѣвается! Чтò это значитъ? спрашиваютъ въ недоумѣніи. *Должно* это, или *не должно*? Каждый рѣшилъ по своему, но всякій считалъ необходимымъ вывести нравоученіе и подписать его подъ загадочною баснею. Рѣшенія однако же вышли совершенно разногласныя. Одни нашли, что „Отцы и дѣти“ есть сатира на молодое поколѣніе, что всѣ симпатіи автора на сторонѣ *отцовъ*. Другіе говорятъ, что осмѣяны и опозорены въ романѣ *отцы*, а молодое поколѣніе, напротивъ, превознесено. Одни находятъ, что Базаровъ самъ виноватъ въ своихъ несчастныхъ отношеніяхъ къ людямъ, съ которыми онъ встрѣтился; другіе утверждаютъ, что, напротивъ, эти люди виноваты въ томъ, что Базарову такъ трудно жить на свѣтѣ.

Такимъ образомъ, если свести всѣ эти разнорѣчивыя мнѣнія, то должно прійти къ заключенію, что въ баснѣ или вовсе нѣтъ нравоученія, или же, что нравоученіе не такъ легко найти, что оно находится совсѣмъ не тамъ, гдѣ его ищутъ. Несмотря на то, романъ читается съ жадностью и возбуждаетъ такой интересъ, какого, смѣло можно сказать, не возбуждало еще ни одно произведеніе Тургенева. Вотъ любопытное явленіе, которое стоитъ полного вниманія. Романъ, повидимому, явился не вовремя; онъ какъ будто не соотвѣтствуетъ потребностямъ

общества; онъ не даетъ ему того, чего оно ищетъ. А между тѣмъ, онъ производитъ сильнѣйшее впечатлѣніе. Г. Тургеневъ во всякомъ случаѣ можетъ быть доволенъ. Его *таинственная* цѣль вполне достигнута. Но мы должны отдать себѣ отчетъ въ смыслѣ его произведенія.

Если романъ Тургенева повергаетъ читателей въ недоумѣніе, то это происходитъ по очень простой причинѣ: онъ приводитъ къ сознанію то, чтò еще не было сознаваемо, и открываетъ то, чтò еще не было замѣчено. Главный герой романа есть Базаровъ; онъ и составляетъ теперь яблоко раздора. Базаровъ есть лицо новое, котораго рѣзкія черты мы увидѣли въ первый разъ; понятно, что мы задумываемся надъ нимъ. Если бы авторъ вывелъ намъ опять помѣщиковъ прежняго времени, или другія лица, давно уже намъ знакомыя, то, конечно, онъ не подалъ бы намъ никакого повода къ изумленію, и всѣ бы дивились развѣ только вѣрности и мастерству его изображенія. Но въ настоящемъ случаѣ дѣло имѣетъ другой видъ. Постоянно слышатся даже вопросы: да гдѣ же существуютъ Базаровы? кто видѣлъ Базаровыхъ? кто изъ насъ Базаровъ? наконецъ, есть ли дѣйствительно такіе люди, какъ Базаровъ?

Разумѣется, лучшее доказательство дѣйствительности Базарова есть самый романъ; Базаровъ въ немъ такъ вѣренъ самому себѣ, такъ полонъ, такъ щедро снабженъ плотью и кровью, что назвать его *сочиненнымъ* человѣкомъ нѣтъ никакой возможности. Но онъ не есть ходячій типъ, всѣмъ знакомый и только схваченный художникомъ и выставленный имъ „на все народныя очи“. Базаровъ во всякомъ случаѣ есть лицо созданное, а не только воспроизведенное, предугаданное, а не только разоблаченное. Такъ это должно было быть по самой задачѣ,

которая возбуждала творчество художника. Тургеневъ, какъ уже давно извѣстно, есть писатель, усердно слѣдящій за движеніемъ русской мысли и русской жизни. Онъ заинтересованъ этимъ движеніемъ необыкновенно сильно; не только въ „Отцахъ и дѣтяхъ“, но и во всѣхъ прежнихъ своихъ произведеніяхъ онъ постоянно схватывалъ и изображалъ отношенія между отцами и дѣтьми. Послѣдняя мысль, послѣдняя волна жизни, — вотъ что всего болѣе приковывало его вниманіе. Онъ представляетъ образецъ писателя, одареннаго совершенной подвижностью и вмѣстѣ глубокою чуткостью, глубокою любовью къ современной ему жизни.

Таковъ онъ и въ своемъ новомъ романѣ. Если мы не знаемъ полныхъ Базаровыхъ въ дѣйствительности, то, однако же, всѣ мы встрѣчаемъ множество базаровскихъ чертъ, всѣмъ знакомы люди, то съ одной, то съ другой стороны напоминающіе Базарова. Если никто не проповѣдуетъ всей системы мнѣній Базарова, то, однако же, всѣ слышали тѣ же мысли поодионокѣ, отрывочно, несвязно, нескладно. Эти бродячіе элементы, эти неразвившіеся зародыши, недоконченныя формы, несложившіяся мнѣнія Тургеневъ воплотилъ цѣльно, полно, стройно въ Базаровѣ.

Отсюда происходитъ и глубокая занимательность романа, и то недоумѣніе, которое онъ производитъ. Базаровы на половину, Базаровы на одну четверть, Базаровы на одну сотую долю — не узнаютъ себя въ романѣ. Но это ихъ горе, а не горе Тургенева. Гораздо лучше быть полнымъ Базаровымъ, чѣмъ быть его уродливымъ и неполнымъ подобіемъ. Противники же базаровщины радуются, думая, что Тургеневъ умышленно исказилъ дѣло, что онъ написалъ каррикатуру на молодое поколѣніе:

они не замѣчаютъ, какъ много величія кладетъ на Базарова глубина его жизни, его законченность, его непреклонная и послѣдовательная своеобразность, принимаемая ими за безобразіе.

Напрасныя обвиненія! Тургеневъ остался вѣренъ своему художническому дару: онъ не выдумываетъ, а создаетъ, не искажаетъ, а только освѣщаетъ свои фигуры.

Подойдемъ къ дѣлу ближе. Система убѣжденій, кругъ мыслей, которыхъ представителемъ является Базаровъ, болѣе или менѣе ясно выражались въ нашей литературѣ. Главными ихъ выразителями были два журнала: „Современникъ“, уже нѣсколько лѣтъ проводившій эти стреленія, и „Русское Слово“, недавно заявившее ихъ съ особенною рѣзкостью. Трудно сомнѣваться, что отсюда, изъ этихъ чисто теоретическихъ и отвлеченныхъ проявленій извѣстнаго образа мыслей взять Тургеневымъ складъ ума, воплощенный имъ въ Базаровѣ. Тургеневъ взялъ извѣстный взглядъ на вещи, имѣвшій притязанія на господство, на первенство въ нашемъ умственномъ движеніи; онъ послѣдовательно и стройно развилъ этотъ взглядъ до его крайнихъ выводовъ и — такъ какъ дѣло художника не мысль, а жизнь — онъ воплотилъ его въ живыя формы. Онъ далъ плоть и кровь тому, что явно уже существовало въ видѣ мысли и убѣжденія. Онъ придалъ наружное проявленіе тому, что уже существовало какъ внутреннее основаніе.

Отсюда, конечно, должно объяснить упрекъ, сдѣланный Тургеневу, что онъ изобразилъ въ Базаровѣ не одного изъ представителей молодого поколѣнія, а скорѣе главу кружка, порожденіе нашей оторванной отъ жизни литературы.

Упрекъ былъ бы справедливъ, если бы мы не знали,

что мысль, рано или поздно, въ большей или меньшей степени, но непремѣнно переходитъ въ жизнь, въ дѣло. Если базаровское направленіе имѣло силу, имѣло поклонниковъ и проповѣдниковъ, то оно непремѣнно должно было породить Базаровыхъ. Такъ что остается только одинъ вопросъ: вѣрно ли схвачено базаровское направленіе?

Въ этомъ отношеніи для насъ существенно важны отзывы тѣхъ самыхъ журналовъ, которые прямо заинтересованы въ дѣлѣ, именно „Современника“ и „Русскаго Слова“. Изъ этихъ отзывовъ должно вполне обнаружиться, насколько вѣрно Тургеневъ понялъ ихъ духъ. Довольны ли они или недовольны, поняли ли Базарова или не поняли,—каждая черта здѣсь характеристична.

Оба журнала успѣшили отозваться большими статьями. Въ мартовской книжкѣ „Русскаго Слова“ явилась статья г. Писарева, а въ мартовской книжкѣ „Современника“—статья г. Антоновича. Оказывается, что „Современникъ“ весьма недоволенъ романомъ Тургенева. Онъ думаетъ, что романъ написанъ въ укоръ и поученіе молодому поколѣнію, что онъ представляетъ клевету на молодое поколѣніе и можетъ быть поставленъ на ряду съ „Асмодемъ нашего времени“, соч. Асоченскаго.

Совершенно очевидно, что „Современникъ“ желаетъ убить г. Тургенева во мнѣніи читателей, убить наповадь, безъ всякой жалости. Это было бы очень страшно, если бы только такъ легко было это сдѣлать, какъ воображаетъ „Современникъ“. Не успѣла выйти въ свѣтъ его грозная книжка, какъ явилась статья г. Писарева, составляющая столь радикальное противоядіе злобнымъ намѣреніямъ „Современника“, что лучше ничего не остается желать. „Современникъ“ рассчитывалъ, что ему

повѣрять на слово въ этомъ дѣлѣ. Ну, можетъ быть, найдутся такіе, что и усумнятся. Если бы мы стали защищать Тургенева, насъ тоже, можетъ быть, заподозрили бы въ заднихъ мысляхъ. Но кто усумнится въ г. Писарева? Кто ему не повѣритъ?

Если чѣмъ извѣстенъ г. Писаревъ въ нашей литературѣ, такъ именно прямою и откровенностью своего изложенія. Г. Писаревъ никогда не лукавитъ съ читателями; онъ договариваетъ свою мысль до конца. Благодаря этому драгоцѣнному свойству, романъ Тургенева получилъ блистательнѣйшее подтвержденіе, какого только можно было ожидать.

Г. Писаревъ, человѣкъ молодаго поколѣнія, свидѣтельствуетъ о томъ, что Базаровъ есть дѣйствительный типъ этого поколѣнія и что онъ изображенъ совершенно вѣрно. „Все наше поколѣніе“—говоритъ г. Писаревъ—„со своими стремленіями и идеями можетъ узнать себя въ дѣйствующихъ лицахъ этого романа“ „Базаровъ—представитель нашего молодаго поколѣнія; въ его личности сгруппированы тѣ свойства, которыя мелкими долями разсыпаны въ массахъ, и образъ этого человѣка ярко и отчетливо вырисовывается передъ воображеніемъ читателей“. „Тургеневъ вдумался въ типъ Базарова и понялъ его такъ вѣрно, какъ не пойметъ ни одинъ изъ нашихъ молодыхъ реалистовъ“. „Онъ не покривилъ душою въ своемъ послѣднемъ произведеніи“ „Общія отношенія Тургенева къ тѣмъ явленіямъ жизни, которыя составляютъ канву его романа, такъ спокойны и безпристрастны, такъ свободны отъ поклоненія той или другой теоріи, что самъ Базаровъ не нашелъ бы въ этихъ отношеніяхъ ничего робкаго или фальшиваго“. Тургеневъ есть „искренній художникъ, не уродую-

„щій дѣйствительность, а изображающій ее какъ она „есть“. Вслѣдствіе этой „честной, чистой натуры художника“, „его образы живутъ своею жизнью; онъ любитъ ихъ, увлекается ими, онъ привязывается къ нимъ во время процесса творчества; и ему становится невозможнымъ помыкать ими по своей прихоти и превращать картину жизни въ аллегорію съ нравственною цѣлью и съ добродѣтельною развязкою“.

Всѣ эти отзывы сопровождаются тонкимъ разборомъ дѣйствій и мнѣній Базарова, показывающимъ, что критикъ понимаетъ ихъ и вполне имъ сочувствуетъ. Послѣ этого понятно, къ какому заключенію долженъ былъ прийти г. Писаревъ, какъ членъ молодого поколѣнія.

„Тургеневъ“ — пишетъ онъ — „оправдалъ Базарова и оцѣнилъ его по достоинству. Базаровъ вышелъ у него изъ испытанія чистымъ и крѣпкимъ“. „Смыслъ романа вышелъ такой: теперешніе молодые люди увлекаются и впадаютъ въ крайности; но въ самыхъ увлеченіяхъ скажутся свѣжая сила и неподкупный умъ; эта сила и этотъ умъ дадутъ себя знать въ минуту тяжелыхъ испытаній; эта сила и этотъ умъ безъ всякихъ постороннихъ пособій и вліяній выведутъ молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержать ихъ въ жизни“.

„Кто прочелъ въ романѣ Тургенева эту прекрасную мысль, тотъ не можетъ не изъяснить ему глубокой и горячей признательности, какъ великому художнику и честному гражданину Россіи!“

Вотъ искреннее и неопровержимое свидѣтельство того, какъ вѣренъ поэтический инстинктъ Тургенева; вотъ полное торжество всепокоряющей и всепримиряющей силы поэзіи! Въ подражаніе г. Писареву, мы готовы

воскликнуть: честь и слава художнику, который дождался такого отзыва отъ тѣхъ, кого онъ изображалъ!

Восторгъ г. Писарева вполне доказываетъ, что Базаровы существуютъ если не въ дѣйствительности, то въ возможности, и что они поняты г. Тургеневымъ по крайней мѣрѣ въ той степени, въ какой сами себя понимаютъ. Для предотвращенія недоразумѣній замѣтимъ, что совершенно неумѣстна придирчивость, съ которою нѣкоторые смотрятъ на романъ Тургенева. Судя по его заглавію, они требуютъ, чтобы въ немъ было *вполнѣ* изображено все старое и все новое поколѣніе. Почему же такъ? Почему не удовольствоваться изображеніемъ *нѣкоторыхъ* отцовъ и *нѣкоторыхъ* дѣтей? Если же Базаровъ есть дѣйствительно *одинъ* изъ представителей молодого поколѣнія, то другіе представители должны необходимо находиться въ родствѣ съ этимъ представителемъ.

Доказавъ фактами, что Тургеневъ понимаетъ Базаровыхъ по крайней мѣрѣ настолько, насколько они сами себя понимаютъ, мы теперь пойдемъ дальше и покажемъ, что Тургеневъ понимаетъ ихъ гораздо лучше, чѣмъ они сами себя понимаютъ. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго и необыкновеннаго: таково всегдашнее преимущество, неизмѣнная привилегія поэтовъ. Поэты вѣдь — пророки, провидцы; они проникаютъ въ самую глубину вещей и открываютъ въ нихъ то, что оставалось скрытымъ для обыкновенныхъ глазъ. Базаровъ есть типъ, идеаль, явленіе, „возведенное въ перлъ созданія“; понятно, что онъ стоитъ выше дѣйствительныхъ явленій базаровщины. Наши Базаровы — только Базаровы отчасти, тогда какъ Базаровъ Тургенева есть Базаровъ по превосходству, по преимуществу. И, слѣдовательно, когда о немъ станутъ судить

тѣ, которые не доросли до него, они во многихъ случаяхъ не поймутъ его.

Наши критики, даже и г. Писаревъ, недовольны Базаровымъ. Люди отрицательнаго направленія не могутъ помириться съ тѣмъ, что Базаровъ дошелъ въ отрицаніи послѣдовательно до конца. Въ самомъ дѣлѣ, они недовольны героемъ за то, что онъ отрицаетъ 1) изящество жизни, 2) эстетическое наслажденіе, 3) науку. Разберемъ эти три отрицанія подробнѣе; такимъ образомъ намъ уяснится самъ Базаровъ.

Фигура Базарова имѣетъ въ себѣ нѣчто мрачное и рѣзкое. Въ его наружности нѣтъ ничего мягкаго и красиваго; его лицо имѣло другую, не внѣшнюю красоту: „оно оживлялось спокойною улыбкою и выражало самоувѣренность и умъ“ Онъ мало заботится о своей наружности и одѣвается небрежно. Точно также, въ своемъ обращеніи онъ не любитъ никакихъ излишнихъ вѣжливостей, пустыхъ, неимѣющихъ значенія формъ, внѣшняго лаку, который ничего не покрываетъ. Базаровъ *простъ* въ высшей степени, и отъ этого, между прочимъ, зависитъ та легкость, съ которою онъ сходится съ людьми, начиная отъ дворовыхъ мальчишекъ и до Анны Сергѣевны Одинцовой. Такъ опредѣляетъ Базарова самъ юный другъ его Аркадій Кирсановъ:

«Ты съ нимъ пожалуйта не церемонься», — говоритъ онъ своему отцу; — «онъ чудесный малый, такой простой, ты увидишь».

Чтобы рѣзче выставить простоту Базарова, Тургеневъ противопоставилъ ей изысканность и щепетильность Павла Петровича. Отъ начала до конца повѣсти авторъ не забываетъ подсмѣяться надъ его воротничками, ду-

хами, усами, ногтями и всѣми другими признаками нѣжнаго ухаживанія за собственною особою. Не менѣе юмористически изображено обращеніе Павла Петровича, его *прикосновеніе усами* вмѣсто поцѣлуя, его ненужныя деликатности и пр.

Послѣ этого, очень странно, что почитатели Базарова недовольны его изображеніемъ въ этомъ отношеніи. Они находятъ, что авторъ придалъ ему *грубыя манеры*, что онъ выставилъ его *неотесаннымъ, дурно воспитаннымъ*, котораго *нельзя пустить въ порядочную гостиную*. Такъ выражается г. Писаревъ и на этомъ основаніи приписываетъ г. Тургеневу *коварный умыселъ уронить и опошлить* своего героя въ глазахъ читателей. По мнѣнію г. Писарева, Тургеневъ поступилъ весьма несправедливо; „можно быть крайнимъ матеріалистомъ, полнѣйшимъ эмпирикомъ и въ то же время заботиться о своемъ туалетѣ, обращаться утонченно-вѣжливо со своими знакомыми, быть любезнымъ собесѣдникомъ и совершеннымъ джентльменомъ. Это я говорю“ — прибавляетъ критикъ — „для тѣхъ читателей, которые, придавая важное значеніе утонченнымъ манерамъ, съ отвращеніемъ посмотрятъ на Базарова, какъ на человека *mal élevé* и *mauvais ton*. Онъ дѣйствительно *mal élevé* и *mauvais ton*, но это нисколько не относится къ сущности типа...“.

Разсужденія объ изяществѣ манеръ и о тонкости обращенія, какъ извѣстно, предметъ весьма затруднительный. Нашъ критикъ какъ видно большой знатокъ въ этомъ дѣлѣ, и потому мы не станемъ съ нимъ тягаться. Это тѣмъ легче для насъ, что мы вовсе не желаемъ имѣть въ виду читателей, которые *придаютъ важное значеніе утонченнымъ манерамъ* и заботамъ о туалетѣ. Такъ какъ мы не сочувствуемъ этимъ читателямъ и

мало знаемъ толку въ этихъ вещахъ, то понятно, что Базаровъ ни мало не возбуждаетъ въ насъ отвращенія и не кажется намъ ни *mal élevé*, ни *mauvais ton*. Съ нами, кажется, согласны и всѣ дѣйствующія лица романа. Простота обращенія и фигуры Базарова возбуждаютъ въ нихъ не отвращеніе, а скорѣе внушаютъ къ нему уваженіе; онъ радушно принимаетъ въ *гостиной* Анны Сергѣевны, гдѣ засѣдала даже какая-то плохенькая княжна.

Изящныя манеры и хорошій туалетъ, конечно, суть вещи хорошія; но мы сомнѣваемся, чтобы они были къ лицу Базарову и шли къ его характеру. Человѣкъ глубоко преданный одному дѣлу, предназначившій себя, какъ онъ самъ говоритъ, для „жизни горькой, терпкой, бо-быльной“, онъ ни въ какомъ случаѣ не могъ играть роль утонченнаго джентльмена, не могъ быть любезнымъ собесѣдникомъ. Онъ легко сходится съ людьми; онъ живо заинтересовывается всѣхъ, кто его знаетъ; но этотъ интересъ заключается вовсе не въ тонкости обращенія.

Глубокій аскетизмъ проникаетъ собою всю личность Базарова; это черта не случайная, а существенно необходимая. Характеръ этого аскетизма совершенно особенный, и въ этомъ отношеніи должно строго держаться настоящей точки зрѣнія, то-есть той самой, съ которой смотритъ Тургеневъ. Базаровъ отрекается отъ благъ этого міра, но онъ дѣлаетъ между этими благами строгое различіе. Онъ охотно ѣстъ вкусные обѣды и пьетъ шампанское; онъ не прочь даже поиграть въ карты. Г. Антоновичъ въ „Современникѣ“ видитъ здѣсь тоже *коварный умыселъ* Тургенева и увѣряетъ насъ, что поэтъ выставилъ своего героя *обжорой, пьянчужкой и картежникомъ*. Дѣло, однако же, имѣетъ совсѣмъ не такой видъ. Базаровъ понимаетъ, что простыя или чисто тѣлесныя

удовольствія гораздо законнѣе и простительнѣе наслажденій иного рода. Базаровъ понимаетъ, что есть соблазны болѣе гибельные, болѣе растлѣвающіе душу, чѣмъ, на-примѣръ, бутылка вина, и онъ бережется не того, что можетъ погубить тѣло, а того, что погубляетъ душу. Наслажденіе тщеславіемъ, джентльменствомъ, мысленный и сердечный развратъ всякаго рода для него гораздо противнѣе и ненавистнѣе, чѣмъ ягоды со сливками или пулька въ преферансъ. Вотъ отъ какихъ соблазновъ онъ бережетъ себя; вотъ тотъ высшій аскетизмъ, которому преданъ Базаровъ. За чувственными удовольствіями онъ не гоняется, онъ наслаждается ими только при случаѣ; онъ такъ глубоко занятъ своими мыслями, что для него никогда не можетъ быть затрудненія отказаться отъ этихъ удовольствій; однимъ словомъ, онъ потому предается этимъ простымъ удовольствіямъ, что онъ всегда выше ихъ, что они никогда не могутъ завладѣть имъ. Зато тѣмъ упорнѣе и суровѣе онъ отказывается отъ такихъ наслажденій, которыя могли бы стать выше его и завладѣть его душою.

Вотъ откуда объясняется и то болѣе разительное обстоятельство, что Базаровъ отрицаетъ эстетическія наслажденія, что онъ не хочетъ любоваться природою и не признаетъ искусства. Обоихъ нашихъ критиковъ это отрицаніе искусства привело въ великое недоумѣніе.

„Мы отрицаемъ“—пишетъ г. Антоновичъ—„только „ваше искусство, вашу поэзію, г. Тургеневъ; но не отрицаемъ и даже требуемъ другаго искусства и поэзіи, „хоть такой поэзіи, какую представилъ, на-примѣръ, „Гёте“. „Были люди“,—замѣчаетъ критикъ въ другомъ мѣстѣ—„которые изучали природу и наслаждались ею, „понимали смыслъ ея явленій, знали движеніе волнъ и

„травъ прозябанье, читали звѣздную книгу ясно, научно, „безъ мечтательности, и были великими поэтами“.

Г. Антоновичъ очевидно не хочетъ приводить стиховъ, которые всѣмъ извѣстны:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Дѣло ясное: г. Антоновичъ объявляетъ себя поклонникомъ Гёте и утверждаетъ, что молодое поколѣніе признаетъ поэзію *великаго старца*. Отъ него, говоритъ онъ, мы научились „вышему и разумному наслажденію природой“. Вотъ неожиданный и, признаемся, весьма сомнительный фактъ! Давно ли же это „Современникъ“ сдѣлался поклонникомъ тайнаго совѣтника Гёте? „Современникъ“ вѣдь очень много говоритъ о литературѣ; онъ особенно любитъ стихишки. Чуть бывало появится сборникъ какихъ-нибудь стихотвореній, ужъ на него непременно пишется разборъ. Но чтобы онъ много толковалъ о Гёте, чтобы ставилъ его въ образецъ, — этого, кажется, вовсе не бывало. „Современникъ“ бранилъ Пушкина: вотъ это всѣ помнятъ; но прославлять Гёте, — ему случается, кажется, въ первый разъ, если не поминать давно прошедшихъ и забытыхъ годовъ. Чтò же это значитъ? Развѣ ужъ очень понадобился?

Да и возможное ли дѣло, чтобы „Современникъ“ восхищался Гёте, эгоистомъ Гёте, который служитъ вѣчною ссылкой для поклонниковъ искусства для искусства, который представляетъ образецъ олимпійскаго безучастія къ земнымъ дѣламъ, который пережилъ революцію, по-

кореніе Германіи и войну освобожденія, не принимая въ нихъ сердечнаго участія, глядя на всѣ событія свысока!..

Не можемъ мы также думать, чтобы молодое поколѣніе училось наслажденію природой или чему-нибудь другому у Гёте. Дѣло это извѣстное; если молодое поколѣніе читаетъ поэтовъ, то ужъ никакъ не Гёте; вмѣсто Гёте оно много-много читаетъ Гейне, вмѣсто Пушкина — Некрасова. Если г. Антоновичъ столь неожиданно объявилъ себя приверженцемъ Гёте, то это еще не доказываетъ, что молодое поколѣніе расположено упиваться гётевскою поэзіею, что оно учится у Гёте наслаждаться природою.

Гораздо прямѣе и откровеннѣе излагаетъ дѣло г. Писаревъ. Отъ также находить, что, отрицая искусство, Базаровъ *завирается*, отрицаетъ вещи, *которыхъ не знаетъ, или не понимаетъ*. „Поэзія“ — говоритъ критикъ — „по его мнѣнію ерунда; читать Пушкина — потерянное время; заниматься музыкою — смѣшно; наслаждаться природою — нелѣпо“. Для опроверженія такихъ заблужденій г. Писаревъ не прибѣгаетъ къ авторитетамъ, какъ сдѣлалъ г. Антоновичъ, но старается собственноручно объяснить намъ законность эстетическихъ наслажденій. Отвергать ихъ, говоритъ онъ, нельзя: вѣдь это значило бы отвергать наслажденіе „пріятнымъ раздраженіемъ зрительныхъ и слуховыхъ нервовъ“. Вѣдь, напримѣръ, „наслажденіе музыкою есть чисто-физическое ощущеніе“. „Послѣдовательные матеріалисты, въ родѣ Карла Фохта, „Молешотта и Бюхнера, не отказываютъ поденщику въ „чаркѣ водки, а достаточнымъ классамъ въ употребленіи „наркотическихъ веществъ. Они смотрятъ снисходительно „даже на нарушенія должной мѣры, хотя признаютъ по-

„добныя нарушенія вредными для здоровья“. „Отчего же, „допуская употребленіе водки и наркотическихъ веществъ „вообще, не допустить наслажденія природою?“ И точно такъ, если можно пить водку, то отчего же нельзя читать Пушкина? Отсюда мы уже должны ясно видѣть, что, такъ-какъ Базаровъ допускалъ питье водки и самъ ее пилъ, то онъ поступаетъ непоследовательно, смѣясь надъ чтеніемъ Пушкина и надъ игрою на виолончели.

Очевидно, Базаровъ смотритъ на вещи не такъ, какъ г. Писаревъ. Г. Писаревъ, повидимому, признаетъ искусство, а на самомъ дѣлѣ онъ его отвергаетъ, то-есть не признаетъ за нимъ его настоящаго значенія. Базаровъ прямо отрицаетъ искусство, но отрицаетъ его потому, что глубже понимаетъ его. Очевидно, музыка для Базарова не есть чисто-физическое занятіе и читать Пушкина не все равно, что пить водку. Въ этомъ отношеніи, герой Тургенева несравненно выше своихъ послѣдователей. Въ мелодіи Шуберта и въ стихахъ Пушкина онъ ясно слышитъ враждебное начало; онъ чувствуетъ ихъ все-увлекающую силу и потому вооружается противъ нихъ.

Въ чемъ же состоитъ эта сила искусства, враждебная Базарову? Выражаясь какъ можно проще, можно сказать, что искусство есть нѣчто слишкомъ *сладкое*, тогда какъ Базаровъ никакихъ сладостей не любитъ, а предпочитаетъ имъ горькое. Выражаясь точнѣе, но нѣсколько старымъ языкомъ, можно сказать, что искусство всегда носитъ въ себѣ элементъ *примиренія*, тогда какъ Базаровъ вовсе не желаетъ примириться съ жизнью. Искусство есть идеализмъ, созерцаніе, отрѣшеніе отъ жизни и поклоненіе идеаламъ; Базаровъ же реалистъ, не созерцатель, а дѣятель, признающій одни дѣйствительныя явленія и отрицающій идеалы.

Все это вѣрно чувствовалось и чувствуется многими, между прочимъ и „Современникомъ“. „Современникъ“ стяжалъ себѣ не мало лавровъ въ борьбѣ противъ искусства, начиная отъ хвалебной рецензіи на диссертацию г. Чернышевскаго: „*Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности*“ (1854) и до послѣднихъ экономическихъ соображеній самого г. Чернышевскаго, по которымъ художники не заслуживаютъ *никакого вещественнаго вознагражденія* за свои произведенія, а наслаждаться этими произведеніями позволительно только тогда, когда уже ничѣмъ полезнымъ заняться невозможно („Современникъ“ 1861 г., № 11).

Вражда къ искусству составляетъ важное явленіе и не есть мимолетное заблужденіе; напротивъ, она глубоко коренится въ духѣ настоящаго времени. Искусство всегда было и всегда будетъ областью *вѣчнаго*: отсюда понятно, что жрецы искусства, какъ жрецы вѣчнаго, легко начинаютъ презрительно смотрѣть на все временное; по крайней мѣрѣ, они иногда считаютъ себя правыми, когда предаются вѣчнымъ интересамъ, не принимая никакого участія во временныхъ. И, слѣдовательно, тѣ, которые дорожатъ временнымъ, которые требуютъ сосредоточенія всей дѣятельности на потребностяхъ настоящей минуты, на насущныхъ дѣлахъ,—необходимо должны стать во враждебное отношеніе къ искусству.

Что значитъ, напримѣръ, мелодія Шуберта? Попробуйте объяснить, какое дѣло дѣлалъ художникъ, создавая эту мелодію, и какое дѣло дѣлаютъ тѣ, кто ее слушаетъ? Искусство, говорятъ иные, есть суррогатъ науки; оно косвенно способствуетъ распространенію свѣдѣній. Попробуйте же рассмотреть, какое знаніе или свѣдѣніе содержится и распространяется въ этой мелодіи? Что

нибудь одно изъ двухъ: или тотъ, кто предаётся наслажденію музыки, занимается совершенными пустяками, *физическимъ ощущеніемъ*; или же его восторгъ относится къ чему-то отвлеченному, общему, безпредѣльному и, однако же, живому и до конца овладѣвающему человѣческой душою.

Восторгъ — вотъ зло, противъ котораго идетъ Базаровъ и котораго онъ не имѣетъ причины опасаться отъ рюмки водки. Искусство имѣетъ притязаніе и силу становиться гораздо выше *пріятнаго раздраженія зрительныхъ и слыхательныхъ нервовъ*; вотъ этого-то притязанія и этой власти не признаетъ законными Базаровъ.

Какъ мы сказали, отрицаніе искусства есть одно изъ современныхъ стремленій. Напрасно г. Антоновичъ испугался Гёте или по крайней мѣрѣ пугаетъ имъ другихъ: можно отрицать и Гёте. Не даромъ нашъ вѣкъ называютъ анти-эстетическимъ. Конечно, искусство непобѣдимо и содержитъ въ себѣ неистощимую, вѣчно обновляющуюся силу; тѣмъ не менѣе, вѣяніе новаго духа, которое обнаружилось въ отрицаніи искусства, имѣетъ, конечно, глубокое значеніе.

Оно особенно понятно для насъ, русскихъ. Базаровъ въ этомъ случаѣ представляетъ живое воплощеніе одной изъ сторонъ русскаго духа. Мы вообще мало расположены къ изящному; мы для этого слишкомъ трезвы, слишкомъ практичны. Сплошь и рядомъ можно найти между нами людей, для которыхъ стихи и музыка кажутся чѣмъ-то или приторнымъ, или ребяческимъ. Восторженность и высокопарность намъ не по нутру; мы больше любимъ простоту, ѣдкій юморъ, насмѣшку. А на этотъ счетъ, какъ видно изъ романа, Базаровъ самъ великій художникъ.

Пойдемъ далѣе. Базаровъ отрицаетъ науку. На этотъ разъ наши критики раздѣлились. Г. Писаревъ вполне понимаетъ и одобряетъ это отрицаніе, г. Антоновичъ принимаетъ его за клевету, взведенную Тургеневымъ на молодое поколѣніе.

„Курсъ естественныхъ и медицинскихъ наукъ, прослушанный Базаровымъ“, — говоритъ г. Писаревъ, — „развилъ его природный умъ и отучилъ его принимать на вѣру какія бы то ни было понятія и убѣжденія; онъ сдѣлался чистымъ эмпирикомъ; опытъ сдѣлался для него единственнымъ источникомъ познанаія, личное ощущеніе — единственнымъ и послѣднимъ убѣдительнымъ доказательствомъ. Я придерживаюсь отрицательнаго направленія — говоритъ онъ — въ силу ощущеній. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ — и баста! Отчего мнѣ нравится химія? Отчего ты любишь яблоки? Тоже въ силу ощущенія — это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнутъ. Не всякій тебѣ это скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу“. „Итакъ“ — заключаетъ критикъ — „ни надъ собой, ни внѣ себя, ни внутри себя Базаровъ не знаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого (теоретическаго) принципа“.

Что касается до г. Антоновича, то такое умственное настроеніе Базарова онъ считаетъ весьма нелѣпымъ и позорнымъ. Весьма жаль только, что, какъ онъ ни усиливается, онъ никакъ не можетъ показать, въ чемъ же состоитъ эта нелѣпость.

„Разберите“ — говоритъ онъ — „приведенныя выше воззрѣнія и мысли, выдаваемые романомъ за современныя: развѣ они не походятъ на кашу? Теперь нѣтъ принциповъ, то-есть ни одного принципа не прини-

„мають на вѣру“; да самое же это рѣшеніе не принимаетъ ничего на вѣру и есть принципъ!“

Конечно, такъ. Однако же, какой хитрый человекъ г. Антоновичъ: нашелъ противорѣчіе у Базарова! Тотъ говоритъ, что у него нѣтъ принциповъ, — и вдругъ оказывается, что есть!

„И ужели этотъ принципъ не хорошъ?“ продолжаетъ г. Антоновичъ. — „Ужели человекъ энергическій „будетъ отстаивать и проводить въ жизнь то, что онъ „принялъ извнѣ, отъ другаго, на вѣру, и что не соответствуетъ всему его настроенію и всему его развитію?“

Ну вотъ это странно. Противъ кого вы говорите, г. Антоновичъ? Вѣдь вы, очевидно, защищаете *принципы* Базарова; а вѣдь вы собрались доказывать, что у него каша въ головѣ. Что же это значить?

Но чѣмъ дальше, тѣмъ удивительнѣе.

«И даже» — пишетъ критикъ — «когда принципъ принимается на вѣру, это дѣлается не безпричинно, а вслѣдствіе какого-нибудь основанія, лежащаго въ самомъ же человекѣ. Есть много принциповъ на вѣру; но признать тотъ или другой изъ нихъ зависитъ отъ личности, отъ ея расположенія и развитія; значитъ, все сводится къ авторитету, который заключается въ личности человека (*т. е., какъ говоритъ г. Писаревъ, личное ощущеніе есть единственное и послѣднее убѣдительное доказательство*); онъ самъ опредѣляетъ и внѣшніе авторитеты, и значеніе ихъ для себя. И когда молодое поколѣніе не принимаетъ вашихъ *принциповъ* *), значитъ, они не удовлетворяютъ его натурѣ; внутреннія побужденія (*ощущенія*?) располагаютъ въ пользу другихъ *принциповъ*».

Лснѣ дня, что все это суть базаровскія идеи. Г. Антоновичъ, очевидно, противъ кого-то ратуетъ; но противъ

*) По произношенію Павла Петровича.

кого, неизвѣстно; потому что все, что онъ говоритъ, служить подтвержденіемъ мнѣній Базарова, а никакъ не доказательствомъ, что они представляютъ *кашу*.

Должно быть самъ г. Антоновичъ почувствовалъ наконецъ, что изъ его словъ выходитъ не совсѣмъ то, что нужно, и потому онъ заключаетъ такъ: „Что значитъ невѣріе въ науку и непризнаніе науки вообще, — объ этомъ нужно спросить у самого г. Тургенева; гдѣ онъ наблюдалъ такое явленіе, и въ чемъ оно обнаруживается, нельзя понять изъ его романа“

По этому случаю мы могли бы многое вспомнить, на примѣръ, хотя бы то, какъ „Современникъ“ смѣялся надъ исторіей, какъ онъ потомъ намекалъ, что можно обойтись и безъ философіи и что нѣмцы нынче дошли до такой премудрости, что опровергли нѣкоторыя науки цѣликомъ. Говоримъ это для примѣра, а не то чтобы мы указывали важнѣйшіе случаи. Но — не станемъ отвлекаться отъ дѣла.

Не говоря о проявленіи образа мыслей Базарова въ цѣломъ романѣ, укажемъ здѣсь на нѣкоторые разговоры, которые поясняютъ дѣло.

— Это вы все стало-быть отвергаете? (говоритъ Базарову Павелъ Петровичъ). — Положимъ. Значитъ вы вѣрите въ одну науку?

— Я уже доложилъ вамъ, отвѣчалъ Базаровъ, — что ни во что не вѣрю; и что такое наука, наука вообще? Есть науки, какъ есть ремесла, званія, а науки вообще не существуетъ вовсе.

Въ другой разъ не менѣе рѣзко и отчетливо возразилъ Базаровъ своему сопернику.

— Помилуйте, (сказалъ тотъ) — логика исторіи требуетъ...

— Да на что намъ эта логика? отвѣчалъ Базаровъ: — мы и безъ нея обходимся.

— Какъ такъ?

— Да такъ-же. Вы, я надѣюсь, не нуждаетесь въ логикѣ для того, чтобы положить себѣ кусокъ хлѣба въ ротъ, когда вы голодны. Куда намъ до этихъ отвлеченностей!

Уже отсюда можно видѣть, что воззрѣнія Базарова не представляютъ каши, какъ старается увѣрить критикъ, а напротивъ, образуютъ твердую и строгую цѣпь понятій. Вражда противъ науки есть также современная черта, и даже болѣе глубокая и болѣе распространенная, чѣмъ вражда противъ искусства. Подъ наукою мы разумѣмъ именно то, чтò разумѣется подъ *наукою вообще* и чтò, по мнѣнію нашего героя, не существуетъ вовсе. Наука для насъ не существуетъ, какъ скоро мы признаемъ, что она не имѣетъ никакихъ общихъ требованій, никакихъ общихъ методовъ и общихъ законовъ, что каждое знаніе существуетъ само по себѣ. Такое отрицаніе отвлеченности, такое стремленіе къ конкретности въ самой области отвлеченія, въ области знанія, составляетъ одно изъ вѣяній новаго духа. Представителемъ его былъ и есть тотъ знаменитый философъ, котораго нѣкоторые мыслители у насъ провозгласили *последнимъ* философомъ, а себя при этомъ случаѣ его вѣрными учениками *). Ему принадлежитъ отрицаніе науки въ ея чистѣйшей формѣ, въ формѣ философіи: „*моя философія*—говоритъ онъ—*состоитъ въ томъ, что я отвергаю всякую философію*“.

Конечно, г. Антоновичъ легко-бы поймалъ его, точно такъ, какъ онъ поймалъ Базарова: „ну вотъ,—сказалъ бы онъ: — вы отрицаете всякую философію, а между тѣмъ самое это отрицаніе уже и составляетъ философію!“ Дѣло это однако же не разрѣшается такъ легко.

*) Фейербахъ.

Отрицаніе отвлеченныхъ понятій, отрицаніе мысли составляетъ слѣдствіе болѣе крѣпкаго, болѣе прямого признанія дѣйствительныхъ явленій, признанія жизни. Это разногласіе между жизнью и мыслью никогда такъ сильно не чувствовалось, какъ теперь. Оно проявляется въ безчисленныхъ формахъ и есть важное современное явленіе. Никогда философія не играла такой жалкой роли, какъ въ настоящее время. Надъ нею, кажется, сбывается пророчество Шеллинга (1806): „тогда“—говоритъ онъ—„пресыщеніе отвлеченностями и голыми понятіями само укажетъ намъ единственное средство испѣлать душу—именно, погрузиться въ частныя явленія“. И дѣйствительно, всего болѣе разрабатываются, всего болѣе уважаются всѣми естественныя науки, т. е. науки, для которыхъ исходомъ служатъ факты, частныя явленія. Другія науки потеряли то уваженіе, которымъ нѣкогда пользовались. Мы даже привыкли къ мысли, что онѣ нѣсколько портятъ человѣка, уродуютъ его, а не возвышаютъ. Мы знаемъ, что занятія науками отвлекаютъ отъ жизни, порождаютъ доктринеровъ, мѣшаютъ живому сочувствію къ современности.

Ученость стала для насъ подозрительною; каеэдра потеряла свое значеніе, исторія—свой авторитетъ. Это *обратное движеніе* ума, это самоотверженіе мысли совершается съ глубокою силою и составляетъ одинъ изъ существенныхъ элементовъ современной умственной жизни.

Чтобы еще указать нѣкоторыя его характеристическія черты, приведемъ здѣсь мѣста изъ романа, поразившія насъ необыкновенною пронизательностью, съ которою Тургеневъ понялъ духъ базаровскаго направленія.

— Мы ломаемъ, потому что мы сила,—замѣтилъ Аркадій. Павелъ Петровичъ посмотрѣлъ на своего племянника и усмѣхнулся.

— Да, сила, такъ и не даетъ отчета,—проговорилъ Аркадій и выпрямился.

— Несчастный!—возопилъ Павелъ Петровичъ—хоть бы ты подумалъ, что въ Россіи ты поддерживаешь твоею пошлою сентенціей?... Но васъ—раздавятъ!

— Коли раздавятъ, туда и дорога!—промолвилъ Базаровъ,—Только бабушка еще надвое сказала. Насъ не такъ мало, какъ вы полагаете.

Это прямое и чистое признаніе силы за право есть ничто иное, какъ прямое и чистое признаніе *дѣйствительности*; не оправданіе, не объясненіе или выводъ ея,—все это здѣсь лишнее,—а именно простое *признаніе*, которое такъ крѣпко само по себѣ, что не требуетъ никакихъ постороннихъ поддержекъ. Отреченіе отъ мысли, какъ отъ чего-то совершенно ненужнаго, здѣсь вполне ясно. Разсужденія ничего не могутъ прибавить къ этому признанію.

«Нашъ народъ—(говоритъ въ другомъ мѣстѣ Базаровъ)—русскій, а развѣ я самъ не русскій?» «Мой дѣдъ землю пахалъ». «Вы порицаете мое направленіе, а кто вамъ сказалъ, что оно случайно, что оно не вызвано тѣмъ самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы ратуете?»

Такова эта простая логика, сильная именно тѣмъ, что не разсуждаетъ тамъ, гдѣ разсужденія ненужны. Базаровы, какъ скоро они стали дѣйствительно Базаровыми, не имѣютъ никакой нужды оправдывать себя. Они не фантазмагорія, не миражъ: они суть нѣчто крѣпкое и дѣйствительное; имъ нѣтъ нужды доказывать свои права на существованіе, потому что они уже дѣйствительно

существуютъ. Оправданіе нужно только явленіямъ, которыя подозрѣваются въ фальши, или которыя еще не достигли дѣйствительности.

„Я пою, какъ птица поетъ“, говорилъ въ свое оправданіе поэтъ.—„Я, Базаровъ, точно такъ, какъ липа есть липа, а береза—береза“, могъ бы сказать Базаровъ. Зачѣмъ ему подчиняться исторіи и народному духу, или какъ-нибудь сообразоваться съ ними, или даже просто думать о нихъ, когда онъ самъ и есть исторія, самъ и есть проявленіе народнаго духа?

Вѣруя *такимъ образомъ* въ себя, Базаровъ несомнѣнно увѣренъ въ тѣхъ силахъ, которыхъ часть онъ составляетъ. „Насъ не такъ мало, какъ вы полагаете“.

Изъ такого пониманія себя послѣдовательно вытекаетъ еще одна важная черта въ настроеніи и дѣятельности истинныхъ Базаровыхъ. Два раза горячій Павелъ Петровичъ приступаетъ къ своему противнику съ сильнѣйшимъ своимъ возраженіемъ и получаетъ одинаковый многозначительный отвѣтъ.

— Матеріализмъ,—(говоритъ Павелъ Петровичъ),—который вы проповѣдуете, былъ уже не разъ въ ходу и не разъ оказывался несостоятельнымъ...

— Опять иностранное слово!—перебилъ Базаровъ.—Вопервыхъ *мы ничего не проповѣдуемъ*: это не въ нашихъ привычкахъ...

Черезъ нѣсколько времени Павелъ Петровичъ опять попадаетъ на эту же тему.

— За что же—(говоритъ онъ)—вы другихъ-то, хоть бы тѣхъ-же обличителей честите? Не такъ же ли вы болтаете, какъ и всѣ?

— Чѣмъ другимъ, а *этимъ грѣхомъ не грѣшимъ*,—произнесъ сквозь зубы Базаровъ.

Чтобы быть вполне и до конца послѣдовательнымъ, Базаровъ отказывается отъ проповѣдыванія, какъ отъ праздно болтовни. И въ самомъ дѣлѣ, проповѣдь, вѣдь, была бы ничѣмъ инымъ, какъ признаніемъ правъ мысли, силы идей. Проповѣдь была-бы тѣмъ оправданіемъ, которое, какъ мы видѣли, для Базарова излишне. Придавать важность проповѣди значило бы признать умственную дѣятельность, признать, что людьми управляютъ не *ощущенія* и нужды, а также мысль и облекающее ее слово. Пуститься проповѣдывать, значитъ пуститься въ отвлеченности, значитъ призвать въ помощь логику и исторію, значитъ сдѣлать себѣ дѣло изъ того, что уже признано пустяками въ самой своей сущности. Вотъ почему Базаровъ неохотникъ до споровъ и разглагольствій и не придаетъ имъ большой цѣны. Онъ видитъ, что логикой много взять нельзя; онъ старается больше дѣйствовать личнымъ примѣромъ и увѣренъ, что Базаровы сами собою народятся въ изобиліи, какъ рождаются извѣстныя растенія тамъ, гдѣ есть ихъ сѣмена. Прекрасно понимаетъ этотъ взглядъ г. Писаревъ. Напримѣръ, онъ говоритъ: „негодование противъ глупости и подлости вообще понятно, но впрочемъ оно такъ же плодотворно, какъ негодование противъ осенней сырости или зимняго холода“. Точно также онъ судитъ и о направленіи Базарова: „если базаровщина болѣзнь, то она болѣзнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какіе палліативы и ампутаціи. Относитесь къ базаровщинѣ какъ угодно—это ваше дѣло, а остановить не остановите; это та же холера“.

Отсюда понятно, что всѣ Базаровы-болтуны, Базаровы-проповѣдники, Базаровы, занятые не дѣломъ, а только своею базаровщиною,—идутъ по ложному пути,

который приводитъ ихъ къ непрерывнымъ противорѣчіямъ и нелѣпостямъ, что они гораздо непослѣдовательнѣе и стоятъ гораздо ниже настоящаго Базарова.

Вотъ какое строгое настроеніе ума, какой твердый складъ мыслей воплотилъ Тургеневъ въ своемъ Базаровѣ. Онъ одѣлъ этотъ умъ плотью и кровью, и исполнилъ эту задачу съ удивительнымъ мастерствомъ. Базаровъ вышелъ человѣкомъ простымъ, чуждымъ всякой изломанности, и вмѣстѣ крѣпкимъ, могучимъ душою и тѣломъ. Все въ немъ необыкновенно идетъ къ его сильной натурѣ. Весьма замѣчательно, что онъ, такъ сказать, *болше русскій*, чѣмъ всѣ остальные лица романа. Его рѣчь отличается простотою, мѣткостью, насмѣшливостью и совершенно русскимъ складомъ. Точно также, между лицами романа онъ всѣхъ легче сближается съ народомъ, всѣхъ лучше умѣетъ держать себя съ нимъ.

Все это какъ нельзя лучше соотвѣтствуетъ простотѣ и прямотѣ того взгляда, который исповѣдуется Базаровымъ. Человѣкъ, глубоко проникнутый извѣстными убѣжденіями, составляющій ихъ полное воплощеніе, необходимо долженъ выйти и естественнымъ, слѣдовательно близкимъ къ своей народности, и вмѣстѣ человѣкомъ сильнымъ. Вотъ почему Тургеневъ, создававшій до сихъ поръ такъ сказать раздвоенныя лица, напримѣръ Гамлета щигровскаго уѣзда, Рудина, Лаврецакого, достигъ наконецъ въ Базаровѣ до типа цѣльнаго человѣка. Базаровъ есть первое сильное лицо, первый цѣльный характеръ, явившійся въ русской литературѣ изъ среды такъ называемаго образованнаго общества. Кто этого не цѣнитъ, кто не понимаетъ всей важности такого явленія, тотъ

пусть лучше не судить о нашей литературѣ. Даже г. Антоновичъ это замѣтилъ, какъ можно судить по слѣдующей странной фразѣ: „повидимому, г. Тургеневъ хотѣлъ изобразить въ своемъ героѣ, какъ говорится, *демоническую или байроническую натуру, что-то въ родъ Гамлета*“. Гамлетъ—демоническая натура! Это указываетъ на смутныя понятія о Байронѣ и Шекспирѣ. Но дѣйствительно, у Тургенева вышло *что-то въ родъ демоническаго*, то-есть натура богатая силою, хотя эта сила и не нечистая.

Въ чемъ-же состоитъ дѣйствіе романа?

Базаровъ вмѣстѣ съ своимъ пріятелемъ Аркадіемъ Кирсановымъ, оба студенты, только-что окончившіе курсъ,—одинъ въ медицинской академіи, другой въ университетѣ—пріѣзжаютъ изъ Петербурга въ провинцію. Базаровъ, впрочемъ, человѣкъ уже не первой молодости; онъ уже составилъ себѣ нѣкоторую извѣстность, успѣлъ заявить свой образъ мыслей. Аркадій-же—совершенный юноша. Все дѣйствіе романа происходитъ въ одни *каникулы*, можетъ быть для обоихъ первые каникулы послѣ окончанія курса. Пріятели гостятъ большею частью вмѣстѣ, то въ семействѣ Кирсановыхъ, то въ семействѣ Базарова, то въ губернскомъ городѣ, то въ деревнѣ вдовы Одинцовой. Они встрѣчаются со множествомъ лицъ, съ которыми или видятся только въ первый разъ, или давно уже не видались; именно, Базаровъ не ѣздилъ домой цѣлыхъ три года. Такимъ образомъ происходитъ разнообразное столкновеніе ихъ новыхъ воззрѣній, вывезенныхъ изъ Петербурга, съ воззрѣніями этихъ лицъ. Въ этомъ столкновеніи заключается весь интересъ романа. Событій и дѣйствій въ немъ очень мало. Подъ конецъ каникулъ Базаровъ почти случайно умираетъ,

заразившись отъ гнойнаго трупа, а Кирсановъ женится, влюбившись въ сестру Одинцовой. Тѣмъ и кончается весь романъ.

Базаровъ является при этомъ истиннымъ героемъ, несмотря на то, что въ немъ нѣтъ, повидимому, ничего блестящаго и поражающаго. Съ перваго его шагу къ нему приковывается вниманіе читателя, и всѣ другія лица начинаютъ вращаться около него, какъ около главнаго центра тяжести. Онъ всего меньше заинтересованъ другими лицами; зато другія лица тѣмъ больше имъ интересуются. Онъ никому не навязывается и не напрашивается, и, однако же, вездѣ, гдѣ появляется, возбуждаетъ самое сильное вниманіе, составляетъ главный предметъ чувствъ и размышленій, любви и ненависти.

Отправляясь гостить у родныхъ и пріятелей, Базаровъ не имѣлъ въ виду никакой особенной цѣли; онъ ничего не ищетъ, ничего не ждетъ отъ этой поѣздки; ему просто хотѣлось отдохнуть, проѣздиться; много-много, что онъ желаетъ иногда *посмотрѣть людей*. Но, при томъ превосходствѣ, которое онъ имѣетъ надъ окружающими его лицами, и вслѣдствіе того, что всѣ они чувствуютъ его силу, сами эти лица напрашиваются на болѣе тѣсныя отношенія къ нему и запутываютъ его въ драму, которой онъ вовсе не хотѣлъ и даже не предвидѣлъ.

Едва онъ явился въ семействѣ Кирсановыхъ, какъ онъ тотчасъ возбуждаетъ въ Павлѣ Петровичѣ раздраженіе и ненависть, въ Николаѣ Петровичѣ уваженіе, смѣшанное со страхомъ, расположеніе Оенички, Дуныши, дворовыхъ мальчишекъ, даже груднаго ребенка Мити, и презрѣніе Прокофьича. Впослѣдствіи дѣло доходитъ до того, что онъ самъ на минуту увлекается и

цѣлуетъ Өеничку, а Павелъ Петровичъ вызываетъ его на дуэль. „Экая глупость! экая глупость!“ повторяетъ Базаровъ, никакъ не ожидавшій такихъ *событій*.

Поѣздка въ городъ, имѣвшая цѣлью *смотреть на-родъ*, также не обходится ему даромъ. Около него начинаютъ вертѣться разные лица. За нимъ ухаживаютъ Ситниковъ и Кукшина, мастерски изображенные лица фальшиваго прогрессиста и фальшивой эманципированной женщины. Они, конечно, не смущаютъ Базарова; онъ относится къ нимъ съ презрѣніемъ, и они служатъ только контрастомъ, отъ котораго еще рѣзче и рельефнѣе выступаютъ его умъ и сила, его полная неподдѣльность. Но тутъ же встрѣчается и камень преткновенія—Анна Сергѣевна Одинцова. Несмотря на все свое хладнокровіе, Базаровъ начинаетъ колебаться. Къ величайшему удивленію своего поклонника Аркадія, онъ разъ даже сконфузился, а другой разъ покраснѣлъ. Не подозрѣвая, однако же, никакой опасности, твердо надѣясь на себя, Базаровъ ѣдетъ гостить къ Одинцовой въ Никольское. И дѣйствительно, онъ владѣетъ собою превосходно. И Одинцова, какъ и всѣ другія лица, заинтересовывается имъ такъ, какъ, вѣроятно, никѣмъ не интересовалась всю свою жизнь. Дѣло оканчивается однако же плохо. Въ Базаровѣ загорается слишкомъ сильная страсть, а увлеченіе Одинцовой не достигаетъ до настоящей любви. Базаровъ уѣзжаетъ почти отвергнутый совершенно, и опять начинаетъ дивиться себѣ и бранить себя. „Чортъ знаетъ, что за вздоръ! Каждый человѣкъ на ниточкѣ виситъ, бездна подъ нимъ ежеминутно разверзнуться можетъ, а онъ еще самъ придумываетъ себѣ всякія неприятности, портитъ свою жизнь“.

Но, несмотря на эти мудрыя разсужденія, Базаровъ

все-таки продолжаетъ невольно портить свою жизнь. Уже послѣ этого урока, уже во время вторичнаго посѣщенія Кирсановыхъ, онъ увлекается Өеничкой и принужденъ выйти на дуэль съ Павломъ Петровичемъ.

Очевидно, Базаровъ вовсе не желаетъ и не ждетъ романа; но романъ совершается помимо его желѣзной воли; жизнь, надъ которою онъ думалъ стоять властелиномъ, захватываетъ его своею широкою волною.

Подъ конецъ разсказа, когда Базаровъ гоститъ у своихъ отца и матери, онъ, очевидно, нѣсколько потерялся послѣ всѣхъ вынесенныхъ потрясеній. Не настолько онъ потерялся, чтобы не могъ поправиться, не могъ черезъ короткое время воскреснуть въ полной силѣ; но все-таки, тѣнь тоски, которая и въ самомъ началѣ лежала на этомъ желѣзномъ человѣкѣ, подъ конецъ становится гуще. Онъ теряетъ охоту заниматься, худѣетъ, начинаетъ трунить надъ мужиками уже не дружелюбно, а желчно. Отъ этого и выходитъ, что на этотъ разъ онъ и мужикъ оказываются непонимающими другъ друга, тогда какъ прежде взаимное пониманіе было до извѣстной степени возможно. Наконецъ Базаровъ нѣсколько оправляется и увлекается медицинскою практикой. Зараженіе, отъ котораго онъ умираетъ, все-таки какъ-будто свидѣтельствуетъ о недостаткѣ вниманія и ловкости, о случайномъ отвлеченіи душевныхъ силъ.

Смерть—такова послѣдняя проба жизни, послѣдняя случайность, которой не ожидалъ Базаровъ. Онъ умираетъ, но и до послѣдняго мгновенія остается чуждымъ этой жизни, съ которою такъ странно столкнулся, которая встревожила его такими *пустяками*, заставила его надѣлать такихъ *глупостей* и, наконецъ, погубила его вслѣдствіе такой *ничтожной* причины.

Базаровъ умираетъ совершеннымъ героемъ, и его смерть производитъ потрясающее впечатлѣніе. До самого конца, до послѣдней вспышки сознанія, онъ не измѣняетъ себѣ ни единымъ словомъ, ни единымъ признакомъ малодушія. Онъ сломленъ, но не побѣжденъ.

Такимъ образомъ, несмотря на короткій срокъ дѣйствія романа и несмотря на быструю смерть Базарова, онъ успѣлъ высказаться вполне, вполне показать свою силу. Жизнь не погубила его, —этого заключенія никакъ нельзя вывести изъ романа, —а пока только дала ему поводы обнаружить свою энергію. Въ глазахъ читателей Базаровъ выходитъ изъ искушенія побѣдителемъ. Всякій скажетъ, что такіе люди, какъ Базаровъ, способны много сдѣлать, что при этихъ силахъ отъ нихъ можно многого ожидать.

Базаровъ, собственно говоря, показанъ только въ узкой рамкѣ, а не во всю ширину человѣческой жизни. Авторъ ничего почти не говоритъ о томъ, какъ развился его герой, какимъ образомъ могло сложиться такое лицо. Точно также, быстрое окончаніе романа оставляетъ совершенною загадкою вопросъ: остался ли бы Базаровъ тѣмъ же Базаровымъ, или, вообще, —какое развитіе суждено ему впереди? И, однако же, то и другое умолчаніе имѣетъ, какъ намъ кажется, свою причину, свое существованіе. Если не показано постепенное развитіе героя, то, безъ сомнѣнія, потому, что Базаровъ образовался не медленнымъ накопленіемъ вліяній, а, напротивъ, быстрымъ, крутымъ переломомъ. Базаровъ три года не былъ дома. Эти три года онъ учился, и вотъ онъ вдругъ является намъ налитаннымъ всѣмъ тѣмъ, чему онъ успѣлъ выучиться. На другое утро послѣ приѣзда, онъ уже отправляется за лягушками, и вообще онъ про-

должаетъ *учебную* жизнь при каждомъ удобномъ случаѣ. Онъ —человѣкъ теоріи, и его создала теорія, создала незамѣтно, безъ событій, безъ всего такого, что можно бы было рассказать, создала однимъ умственнымъ переворотомъ.

Базаровъ скоро умираетъ. Это нужно было художнику для простоты и ясности картины. Въ своемъ теперешнемъ, напряженномъ настроеніи Базаровъ остановиться надолго не можетъ. Рано или поздно онъ долженъ измѣниться, долженъ перестать быть Базаровымъ. Мы не имѣемъ права сѣтовать на художника за то, что онъ не взялъ болѣе широкой задачи и ограничился болѣе узкою. Онъ рѣшился остановиться только на одной ступени въ развитіи своего героя. Тѣмъ не менѣе, на этой ступени развитія, какъ вообще бываетъ въ развитіи, передъ нами явился *весь человѣкъ*, а не отрывочныя его черты. Въ отношеніи къ полнотѣ лица задача художника исполнена превосходно.

Живой, цѣльный человѣкъ схваченъ авторомъ въ каждомъ дѣйствіи, въ каждомъ движеніи Базарова. Вотъ великое достоинство романа, которое содержитъ въ себѣ главный его смыслъ и котораго не замѣтили наши поспѣшные нравоучители. Базаровъ —теоретикъ; онъ человѣкъ странный, односторонне-рѣзкій; онъ проповѣдуетъ необыкновенныя вещи; онъ поступаетъ эксцентрически; онъ школьникъ, въ которомъ вмѣстѣ съ глубокою искренностью соединяется самое грубое *ломанье*; какъ мы сказали —онъ человѣкъ чуждый жизни, то-есть онъ самъ чуждается жизни. Но подъ всѣми этими виѣшними формами льется теплая струя жизни; при всей рѣзкости и дѣланности своихъ проявленій —Базаровъ человѣкъ вполне живой, не фантомъ, не выдумка, а настоящая плоть

и кровь. Онъ отрицается отъ жизни, а между тѣмъ живетъ глубоко и сильно.

Послѣ одной изъ самыхъ удивительныхъ сценъ романа, именно послѣ разговора, въ которомъ Павелъ Петровичъ вызываетъ Базарова на дуэль и тотъ принимаетъ его предложеніе и условливается съ нимъ, Базаровъ, изумленный неожиданнымъ поворотомъ дѣла и странностью разговора, восклицаетъ: „Фу ты чортъ! Какъ „красиво и какъ глупо! Экую мы комедію отломали! Ученныя собаки такъ на заднихъ лапкахъ танцуютъ!“ Мудрено сдѣлать болѣе ядовитое замѣчаніе; и, однако-же, читатель романа чувствуетъ, что разговоръ, который такъ характеризуется Базаровымъ, въ сущности весьма живой и серьезный разговоръ; что, несмотря на всю уродливость и фальшивость его формъ, въ немъ отчетливо выразилось столкновеніе двухъ энергическихъ характеровъ.

То же самое съ необыкновенной ясностью указываетъ намъ поэтъ въ цѣломъ своемъ созданіи. Безпрестанно можетъ показаться, что дѣйствующія лица, и особенно Базаровъ, *комедію ломаютъ*, что они, какъ ученые собаки, *танцуютъ на заднихъ лапкахъ*; а между тѣмъ, изъподъ этой видимости, какъ изъподъ прозрачнаго покрывала, читателю отчетливо видно, что чувства и дѣйствія, лежащія въ основаніи, совсѣмъ не собачьи, а чисто и глубоко человѣческія.

Вотъ съ какой точки зрѣнія всего вѣрнѣе можно оцѣнить дѣйствія и событія романа. Изъ-за всѣхъ шероховатостей, уродливостей, фальшивыхъ и напускныхъ формъ слышна глубокая жизненность всѣхъ явленій и лицъ, выводимыхъ на сцену. Если, напримѣръ, Базаровъ овладѣваетъ вниманіемъ и сочувствіемъ читателя, то вовсе не потому, что каждое его слово свято и каждое дѣй-

ствіе справедливо, но именно потому, что въ сущности всѣ эти слова и дѣйствія вытекаютъ изъ живой души. Повидимому, Базаровъ человѣкъ гордый, страшно самолюбивый и оскорбляющій другихъ своимъ самолюбіемъ; но читатель примиряется съ этой гордостью, потому что въ то же время въ Базаровѣ нѣтъ никакого самодовольства, самоуслажденія; гордость не приноситъ ему никакого счастья. Базаровъ пренебрежительно и сухо обходится со своими родителями; но никто ни въ какомъ случаѣ не заподозритъ его въ услажденіи чувствомъ собственного превосходства или чувствомъ своей власти надъ ними; еще менѣе его можно упрекнуть въ злоупотребленіи этимъ превосходствомъ и этою властью. Онъ просто отказывается отъ нѣжныхъ отношеній къ родителямъ, да и отказывается неполнѣ. Выходитъ что-то странное: онъ неразговорчивъ съ отцомъ, подсмѣивается надъ нимъ, рѣзко уличаетъ его либо въ невѣжествѣ, либо въ нѣжничаньи; а между тѣмъ отецъ не только не оскорбляется, а радъ и доволенъ. „Насмѣшки Базарова ни „сколько не смущали Василія Ивановича; онъ даже „утѣшали его. Придерживая свой засаленный плафрокъ „двумя пальцами на желудкѣ и покуривая трубочку, онъ „съ наслажденіемъ слушалъ Базарова, и чѣмъ болѣе злости „было въ его выходкахъ, тѣмъ добродушнѣе хохоталъ, „выказывая всѣ свои черные зубы, его ослѣпленный „отецъ“. Таковы чудеса любви! Никогда мягкій и добродушный Аркадій не могъ такъ *осчастливить* своего отца, какъ Базаровъ осчастливилъ своего. Базаровъ, конечно, самъ очень хорошо чувствуетъ и понимаетъ это. Зачѣмъ же ему было еще нѣжничать съ отцомъ и измѣнять своей непреклонной послѣдовательности!

Базаровъ вовсе не такой сухой человѣкъ, какъ можно-

бы думать по его внѣшнимъ поступкамъ и по складу его мыслей. Въ жизни, въ отношеніяхъ къ людямъ Базаровъ не послѣдователенъ себѣ; но въ этомъ самомъ и обнаруживается его жизненность. Онъ любитъ людей. „Странное существо человѣкъ“, говоритъ онъ, замѣтивъ въ себѣ присутствіе этой любви, — „хочется съ людьми возиться, хоть ругать ихъ, да возиться съ ними“. Базаровъ не есть отвлеченный теоретикъ, порѣшившій всѣ вопросы и совершенно успокоившійся на этомъ рѣшеніи. Въ такомъ случаѣ онъ былъ бы уродливымъ явленіемъ, каррикатурою, а не человѣкомъ. Вотъ почему, несмотря на всю свою твердость и послѣдовательность въ словахъ и дѣйствіяхъ, Базаровъ легко волнуется; все его задѣваетъ, все на него дѣйствуетъ. Эти волненія не измѣняютъ ни въ чемъ его взгляда и его намѣреній; большею частью они только возбуждаютъ его желчь, озлобляютъ его. Однажды онъ держитъ своему другу Аркадію такую рѣчь: „вотъ ты сегодня сказалъ, проходя мимо „избы вашего старосты Филиппа — она такая славная, бѣлая — вотъ, сказалъ ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у послѣдняго мужика будетъ такое же „помѣщеніе, и всякій изъ насъ долженъ этому способствовать... А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? Ну будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ; ну, а дальше?“ Не правда ли, какія ужасныя, возмутительныя рѣчи?

Черезъ нѣсколько минутъ послѣ нихъ, Базаровъ дѣлаетъ еще хуже; онъ обнаруживаетъ поползновеніе задушить своего нѣжнаго пріятеля, Аркадія, задушить

такъ, ни съ того, ни съ сего, и въ видѣ пріятной пробы уже растопыриваетъ свои длинные и жесткіе пальцы...

Отчего же все это ни мало не вооружаетъ читателя противъ Базарова? Казалось бы, чего хуже? А между тѣмъ, впечатлѣніе, производимое этими случаями, служить не во вредъ Базарову, до того не во вредъ, что самъ г. Антоновичъ (разительное доказательство!), который для того, чтобы доказать коварное намѣреніе Тургенева очернить Базарова, съ чрезмѣрнымъ усердіемъ перетолковываетъ въ немъ все въ дурную сторону, совершенно упустилъ изъ виду эти случаи!

Что же это значитъ? Очевидно, Базаровъ, столь легко сходящійся съ людьми, столь живо интересующійся ими и столь легко начинающій питать къ нимъ злобу, самъ страдаетъ отъ этой злобы болѣе, чѣмъ тѣ, къ кому она относится. Эта злоба не есть выраженіе нарушеннаго эгоизма или оскорбленнаго себялюбія, она есть выраженіе страданія, томленія, производимое отсутствіемъ любви. Несмотря на всѣ свои взгляды, Базаровъ жаждетъ любви къ людямъ. Если эта жажда проявляется злобою, то такая злоба составляетъ только обратную сторону любви. Холоднымъ, отвлеченнымъ человѣкомъ Базаровъ быть не могъ; его сердце требовало полноты, требовало чувствъ; и вотъ онъ злится на другихъ, но чувствуетъ, что ему еще больше слѣдуетъ злиться на себя.

Изо всего этого видно, по крайней мѣрѣ, какую трудную задачу взялъ и, какъ мы думаемъ, выполнилъ въ своемъ послѣднемъ романѣ Тургеневъ. Онъ изобразилъ жизнь подъ мертвящимъ вліяніемъ теоріи; онъ далъ намъ живого человѣка, хотя этотъ человѣкъ, повидимому, самъ себя безъ остатка воплотилъ въ отвлеченную форму. Отъ этого романъ, если его судить поверхностно,

мало понятенъ, представляетъ мало симпатическаго и какъ-будто весь состоитъ изъ неяснаго логическаго построенія; но въ сущности, на самомъ дѣлѣ, — онъ великолѣпно ясенъ, необыкновенно увлекателенъ и трепещетъ самую теплою жизнью.

Почти нѣтъ нужды объяснять, почему Базаровъ вышелъ и долженъ былъ выйти теоретикомъ. Всѣмъ извѣстно, что наши *живые* представители, что „носители думъ“ нашихъ поколѣній уже съ давняго времени отказываются быть *практиками*, что дѣятельное участіе въ окружающей ихъ жизни для нихъ издавна было невозможно. Въ этомъ смыслѣ Базаровъ есть прямой, непосредственный продолжатель Онѣгиныхъ, Печориныхъ, Рудиныхъ, Лаврецкихъ. Точно такъ, какъ они, онъ живетъ пока въ умственной сферѣ и на нее тратитъ душевныя силы. Но въ немъ жажда дѣятельности уже дошла до послѣдней, крайней степени; его теорія вся состоитъ въ прямомъ требованіи дѣла; его настроеніе таково, что онъ неизбежно схватится за это дѣло при первомъ удобномъ случаѣ.

Лица, окружающія Базарова, безсознательно чувствуютъ въ немъ живаго человѣка; вотъ почему къ нему обращено столько привязанностей, сколько не сосредоточивается на себѣ ни одно изъ дѣйствующихъ лицъ романа. Не только отецъ и мать вспоминаютъ и молятся о немъ съ безконечной и невыразимой нѣжностью; воспоминаніе о Базаровѣ, безъ сомнѣнія, и у другихъ лицъ соединено съ любовью; въ минуту счастья Катя и Аркадій чокаются „въ память Базарова“

Таковъ образъ Базарова и для насъ. Онъ не есть существо ненавистное, отталкивающее своими недостат-

ками; напротивъ, его мрачная фигура величава и прिवлекательна.

Какой же смыслъ романа? спросятъ любители голыхъ и точныхъ выводовъ. Составляетъ ли, по вашему, Базаровъ предметъ для подражанія? Или же, скорѣе, его неудачи и шероховатости должны научить Базаровыхъ не впадать въ ошибки и крайности настоящаго Базарова? Однимъ словомъ, написанъ ли романъ *за* молодое поколѣніе, или *противъ* него? Прогрессивный онъ, или ретроградный?

Если ужъ дѣло такъ настоятельно идетъ о намѣреніяхъ автора, о томъ, чему онъ хотѣлъ научить и отъ чего отучить, то на эти вопросы слѣдуетъ, какъ кажется, отвѣчать такъ: дѣйствительно, Тургеневъ хочетъ быть поучительнымъ, но при этомъ онъ выбираетъ задачи, которыя гораздо выше и труднѣе, чѣмъ вы думаете. Написать романъ съ прогрессивнымъ или ретрограднымъ направленіемъ еще вещь нетрудная. Тургеневъ же имѣлъ притязанія и дерзость создать романъ, имѣющій *всевозможныя* направленія; поклонникъ вѣчной истины, вѣчной красоты, онъ имѣлъ гордую цѣль во временномъ указать на вѣчное, и написалъ романъ не прогрессивный и не ретроградный, а такъ, сказать, *вседашній*. Въ этомъ случаѣ его можно сравнить съ математикомъ, старающимся найти какую нибудь важную теорему. Положимъ, что онъ нашелъ наконецъ эту теорему; неправда ли, что онъ долженъ быть сильно удивленъ и озадаченъ, если-бы къ нему вдругъ приступили съ вопросами: да какая твоя теорема — прогрессивная или ретроградная? Сообразна ли она съ *новымъ* духомъ, или же угрождаетъ *старому*?

На такія рѣчи онъ могъ бы отвѣчать только такъ:

ваши вопросы не имѣютъ никакого смысла, никакого отношенія къ моему дѣлу: моя теорема есть *вѣчная истина*.

Увы! на жизненныхъ браздахъ,
По тайной волѣ провидѣнья,
Мгновенной жатвой—поколѣнья
Восходятъ, зрѣютъ и падутъ;
Другія имъ во слѣдъ идутъ...

Смѣна поколѣній—вотъ наружная тема романа. Если Тургеневъ изобразилъ не всѣхъ отцовъ и дѣтей, или не *тѣхъ* отцовъ и дѣтей, какихъ хотѣлось бы другимъ, то *вообще* отцовъ и *вообще* дѣтей, и отношеніе между этими двумя поколѣніями онъ изобразилъ превосходно. Можетъ быть разни́ца между поколѣніями никогда не была такъ велика, какъ въ настоящее время, а потому и отношеніе ихъ обнаружилось особенно рѣзко. Какъ бы то ни было, для того, чтобы измѣрять разницу между двумя предметами, нужно употреблять одну и ту же мѣрку для обоихъ; чтобы рисовать картину, нужно взять изображаемые предметы съ одной точки зрѣнія, общей для всѣхъ ихъ.

Эта одинаковая мѣра, эта общая точка зрѣнія у Тургенева есть *жизнь человѣческая*, въ самомъ широкомъ и полномъ ея значеніи. Читатель его романа чувствуетъ, что за миражемъ внѣшнихъ дѣйствій и сценъ льется такой глубокій, такой неистощимый потокъ жизни, что всѣ эти дѣйствія и сцены, всѣ лица и событія ничтожны передъ этимъ потокомъ.

Если мы такъ поймемъ романъ Тургенева, то, можетъ быть, передъ нами всего яснѣе обнаружится и то нравоученіе, котораго мы добиваемся. Нравоученіе есть,

и даже весьма важное, потому что истина и поэзія всегда поучительны.

Глядя на картину романа спокойнѣе и въ нѣкоторомъ отдаленіи, мы легко замѣтимъ, что, хотя Базаровъ головою выше всѣхъ другихъ лицъ, хотя онъ величественно проходитъ по сценѣ, торжествующій, поклоняемый, уважаемый, любимый и оплакиваемый, есть, однако же, что-то, что въ цѣломъ стоитъ выше Базарова. Что же это такое? Всматриваясь внимательнѣе, мы найдемъ, что это высшее—не какія-нибудь лица, а та *жизнь*, которая ихъ воодушевляетъ. Выше Базарова—тотъ страхъ, та любовь, тѣ слезы, которыя онъ внушаетъ. Выше Базарова—та сцена, по которой онъ проходитъ. Обаяніе природы, прелесть искусства, женская любовь, любовь семейная, любовь родительская, *даже* религія, все это—живое, полное, могущественное,—составляетъ фонъ, на которомъ рисуется Базаровъ. Этотъ фонъ такъ ярокъ, такъ сверкаетъ, что огромная фигура Базарова вырѣзывается на немъ отчетливо, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, мрачно. Тѣ, которые думаютъ, что ради умышеннаго осужденія Базарова, авторъ противопоставляетъ ему какое-нибудь изъ своихъ лицъ, напримѣръ, Павла Петровича, или Аркадія, или Одинцову, — странно ошибаются. Всѣ эти лица ничтожны въ сравненіи съ Базаровымъ. И, однако же, жизнь ихъ, человѣческій элементъ ихъ чувствъ—не ничтожны.

Не будемъ говорить здѣсь объ описаніи природы, той русской природы, которую такъ трудно описывать, и на описаніе которой Тургеневъ такой мастеръ. Въ новомъ романѣ онъ таковъ же, какъ и прежде. Небо, воздухъ, поля, деревья, даже лошади, даже цыплята—все схвачено живописно и точно.

Возьмемъ прямо людей. Чтѣ можетъ быть слабѣе и незначительнѣе юнаго пріятеля Базарова, Аркадія? — Онъ, повидимому, подчиняется каждому встрѣчному вліянію; онъ — обыкновеннѣйшій изъ смертныхъ. Между тѣмъ, онъ милъ чрезвычайно. Великодушное волненіе его молодыхъ чувствъ, его благородство и чистота — подмѣчены авторомъ съ большою тонкостью и обрисованы отчетливо. Николай Петровичъ, какъ и слѣдуетъ, — настоящій отецъ своего сына. Въ немъ нѣтъ ни единой яркой черты и хорошаго только одно, что онъ человѣкъ, хотя и простѣйшій человѣкъ. Далѣе, чтѣ можетъ быть пустѣе Оенички? „Прелестно было“ — говоритъ авторъ — „выраженіе ея глазъ, когда она глядѣла какъ бы исподлобья „да посмѣивалась ласково и немножко глупо“. Самъ Павелъ Петровичъ называетъ ее *пустымъ существомъ*. И, однако же, эта глупенькая Оеничка набираетъ чуть ли не больше поклонниковъ, чѣмъ умница Одинцова. Ее не только любитъ Николай Петровичъ, но въ нее, отчасти, влюбляется и Павелъ Петровичъ, и самъ Базаровъ. И, однако же, эта любовь и эта влюбленность суть истинныя и дорогія человѣческія чувства. Наконецъ, чтѣ такое Павелъ Петровичъ, щеголь, франтъ съ сѣдыми волосами, весь погруженный въ заботы о туалетѣ? Но и въ немъ, несмотря на видимую извращенность, есть живыя и даже энергически звучащія сердечныя струны.

Чѣмъ дальше мы идемъ въ романѣ, чѣмъ ближе къ концу драма, тѣмъ мрачнѣе и напряженнѣе становится фигура Базарова, но вмѣстѣ съ тѣмъ все ярче и ярче фонъ картины. Созданіе такихъ лицъ, какъ отецъ и мать Базарова, есть истинное торжество таланта. Повидимому, чтѣ можетъ быть ничтожнѣе и негоднѣе этихъ людей,

отжившихъ свой вѣкъ и со всѣми предразсудками старины уродливо дряхлѣющихъ среди новой жизни? А между тѣмъ, какое богатство *простыхъ* человѣческихъ чувствъ! Какая глубина и ширина душевныхъ явленій — среди обыденнѣйшей жизни, не поднимающейся ни на волосъ выше самаго низменнаго уровня!

Когда же Базаровъ заболѣваетъ, когда онъ заживо гниетъ и непреклонно выдерживаетъ жестокую борьбу съ болѣзью, жизнь, его окружающая, становится тѣмъ напряженнѣе и ярче, чѣмъ мрачнѣе самъ Базаровъ. Одинцова пріѣзжаетъ проститься съ Базаровымъ; вѣроятно, ничего великодушнѣе она не сдѣлала и не сдѣлаетъ во всю жизнь. Что же касается до отца и матери, то трудно найти что-нибудь болѣе трогательное. Ихъ любовь вспыхиваетъ какими-то молніями, мгновенно потрясающими читателя; изъ ихъ простыхъ сердецъ какъ будто вырываются бесконечно-жалобныя гимны, какіе-то безпредѣльно глубокіе и нѣжные вопли, неотразимо хватающіе за душу.

Среди этого свѣта и этой теплоты умираетъ Базаровъ. На минуту въ душѣ его отца закипаетъ буря, страшнѣе которой ничего быть не можетъ. Но она быстро затихаетъ, и снова все становится свѣтло. Самая могила Базарова озарена свѣтомъ и миромъ. Надъ нею поютъ птицы, и на нее льются слезы...

Итакъ, вотъ оно, вотъ то таинственное правоученіе, которое вложилъ Тургеневъ въ свое произведеніе. Базаровъ отворачивается отъ природы; не коритъ его за это Тургеневъ, а только рисуетъ природу во всей красотѣ. Базаровъ не дорожитъ дружбою и отрекается отъ романтической любви; не порочитъ его за это авторъ, а только изображаетъ дружбу Аркадія къ самому База-

рову и его счастливую любовь къ Катѣ. Базаровъ отрицаетъ тѣсныя связи между родителями и дѣтьми; не упрекаетъ его за это авторъ, а только разворачиваетъ передъ нами картину родительской любви. Базаровъ чуждается жизни; не выставляетъ его авторъ за это злодѣемъ, а только показываетъ намъ жизнь во всей ея красотѣ. Базаровъ отвергаетъ поэзію; Тургеневъ не дѣлаетъ его за это дуракомъ, а только изображаетъ его самого со всею роскошью и проницательностью поэзіи.

Однимъ словомъ, Тургеневъ стоитъ за вѣчныя начала человѣческой жизни, за тѣ основные элементы, которые могутъ бесконечно измѣнять свои формы, но въ сущности всегда остаются неизмѣнными. Чтѣ же мы сказали? Выходитъ, что Тургеневъ стоитъ за то же, за что стоятъ всѣ поэты, за что необходимо стоитъ каждый истинный поэтъ. И, слѣдовательно, Тургеневъ въ настоящемъ случаѣ поставилъ себя выше всякаго упрека въ задней мысли; каковы бы ни были частныя явленія, которыя онъ выбралъ для своего произведенія, онъ разсматриваетъ ихъ съ самой общей и самой высокой точки зрѣнія.

Общія силы жизни—вотъ на что устремлено все его вниманіе. Онъ показалъ намъ, какъ воплощаются эти силы въ Базаровѣ, въ томъ самомъ Базаровѣ, который ихъ отрицаетъ; онъ показалъ намъ, если не болѣе могущественное, то болѣе открытое, болѣе явственное воплощеніе ихъ въ тѣхъ простыхъ людяхъ, которые окружаютъ Базарова. Базаровъ—это титанъ, возставшій противъ своей матери-земли; какъ ни велика его сила, она только свидѣтельствуетъ о величій силы, его породившей и питающей, но не равняется съ матернею силою.

Какъ бы то ни было, Базаровъ все-таки побѣжденъ; побѣжденъ не лицами и не случайностями жизни, но самою идеею этой жизни. Такая идеальная побѣда надъ нимъ возможна была только при условіи, чтобы ему была отдана всевозможная справедливость, чтобы онъ былъ возвеличенъ настолько, насколько ему свойственно величіе. Иначе въ самой побѣдѣ не было бы силы и значенія.

Гоголь объ своемъ „Ревизорѣ“ говорилъ, что въ немъ есть одно честное лицо—смѣхъ; такъ точно объ „Отцахъ и дѣтяхъ“ можно сказать, что въ нихъ есть лицо, стоящее выше всѣхъ лицъ и даже выше Базарова—жизнь. Эта жизнь, подымающаяся выше Базарова, очевидно, была бы тѣмъ мельче и низменнѣе, чѣмъ мельче и низменнѣе былъ бы Базаровъ—главное лицо романа.

Перейдемъ теперь отъ поэзіи къ прозѣ: нужно всегда строго различать эти двѣ области. Мы видѣли, что какъ поэтъ, Тургеневъ на этотъ разъ является намъ безукоризненнымъ. Его новое произведеніе есть истинно поэтическое дѣло и, слѣдовательно, носить въ себѣ самомъ свое полное оправданіе. Всѣ сужденія будутъ фальшивы, если они основываются на чемъ-нибудь другомъ, кромѣ самого творенія поэта. Между тѣмъ поводовъ къ такимъ фальшивымъ сужденіямъ въ настоящемъ случаѣ скопилось много. И до выхода, и послѣ выхода романа дѣлались болѣе или менѣе явственные намеки, что Тургеневъ писалъ его съ заднею мыслью, что онъ недоволенъ *новымъ* поколѣніемъ и хочетъ покарать его. Публичнымъ же представителемъ новаго поколѣнія, судя по этимъ указаніямъ, служилъ для него „Современникъ“. Такъ что романъ представляетъ будто-бы ничто иное, какъ открытую битву съ „Современникомъ“.

Все это, повидимому, похоже на дѣло. Конечно, Тур-

геновъ ничѣмъ не обнаружилъ ничего похожаго на полемику; самый романъ такъ хорошъ, что на первый планъ побѣдоносно выступаетъ чистая поэзія, а не постороннія мысли. Но зато, тѣмъ явственнѣе обнаружился въ этомъ случаѣ „Современникъ“. Вотъ уже полтора года, какъ онъ враждуетъ съ Тургеневымъ и преслѣдуетъ его выходками, или прямыми, или даже незамѣтными для читателей. Наконецъ, статья г. Антоновича объ „Отцахъ и дѣтяхъ“ есть уже не просто разрывъ, а полная баталія, данная Тургеневу „Современникомъ“.

Положимъ, что „Современникъ“ имѣетъ въ себѣ много базаровскаго, что онъ можетъ принять на свой счетъ то, чтò относится къ Базарову. Если даже такъ, если даже принять, что весь романъ написанъ только въ пику „Современнику“, то и при такомъ превратномъ и недостойномъ поэта смыслѣ, все-таки побѣда остается на сторонѣ Тургенева. Въ самомъ дѣлѣ, если въ чемъ могла существовать вражда между Тургеневымъ и „Современникомъ“, то, конечно, въ нѣкоторыхъ идеяхъ, во взаимномъ непониманіи и несогласіи мыслей. Положимъ (все это, просимъ замѣтить, одни предположенія), что разногласіе произошло въ разсужденіи искусства и заключалось въ томъ, что Тургеневъ цѣнилъ искусство гораздо выше, чѣмъ это допускали основныя стремленія „Современника“. Отъ этого „Современникъ“ и началъ, положимъ, преслѣдовать Тургенева. Что же сдѣлалъ Тургеневъ? Онъ создалъ Базарова, т. е. онъ показалъ, что понимаетъ идеи „Современника“ вполне, даже, какъ мы сказали, лучше самого „Современника“, и притомъ онъ постарался блескомъ поэзіи, глубокими отзывами на теченіе жизни подняться на болѣе свѣтлую и высокую точку зрѣнія.

Очевидно, побѣда на сторонѣ Тургенева. Трудно, вѣдь, справиться съ поэтомъ! Вы отвергаете поэзію? Это возможно только въ теоріи, въ отвлеченіи, на бумагѣ. Нѣтъ, попробуйте отвергнуть ее въ дѣйствительности, когда она васъ самихъ схватитъ, живьемъ воплотитъ васъ въ свои образы и покажетъ васъ всѣмъ въ своемъ неотразимомъ свѣтѣ! Вы думаете, что поэтъ отсталъ, что онъ дурно понимаетъ ваши высокія мысли? Попробуйте же сказать это тогда, когда поэтъ изобразитъ васъ не только въ вашихъ мысляхъ, но и во всѣхъ движеніяхъ вашего сердца, во всѣхъ тайнахъ вашего существа, которыхъ вы сами не замѣчали!

Все это, какъ мы уже говорили, одни чистыя предположенія. Въ самомъ дѣлѣ, мы не имѣемъ причины обижать Тургенева, предполагая въ его романѣ заднія мысли и постороннія цѣли. Эти мысли и эти цѣли до тѣхъ поръ недостойны поэта, пока онъ не просвѣтлѣютъ, не проникнутся поэзіею, не потеряютъ своего чисто временнаго и частнаго характера. Если бы этого не было, то не было бы и никакой поэзіи.

(Время 1862. Апрель).

II.

Дымъ, повѣсть. Русскій Вѣстникъ 1867, мартъ.

Главный герой этой повѣсти есть, очевидно, Литвиновъ; его чувствамъ, волненіямъ и дѣйствіямъ отведено въ рассказѣ самое большое мѣсто; ему достается то, чтò достается только избраннымъ, именно, любовь—даже не одной, а двухъ, далеко выдающихся надъ общимъ уровнемъ женщинъ, ослѣпительной Ирины и ангельской Татьяны; наконецъ изъ его мыслей, изъ его разсужденій о собственныхъ его приключеніяхъ, взято и самое слово „Дымъ“, которымъ такъ многозначенательно обозначена повѣсть.

Итакъ, хотя ошибка невольно напрашивается, но ошибиться невозможно: Литвиновъ—главное лицо. Чтò же это за герой?

Подобно прежнимъ героямъ г. Тургенева, это мелкопомѣстный владѣлецъ, человѣкъ средней руки; подобно прежнимъ героямъ, онъ взятъ въ цвѣтущую эпоху жизни—главные событія совершаются съ нимъ, когда ему наступаетъ тридцать лѣтъ. Но затѣмъ начинается новое. Литвиновъ, какъ оказывается, человѣкъ *положительный* (стр. 127), *предусмотрительный*, *благоразумный* (стр. 108), *честный и справедливый* (стр. 95), *человѣкъ прямой и всегда говорящій правду* (стр. 72), *человѣкъ живой, а не*

мертвая кукла (стр. 67 и стр. 74), *дѣльный, нѣсколько самоуверенный малый* (стр. 8), *спокойный и простой* (стр. 11).

Вотъ какими похвальными чертами рисуется герой. Онъ стоитъ далеко выше окружающей его толпы юношей, такъ что и смѣло обрываетъ ихъ, какъ власть имущій, и возбуждаетъ ихъ удивленіе. Восторженный Бамбаевъ такъ говоритъ о немъ съ пріятелями: „Видите вы этого человѣка? Это камень! Это скала!! Это гранитъ!!!..“ (стр. 86).

Ну, а дальше? Какіе взгляды, какіе вкусы у этого человѣка? По тщательномъ изслѣдованіи оказывается, что Литвиновъ не имѣетъ никакихъ политическихъ убѣжденій (стр. 19) и равнодушенъ къ родной словесности (стр. 147). У этого положительнаго человѣка существуетъ, однако же, одно пристрастіе. „Поживъ въ деревнѣ, онъ пристрастился къ хозяйству“, и потому отправился за границу и тамъ четыре года изучалъ агрономію и технологію (стр. 10).

Вотъ вамъ и весь герой. Въ немъ ничего нѣтъ, кромѣ благоразумія и честности. Этому человѣку нѣ о чемъ думать и нѣчего говорить, и онъ дѣйствительно ничего не говоритъ, а только слушаетъ, чтò говорятъ другіе. Совершенно ясно, что, несмотря на похвалы, расточаемыя Литвинову и авторомъ, и другими лицами, авторъ не могъ даже порядочно заинтересоваться такою будничною, безцвѣтною личностію. Тургеневу ли не знать, какъ рисуются интересныя лица, Рудины, Базаровы, какъ схватывается въ нихъ каждая черта, каждое слово, каждое движеніе и какъ все вмѣстѣ составляетъ отчетливый, ясный образъ! Въ отношеніи къ Литвинову, ав-

торъ и не пытается сдѣлать что-либо подобное, и образа передъ нами никакого нѣтъ.

Между тѣмъ вѣдь ясно, что въ немъ авторъ хотѣлъ изобразить одного изъ представителей современной молодежи, изъ тѣхъ трезвыхъ или отрезвленныхъ людей, которые теперь нужны для Россіи, которые имѣютъ принести пользу своимъ землякамъ (стр. 10), которымъ въ настоящую минуту принадлежитъ дѣятельность, жизнь, будущность. Но, какъ видно, не знаетъ этихъ людей художникъ, или и знаетъ, да нѣтъ у него къ нимъ сердечнаго вниманія.

Съ Литвиновымъ, судя по его натурѣ, не должно бы случаться никакихъ особыхъ приключеній; „но“, какъ замѣчаетъ авторъ, „природа не справляется съ логикой, съ нашею человѣческою логикой; у ней есть своя, которой мы не понимаемъ и не признаемъ до тѣхъ поръ, пока она насъ, какъ колесомъ, не переѣдетъ“ (стр. 127). Вотъ въ силу такого-то, таинственнаго, но всесильнаго и неотразимаго дѣйствія природы (мысль истинно-поэтическая!) и сбылись съ Литвиновымъ происшествія, о которыхъ рассказываетъ повѣсть.

Представительницею таинственной природы является нѣкоторая Ирина и по справедливости приковывается къ себѣ все вниманіе художника и все сочувствіе читателей. Ирина весьма сильно заинтересовалась Литвиновымъ—гораздо сильнѣе, чѣмъ интересуются имъ и авторъ и читатели,—и тѣмъ чуть-было не погубила героя. Два раза она сходится съ Литвиновымъ: въ первый разъ она чуть не вышла за него замужъ, во второй разъ чуть не убѣжала съ нимъ отъ своего мужа. И въ томъ и въ другомъ случаѣ гибель Литвинова была бы неизбежна. Въ самомъ дѣлѣ, и въ томъ и въ другомъ случаѣ Литви-

новъ отдается Иринѣ весь, всѣмъ существомъ своимъ; Ирина же скоро чувствуетъ, что не можетъ отдаться Литвинову вся, всѣми своими мыслями, чувствами и потребностями. И въ томъ и въ другомъ случаѣ, Литвиновъ цѣликомъ заполоненъ только частью Ирины, только внѣшнею ея прелестью, обаяніемъ красоты; души ея онъ не понимаетъ и по складу своего ума совершенно не способенъ понять ее и сродниться съ нею. Такимъ образомъ, послѣ того, какъ два раза эта женщина обращала на него порывы своей страстности, послѣ того, какъ онъ даже владѣлъ ею, она все-таки не стала для него понятною и знакомою: черезъ два года въ его душѣ Ирина „поблѣднѣла и скрылась, и только *смутно чулось* Литвинову *что-то опасное* подъ туманомъ, постепенно окутавшимъ ея образъ“ (стр. 153).

Въ первый разъ, когда Иринѣ довелось сойтись съ Литвиновымъ, она была семнадцатилѣтней дѣвушкой, а онъ двадцатилѣтнимъ юношей, студентомъ. Красота Ирины была такъ поразительна, что „онъ влюбился въ нее, какъ только увидалъ ее“ (стр. 36). Съ ея стороны, вѣроятно, было не то: любовь къ Литвинову явилась какъ отзывъ на его любовь, какъ первое пробужденіе женскаго сердца. Какъ бы то ни было, онъ счастливъ, онъ ея женихъ. Но въ дѣвушкѣ говорятъ еще другіе инстинкты. Она возмущается тѣмъ, что сама ходитъ замарашкой, что Литвиновъ часто бываетъ вовсе не *distingué*. Не то съ Литвиновымъ: „Ирина вполне завладѣла своимъ будущимъ женихомъ, да и онъ самъ охотно отдался ей въ „руки. Онъ словно попалъ въ водоворотъ, словно потерялъ себя... Размышлять о значеніи, объ обязанностяхъ „супружества, о томъ, *можетъ ли онъ, столь безвозврат-* „но *покоренный, быть хорошимъ мужемъ, и какая вый-*

„детъ изъ Ирины жена, и *правильны ли отношенія меж-
ду ними*, онъ не могъ рѣшительно: *кровь* его загорѣ-
лась, и онъ зналъ одно: идти за нею, съ нею, впередъ
и безъ конца, а тамъ будь, что будетъ!“ (стр. 39).

И все-таки — какая сила и нѣжность въ чувствѣ Ирины! Наступаетъ минута испытанія — балъ въ дворянскомъ собраніи, гдѣ будетъ и дворъ. Ирина отказывается ѣхать. Такъ вѣрно знаетъ она себѣ цѣну, такъ хорошо понимаетъ, что можетъ случиться на этомъ балѣ. Для Литвинова она отказывается отъ дороги, открытой ей *въ высшій свѣтъ*.

Литвиновъ ничего не понимаетъ. Онъ самъ уговариваетъ Ирину ѣхать на балъ. Вѣроятно, и тогда уже мечтавшій объ агрономіи и равнодушный къ русской словесности, онъ не имѣетъ настолько воображенія, чтобы представить, что дѣлается и можетъ сдѣлаться въ душѣ Ирины, чтобы приревновать ее къ этому блеску, въ которомъ она будетъ жить нѣсколько часовъ, въ которомъ не онъ, а что-то другое можетъ до конца наполнить ея душу.

Его непониманіе раздражаетъ Ирину.

„— Помните“, говоритъ она ему, „вы сами этого же-
лали“.

Затѣмъ она требуетъ, чтобы его не было на балѣ.

„— Покоряюсь“, отвѣчаетъ со вздохомъ Литвиновъ и, спохватившись, прибавляетъ: — „Ирина, ты какъ будто сердилась?“

„— О, нѣтъ, я не сержусь. Только ты... Она впе-
рила въ него свои глаза, и ему показалось, что онъ еще
„никогда не видалъ въ нихъ такого выраженія“ (стр. 42).

Очевидно, въ этомъ недоконченномъ „ты“... и въ этомъ взглядѣ содержится приговоръ Литвинову. Ирина

ищетъ надъ собою власти и управы и ясно чувствуетъ, что она не найдетъ ихъ въ Литвиновѣ. Уже совсѣмъ одѣтая на балъ, она еще разъ отдается во власть и распоряженіе его и опять встрѣчаетъ покорный отказъ. Тогда она уже перестаетъ и слушать его и глядѣть на него.

Несмотря на все это, Ирина ужасно страдаетъ; она плачетъ цѣлую ночь, она во всемъ обвиняетъ себя и пишетъ Литвинову, чтобы онъ простилъ ее, что она его не стоитъ.

Литвиновъ же, уже на третій день послѣ бала, послѣ того, какъ Ирина дважды отказалась его видѣть, все еще ничего не понимаетъ.

„Ирина не хочетъ меня видѣть, безпрестано вер-
тѣлось у него въ головѣ:—это ясно; но почему же? *Что
такое могло произойти на этомъ злополучномъ балѣ?*“

И понимаетъ все только тогда, наконецъ, когда прочиталъ ея записку.

„Все это естественно“, думаетъ онъ; „я всегда этого
ожидалъ... (Онъ лгалъ передъ самимъ собою“, замѣчаетъ
„авторъ: „онъ никогда ничего подобнаго не ожидалъ)“.

Онъ сомнѣвается въ ея страданіяхъ:

„Плакала?.. Она плакала... О чемъ она плакала?
„Вѣдь она не любила меня!“ (стр. 47).

Но и въ самомъ порывѣ отчаянія, онъ чувствуетъ ея превосходство.

„Она, она меня не стоитъ... Вотъ какъ!“ (стр. 48).

Очевидно, еслибъ она рѣшилась удовольствоваться Литвиновымъ, то онъ былъ бы въ ея рукахъ, никогда бы ея не понялъ и былъ бы несчастливъ.

Проходитъ десять лѣтъ. Литвиновъ опять счастливъ. Онъ изучилъ агрономію и технологию; у него есть не-
вѣста, подруга его дѣтства, Татьяна Шестова, которая,

неизвѣстно зачѣмъ, можетъ быть, ради нѣкотораго довершенія образованія, тоже находится за границею, въ Дрезденѣ, гдѣ и приняла его предложеніе. Литвинову предстоитъ жениться и вступить на новое поприще, къ которому онъ вполне готовъ. Онъ спокоенъ и веселъ.

А Ирина? Ирина не нашла себѣ счастья. Она вступила въ высшій свѣтъ, и даже, въ силу какихъ-то странныхъ обстоятельствъ, на которыхъ авторъ набрасываетъ покровъ, заняла въ этомъ свѣтѣ высокое и твердое мѣсто. Это видно изъ того, какъ она помыкаетъ своимъ мужемъ, посылая его къ какому-то графу, котораго называетъ дуракомъ (стр. 70), изъ того, что презрительно смѣется надъ мужемъ, когда тотъ вздумалъ приревновать ее (стр. 93), изъ того, что она обѣщаетъ Литвинову, если тотъ захочетъ, найти занятія въ Петербургѣ (стр. 134). Но, занимая высокое и твердое положеніе въ высшемъ свѣтѣ, Ирина глубоко несчастлива, потому что находитъ этотъ свѣтъ пустымъ, глупымъ и бездушнымъ. У нея нѣтъ въ немъ никакихъ привязанностей; единственный ея пріятель, Потугинъ, взятъ ею изъ другого міра. Это мелкій чиновникъ изъ семинаристовъ, человѣкъ, надломленный жизнью и глубоко симпатичный.

И вотъ они случайно встрѣчаются послѣ десятилѣтней разлуки. Литвиновъ все забылъ, душа его полна новыми чувствами и заботами. Ирина ничего не забыла; „среди блеска, который ее окружаетъ“, она слѣдила за судьбою Литвинова, и никто не успѣлъ загладить и вытѣснить изъ ея души этого воспоминанія. Поэтому Литвиновъ встрѣчается съ нею холодно, а она ужасно ему обрадовалась.

Но при первой встрѣчѣ пустые аристократы, среди которыхъ онъ застаётъ ее, возмущаютъ его гордость,

„его честную, плебейскую гордость“ (стр. 58), въ которой, однако, слишкомъ много щекотливости и слишкомъ мало самоувѣренности, и онъ рѣшается нейти къ ней. Однако же и тутъ, несмотря на свою холодность и отвращеніе, онъ не могъ не замѣтить душевной силы и прелести Ирины. „Почему“, думаетъ онъ, „на ней не „лежитъ того противнаго свѣтскаго отпечатка, которымъ такъ рѣзко отмѣчены всѣ тѣ другіе? Почему, ему сдается, она какъ будто скучаетъ, или груститъ, или тяготится своимъ положеніемъ? Она въ ихъ станѣ, но она „не врагъ“ (стр. 59).

Литвиновъ опять ничего не понимаетъ. „Литвиновъ взялся за книгу“, пишетъ авторъ, вѣроятно, за агрономическую и, конечно, не нашелъ въ ней разъясненія своихъ мыслей.

А какъ должно было поразить Ирину то, что онъ нейдетъ къ ней! Когда, наконецъ, Потугинъ привелъ къ ней Литвинова, она такъ выражаетъ свою радость: „Наконецъ-то, наконецъ, одинъ человѣкъ, живой человѣкъ, который нашего ничего не знаетъ! И по-русски можно съ нимъ говорить, хоть дурнымъ русскимъ языкомъ, да русскимъ, а не этимъ вѣчнымъ, приторнымъ, противнымъ, петербургскимъ французскимъ языкомъ!“ (стр. 67).

Но Литвиновъ начинаетъ чувствовать опасность и тяжело упирается. Онъ не кланяется Иринѣ, встрѣтивъ ее въ горахъ. Больно подстрекаетъ это Ирину.

„Мнѣ стало“, говоритъ она ему на третьемъ свиданіи, „уже слишкомъ невыносимо, нестерпимо, душно въ этомъ свѣтѣ, въ этомъ завидномъ положеніи, о которомъ вы говорите; встрѣтивъ васъ, живаго человѣка, послѣ всѣхъ этихъ мертвыхъ куколъ, я обрадовалась, какъ источнику въ пустынѣ“... (стр. 74).

„Я протягиваю къ вамъ руку, какъ нищя, я милостыни прошу, а вы...

„Я требую малаго, очень малаго, только немножко участія, только чтобы не отталкивали меня, душу дали бы отвести“... (стр. 75).

А что же Литвиновъ? „Онъ не могъ себѣ дать яснаго отчета въ томъ, что онъ ощущалъ“. „Чудачки эти свѣтскія женщины, думалъ онъ; никакой въ нихъ нѣтъ послѣдовательности“... (стр. 76).

Происходитъ еще свиданіе, на которомъ Ирина показываетъ Литвинову большой свѣтъ, и затѣмъ все кончено. Литвиновъ не спитъ ночь въ тяжелыхъ думяхъ. „Онъ еще удивлялся и недоумѣвалъ“, пишетъ авторъ, „а вотъ уже передъ нимъ, словно изъ мягкой душистой мглы выступалъ плѣнительный обликъ, поднимались лучистыя рѣсницы—и тихо, неотразимо вонзались ему въ сердце волшебные глаза, и голосъ звенѣлъ сладостно, и блестящія плечи молодой царицы дышали свѣжестію и жаромъ нѣги“... (стр. 96).

Литвиновъ влюбленъ, какъ говорится, по уши.

Все ясно, все отчетливо въ душѣ Ирины. Пусть читатели перечтутъ тѣ немногія, но удивительныя страницы, гдѣ она является на сцену. Она не даромъ говоритъ Литвинову при первой же встрѣчѣ, что она „ни въ чемъ не перемѣнилась“. Какая искренность, простота въ каждомъ ея словѣ! Сколько задушевности, теплоты, живой, такъ сказать, горячей прелести!

Напротивъ, все смутно и тяжело въ душѣ Литвинова. Онъ отдается страстному чувству не свободно, не радуясь этому наплыву и избытку жизни, а стараясь подавить его и сохранить свое спокойствіе. Дѣло въ томъ, что любовь Литвинова только половинчатая. Онъ не со-

чувствуетъ, не сострадаетъ Иринѣ, онъ скорѣе боится ея и смотреть на нее, какъ на существо болѣе сильное. Его покорила одна ея красота. Опять онъ чувствуетъ, какъ въ Москвѣ, что онъ попалъ въ руки Ирины, что онъ „тогдашъ попалъ въ водоворотъ“ (стр. 97).

Литвиновъ понимаетъ, что ему слѣдуетъ уѣхать, но онъ хитритъ самъ съ собою, какъ хитрятъ люди влюбленные, и идетъ къ Иринѣ, повидимому, съ тѣмъ, чтобы проститься, а втайнѣ съ тѣмъ, чтобы признаться ей въ любви и посмотрѣть, что будетъ. Дѣйствіе, произведенное признаніемъ на Ирину, опять совершенно ясное и отчетливое; на лицѣ ея, закрытомъ руками, происходило вотъ, что: „и страхъ и радость выражало оно, и какое-то блаженное изнеможеніе и тревогу; глаза едва мерцали изъ-подъ нависшихъ вѣкъ, и протяжное, прерывистое дыханіе холодило раскрытыя, словно жаждавшія губы“...

Когда, черезъ два часа, онъ вернулся къ ней, она съ своей стороны признается ему въ любви. Дѣйствіе, произведенное на него признаніемъ, вполне сообразно съ его состояніемъ. „Литвиновъ пошатнулся, словно кто его въ грудь ударилъ“. И далѣе: „онъ задыхался: восторгъ, но восторгъ безотрадный и безнадежный, давилъ и рвалъ его грудь“ (стр. 103).

Послѣ признаній Литвиновъ рѣшается ѣхать, потому что, какъ сказала Ирина, оставаться опасно, страшно... Литвиновъ, конечно, и уѣхалъ бы, точно такъ, какъ онъ уѣхалъ черезъ три дня. Но не такъ рѣшила Ирина. Она идетъ къ Литвинову, и тотъ „побѣжденъ, побѣжденъ внезапно...“ (стр. 105).

Въ ней загорѣлась удивительная нѣжность къ этому человѣку. Ей было ужасно жаль его и тогда, въ Москвѣ,

и теперь, и вотъ она рѣшилась всёмъ пренебречь, всёмъ пожертвовать, чтобы только его осчастливить (стр. 129). Чувства Ирины вполне выражаются въ словахъ, сказанныхъ ею Литвинову на другой день.

„— О, мой милый! ты не знаешь, какъ я тебя люблю, но вчера я только долгъ свой заплатила, я загладила прошедшую вину... Ахъ! я не могла отдать тебѣ мою молодость, какъ бы я хотѣла, но никакихъ обязанностей я не наложила на тебя, ни отъ какого обѣщанія я не разрѣшила тебя, мой милый! Дѣлай, что хочешь; ты свободенъ, какъ воздухъ, ты ничѣмъ, ничѣмъ не связанъ; знай это, знай!“ (стр. 114).

Какая беззавѣтная, безконечная нѣжность! Въ отвѣтъ на эти слова Литвиновъ говоритъ:

„Но я не могу жить безъ тебя, Ирина; я твой на вѣки и навсегда со вчерашняго дня... Только у ногъ твоихъ я могу дышать...“

„Онъ трепетно припалъ къ ея рукамъ. Ирина посмотрѣла на его наклоненную голову“.

„— Ну, такъ знай же, что и я не пожалѣю никого и ничего. Какъ ты рѣшишь, такъ и будетъ. Я тоже на вѣкъ твоя... твоя“.

Итакъ любовь, всемогущая страсть покорила себѣ эти существа и взяла верхъ надъ всеми прежними связями и отношеніями. Литвиновъ отказывается отъ своей невѣсты и своей будущности. Ирина нарушила свой супружескій долгъ и готова покинуть свое блестящее положеніе.

Но что же дѣлать дальше? На минуту страсть открыла все и не даетъ любящимся видѣть своего положенія. Но безвыходность этого положенія должна же раскрыться, и она раскрывается очень быстро, благо-

даря душевному разладу, происходящему въ душѣ Литвинова. Ирина весьма справедливо замѣчаетъ, что это „человѣкъ, который самъ не знаетъ, что происходитъ въ его душѣ“ (стр. 130). И художникъ, правдиво изображающій безобразіе его чувствъ, невольно приходитъ къ заключенію, что „людямъ положительнымъ, въ родѣ Литвинова, не слѣдовало бы увлекаться страстью“ (стр. 127). Въ самомъ дѣлѣ, Литвиновъ не хотѣлъ любить Ирину и полюбить; не хотѣлъ овладѣть ею и владѣть; не хотѣлъ отказываться отъ Татьяны и отказался. Надѣлавши такихъ дѣлъ, которыхъ не слѣдовало бы дѣлать, и весьма послѣдовательно считая себя за то воромъ и подлецомъ, Литвиновъ думаетъ поправить все тѣмъ, что увезетъ Ирину и навсегда соединится съ нею, то-есть думаетъ все поправить дѣломъ, которое всего менѣе слѣдуетъ ему дѣлать, которое окончательно погубило бы и его и Ирину.

Ирина согласна. Она первая написала ему, что готова пойти за нимъ на край свѣта. Но гдѣ же ему, такому слабому, „безвозвратно покоренному“, съ такой сумятицею въ головѣ и сердцѣ, увлечь за собою такую сильную женщину! И потомъ, чѣмъ онъ наполнитъ ея жизнь, чѣмъ замѣнитъ тотъ блескъ, который теперь ее окружаетъ?

Литвиновъ колеблется и пишетъ Иринѣ письмо, въ которомъ проситъ подумать и „не брать на себя ношу не по плечамъ“. Когда онъ потомъ приходитъ къ ней и, заставши ее въ слезахъ, проситъ объявить ему приговоръ, она невольно мѣрзаетъ глазами его душу.

„— Не гляди на меня такими глазами“, говоритъ онъ ей... „Они напоминаютъ мнѣ прежніе московскіе глаза“.

„Ирина вдругъ покраснѣла и отвернулась, какъ будто

сама чувствуя что-то неладное въ своемъ взорѣ“ (стр. 139).

Литвиновъ, по обычаю, не понимаетъ, что приговоръ уже сказанъ. Но Ирина не хочетъ выйти изъ-подъ обаянія; она, плача, все общается Литвинову и начинаетъ ласкать его. „День нашъ—вѣкъ нашъ“, говоритъ она благоразумному юношѣ, и тотъ ничего не возражаетъ на такое неблагоразумное правило.

И до того потерялся Литвиновъ, до того его отуманила страсть, что онъ не видитъ практической несбыточности дѣла, которое затѣялъ. Онъ попадаетъ въ комическое положеніе человѣка, несмѣющаго самому себѣ сознаться въ нелѣпости своихъ плановъ. По художественной правдивости, авторъ, столь много восхваляющій своего героя, изобразилъ, однако, его и въ эту минуту, изобразилъ съ сожалѣніемъ, но не безъ язвительности. Литвиновъ, положительный, практическій Литвиновъ идетъ къ банкиру занимать деньги! Потомъ играетъ въ рулетку; „и онъ, дѣйствительно“, замѣчаетъ авторъ, — „округлилъ свой капиталъ, спустивъ излишніе двадцать восемь гульденовъ“ (стр. 142). Разумъ его не былъ, однако, заглушенъ до конца, до полной слѣпоты. „Противъ его воли, мимо его воли, что-то несерьезное, почти комическое проступало, просачивалось сквозь всѣ его размышленія, точно самое его предпріятіе было шуточнымъ“.

Такимъ оно и оказалось. Ирина написала ему, что не можетъ бѣжать съ нимъ, не въ силахъ оставить свѣтъ, въ которомъ она живетъ.

Послѣ бури, поднятой въ немъ этимъ письмомъ, Литвиновъ, наконецъ, принимаетъ твердое рѣшеніе уѣхать. (Вообще рѣшительности въ немъ очень много, по словамъ автора). Онъ извѣщаетъ Ирину, что отказывается

отъ нея и, дѣйствительно, уѣзжаетъ, то-есть онъ поступаетъ, наконецъ, такъ, какъ слѣдуетъ, и перестаетъ дѣлать то, чего дѣлать не слѣдовало.

Проходитъ два года. Литвиновъ опять счастливъ, какъ и слѣдуетъ быть счастливымъ человѣку положительному. Онъ мирится со своею прежнею невѣстою, женится на ней и благоденствуетъ, прилагая къ дѣлу свои агрономическія познанія.

А Ирина? Ирина попрежнему несчастлива, попрежнему блистаетъ въ большомъ свѣтѣ, попрежнему ненавидитъ и язвитъ его. Можетъ быть, она попрежнему даже слѣдитъ за Литвиновымъ; но только никого нѣтъ, кто-бы занялъ въ ея сердцѣ какое-нибудь мѣсто. Литвиновъ очень ошибся, когда въ порывѣ негодованія думалъ, что „его замѣнитъ тучный генераль, или господинъ Финиковъ“ (стр. 144).

Вотъ и вся басня новой повѣсти г. Тургенева. Чему же сія басня научаетъ? Кому въ ней сочувствовать и кого осуждать?

Не пожалѣть ли Литвинова? Но за что же? Очевидно, такимъ людямъ легко живется на бѣломъ свѣтѣ. Обыкновенное ихъ состояніе есть состояніе спокойствія, веселости и нѣкоторой самоувѣренности. Конечно, Ирина заставляетъ его нѣсколько страдать. Но у благоразумнаго юноши достало духу тотчасъ (черезъ три дня) оторваться отъ своей соблазнительницы и, затѣмъ, вся эта исторія не оставила на немъ никакой мрачной тѣни, никакого неизгладимаго слѣда.

Другое дѣло Ирина. Она гораздо памятливей, и не питаетъ особенно свѣтлаго взгляда на жизнь. Когда Литвиновъ приходитъ къ ней послѣ своего мучительно-вырвавшегося признанія, она говоритъ ему:

„— Жить, вообще, не легко, Григорій Михайловичъ, какъ вы полагаете?“ (стр. 102).

„— Какъ кому!“ грубо отвѣчаетъ непроницательный юноша, желая намекнуть, что ей, вѣроятно, жить легко, а вотъ ему—такъ очень тяжело. Но, судя по правдивому изображенію художника, Иринѣ не обошлись безъ страданій ея встрѣчи съ Литвиновымъ, и даже нѣтъ сомнѣнія, что на ея долю выпали болѣе жгучія, болѣе живыя мученія. Вспомните сцены, когда Потугинъ уводитъ ее отъ квартиры Литвинова, и когда она прибѣгаетъ къ отъѣзжающему вагону. Литвиновъ постоянно считаетъ себя правымъ и имѣющимъ на Ирину какія-то права; она же всегда кается, какъ виноватая, какъ нанесшая рану любимому существу.

Но Тургеневъ давно уже научилъ насъ, какъ судить въ подобныхъ случаяхъ. Мораль, которую онъ такъ долго проповѣдалъ, которую онъ развилъ и разъяснилъ въ цѣломъ рядѣ прекрасныхъ произведеній, заключается въ томъ, что если мужчина не успѣваетъ вполне овладѣть женщиною, добиться отъ нея полной, беззаветной любви, то значитъ, онъ ея не стоитъ, онъ такъ слабъ, такъ малъ, что не можетъ наполнить собою ея душу. Слѣдовательно, Литвинову по дѣломъ досталось. Онъ пигмей передъ Ириной, какъ весьма выразительно и намекаетъ ему на это философствующій Потугинъ: „человѣкъ слабъ, женщина сильна“ *), говорить онъ ему въ видѣ предостереженія (стр. 84).

Человѣкъ слабъ, женщина сильна; природа имѣетъ свою непостижимую для насъ логику—вотъ единственная мораль нашей басни. Она извлечена изъ нашей русской

*) Это неправильный переводъ съ французскаго: l'homme est faible etc. Правильно нужно перевести: *мужчина слабъ* и пр.

жизни и показываетъ намъ, что у насъ бываютъ женщины, въ которыхъ природа воплощаетъ свою таинственную силу, женщины съ такимъ обиліемъ душевной мощи и прелести, съ такою сіяющею внутреннею и внѣшнею красотою, что передъ ними все покоряется, и высшій и низшій свѣтъ, какъ будто передъ урожденными царицами, что Потугины и Литвиновы внезапно теряютъ передъ ними все свое благоразуміе и рѣшительность. Эти женщины иногда изливаютъ избытокъ своей душевной жизни на такихъ людей, какъ Литвиновъ; но онѣ не могутъ навсегда остановиться на Литвиновыхъ, какъ-бы искренно этого ни хотѣли; надъ Финиковыми же и изящными генералами онѣ смѣются въ глаза, и потому остаются всю жизнь несчастными и страдающими, такъ-какъ нигдѣ не находятъ себѣ полного отвѣта, равноправной силы.

Итакъ, Тургеневъ къ числу прежнихъ своихъ женскихъ образовъ, которые онъ одинъ умѣетъ рисовать съ такимъ глубокимъ пониманіемъ, присоединилъ новый, который, по прелести и по несчастливой судьбѣ, станетъ рядомъ съ Наташей (въ „Рудинѣ“), „Асей“, Лизой (въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“), Еленой (въ „Наканунѣ“)...

Но что же это? Куда мы зашли, слѣдуя, однако, по стопамъ поэта, руководясь его ясными указаніями? Мы пришли къ заключеніямъ, которыя прямо противорѣчатъ *словамъ* поэта, буквальнымъ выраженіямъ его повѣсти. Насколько всѣ лица повѣсти хвалятъ Литвинова, настолько же они осуждаютъ Ирину. Только самъ поэтъ, самъ рассказчикъ не рѣшился коснуться ея ни единымъ словомъ. Но, по словамъ Потугина, эта женщина *испорчена до моза костей* (стр. 84); ея недовольство своимъ положеніемъ Литвиновъ называетъ *развращенною ме-*

ланхольею модной дамы (стр. 142); наконецъ сама она, вѣчно виноватая и вѣчно кающаяся Ирина, пишетъ, что *ядъ слишкомъ глубоко проникъ въ нее*, что видно нельзя безнаказанно въ теченіе многихъ лѣтъ дышать этимъ воздухомъ (стр. 143). И такимъ образомъ, вся повѣсть превращается, въ глазахъ Литвинова, въ рассказъ о безнравственности высшаго свѣта и о гибели уготовляемой свѣтскими дамами неопытнымъ юношамъ (стр. 118).

Посмотримъ, однако, въ чемъ состоитъ эта испорченность, этотъ ядъ. Образъ Ирины далеко не дорисованъ художникомъ, но тѣ черты, которыя онъ успѣлъ набросать, очень ясны. Ирина любитъ роскошную, блестящую свѣтскую жизнь. Но роскошь, какъ замѣчаетъ одна изъ героинь г. Тургенева (Зинаида въ „Первой Любви“) — красива, слѣдовательно имѣетъ непререкаемое право на любовь. Въ самомъ „Дымѣ“ графъ Рейзенбахъ весьма остроумно замѣчаетъ по поводу этого, что „медъ сладокъ“ (стр. 48). Чтò же касается до пустоты и пошлости, скрывающейся подъ блескомъ и роскошью въ высшемъ свѣтѣ, то Ирина ихъ ненавидитъ всею душою. На ней самой не лежитъ „противнаго свѣтскаго отпечатка“ (стр. 59); „она никогда не гнушалась людей, низко поставленныхъ, и графиня не разъ пеняла ей за ея излишнюю, московскую фамиллярность“ (стр. 120); Ирина даже не равнодушна къ русскому языку (стр. 67).

Итакъ, гдѣ же испорченность? Не въ томъ ли, что она полюбила Литвинова? Да вѣдь это — новое доказательство правильности ея симпатій, если судить по словамъ автора. Итакъ, все обвиненіе противъ Ирины заключается въ томъ, что она не ушла съ Литвиновымъ. Но спрашивается, вѣдь тотъ, хотя призракъ, но блестящей жизни, которую она любила, чтò предлагалъ ей

съ своей стороны Литвиновъ? Какой міръ, какую жизнь, какую дѣятельность, какую пищу для жадной души? Ничего, кромѣ собственной особы. Ну, если этого оказалось мало, то не другіе же виноваты. Литвиновъ даже не Рудинъ съ его неистощимымъ, увлекательнымъ энтузіазмомъ, не Базаровъ, съ которымъ, по выраженію Одинцовой, „говоришь — точно по краю пропасти ходишь“; Литвиновъ просто — потерявшійся мальчикъ; изъ-за чего же тутъ жертвовать жизнью?

А вѣдь она чуть не пожертвовала! Чѣмъ жалѣть Литвинова, не лучше ли немножко ее пожалѣть? Мы рѣшительно становимся на сторону почтеннаго Созонта Ивановича, который такъ хорошо знаетъ Ирину; замѣтивъ отношенія ея къ Литвинову, онъ говоритъ ему: „Но я за нее боюсь... я боюсь за нее“ (стр. 119).

„— Много чести, господинъ Потугинъ“, иронически отвѣчаетъ Литвиновъ.

Но, какъ бы то ни было, честь эта досталась господину Литвинову. Возьмемъ дѣло съ этой, такъ сказать, мужской точки зрѣнія. Тогда окажется, что „Дымъ“ повѣствуетъ о томъ, какъ обольстительные юноши, подобные Литвинову, опасны для свѣтскихъ дамъ, какъ одинъ изъ нихъ чуть не погубилъ до конца одну изъ блистательнѣйшихъ царицъ великосвѣтскаго общества.

Вотъ мы и довели до конца это трудное разбирательство. Мы изложили дѣло подробно, для того, чтобы читатель могъ отчетливо судить, насколько правильно заключеніе, выводимое изъ рассказанныхъ событій самимъ авторомъ. Это заключеніе онъ влагаетъ въ размышленія Литвинова, которымъ тотъ предается, уѣзжая изъ Бадена и глядя на дымъ, вылетающій изъ трубы паровоза.

„Онъ глядѣлъ-глядѣлъ, и странное напало на него

размышленіе... Онъ сидѣлъ одинъ въ вагонѣ; никто не мѣшалъ ему. „Дымъ, дымъ“, повторилъ онъ нѣсколько разъ; и все вдругъ показалось ему дымомъ, все, *собственная жизнь, русская жизнь, все людское, особенно все русское*“ (стр. 150).

Положительно нѣтъ ничего въ повѣсти, что оправдывало бы такое странное размышленіе, даже ничего такого, что вязалось бы съ нимъ.

Не дымъ ли высшій свѣтъ? Конечно, не дымъ, если въ немъ являются такія сильныя и прелестныя женщины, какъ Ирина. Обладая всѣмъ, что есть хорошаго въ этомъ свѣтѣ, онѣ протестуютъ противъ его пошлости и пустоты, онѣ неустанно язвятъ его и ищутъ для себя какого-нибудь выхода. Эти ищущія и страдающія силы, конечно, представляютъ прекрасный задатокъ. Какъ искренни онѣ въ своихъ исканіяхъ, видно изъ того, что, будь Литвиновъ крошечку пошире и покрѣпче, Ирина отдалась бы ему безвозвратно.

Что же касается до низшаго свѣта, то тутъ дѣла обстоятъ еще благополучнѣе. Оказывается, что тутъ, при помощи одного изученія агрономіи и технологіи, можно быть веселымъ, спокойнымъ и нѣсколько самоувереннымъ, можно почти неотразимо привлекать къ себѣ парижъ высшаго общества, не видящихъ вокругъ себя подобныхъ свѣтлыхъ личностей, и наконецъ, можно достигнуть полнаго счастья, можно найти дѣвушку, у которой „золотое сердце, истинно ангельская душа“ (стр. 116), и навсегда соединить съ нею свою судьбу.

Серіозно, мы находимъ въ повѣсти Тургенева слишкомъ много счастья; на этотъ разъ онъ слишкомъ на него расточителенъ. Ни одного изъ прежнихъ своихъ героевъ онъ не надѣлялъ счастьемъ такъ легко и такъ на-

долго, какъ Литвинова. Кромѣ несчастнаго Инсарова, такъ быстро умершаго, Тургеневъ даже не женилъ ни одного изъ своихъ героевъ и не давалъ имъ удачи въ любви. Мы уже говорили, какая здѣсь крылась мораль. Мораль все та же со временъ Онѣгина и Татьяны. Русское общество имѣетъ такъ мало крѣпкихъ основъ, такъ сильно поражено различными недугами, что въ немъ трудно быть счастливымъ, ибо для счастья требуется прочный строй жизни, требуется атмосфера, въ которой бы спокойно и свободно могли раскрываться душевныя силы.

Какъ не сказать, послѣ этого, что Литвинову дешево досталось его счастье! Современные недуги прошли мимо него, и никакое сильное внутреннее стремленіе не покоило его.

И такъ, откуда же отчаянная мысль, что все человеческое дымъ? Нужно говорить правду, это мысль не Литвинова, а самого г. Тургенева. Вотъ уже третье произведеніе, въ которомъ проглядываетъ эта мысль. „Призраки“, „Довольно“, „Дымъ“ — все это варіаціи на старинную тему: *суета суетъ и всяческая суета!* Въ „Дымѣ“ авторъ развиваетъ ее почти такъ же, какъ древній Экклезіастъ:

„Все дымъ и паръ; все какъ будто безпрестанно мѣняется, всюду новыя образы, явленія бѣгутъ за явленіями, а въ сущности все то же, да то же; все торопится, спѣшитъ куда то, и все исчезаетъ безслѣдно, ничего не достигая“.

Не то же ли говоритъ Экклезіастъ:

„Что пользы человѣку во всемъ трудѣ его, которымъ онъ трудится подъ солнцемъ? То, что было, есть то же, что будетъ; и то, что сдѣлано было, есть то же,

что сдѣлано будетъ; и нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ“.

Мысль хотя не новая, какъ видитъ читатель, но хорошая; нельзя запретить поэту смотрѣть на вещи съ этой стороны, если къ тому влечетъ его душевное настроеніе. Нужно только, чтобы мысль была выражаема съ надлежащею силою и поэтической ясностью. Къ сожалѣнію, этого нѣтъ. „Призраки“ есть наиболѣе правильное изъ этихъ произведеній. Элисъ, сама воплощенная поэзія, носитъ поэта по землѣ, показываетъ ему современный міръ и воскрешаетъ передъ нимъ грозныя картины исторіи. Съ тоскою и уныніемъ отворачивается поэтъ отъ настоящаго и прошедшаго, и, наконецъ, встрѣчаетъ смерть и отдается ужасу при мысли о ничтожествѣ всего на свѣтѣ.

Въ „Довольно“ мысль о суетѣ суетъ выражена наголо, и не оправдана поэтически, а обставлена холодными и слабыми разсужденіями.

Наконецъ, въ „Дымѣ“, какъ мы видѣли, она ни мало не связана съ предметомъ, которому посвященъ разсказъ. Литвиновъ и проповѣдь о ничтожествѣ всего земнаго—можно ли не видѣть здѣсь явнаго разногласія?

Что не связано, то такъ несвязнымъ и остается. Разсуждая о суетѣ мірской, Литвиновъ ни мало не думаетъ пояснять свои разсужденія событіями своей жизни, но вдругъ начинаетъ говорить о совершенно другихъ вещахъ, совершенно до него не касающихся. Вотъ продолженіе его страннаго размышленія:

„Другой вѣтеръ подулъ, и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная—и ненужная игра. Вспомнилось ему многое, „что съ громомъ и трескомъ совершалось на его гла-

„захъ въ послѣдніе годы... дымъ, шепталъ онъ, дымъ; „вспомнились горячіе споры, толки и крики у Губарева, у другихъ, высоко и низко-поставленныхъ, передовыхъ и отсталыхъ, старыхъ и молодыхъ людей... дымъ, „повторялъ онъ, дымъ и паръ; вспомнился, наконецъ, и „знаменитый пикникъ, вспомнились и другія сужденія и „рѣчи другихъ государственныхъ людей—и даже все „то, что проповѣдывалъ Потугинъ... дымъ, дымъ и больше „ничего“ (тамъ же).

Вѣтеръ перемѣнился! Вотъ отчего все и показалось дымомъ, показалось опять таки не въ глазахъ Литвинова, а въ глазахъ г. Тургенева; вотъ слово, объясняющее весь смыслъ романа, настоящій ключъ къ его загадкѣ.

Что же это за вѣтеръ? Конечно, дѣло здѣсь не о томъ, что Ирина измѣнила Литвинову, или что онъ измѣнилъ Татьянѣ и т. п. Нѣтъ, Литвиновъ ни съ того, ни съ сего начинаетъ размышлять о тѣхъ партіяхъ, спорахъ и крикахъ, въ которыхъ не принималъ ни малѣйшаго участія, которые не имѣли никакого отношенія къ исторіи его любви, и о которыхъ, поэтому, намъ и не пришлось до сихъ поръ говорить. Въ романѣ выведена на сцену цѣлая толпа лицъ всевозможныхъ оттѣнковъ, консерваторовъ, либераловъ, радикаловъ и пр.; есть даже одинъ спиритъ. Консерваторы, спириты и т. п. группируются около Ирины; радикалы и революціонеры около нѣкотораго Губарева. Сказать что-нибудь объ этихъ лицахъ нѣтъ никакой возможности, до того слабо они обрисованы; объ иномъ ничего и не узнаешь, кромѣ того, что у него *гнусный затылокъ*; три генерала различаются тѣмъ, что одинъ тучный, другой раздражительный, а третій снисходительный и т. д. По справедли-

вому замѣчанію одного человѣка со вкусомъ, повѣсть г. Тургенева представляетъ большую картину, на которой не вполне дописано прелестное лицо Ирины, другихъ же лицъ совсѣмъ нѣтъ, и тамъ, гдѣ имъ слѣдуетъ быть, поставлены мѣломъ кружки вмѣсто головъ и линиями обозначено положеніе тѣла. Вотъ эти-то люди и составляютъ *дымъ*, а отнюдь не Ирина и Литвиновъ, которые не имѣютъ съ ними ничего общаго.

Куда же несется этотъ дымъ? И какая случилась переменна вѣтра, въ силу которой дымъ, какъ и подобаетъ дыму, понесся въ другую сторону? Къ сожалѣнію, едвали кто найдетъ въ повѣсти ясные отвѣты на эти вопросы. Одно только ясное и опредѣленное указаніе нашли мы по сему предмету. Продолжая утѣшать себя размышленіями о важныхъ матеріяхъ, Литвиновъ между прочимъ думаетъ:

„Вотъ въ Гейдельбергѣ теперь (1862) болѣе сотни „русскихъ студентовъ; всѣ учатся химіи, физикѣ, физиологіи, ни о чемъ другомъ и слышать не хотятъ... а „пройдетъ пять-шесть лѣтъ, и пятнадцати человѣкъ „на курсахъ не будетъ у тѣхъ же знаменитыхъ профессоровъ... Вѣтеръ переменится, дымъ хлынетъ въ „другую сторону... дымъ... дымъ... дымъ“! (стр. 152).

„Предчувствія Литвинова сбылись“ — прибавляетъ авторъ. „Въ 1866 году было въ Гейдельбергѣ учащихся въ лѣтній семестръ 13, въ зимній 12“.

Другое указаніе авторъ сдѣлалъ невольно, обмолвившись. Именно, Потугинъ очень горячится въ одномъ мѣстѣ противъ повѣсти г-жи Кохановской *Рой на покой*. Но эта повѣсть появилась въ 1864 году, а г. Потугинъ, предполагается, философствуетъ противъ нея въ 1862 г. Итакъ, эпохи нѣсколько смѣшаны въ повѣсти, и все по-

казывается, что ея тенденціи ничуть не ограничиваются чертою 1862 года, а простираются и до настоящихъ дней. Вслушайтесь еще разъ въ рѣчи Потугина, вникните въ намеки, разсѣянные въ повѣсти, и вы, наконецъ, поймете, о какой *переменѣ вѣтра* глубокомысленно разсуждаетъ Литвиновъ.

Да, вотъ оно что! Дѣйствительно вѣтеръ-то перемѣнился, дѣйствительно, несетъ въ другую сторону. Это фактъ очевидный, обширный, ясный, общеизвѣстный. До 1862 году движеніе, постепенно возрастая, шло въ одну сторону, послѣ 1862 года оно поворотило и пошло въ другую. Если ужъ говорить о переменнахъ вѣтра, то сейчасъ же придетъ на мысль эта переменна, передъ которой всѣ другія ничтожны; опустить ее или не имѣть ее въ виду невозможно.

Увидѣвъ эту переменну, столь крутую, неожиданную, поразительную, г. Тургеневъ воскликнулъ изъ своего прекраснаго далека: суета суетъ и всяческая суета! Все человѣческое—дымъ, а все русское—дымъ по преимуществу!

Теперь, когда мы вскрыли внутреннюю подкладку повѣсти, такъ сказать, ея нервъ, намъ легко уже будетъ судить о тѣхъ ея мѣстахъ, гдѣ выражаются не поэтическія, а публицистическія мнѣнія. Въ этой повѣсти все задѣто, всѣ наши партіи, почти всѣ явленія нашей жизни, и высшій свѣтъ, и учащаяся молодежь, и Глинка, и Телушкинъ, и проч., и проч. Можно подумать, что для отвѣта на всѣ эти бранчивые и брезгливые отзывы придется воевать съ г. Тургеневымъ цѣлые годы, придется спорить безъ конца. Но дѣло гораздо проще и не требуетъ особенно сильныхъ военныхъ приготовленій.

Не мало въ „Дымѣ“ выходовъ противъ людей и мнѣ-

ній, принадлежащихъ къ движенію до 1862 года; но несравненно многочисленнѣе, продолжительнѣе и сравнительно сильнѣе выходки противъ мнѣній и настроеній, получившихъ верхъ послѣ 1862 года. Увы! Не равнодушенъ нашъ поэтъ и не до конца искренно онъ исповѣдуется, что все прахъ и суета. Вѣтеръ перемѣнился, и все понесло въ другую сторону; „все дымъ“, шепчетъ поэтъ; но, несмотря на это успокоительное изреченіе, перемѣна, очевидно, раздражила поэта, и онъ написалъ повѣсть *противъ господствующаго вѣтра*.

Ясно, какъ день, что въ повѣсти слышна раздражительность; ясно, какъ день, что эта раздражительность направлена противъ господствующаго вѣтра. Этотъ вѣтеръ, вѣроятно, слышится г. Тургеневу, какъ и всякому, въ каждомъ листкѣ любой русской газеты. Это вѣтеръ противный обличительному и самооплевавательному, вѣяніе нѣкоторой народной гордости, самоувѣренности, большее уваженіе къ нашей исторіи, большая вѣра въ насущныя силы Россіи, большая надежда на ея будущность. Говоря литературными формулами, всѣ мы до 1862 года были болѣе или менѣе западниками, а послѣ этого года всѣ болѣе или менѣе стали славянофилами. Вотъ та превратность земныхъ вещей, которая не нашла себѣ сочувствія въ душѣ нашего поэта.

Но—трудно плыть противъ вѣтра! Кто же обратитъ вниманіе на эти брезгливыя и мелкія выходки, когда жизнь, сама жизнь, сама исторія увлекаетъ насъ, когда то, надъ чѣмъ издѣвается г. Тургеневъ, не находится вдалекѣ отъ насъ, не составляетъ предмета нашихъ наблюденій со стороны, а составляетъ часть насъ самихъ, составляетъ то, чѣмъ мы живемъ и волнуемся?

Мы, на примѣръ, прилежно изучаемъ расколъ; лите-

ратура по расколу растетъ и мы вникаемъ въ нравственныя причины, которыя его породили и такъ тѣсно связаны съ самою глубио нашего народнаго духа, а намъ вдругъ предлагаютъ такое остроумное мнѣніе: „Видятъ люди: большого мнѣнія о себѣ человѣкъ, вѣрить въ себя, приказываетъ—главное приказываетъ; стало быть онъ правъ, и слушаться его надо. *Всѣ наши расколы, наши Онуфріевщины да Акулиновщины точно такъ и основались. Кто палку взялъ, тотъ и капралъ*“ (стр. 27).

Мы, на примѣръ, оказались способными къ естественнымъ наукамъ. Имена нашихъ натуралистовъ почетно извѣстны въ ученомъ мірѣ; въ нашихъ университетахъ кафедры по этимъ наукамъ всѣ заняты, заняты людьми, стоящими на уровнѣ современныхъ знаній, а объ этомъ разсуждается такъ: „теперь мы всѣ къ естественнымъ наукамъ въ кабалу записались... *Почему, въ силу какихъ резонансовъ мы записываемся въ кабалу, это дѣло темное*; такая уже видно наша натура. Но главное дѣло, чтобы былъ у насъ баринъ“ (стр. 26).

Мы, на примѣръ, любимъ музыку Глинки; серіозный, строгій музыкальный вкусъ развивается въ нашей публикѣ; являются композиторы съ своеобразными, неподдѣльными талантами; мы встрѣчаемъ ихъ съ восторгомъ, и будущность русской музыки намъ кажется несомнѣнною. А намъ говорятъ на это: „о, убогіе дурачки-варвары, для которыхъ не существуетъ преемственность искусства!“ (79). То-есть, какъ же, дескать, вы надѣетесь, что у васъ будетъ русская музыка, когда ея еще нѣтъ? Забавное разсужденіе! Вѣдь только на то и можно надѣяться, чего еще нѣтъ. Но она есть, русская музыка! Самъ Созонтъ Ивановичъ говоритъ, что Глинка чуть было не „основалъ русской оперы“. А чтò, какъ въ

дѣйствительности онъ ее основалъ, и вы ошибаетесь? Съ какимъ вы длиннымъ тогда останетесь носомъ! Шуткали—*русская опера!*

Вообще, замѣчанія г. Потугина иногда остроумны, но въ цѣломъ удивительно мелки и поверхностны и доказываютъ, что русская жизнь можетъ показаться дымомъ только тому, кто этою жизнью не живетъ, кто не участвуетъ ни въ единомъ ея интересѣ. Темна, бѣдна русская жизнь—кто говорить! Но отъ этого русскимъ людямъ, какъ людямъ живымъ, бываетъ трудно и тяжело жить, а не летятъ они по вѣтру съ легкостію дыма. Въ самыхъ шатаніяхъ и увлеченіяхъ, которыя, повидимому, хочетъ казнить г. Тургеневъ своею повѣстью, мы очень серіозны, доводимъ дѣло до конца, часто дорого-дорого за него платимся и слѣдовательно, доказываемъ, что мы живемъ и хотимъ жить, а не несемся, куда вѣтеръ повѣетъ.

Если же смутно и странно наше умственное и нравственное настроеніе, если все бродитъ у насъ, какъ чреватый хаосъ, то это не значить еще, что все это одинъ дымъ. Внимательный наблюдатель долженъ признать, что, благодаря нынѣшнему царствованію, дѣйствительно вскрылись всѣ язвы, которыя мы носили въ своемъ тѣлѣ, воображая себя вполне здоровыми; мы знаемъ теперь свои болѣзни, и еще болѣе;—появились нѣкоторыя черты, обозначились извѣстныя точки, указывающія намъ на складъ въ будущемъ нашего постепенно обновляющагося нравственного организма. Еще много дыму пускается на эти черты; но онѣ все яснѣе и яснѣе проступаютъ изъ-подъ него.

Собственно, здѣсь мы могли бы кончить нашъ разборъ. Мы видѣли изъ самой повѣсти, что жизнь рус-

ская въ ней нимало не казнится, и знаемъ, что выходящіе дѣйствующихъ лицъ относятся къ такому важному перелому и перевороту въ этой жизни, что никакъ не могутъ представлять собою серіозное сужденіе о немъ. Но положимъ, что въ „Дымѣ“ дѣйствительно казнится русская жизнь, какъ полагаетъ самъ авторъ. Тогда спрашивается, во имя чего же она казнится? Передъ какимъ свѣтлымъ и опредѣленнымъ идеаломъ ея явленія оказываются мутнымъ дымомъ, летящимъ по вѣтру? Въ повѣсти есть очень бойкія указанія на этотъ идеалъ, такъ что ихъ невозможно оставить безъ вниманія. Возьмемъ главное, центральное мѣсто, которое, повидимому, должно объяснить всѣ остальные замѣчанія, разсѣянные въ повѣсти.

Бесѣдуютъ Потугинъ и Литвиновъ, то-есть два лица, къ которымъ авторъ относится совершенно сочувственно, и въ бесѣдѣ своей касаются самыхъ общихъ вопросовъ. Потугинъ весьма жестко отозвался о славянофилахъ вообще и о г-жѣ Кохановской въ особенности; тогда Литвиновъ замѣчаетъ:

„— Послѣ того, что вы сейчасъ сказали, мнѣ нечего спрашивать, къ какой вы принадлежите партіи и какого вы мнѣнія о Европѣ“ (стр. 29).

Итакъ, Потугинъ принадлежитъ къ нѣкоторой *партіи*, и Литвиновъ нимало надъ нимъ за это не смѣется, хотя, по его мнѣнію, *русскимъ еще рано имѣть политическія убѣжденія или воображать, что мы ихъ имѣемъ* (стр. 20). Притомъ Литвиновъ такъ проницателенъ, что даже вполне угадываетъ *мнѣніе Потугина о Европѣ*. Любопытно! Въ чемъ же состоитъ это мнѣніе?

„Потугинъ приподнял голову“ (*очевидно, движеніе гордости и увѣренности*).

„— Я удивляюсь ей (Европѣ) и преданъ ея началамъ до чрезвычайности, и нисколько не считаю нужнымъ это скрывать“.

Казалось бы, за этою смѣлою и открытою рѣчью немедленно должно было послѣдовать хотя какое-нибудь указаніе на предметы, передъ которыми преклоняется Потугинъ. Онъ долженъ былъ бы хоть намекнуть, *въ чемъ* онъ удивляется Европѣ, и *какимъ* началамъ онъ такъ преданъ. Вѣдь Европа велика, и чего-чего въ ней нѣтъ! Какія начала разумѣть Потугинъ? Англійское начало самоуправленія, или французское начало администраціи? Свободу печати, или систему предостереженій? Народность, или космополитизмъ? Соціализмъ, или политическую экономію? Ужъ не начала ли 89 года, на которыя любитъ ссылаться французскій императоръ? Что-нибудь и какъ-нибудь да долженъ бы былъ обозначить Потугинъ.

Ничуть не бывало. Онъ совершенно довольствуется тѣмъ, что сказалъ. Онъ начинаетъ хвалиться тѣмъ, что смѣло всѣмъ высказываетъ это свое мнѣніе (какое? желательное бы знать), и съ нѣкоторымъ азартомъ такъ продолжаетъ рѣчь:

„Да-съ, да-съ, я западникъ, я преданъ Европѣ; то-есть, говоря точнѣе (посмотримъ!), я преданъ образованности, той самой образованности, надъ которою такъ мило у насъ теперь потѣшаются, цивилизаціи—да, да, это слово еще лучше,—и люблю ее *всѣмъ сердцемъ*, и *вѣрю въ нее, и другой любви, другой вѣры у меня нѣтъ* и не будетъ (Видите, какъ горячо!). Это слово: ци... ви...ли...зація (Потугинъ отчетливо, съ удареніемъ произнесъ каждый слогъ), и понятно, и чисто, и свято, а другіе всѣ, народность тамъ, что-ли, слава,—кровью пахнутъ... Богъ съ ними“!

И такъ, г. Потугинъ преданъ той цивилизаціи, которая противоположна народности, славѣ и другимъ словамъ, пахнущимъ кровью. Кто пойметъ подобную складную рѣчь? *Народность* есть начало, какъ извѣстно, управляющее современною исторіею Европы. Но этому началу г. Потугинъ не преданъ. *Слава* никогда никакимъ началомъ не была. Ужъ не разумѣть ли здѣсь г. Потугинъ la gloire militaire французовъ, которая дѣйствительно пахнетъ кровью? Если такъ, то значить воинственности французовъ онъ не сочувствуетъ. Но чему же онъ сочувствуетъ и чему преданъ?

Цивилизаціи, ци-ви-ли-заціи.

Признаемся, это намъ невольно напомнило то, какъ г. Анучкину, любителю французскаго языка и тонкаго обращенія, понравилось слово Сицилія (въ „Женитьбѣ“ Гоголя). „Сицилія“—обращается онъ къ Жевакину—„вотъ вы говорите Сицилія, какъ же это Сицилія...“

Да, хорошія бываютъ слова!

Между тѣмъ, собесѣдникъ Потугина вполнѣ удовлетворяется его словами. Онъ какъ будто до тонкости узналъ мнѣнія Потугина о Европѣ, и потому, оставляя исчерпанный сюжетъ, обращаетъ разговоръ на любезное отечество.

„— Ну, а Россію, Созонтъ Ивановичъ, свою родину, вы любите?“

„Потугинъ провелъ рукой по лицу.“

— „Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу“.

Прекрасно. Спрашивается, послѣ подобныхъ словъ какой вопросъ долженъ быть предложенъ Созонту Ивановичу? Казалось бы, любопытствующій Литвиновъ долженъ былъ спросить: что же вы въ Россіи страстно

любите, и что вы въ ней ненавидите? Какія стороны вы находите свѣтлыя, и какія темныя?

Но ничуть не бывало. Можно подумать, что опять Литвиновъ какъ будто до тонкости узналъ мнѣнія Потугина о Россіи, что онъ угадалъ ихъ. Однако, нѣтъ.

Литвиновъ пожалъ плечами.

— „Это старо, Созонтъ Ивановичъ, это—общее мѣсто“.

Совершенно справедливое замѣчаніе. Литвиновъ ничего не узналъ и не могъ узнать изъ такого общаго мѣста, что Россія имѣетъ и темныя и свѣтлыя стороны. Собесѣдникамъ, очевидно, слѣдуетъ пуститься въ частности; тогда разговоръ будетъ интереснѣе. Но не тутъ-то было. Созонтъ Ивановичъ возражаетъ.

— „Такъ что-жъ такое? Что за бѣда? Вотъ чего испугались! Общее мѣсто! Я знаю много хорошихъ общихъ мѣстъ“. И проч.

На это, конечно, слѣдовало бы отвѣчать, что никто общихъ мѣстъ не пугается, и никто не отрицаетъ ихъ достоинствъ; но только никто же на общихъ мѣстахъ не останавливается и не считаетъ ихъ выраженіемъ яснаго и опредѣленнаго мнѣнія о частномъ вопросѣ.

Вмѣсто того, Литвиновъ нападаетъ на Потугина съ той точки, будто взглядъ его устарѣлъ.

— „Байроновщина, перебилъ Литвиновъ,—романтизмъ тридцатыхъ годовъ“.

На это Потугинъ побѣдоносно отвѣчаетъ цитатою изъ Катулла, которая неопровержимо доказываетъ, что его общее мѣсто есть дѣйствительно очень общее мѣсто. Затѣмъ онъ начинаетъ горячиться по поводу Россіи точно такъ, какъ прежде горячился по поводу Европы.

„Да-съ“—говоритъ онъ—„я и люблю и ненавижу свою „Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую ро-

„дину. Я теперь вотъ ее покинулъ: нужно было провѣтриться немного послѣ двадцатилѣтняго сидѣнья за казеннымъ столомъ, въ казенномъ зданіи; я покинулъ „Россію, и здѣсь мнѣ очень пріятно и весело: но я скоро „назадъ поѣду, я это чувствую. Хороша садовая земля... „да не расти на ней морошкѣ!“

Вотъ и понимайте, какъ знаете! Литвиновъ, однако, вполне довольствуется этою тирадою, и разговоръ переходитъ на другіе предметы.

Какъ не подивиться послѣ этого русскимъ людямъ! Вотъ изъ толпы набитыхъ дураковъ и безпардонныхъ болтуновъ выходятъ двое умныхъ людей. Одинъ изъ нихъ только-что язвительно подсмѣялся надъ своими соотечественниками за то, что у нихъ вѣчно „возникаетъ вопросъ о значеніи, о будущности Россіи, да въ такихъ общихъ чертахъ, отъ лица Леды, бездоказательно, безвыходно“ (стр. 26). Но о чемъ-же бесѣдуютъ сами два умника?

— Какого вы мнѣнія о Европѣ?—спрашиваетъ одинъ.

— Хорошаго мнѣнія—отвѣчаетъ другой.—Только вотъ не люблю, когда что-нибудь кровью пахнетъ.

— А о Россіи?

— Многое одобряю, но многое и порицаю.

Ну можетъ ли быть еще что-нибудь общѣ этихъ общихъ чертъ и общихъ мѣстъ?

Приглядитесь еще немножко, и вы увидите, что разговаривающіе сами не понимаютъ своего отношенія къ предметамъ рѣчи. Что за вопросъ: какого вы мнѣнія о Европѣ? Развѣ на европейской точкѣ зрѣнія можно быть какого-нибудь, хорошаго или дурнаго, мнѣнія разомъ о всей Европѣ, о всѣхъ ея государствахъ, дѣлахъ и пар-

тіяхъ? Вопросъ есть нелѣпость для всякаго, кто не считаетъ Европу особымъ міромъ, развившимся изъ особыхъ началъ, напримѣръ, положимъ изъ римской цивилизаціи, и кто не противопоставляетъ этому міру нѣкотораго другаго міра. Для настоящаго европейца Европа есть все, всецѣлый міръ, и онъ называетъ и чувствуетъ себя европейцемъ только передъ людьми, которыхъ считаетъ чуждыми настоящей исторической жизни, передъ китайцами, малайцами, неграми. Среди же Европы никто себя европейцемъ не величаетъ и если питаетъ какія-нибудь мнѣнія о Европѣ вообще, то эти мнѣнія для него равнозначительны съ мнѣніями о состояніи и развитіи человѣчества вообще.

Точно такъ, никакой настоящій западникъ не называетъ себя западникомъ. Слово это придумано славянофилами и означаетъ людей, отрицающихъ существованіе у насъ народныхъ началъ. Но никто не станетъ опредѣлять себя однимъ отрицаніемъ. Всякій западникъ назоветъ себя вамъ или конституціоналистомъ, или республиканцемъ, демократомъ, социалистомъ и т. д., но никто не назоветъ себя просто западникомъ. Никто не скажетъ, что онъ держится *западныхъ* началъ; всякій скажетъ, что онъ держится общечеловѣческихъ началъ, и именно такихъ-то и такихъ-то.

Итакъ, о чемъ же разсуждаютъ умные люди г. Тургенева? Согласно съ славянофильскими понятіями, они вообразили, что можно отнести къ Европѣ, какъ къ особому *единому* міру, и, согласно съ славянофильской терминологіей, именуютъ себя *западниками*. Въ смыслѣ славянофиловъ, какой бы вы западной теоріи ни держались, вы будете западникъ, челоѣкъ, держащійся началъ особаго европейскаго міра. Вотъ почему Потугинъ

вмѣсто всякихъ мнѣній твердитъ только одно:—я западникъ, я европеецъ!

Вотъ, слѣдовательно, въ чемъ разгадка: умные люди не столько пылаютъ любовью къ цивилизаціи, сколько нерасположеніемъ къ славянофильской теоріи. Они разсуждаютъ о вопросахъ этой теоріи, употребляютъ ея же формулы, но заявляютъ свое полное несогласіе съ нею. Своего же за душой у нихъ пока ничего нѣтъ.

Приведемъ еще одно поясненіе. Ни одинъ французъ, ни одинъ нѣмецъ, конечно, не задастъ своему соотечественнику такого неопредѣлительнаго и въ сущности ничего незначащаго вопроса: какого вы мнѣнія о Европѣ? Но есть одинъ народъ,—въ настоящую минуту, конечно, первый изъ народовъ міра,—въ которомъ встрѣчается нѣчто подобное нашимъ русскимъ разговорамъ. Это англичане. Когда англичанинъ въ первый разъ отправляется съ своего острова на материкъ Европы, то по возвращеніи, или среди самого материка, онъ слышитъ отъ своихъ соотечественниковъ вопросъ: ну что вы скажете о *континентѣ*? Какъ вы находите континентальную жизнь, континентальные порядки?

Понятно, на какомъ взглядѣ опираются подобные вопросы. Все не англійское, все чуждое тѣхъ широкихъ, крѣпкихъ, правильно развитыхъ, ясно сознаваемыхъ началъ, которыми проникнута англійская жизнь, должно являться англичанину чужимъ міромъ, міромъ, держащимся на какихъ-то иныхъ началахъ, слѣдующимъ въ жизни иной, не англійской логикѣ. Тутъ является такая опредѣленная противоположность, что континентъ сливается въ глазахъ англичанина въ одно цѣлое, все его разнообразіе покрывается однимъ общимъ колоритомъ.

Спрашивается теперь, въ такомъ ли смыслѣ Потугинъ

гинъ и Литвиновъ сообщаютъ другъ другу свои *мнѣнія о Европѣ*? Увы! Оказывается, что передъ нами не два образованныхъ европейца, изъ которыхъ каждый имѣетъ свое опредѣленное мнѣніе, свое *profession de foi*, осуществленію котораго и посвящаетъ свои мысли и труды; но это также и не два образованныхъ русскихъ, сознающихъ своеобразіе своей народности и размышляющихъ объ отношеніи ея къ *иному* міру, къ Европѣ. Нѣтъ, они всего скорѣе похожи на какихъ-нибудь попавшихъ въ Европу сіамцевъ, или японцевъ, которые въ каждой странѣ ея одинаково чувствуютъ себя не-европейцами; это, дѣйствительно, *убогіе дурачки-варвары*, которые столбенѣютъ въ тупомъ и неопредѣленномъ удивленіи къ зрѣлищу, раскрывающемуся передъ ними, люди, восхищающіеся цивилизаціею вообще—въ противоположность варварству, господствующему въ ихъ темномъ отечествѣ.

Но неужели же мы, русскіе, находимся въ такомъ положеніи? Опять замѣтимъ, что, только глядя на русскую жизнь со стороны, можно было такъ поверхностно понять это отношеніе. Въ дѣйствительности, въ настоящую минуту ни одинъ русскій человѣкъ *не можетъ* стоять въ такомъ отношеніи къ Европѣ, въ какое ставитъ себя почтенный Созонтъ Ивановичъ. Потому что, вѣдь скоро будетъ двѣсти лѣтъ, какъ мы явились въ Европу такими точно „варварами-дурачками“, и съ той поры много воды утекло. Съ тѣхъ поръ, какихъ вліяній мы не пережили, кому не подражали, кого не передразнивали! Мы и передъ гробомъ Ришелье преклонялись, и писали „Наказъ“ въ духѣ энциклопедистовъ, мы проникались и началами 89 года, и началами первой имперіи, мы когда-то „Гегеля изучали и знали Гёте наизусть“, мы были бойцами республики 48 года, и потомъ плакали

о ея паденіи, какъ о гибели кровныхъ нашихъ надеждъ; мы всегда сочувствовали лучшимъ, избраннѣйшимъ умамъ Европы, но вообще, каждому ея крупному явленію мы непремѣнно платили и платимъ дань; мы платимъ ее, напримѣръ, теперь и Наполеону III, и свободной торговлѣ Англіи, и т. д.

И чѣмъ дальше, тѣмъ шире и глубже этотъ наплывъ, какъ это и въ порядкѣ вещей. Этотъ вѣтеръ вѣетъ сильно. И мы все яснѣе и яснѣе понимаемъ его дѣйствіе, потому что переживаемъ это дѣйствіе на себѣ, на своихъ костяхъ и своей плоти. Мы знаемъ, что вліяніе Европы вызываетъ не одни свѣтлыя явленія; мы перенесли отъ него и переносимъ не только явленія жалкія, смѣшныя, пустыя и безплодныя, но и мрачныя и грустныя до высочайшей степени и, слѣдовательно, мы не можемъ стоять въ такомъ идиллическомъ отношеніи къ вліянію Европы, какъ Созонтъ Ивановичъ.

Но есть у насъ другой вѣтеръ, тоже постепенно усиливающийся, но далеко еще недостигшій силы для равноправной борьбы съ западнымъ вѣтромъ. Это—вѣяніе того, что г. Тургеневъ нѣкогда остроумно назвалъ „черноземною силою“, вѣяніе духа нашей народности. Отъ времени до времени, мы, гнушіеся, какъ тростникъ, отъ западнаго вѣтра, обнаруживаемъ силу упругости, выпрямляемся и даже наклоняемся въ другую сторону отъ вѣтра, потянувшего съ востока. Естественная реакція умовъ и душъ, но главное—столкновенія съ Европою, ходъ событій, неизбежно заставляющій дѣйствовать насъ, насъ, въ другое время готовыхъ стереться съ лица земли, слетѣть съ нея подобно дыму,—даютъ у насъ просторъ этому вѣтру. Его дѣйствія мы тоже знаемъ, ибо переносимъ ихъ на себѣ, на своей плоти и своихъ костяхъ,

и все яснѣе различаемъ темныя и свѣтлыя явленія, имъ порождаемыя.

Эти два вѣтра не случайны, какъ видитъ читатель. Существованіе именно ихъ, а не какихъ другихъ вѣтровъ, всего лучше показываетъ, что не *дымъ* все русское, что не капризъ случая вертитъ нами. Напротивъ, кто живетъ среди борьбы этихъ направленій, для кого она составляетъ насущную задачу, радость и горе, для того должны показаться дымомъ слова и разсужденія, отрицающія серіозность нашей жизни.

(«Отечественныя Записки», 1867, май).

III.

ДВА ПИСЬМА Н. КОСИЦЫ *).

ЗА ТУРГЕНЕВА.

(Письмо въ редакцію «Зари»).

Вотъ уже восемь лѣтъ, милостивый государь, какъ я выступилъ на литературное поприще, и мое несчастное положеніе не только не улучшается, а съ каждымъ днемъ становится хуже и хуже. Увлекаемый пагубнымъ, но непреодолимымъ пристрастіемъ къ нашей литературѣ, я съ каждымъ днемъ живѣе чувствую горечь и тяжесть участи, которую самъ себѣ уготовилъ. Подумайте обо мнѣ и пожалѣйте. Я постоянно читаю книги, которыя вовсе не заслуживаютъ чтенія; я задаю себѣ вопросы, рѣшеніе которыхъ не имѣетъ никакой дѣйствительной важности; я по цѣлымъ днямъ, и недѣлямъ, и мѣсяцамъ упражняю свою проницательность на предметахъ, не заключающихъ въ себѣ никакого серьезнаго значенія. Эти книги, вопросы и предметы закрываютъ отъ меня

*) Н. Косица—былъ мой псевдонимъ, подъ которымъ явился рядъ писемъ подобныхъ этимъ двумъ. „Заря“—ежемесячный журналъ В. В. Кашпирева, выходившій въ 1869—72 годахъ. Н. С.

міръ, не даютъ мнѣ видѣть того, что дѣйствительно заслуживаетъ вниманія, чѣмъ волнуются люди разумные и любящіе свое отечество. Читали-ли вы, напримѣръ, романъ г. Авдѣева „Межъ двухъ огней“ и романъ Марка Вовчка „Живая душа“? Если и принимались читать, то вѣрно не дочитали; а я прочелъ эти романы отъ первой строки до послѣдней, изучалъ, сравнивалъ. Вникали вы въ отношенія Камышлинцева къ Ольгѣ Мытищевой, или Маши къ Загайному? Едва ли вы нашли ихъ достойными продолжительнаго вниманія; а я вникалъ, я прослѣдилъ всѣ слова, всѣ дѣйствія и душевныя движенія этихъ героевъ и героинь; я воссоздалъ эти лица въ своемъ воображеніи, и отдалъ себѣ отчетъ въ образѣ ихъ мыслей и поступковъ.

Не думаете ли вы, что это весело и занимательно? О, какая тяжкая работа, что за зѣвота, по выраженію Байрона, *неутолимая никакимъ сномъ*! Часто бросаю я книгу, часто собираюсь съ силами, чтобы вновь пуститься въ этотъ блѣдный хаосъ лицъ, сценъ, разговоровъ — и только изрѣдка, среди этого мрачнаго плаванія, я вдругъ обрадуюсь, когда натолкнусь на какое-нибудь мѣсто, на сценку, на замѣчаніе, гдѣ наконецъ наголо, на чистоту высказалась у автора вся пошлость его взгляда на жизнь, все чудовищное искаженіе истинныхъ отношеній къ предмету. Помните-ли, напримѣръ, то мѣсто, когда герой приходитъ къ барынѣ, которая по его милости находится въ интересномъ положеніи, и обращаетъ вниманіе...? Но я совершенно увѣренъ, что вы давно забыли эти пошлости, которыя лишь я осужденъ носить въ своей памяти. Могу васъ увѣрить только, что тутъ среди потока безсвязныхъ и ничего не выражающихъ звуковъ, вдругъ слышится рѣзкій, отчетливый диссонансъ, — вдругъ

ясно открывается вся бездна пустоты и безсердечія, выдаваемыхъ авторомъ за душевную глубину и сердечную теплоту.

Несчастный! замѣтите вы, чему же тутъ радоваться? И вообще, изъ-за чего все это волненіе, всѣ эти труды и усилія? Я буду съ вами вполне откровененъ, милостивый государь. Все это я дѣлаю для достиженія весьма незначительнаго результата. Все это для того, чтобы иногда, ходя по своей комнатѣ, я могъ сказать себѣ съ совершенной увѣренностію: „я ихъ понимаю; я знаю, что такое пишется въ русской литературѣ; для меня вполне ясны: смыслъ, источникъ, глубочайшій корень этихъ писаній“. Вы спросите меня: что же такого сладкаго и утѣшительнаго я нахожу въ этой мысли? Ужъ не гордость ли? Повѣрьте, что нѣтъ. Да и какая можетъ быть гордость въ томъ, что русскій человѣкъ понимаетъ русскія книги, притомъ книги, писанныя для огромнаго большинства читателей, для дамъ, для дѣвицъ? А я вѣдь человѣкъ давно бородатый и даже съ сѣдиною.

Нѣтъ, дѣло не въ гордости; если я добиваюсь полнаго и яснаго уразумѣнія русской литературы, то единственно для моего душевнаго спокойствія. Дѣло въ томъ, что эта литература вотъ уже не одинъ десятокъ лѣтъ занимается предметомъ, который затрогиваетъ меня въ высокой степени. Именно, она постоянно ищетъ какихъ-то *новыхъ, свѣжихъ, живыхъ* мыслей, она постоянно увѣряетъ, что она находитъ такія мысли, что она обладаетъ ими вполне, что она затѣмъ и существуетъ, чтобы проводить ихъ, развивать и вкоренять въ обществѣ. Посудите сами, какъ это раздражаетъ любопытство! Несмотря на то, что во всѣхъ этихъ мысляхъ я еще ни разу не нашелъ (при тщательномъ изслѣдованіи) ни новости, ни

свѣжести, ни даже особой живости,—я до сихъ поръ не могу отдѣлаться отъ этой завлекательной игры. Несмотря на постоянныя разочарованія, я вотъ уже болѣе десяти лѣтъ хватаюсь съ жадностію за новыя книги и тотчасъ принимаюсь разыскивать, не явились-ли въ нихъ какая-нибудь новая, свѣжая, живая мысль? И до тѣхъ поръ я не успокоиваюсь, пока не дойду до полного убѣжденія, что все это мыльный пузырь, и что я тревожился напрасну. Читали-ли вы, напримѣръ, статью г. Алкандрова о Тургеневѣ? А я читалъ, именно потому, что въ одномъ журналѣ говорилось, будто въ этой статьѣ есть свѣжая мысль. Замѣтили-ли вы, что г-жа Конради въ своихъ критическихъ пріемахъ начинаетъ подражать г. Писареву? А я замѣтилъ. Читали-ли вы...? Но, милостивый государь, мнѣ наконецъ совѣстно становится указывать, чтò я читаю, во что вникаю, на что трачу свое время и свои силы.

Но дѣло не въ одной раздраженной любознательности; русская литература затрогиваетъ сверхъ того и мое нравственное чувство. Невозможно выразить, съ какою самоувѣренностію, съ какимъ пророческимъ воодушевленіемъ выступали, а многіе и до сихъ поръ выступаютъ у насъ съ проповѣдью новыхъ идей. Можно подумать, что они первые открыли дѣйствительное различіе между добромъ и зломъ, что имъ выпала доля просвѣтить въ этомъ отношеніи родъ человѣческій. „Начнешь читать“, говаривалъ одинъ изъ моихъ пріятелей— „и тотчасъ видишь, что авторъ обращается съ тобой, какъ съ дуракомъ; читаешь дальше,—и чувствуешь, что онъ считаетъ тебя не только дуракомъ, но и подлецомъ“.

Вы знаете, къ чему повели эти заносчивыя наставленія, эти наглыя посягательства на человѣческое до-

стоинство читателей. Они имѣли необыкновенный успѣхъ. Нашлось множество читателей, которые вполне подчинились впечатлѣнію, потеряли всякую вѣру въ себя и стали мало-по-малу считать себя дѣйствительно дураками и дѣйствительно подлецами. Они усумнились въ самыхъ простыхъ и, повидимому, натуральныхъ своихъ дѣйствійхъ; они вдругъ стали стыдиться своихъ всегдашнихъ мнѣній и своего образа жизни. Понятно, что отсюда произошло. Изъ дураковъ и подлецовъ они вдругъ пожелали сдѣлаться умниками и добродѣтельными—и вы найдете теперь множество людей, которые вполне увѣрены, что они совершили надъ собой столь дивное и полезное для нашего отечества превращеніе. Они были прежде глупы, а теперь блистаютъ умомъ,—были прежде себялюбивы и малодушны, а теперь преисполнены великодушія и благородства.

Но чтò касается до меня, то дѣло происходило совершенно иначе. Представьте—едва смѣю высказать этотъ фактъ, безъ котораго мнѣ однако-же невозможно изъяснить свою мысль,—представьте, что я никогда не считалъ себя дуракомъ и подлецомъ. Прошу васъ понять меня какъ слѣдуетъ. Конечно случалось мнѣ говорить и дѣлать глупости, конечно есть грѣхи на моей совѣсти; но потерять всякое самоуваженіе, почувствовать, что вплоть до настоящей минуты я рассуждалъ какъ дуракъ и дѣйствовалъ какъ подлецъ,—такого несчастія, благодареніе небу, я никогда не испытывалъ.

Вы понимаете теперь, въ какой разладъ я пришелъ съ нашею литературой. Когда ко мнѣ обращаются съ такою нахальною рѣчью, какъ будто я ровно ничего не знаю и не умѣю разобрать, чтò хорошо и чтò дурно,—то, не смотря на всю свою скромность, я не могу воз-

держаться отъ нѣкотораго волненія. Скажу откровенно—меня немножко злитъ это непомѣрное самодовольство и самовозношеніе. Вотъ почему для меня составляетъ нѣкоторое удовольствіе—добраться до корня этихъ ярыхъ нравоученій, вотъ почему я и радуюсь, когда найду мѣсто, обличающее тѣхъ, кто такъ гордо признаетъ себя свѣтильниками правды и добра. Мнѣ пріятно видѣть, что гордость и легкомысліе наказываютъ сами себя,—что истинная нравственная чистота (какъ тому и подобаетъ) не мирится съ ними; я убѣждаюсь, что все идетъ надлежащимъ образомъ, что вѣчные законы души человеческой соблюдаются,—и успокоиваюсь.

Таковы странныя и, по правдѣ сказать, почти безполезныя какъ для ума, такъ и для сердца занятія, которыми я предаюсь по своему пристрастію къ нашей литературѣ. По счастью, не всѣ мои изслѣдованія безплодны—и если я рѣшился писать къ вамъ, то лишь потому, что, какъ вы сейчасъ увидите, я встрѣтилъ нѣчто, можетъ быть, не совсѣмъ недостойное вашего вниманія.

Вы понимаете, что я говорилъ до сихъ поръ не обо всей нашей литературѣ, а только объ одной ея части, о той, которая у насъ всего больше процвѣтаетъ, имѣетъ наибольшее число органовъ и составляетъ пищу главной массы читателей.

Но не думаете-ли вы, что объ остальной, такъ сказать, болѣе правильной и спокойной части нашей литературы можно судить безъ особыхъ затрудненій,—что она допускаетъ простое и ясное пониманіе? Вы жестоко ошибаетесь; по моему мнѣнію, эта часть литературы требуетъ еще большихъ, еще напряженнѣйшихъ усилій. Она такъ темна, такъ тревожна, воодушевлена такими глубокими и неопредѣленными стремленіями, порождаетъ

свои произведенія съ такими болями и муками, что передъ нею ничего не значатъ всѣ шалости новыхъ идей, обыкновенно отличающіяся соблазнительною ясностію. Вообще русскую литературу я считаю однимъ изъ самыхъ непонятныхъ явленій, какія только есть на свѣтѣ.

Хотите доказательствъ? Возьмите появленіе „Войны и Мира“. Какое неожиданное, ошеломляющее впечатлѣніе! Кто былъ готовъ къ этому произведенію? Кто понималъ его, какъ слѣдуетъ? Не говорю о вашемъ журналѣ, о которомъ можно сказать, по крайней мѣрѣ, что онъ не посрамилъ себя въ этомъ случаѣ. Но какъ осрамились другіе! Съ одной стороны, великое произведеніе гр. Л. Н. Толстаго подобно нѣкоторой бомбѣ обрушилось въ нигилистическій муравейникъ—и этотъ муравейникъ до сихъ поръ не можетъ прійти въ себя, не постигая, что за предметъ ихъ давитъ, и не имѣя возможности ни обозрѣть этотъ предметъ своими крошечными глазами, ни искушать его своими крошечными челюстями. Съ другой стороны, такой заслуженный журналъ, какъ „Русскій вѣстникъ“, не только не съумѣлъ въ этомъ случаѣ побѣдить свое обыкновенное равнодушіе и высокомеріе относительно русской литературы, но даже—credite posteri!—ничего лучшаго не нашелъ сказать по поводу „Войны и Мира“, какъ обвинить гр. Л. Н. Толстаго въ какомъ-то „историческомъ нигилизмѣ!“ Чего же вамъ больше подобной сумятицы!

Возьму другой случай, который собственно я и хочу разобрать въ этомъ письмѣ. Припомните то недоумѣніе, которое возбудилъ „Дымъ“ г. Тургенева, припомните до сихъ поръ продолжающіеся толки объ этой повѣсти. Какая туча недоразумѣній! Какое глубокое непониманіе писателя, давно любимаго! Кончилось дѣло тѣмъ, что

читатели вознегодовали на автора, и авторъ возропталъ на свою судьбу, утверждая, что карьера писателя вовсе не можетъ быть названа карьерою, такъ какъ при каждомъ новомъ произведеніи самый знаменитый авторъ испытываетъ тѣ же непріятности, какъ и новичекъ, въ первый разъ появляющійся на литературномъ поприщѣ *).

Вотъ этотъ-то горестный случай былъ моимъ истиннымъ торжествомъ, милостивый государь, былъ одною изъ самыхъ свѣтлыхъ минутъ въ моей жизни. Оказалось, что я не даромъ трудился, что есть хоть какой-нибудь прокъ въ моихъ плачевныхъ занятіяхъ. Именно, я убѣдился, что я понимаю Тургенева, что я его совершенно понимаю, и что для меня не существуетъ тѣхъ недоумѣній, съ которыми возятся другіе.

Притомъ,—не лестное ли обстоятельство?—оказалось, что я его понимаю давно и что давно напечаталъ, какъ слѣдуетъ его понимать. Слѣдовательно, не можетъ быть и сомнѣнія въ моей проницательности. Не угодно ли прочесть? Когда поднялся шумъ и гвалтъ изъ-за романа „Отцы и дѣти“, я тогда же написалъ слѣдующее:

„За чтѣ раздаются эти нескончаемые упреки, за чтѣ сыплются на Тургенева эти безчисленные обиды, за чтѣ чуть ли не ежедневно порицается онъ не въ одномъ, такъ въ другомъ мѣстѣ? Все это за то, что самъ онъ за-браковалъ Базарова, — что въ своемъ послѣднемъ романѣ онъ развѣнчалъ и казнилъ его. До этого романа Тургеневъ былъ предметомъ всеобщаго почтенія, считался первымъ русскимъ литераторомъ: впечатлительные люди изъ его знакомыхъ часто видали его во снѣ **), и въ

*) См. „Дымъ“, отдѣльное изданіе, предисловіе. Это предисловіе перепечатано въ собраніи сочиненій Тургенева.

**) Намекъ на одно совершенно забытое дѣло, на письмо г. Некра-

„цѣлой литературѣ онъ не встрѣчалъ ни одного враждебнаго голоса“.

„Чтѣ же такое случилось? Чтѣ такое сдѣлалъ Тургеневъ? Пересталъ онъ что-ли быть прежнимъ Тургеневымъ? Измѣнилъ самому себѣ? Сталъ признавать то, чтѣ прежде отвергалъ, и осуждать то, чтѣ прежде хвалилъ?

„Нисколько и ничуть не бывало. Конечно, онъ раз-облачилъ, развѣнчалъ и казнилъ Базарова; но наша критика была, значить, совершенно слѣпа, если не замѣчала, что онъ занимается подобными дѣлами давно, — что развѣнчиваніе и казнь разныхъ представителей составляетъ даже главное его занятіе. Передовой чело-вѣкъ, носитель думъ поколѣнія—составляетъ постоянную тему его созданій, и несостоятельность передоваго чело-вѣка—постоянный выводъ, который въ нихъ таится. „Тургеневъ казнилъ иногда даже жестоко, безчеловѣчно: вспомните „Гамлета Щигровскаго уѣзда“; вѣдь этотъ юноша былъ также передовымъ чело-вѣкомъ въ Москвѣ, былъ ораторомъ и звѣздой тамошнихъ кружковъ. Другіе были казнены мягче, но все-таки казнены. Одинъ за другимъ были разоблачены и сведены съ пьедесталовъ: и *Веретѣевъ*—сильная натура, и *Рудинъ*—энтузіастъ, и *Инсаровъ*—чело-вѣкъ дѣла; та же судьба наконецъ постигла и *Базарова*. Съ напряженнымъ вниманіемъ Тургеневъ всматривается въ эти типы, но, по страшной силѣ своего анализа и изумительной тонкости пониманія, онъ не можетъ на нихъ успокоиться и развѣнчиваетъ ихъ одного за другимъ. Онъ постоянно не увлеченъ до конца, постоянно смотритъ спектически“.

сова къ г. Тургеневу, въ которомъ письмѣ редакторъ „Современника“, если не ошибаемся, убѣждалъ г. Тургенева отдать въ этотъ журналъ романъ „Отцы и дѣти“. См. „С.-Петербург. Вѣдом.“ 1863 года.

„Если же такъ, то какъ же могло случиться, что „послѣднее его дѣло, послѣдняя казнь, совершенная надъ „послѣднимъ героемъ, показалась какою-то удивительною „новостью? Кто могъ быть до того ослѣпленъ, чтобы „ожидать пощады отъ такого проницательнаго человѣка? „Кто могъ быть до того простодушенъ и самодоволенъ, „что ожидалъ похвалы отъ Тургенева? Нечего сказать, „куда какъ пристало Тургеневу—расточать похвалы! „Ждите отъ него воскурений—скоро дождетесь!“

„Есть, конечно, вещи, которыя хвалятъ Тургеневъ, „но всякій долженъ бы давно уже замѣтить, чтѣ это за „вещи. Онъ чутокъ къ красотамъ природы; онъ восхи- „щается лѣсомъ, лугомъ, рѣкою, и притомъ съ удиви- „тельнымъ мастерствомъ умѣетъ рисовать *нашу* природу, „эту бѣдную природу“. Въ человѣческомъ же мірѣ онъ „съ невозмутимою любовью останавливается на томъ, чтѣ „попроще,—на томъ, чтѣ прежде называлось „непосред- „ственнымъ“; онъ любитъ на какого-нибудь Касьяна „съ Красивой Мечи, на какую-нибудь глупенькую Ое- „ничку, на старушку-мать Базарова... Но, какъ скоро „дѣло идетъ о представителѣ, о человѣкѣ развитомъ и „передовомъ,—на сочувствіи и любви дѣло не останавли- „вается; мирныя отношенія начинаютъ колебаться, „Тургеневъ вдумывается, разлагаетъ, анализируетъ и „кончаетъ тѣмъ, что осуждаетъ“.

„По поводу матери Базарова, наша критика со зло- „бою укорила поэта, зачѣмъ онъ похвалилъ эту жен- „щину. Что же дѣлать! Похвала не вамъ досталась—и „Богъ знаетъ, когда еще достанется. Вы думаете, я го- „ворю о Тургеневѣ? Вовсе нѣтъ; я говорю о поэзіи; не „скоро вы дождетесь, чтобы поэзія возвела васъ въ „свѣтлый идеалъ“.

„Въ самомъ дѣлѣ, чтѣ же значить вся эта дѣятель- „ность Тургенева? Ужъ нѣтъ ли тутъ умысленной вражды „къ прогрессу? Ужъ не пишетъ ли онъ своихъ рома- „новъ съ заднею мыслью? Не осуждаетъ ли своихъ ге- „роевъ нарочно, злонамѣрено? Какое странное предпо- „ложенье! Нѣтъ, не такъ дѣлаются поэтическія дѣла; не- „возможно ихъ объяснять такимъ образомъ. Поэты ме- „нѣе властны надъ собою, чѣмъ другіе люди; они могутъ „создавать только то, чтѣ вытекаетъ изъ самой глубины „ихъ души, въ чемъ они участвуютъ цѣлымъ своимъ су- „ществомъ; нарочно они ничего *поэтического* произвести „не могутъ. И на Тургеневѣ, какъ на истинномъ поэтѣ, „это подтверждается наяснѣйшимъ образомъ. Посмот- „рите, въ самомъ дѣлѣ, на то, какъ онъ относится къ „своимъ героямъ. Если онъ привязывается къ нимъ съ „такимъ настойчивымъ вниманіемъ, то это прямо зави- „ситъ отъ его расположенія любить ихъ и вѣрить въ „нихъ. И онъ дѣйствительно иногда успѣвалъ обмануть „себя до того, что вѣрилъ въ нихъ,—вѣдь, онъ явно вѣ- „рилъ въ своего Инсарова. Онъ дѣйствительно любитъ „своихъ героевъ; это совершенно ясно въ отношеніи къ „Рудину, и замѣтно даже въ отношеніи къ Базарову. Но „чтѣ же выходитъ? Страшная сила анализа и изумитель- „ная тонкость пониманія не даютъ примиренія поэту и „идутъ наперекоръ его симпатіи: онъ постоянно одер- „живаютъ верхъ—и за ними остается послѣднее слово, „окончательный приговоръ. Вспомните, въ самомъ дѣлѣ, „Рудина: вѣдь Тургеневъ самъ не свой, вѣдь онъ чуть „не плачетъ, разоблачивъ и развѣнчавъ эту любимую фи- „гуру. Но не быть искреннимъ и правдивымъ настоящій „поэтъ не можетъ,—и вотъ онъ, хоть и плачетъ, а каз- „нитъ своего героя. Нѣчто подобное было и съ Базаро-

„вымъ. Скажу болѣе: даже и „Гамлетъ Щигровскаго „уѣзда“, мнѣ кажется, не обошелся поэту безъ нѣкоторой боли“.

„Если же мы убѣдимся въ этомъ (а кажется, это ясно), то мы увидимъ, что *Тургеневъ есть одинъ изъ людей, наиболѣе болѣющихъ своимъ вѣкомъ, что онъ представитель и выразитель одной изъ глубочайшихъ сторонъ нашей жизни*. Вотъ, въ самомъ дѣлѣ, чело-вѣкъ до страсти, до болѣзни увлеченный идеею прогресса. Онъ слѣдитъ за нею со всею зоркостью своего поэтического ума; онъ безпрестанно ищетъ, онъ ждетъ съ минуты на минуту—вотъ-вотъ эта идея воплотится, вотъ она приметъ живыя черты. Но, пожираемый желаніемъ видѣть свой идеалъ въ дѣйствительности, поэтъ въ то же время полонъ безпощаднаго анализа и самаго пронзительнаго скептицизма. Имъ обладаетъ въ высшей степени тотъ бѣсъ, о которомъ одинъ изъ критиковъ говоритъ въ шуточныхъ стихахъ, намекающихъ, впрочемъ, на серіозныя мысли:

«Бѣсъ отрицанья, бѣсъ сомнѣнья,
«Бѣсъ, отвергающій прогрессъ».

„Многіе радостно подчинялись этому бѣсу и усердно одобряли все, чтò совершалось по его внушеніямъ. Но когда этотъ самый бѣсъ внушилъ Тургеневу коснуться и этихъ многихъ, тогда они вдругъ стали увѣрять, что у насъ есть прогрессъ, котораго нельзя отвергать, котораго никакой бѣсъ не смѣетъ подвергать отрицанію, и въ которомъ сомнѣваться—сущее святотатство...“

„И оказалось, слѣдовательно, то, чтò давно извѣстно: сомнѣніе для людей трудно и невыносимо; для нихъ легче и пріятнѣе вѣра; скептицизмъ у нихъ только на

„губахъ, въ сердцѣ же, навѣрное, поклоненіе не тѣмъ, такъ другимъ идоламъ“.

„Во всякомъ случаѣ, нельзя не признать крайне забавнымъ то, что наша критика такъ поздно спохватилась относительно Тургенева. Занятая разными важными предметами, она только тутъ, только въ послѣднемъ романѣ увидѣла, что онъ—человѣкъ вольнодумный, дерзкій, неуважительный. Между тѣмъ, онъ всегда былъ такой, онъ постоянно отличался самымъ яркимъ вольнодумствомъ. Какъ же можно было не замѣчать этого такъ долго?“ („Время“, 1863, № 2).

Ну чтò скажете, милостивый государь? Неправда ли, что мною совершенно вѣрно указана одна изъ главныхъ чертъ таланта г. Тургенева? Неправда ли, что мои слова можно вполне примѣнить и къ „Дыму“? Не та же ли это исторія? Г. Тургеневъ скептически отнесся къ нашему новому прогрессу,—къ тому направленію, лозунгомъ котораго стала *народность*,—и мы разсердились на него, какъ будто не знали свойствъ его таланта. Нѣкогда, когда на первомъ планѣ стоялъ нигилизмъ, Тургеневъ не преклонился передъ нимъ, а напротивъ—назвалъ его по имени и разоблачилъ его. Теперь другія времена. Г. Тургеневъ, въ силу своей изумительной чуткости, хорошо видитъ, что наиболѣе значительное явленіе въ нашей умственной жизни за послѣдніе годы есть поворотъ къ народности. И къ этому явленію онъ отнесся точно такъ же, какъ и ко всѣмъ другимъ; онъ пытался разоблачить и развѣнчать его.

Многіе упрекали г. Тургенева въ измѣнчивости, — въ томъ, что онъ подчинялся всѣмъ колебаніямъ и волненіямъ нашего умственнаго движенія; вы видите, какъ это несправедливо. Въ сущности, онъ всегда оставался

однимъ и тѣмъ же; въ сущности онъ никогда ничему не отдавался до конца и всегда относился отрицательно къ тѣмъ самымъ явленіямъ, къ которымъ, повидимому, питалъ такой живой и чуткій интересъ. Такова его натура, такова существенная черта его умственного настроенія, подъ вліяніемъ которой работаетъ его талантъ. Нѣтъ сомнѣнія, что дѣло совершается здѣсь искренно и серьезно. Тургеневъ, какъ подобаетъ всякому истинному поэту, обнаруживаетъ въ своихъ произведеніяхъ свою душу. Давно уже намъ слѣдовало бы это понять; давно уже намъ слѣдовало бы не ждать отъ него того, чего онъ дать не можетъ.

Вотъ, милостивый государь, понятіе о дѣятельности Тургенева, которое я уже давно себѣ составилъ, но которое, конечно, вслѣдствіе слабости моихъ силъ и дарованій, или забыто читателями, или осталось имъ вовсе неизвѣстнымъ. Буду весьма вамъ благодаренъ, если вы напечатаніемъ настоящаго письма распространите въ читающей публикѣ эти соображенія, касающіяся столь немаловажныхъ предметовъ.

7-го сентября.

Н. Косица.

(Заря 1869, сентябрь).

ЕЩЕ ЗА ТУРГЕНЕВА.

(Письмо въ редакцію «Зари» по поводу выхода перваго тома его сочиненій *).

Пишу къ вамъ, милостивый государь, весьма грустный и опечаленный. Я уже не вполне доволенъ былъ тѣми замѣчаніями, которыми сопровождается въ сентябрьской книжкѣ „Зари“ мое послѣднее письмо; мнѣ былъ не по душѣ тотъ рѣзкій и чересчуръ опредѣленный вопросъ, который задавала себѣ „Заря“: что такое г. Тургеневъ, западникъ или славянофилъ? По свойственному людямъ самолюбію я полагалъ, что высказалъ свое мнѣніе о г. Тургеневѣ вполне ясно, что по самому существу дѣла его нельзя признавать ни западникомъ, ни славянофиломъ, и что всѣ достоинства его славной дѣятельности заключаются не въ какихъ-либо опредѣленныхъ мнѣніяхъ и стремленіяхъ, а въ той *поэтической правдѣ*, которая не давала ему фальшивить ни въ какомъ случаѣ, ни передъ какими явленіями. Насколько Тургеневъ поэтъ, настолько онъ правъ вездѣ и во

*) Вотъ полное заглавіе этого изданія: *Сочиненія И. С. Тургенева (1844—1868)* Изданіе братьевъ Салаевыхъ. Москва. Тип. Грачева. Семь томовъ, Т. II и IV. 1868. Томы I, III, V, VI и VII. 1869. При первомъ томѣ портретъ автора.

всемъ,—ибо поэзія есть правда. Вотъ, милостивый государь, какую простую и давнишнюю истину я рѣшилъ примѣнить къ Тургеневу; вотъ съ какой точки зрѣнія, какъ мнѣ казалось, слѣдовало судить его. Поэтовъ нельзя подводить подъ готовые формулы извѣстныхъ ученій, раздѣляющихъ на враждебные лагеря нашу литературу; поэты не могутъ быть слугами и пособниками опредѣленнаго литературнаго лагеря; мѣсто ихъ выше и почетнѣе: изъ нихъ всѣ должны черпать поученіе и отъ нихъ ожидать откровеній, озаряющихъ смыслъ жизни.

Такъ я думалъ, милостивый государь, и такъ мысленно возражалъ на то мѣсто „Зари“, гдѣ прямо сказано, что Тургеневъ есть западникъ. Но вскорѣ меня ожидалъ ударъ несравненно болѣе тяжкій и чувствительный. Явился наконецъ первый томъ новаго изданія сочиненій Тургенева, а въ немъ явились тѣ „Литературныя воспоминанія“ г. Тургенева, которыхъ такъ давно ждали, и отрывокъ изъ которыхъ былъ напечатанъ въ „Вѣстникѣ Европы“. Съ величайшей жадностію я прочелъ это новое произведеніе знаменитаго нашего писателя—и былъ потрясенъ имъ до глубины души. Г. Тургеневъ излагаетъ тутъ мнѣніе о своей дѣятельности, по видимому, глубоко различающееся отъ того, которое я изложилъ.

Кто бы могъ подумать? Кто могъ этого ожидать? Г. Тургеневъ объявляетъ, что онъ всегда былъ и теперь остается западникомъ (см. стр. IX), что ученіе славянофиловъ онъ признаетъ ложнымъ и безплоднымъ (см. стр. XCIII). Этого мало. Говоря о томъ, какъ создались у него „Отцы и Дѣти“, г. Тургеневъ всячески увѣряетъ и доказываетъ, что онъ сочувствовалъ Базарову, и почти раскаивается, что изобразилъ его слишкомъ объективно. „Это многихъ

сбило съ толку“,—говоритъ онъ,—„и кто знаетъ! въ этомъ была—быть можетъ—*если не ошибка, то несправедливость*. Базаровскій типъ имѣлъ, по крайней мѣрѣ, столько же права на идеализацію, какъ предшествовавшіе ему типы“ (стр. XCV)

Но и этого мало. Приводя замѣчаніе одной дамы, которая по прочтеніи „Отцовъ и дѣтей“, сказала ему: *вы сами нигилисты*, г. Тургеневъ говоритъ: „не берусь возражать; быть можетъ, эта дама и правду сказала.“ (стр. XCVI). Наконецъ, и этого мало. Г. Тургеневъ прямо объявляетъ, что „за исключеніемъ воззрѣній Базарова на искусство“ онъ, г. Тургеневъ, „почти раздѣляетъ всѣ его убѣжденія“ (стр. XCIV).

„Вѣроятно“, пишетъ г. Тургеневъ, „многіе изъ моихъ читателей удивятся, если я имъ это скажу“. Еще бы не удивиться! Еще бы не прійти въ крайнее изумленіе! Тургеневъ—нигилистъ! Тургеневъ раздѣляетъ убѣжденія Базарова! Да чтò же можетъ быть удивительнѣе подобной новости? Не затѣмъ ли она и написана, не затѣмъ ли и напечатана въ десяти тысячахъ экземпляровъ, во главѣ полнаго собранія его сочиненій, чтобы произвести какъ можно больше удивленія, чтобы оглушить, поразить, раздавить читателей?

А я-то, я-то несчастный! Не я ли проповѣдывалъ о Тургеневѣ самое высокое мнѣніе, расточалъ ему тончайшія похвалы и заносился въ самыя высреннія соображенія, толкуя о его твореніяхъ? Не я ли говорилъ, что Тургеневъ постоянно развѣнчиваетъ своихъ героевъ въ силу своей неподкупной поэтической искренности и правдивости, которая ясно показываетъ ему, что эти герои со всѣми своими притязаніями далеко не воплощаютъ въ себѣ идеала человѣческой жизни? Не я ли по этому слу-

чаю распространялся о „страшной силѣ анализа и изумительной тонкости пониманія“, свойственной Тургеневу, о томъ, что онъ „полонъ безпощаднаго анализа и самаго пронзительнаго скептицизма?“

И вдругъ оказывается, что эта поэтическая зоркость, о которой я мечталъ, эти чудеса проницательности и мѣткости, что все это—моя выдумка, что Тургеневъ есть просто нигилистъ, да притомъ и не самаго высокаго разбора, не изъ чистыхъ, а изъ такъ называемыхъ *пестрыхъ нигилистовъ*, которые, напримѣръ, любятъ искусство, или во время грозы читаютъ „Отче нашъ“, не замѣчая, что подобными склонностями и дѣйствіями противорѣчатъ своимъ началамъ. Какое для меня посрамленіе! Какой тяжкій ударъ для моей репутаціи любителя русской литературы и скромнаго, но безукоризненнаго и безошибочнаго истолкователя ея произведеній!

Признаюсь вамъ, что я былъ почти испуганъ столь неожиданнымъ, столь рѣзкимъ оборотомъ дѣла, и только понемногу сталъ приходить въ себя и собираться съ мыслями. Вообще замѣчу, что несмотря на волненіе, съ которымъ я слѣжу за всякими подвигами и переворотами русской литературы, я очень упоренъ въ своихъ мнѣніяхъ, и живость моихъ впечатлѣній не должна внушать мысли о какой-либо шаткости въ моихъ убѣжденіяхъ. Я сталъ понемножку размышлять, сравнивать, навелъ кой-какія справки, и вотъ результаты, до которыхъ я достигнулъ.

Возьмемъ сначала то, что говорить г. Тургеневъ о своей любви къ Базарову, о томъ, что онъ отнесся къ выведенному въ этомъ лицѣ типу „не только безъ предубѣжденія, а также съ сочувствіемъ“ (стр. ХСII). Невозможно представить, какъ тщательно и подробно г.

Тургеневъ доказываетъ это. Онъ ссылается на самые различные и неопровержимые документы.

1) На свой дневникъ; 30 іюля (должно быть 1861 года) въ немъ было записано: „*Современникъ*, вѣроятно, „обольетъ меня презрѣніемъ за Базарова—и не повѣритъ, что *во все время писанія я чувствовалъ къ нему, невольное влеченіе*“ (стр. ХСII).

2) На нѣмецкую газету (Vossische Zeitung, 10 Juni*), гдѣ было сказано о Базаровѣ: „всякій новѣйшій радикаль съ чувствомъ радостнаго удовлетворенія признаетъ „изображеніе свое и своихъ единомышленниковъ въ такомъ „гордомъ образѣ, одаренномъ такою силою характера и „такою полной независимостію отъ всего мелкаго, пошлаго, вялаго и ложнаго“ (стр. ХСIV).

3) На даму, слова которой мы приводили.

4) На письмо какого-то мужчины, который писалъ г. Тургеневу: „вы ползаете у ногъ Базарова! вы только „притворяетесь, что осуждаете его; въ сущности вы заискиваете передъ нимъ и ждете, какъ милости, одной „его небрежной улыбки“ (стр. ХСVI).

5) На письмо Каткова, который, получивъ рукопись г. Тургенева, писалъ ему: „Если и не въ апоѳеозу возведенъ Базаровъ, то нельзя не сознаться, что онъ какъ-то случайно попалъ на очень высокій пьедесталъ. Онъ „дѣйствительно подавляетъ все окружающее. Все передъ „нимъ или ветошь, или слабо и зелено. *Такого ли впечатлѣнія нужно было желать?*“ (стр. ХСVII). Каткову, оче-

*) Какого года—неизвѣстно. Г. Тургеневъ въ своемъ волненіи указалъ даже отдѣлъ и страницу, Zweite Beilage, Seite 3, но годъ забылъ указать. Впрочемъ, любопытные могутъ добраться до этой важной даты по слѣдующему признаку: г. Тургеневъ не забылъ упомянуть, что 10 іюня было Donnerstag, т. е. четвергъ.

видно, и въ голову не могло прійти, что г. Тургеневъ втайнѣ придерживается нигилизма и вовсе не намѣренъ его осуждать.

Итакъ, впечатлѣнія, испытанныя дамами и мужчинами, свидѣтельство собственнаго дневника автора, сужденія писателей отечественныхъ и иностранныхъ—все доказываетъ, что г. Тургеневъ написалъ „Отцовъ и дѣтей“ безъ всякаго злаго умысла, безъ малѣйшей коварной мысли. Оправданіе полное и блистательное! Г. Тургеневъ можетъ надѣяться, что теперь самые упрямые и задорные нигилисты признають его совершенную невинность и, наконецъ, сознаются, какъ жестоко и несправедливо они поступили съ писателемъ, столь сочувственно отнесшимся къ ихъ мнѣніямъ, питавшимъ *невольное влеченіе*, родъ недуга, къ Базарову.

Но, милостивый государь, не одни нигилисты будутъ торжествовать по поводу этихъ неожиданныхъ открытій; я тоже торжествую, я тоже могу счесть первый томъ Тургенева за одну изъ самыхъ славныхъ своихъ побѣдъ. Припомните, въ самомъ дѣлѣ, что я вамъ писалъ. Не говорилъ ли я вамъ развѣ о постоянной нѣжности, которую питаетъ къ своимъ героямъ г. Тургеневъ? Не говорилъ ли я о томъ, что онъ постоянно расположенъ любить ихъ и вѣрить въ нихъ? Его герои суть его любимцы, предметы его поклоненія. Я утверждалъ, что если онъ ихъ казнить и развѣнчиваетъ, то дѣлаетъ это только въ силу высшихъ требованій, во исполненіе своего высокаго служенія поэта, такъ что подобныя жертвы, приносимыя имъ на алтарѣ правды, даже обходятся ему не безъ нѣкотораго страданія, не безъ тяжкаго чувства, вызываемаго борьбою со своими симпатіями. „Даже *Гамлетъ Штирковского узда*“, смѣло восклицалъ

я, „не обошелся, мнѣ кажется, поэту безъ нѣкоторой боли“.

Итакъ, я никогда не отрицалъ сочувствія г. Тургенева къ мнѣніямъ и характерамъ его героевъ; я напротивъ, настаивалъ на живости и глубинѣ этого сочувствія, и думалъ только въ своемъ простодушіи, что нашъ знаменитый писатель болѣе свободно относится къ своимъ твореніямъ, что онъ, какъ это бываетъ съ поэтами, умѣетъ подниматься въ сферу идей и воззрѣній, стоящую выше уровня его героевъ, что онъ глядитъ на изображаемыя имъ явленія съ нѣкоторой поэтической высоты, съ которой они открываются ему въ своемъ истинномъ свѣтѣ и въ своихъ надлежащихъ размѣрахъ. И вдругъ—какое разочарованіе! Оказывается, что ничего подобнаго нѣтъ у Тургенева, что онъ, напротивъ, влагаетъ героямъ свои собственные мысли и чувства, что онъ не въ силахъ отдѣлится отъ своихъ созданій и сливается съ ними въ своемъ настроеніи и міросозерцаніи.

Если бы это было вполнѣ справедливо, то я, конечно, долженъ бы былъ признаться въ глубокой ошибкѣ относительно Тургенева. Но, несмотря на собственные его завѣренія, я, кажется, имѣю нѣкоторое право не признавать себя побѣжденнымъ. Поэтамъ не всегда слѣдуетъ вѣрить, когда они принимаютъ сами истолковывать свои творенія. Тутъ возможны всякаго рода самообманыванія, для которыхъ нѣтъ причинъ у человѣка посторонняго и обсуждающаго дѣло съ хладнокровіемъ и безъ торопливости, какъ, напримѣръ, дѣлаю это я. Обратите вниманіе милостивый государь на то, какія жестокія слѣдствія можно вывести, если мы повѣримъ г. Тургеневу безпрекословно, если признаемъ, что онъ отождествляетъ себя съ своими героями.

Можно, напимѣрь, сказать, что онъ напрасно думаетъ, что по своему душевному настроенію онъ всего ближе подходитъ, или подходилъ, къ Рудину, къ Инсарову, или къ Базарову. Если въ характерахъ и мнѣніяхъ героевъ Тургенева искать того лица, съ которымъ онъ имѣетъ наибольшее сходство, то безъ сомнѣнія это лицо есть Гамлетъ Щигровскаго уѣзда. Вотъ нѣкоторыя черты этого разительнаго сходства. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда:

1. Былъ за границею для своего образованія, — тогда какъ Базаровъ не выѣзжалъ изъ Россіи.

2. Изучалъ Гегеля и знаетъ наизусть Гёте, — тогда какъ Базаровъ этихъ писателей презираетъ.

3. Пришелъ къ тому же отчаянію, какое выражается въ „Призракахъ“, „Довольно“, и пр., — тогда какъ Базаровъ чуждъ подобныхъ слабостей.

4. Былъ нѣкогда передовымъ человѣкомъ и оракуломъ молодыхъ кружковъ, но „не сумѣлъ удержаться на высотѣ своей славы“, не сумѣлъ „спокойно переждать напасть“, тогда какъ Базаровъ едва ли бы сплосковалъ въ этомъ случаѣ.

5. Умѣетъ превосходно описывать природу и житейскія сцены (см. описаніе вечеровъ у неvěсты и смерти жены), тогда какъ Базаровъ вовсе къ этому нерасположенъ и неспособенъ.

6. Заѣденъ рефлексіей, и пр. и пр.

Вотъ какую зловѣщую параллель можно бы было сдѣлать, и сдѣлать не безъ основанія, если мы признаемъ, что Тургеневъ отражается въ своихъ герояхъ. Всякій безпристрастный читатель, я полагаю, согласится, что или самъ Тургеневъ вовсе не похожъ ни на Базарова, ни на Гамлета Щигровскаго уѣзда, или же онъ несрав-

ненно больше похожъ на этого Гамлета, чѣмъ на Базарова. Самъ г. Тургеневъ замѣчаетъ, что онъ не раздѣляетъ мнѣній Базарова объ искусствѣ. А развѣ это шутка или мелочь? Развѣ отрицаніе искусства не связано тѣснѣйшимъ образомъ съ другими убѣжденіями Базарова? Развѣ можно быть нигилистомъ, какъ объявляетъ себя г. Тургеневъ, и не отрицать искусства? Посмотрите при этомъ на то, какъ странны и нерѣшительны выраженія, въ которыхъ г. Тургеневъ заявляетъ свое сочувствіе нигилизму. Въ дневникѣ онъ замѣчаетъ, что чувствуетъ къ Базарову *невольное* влеченіе. Отъ невольнаго влеченія до сознательнаго сочувствія очень далеко. Дама назвала г. Тургенева нигилистомъ: *можетъ быть*, говоритъ славный авторъ „Отцовъ и дѣтей“, *она и правду сказала*. Если правду, то кому же это ближе знать, какъ не г. Тургеневу. Зачѣмъ тутъ *можетъ быть*? Говоря о томъ, что, по его милости, Базаровскій типъ уже не могъ быть идеализированъ, нашъ загадочный писатель выражаетъ о томъ свое сожалѣніе весьма загадочнымъ образомъ. „Кто знаетъ“, — говоритъ онъ, — „въ этомъ была — быть можетъ — если не ошибка, то несправедливость“. Вотъ тутъ и разбирайте! Была, можетъ быть, ошибка, а можетъ быть ея и не было; но если ошибки не было, то, можетъ быть, было хуже ошибки — несправедливость; а кто все это знаетъ и можетъ разрѣшить, о томъ ничего неизвѣстно.

Итакъ, несмотря на все желаніе г. Тургенева выставить себя нигилистомъ и записаться въ послѣдователи лица, созданнаго имъ самимъ и, по давнишнему замѣчанію, гораздо болѣе умнаго, чѣмъ тѣ юноши, съ которыхъ это лицо списано, я принимаю на себя смѣлость — отказать г. Тургеневу въ его притязаніяхъ. Въ

виду опасности, грозящей общему дѣлу литературы, въ виду соблазна, могущаго увлечь собою, можетъ быть, многихъ неопытныхъ и малосвѣдущихъ читателей, я рѣшаюсь защищать г. Тургенева противъ него самого, я хотѣлъ бы доказать, что тотъ цестрый нигилизмъ, который онъ теперь исповѣдуетъ, нимало не согласуется съ его поэтической дѣятельностью, что заслуги и смыслъ этой дѣятельности гораздо выше, чѣмъ полагаетъ самъ г. Тургеневъ. Крайне прискорбно было бы, если бы имя нашего повѣствователя, занимавшаго столь долго первое мѣсто между отечественными писателями и стяжавшаго не малую славу и въ просвѣщенной Европѣ, перешло въ потомство съ такою злополучною памятью, что это былъ тайный нигилистъ, который въ сущности не вѣрилъ ни въ философію, ни въ исторію, ни въ народность, ни въ какіе общіе и частные авторитеты, который изъ всѣхъ наукъ уважалъ одиѣ естественныя, который на любовь, на дружбу, на семейство, на красоты природы и вдохновенія искусства смотрѣлъ отнюдь не тѣмъ благоговѣйнымъ взглядомъ, какой свойственъ поэтамъ по нашему обыкновенному представленію. Этотъ нигилистъ сперва скрывалъ свои отчаянныя мнѣнія, прикидывался совершенно инымъ человѣкомъ, такъ что успѣлъ обмануть даже проницательнаго и неподкупнаго г. Каткова, думавшаго, что авторъ „Отцовъ и дѣтей“ искренно желаетъ совершенно *инаго впечатлѣнія*, желаетъ въ своей повѣсти обличить и казнить нигилизмъ. Когда же повѣсть явилась на свѣтъ, когда множество юношей и во главѣ ихъ знаменитый молодой критикъ Писаревъ признали въ ней настоящій кодексъ своихъ мыслей и правилъ, когда нигилизмъ, нашедшій себѣ имя и выраженіе, распространился, укрѣпился и былъ истолкованъ

читателямъ въ тысячѣ всякаго рода статей и критикъ, словомъ, когда произошло именно то *впечатлѣніе*, котораго Катковъ боялся и котораго втайнѣ добивался г. Тургеневъ, тогда маститый нигилистъ откровенно объявилъ, что онъ сыигралъ съ русскимъ обществомъ штуку и что онъ въ сущности раздѣляетъ мнѣнія Базарова. Сѣдые безстыдники!.. Я вспоминаю грозныя слова Каткова, еще недавно имъ произнесенныя относительно нѣкоторыхъ нигилистовъ. „А эти“, говорилъ онъ, „сѣдые безстыдники, которые причисляютъ себя къ молодому поколѣнію, конечно хорошо знаютъ, что они дѣлаютъ!“ Вотъ какъ обманулся г. Катковъ, безъ сомнѣнія никогда не предполагавшій, что, произнося столь рѣзкое осужденіе, онъ можетъ хотя бы въ самой слабой степени коснуться этимъ осужденіемъ и своего бывшаго сотрудника.

Нѣтъ,—оправдать г. Тургенева противъ его поклеповъ на самого себя, вывести его изъ столь безвыходнаго и по истинѣ жалостнаго положенія,—вотъ цѣль, которая, по моему мнѣнію, достойна самаго блестящаго и искуснаго пера, а не только моихъ слабыхъ силъ. Но честь отечественной литературы и моя неліцемерная любовь къ поэзіи такъ сильно вдохновляютъ меня, что я безъ всякаго колебанія рѣшаюсь на эту смѣлую попытку.

Давно уже я расхожусь съ г. Катковымъ въ нѣкоторыхъ своихъ воззрѣніяхъ на внутреннія наши дѣла. Именно, говоря о всякаго рода людяхъ, онъ чаще всего судить такъ, какъ я упоминалъ, то есть полагаетъ, что они *знаютъ, что они дѣлаютъ*. Я же питаю болѣе мягкій взглядъ на человѣческія дѣйствія, именно полагаю, что совсѣмъ не такъ рѣдки случаи, когда люди сами хорошенько не знаютъ, что они дѣлаютъ. Это снисходительное воззрѣніе на человѣческіе поступки, мнѣ кажется,

во всей своей силѣ можетъ быть приложено къ г. Тургеневу. По всей справедливости можно сказать, что, создавая „Отцовъ и Дѣтей“, онъ самъ не зналъ, чѣмъ дѣлается, и такое убѣжденіе укрѣпится въ душѣ каждаго безпристрастнаго читателя по прочтеніи статьи г. Тургенева, озаглавленной: „По поводу Отцовъ и Дѣтей“ (4-я глава „Литературныхъ воспоминаній“). Изъ всѣхъ объясненій, заключающихся въ этой статьѣ, слѣдуетъ, что авторъ до сихъ поръ не можетъ понять, виноваты ли онъ или не виноваты, хорошее ли онъ сдѣлалъ дѣло или дурное, радоваться ему или печалиться? *Онъ совершенно и вполнѣ не разумѣетъ, почему его романъ могъ быть принятъ за сатиру на молодое поколѣніе.* Свои отношенія къ Базарову онъ объясняетъ слѣдующимъ непонятнымъ образомъ. „Эти отношенія“, говоритъ онъ, „были свойства очень неопредѣленнаго: авторъ самъ не зналъ, любитъ ли онъ или нѣтъ выставленный характеръ: ибо то „невольное влеченіе“, о которомъ упоминается въ дневникѣ — *не любовь* (стр. ХСV)“. Такимъ образомъ, свой романъ г. Тургеневъ признаетъ неяснымъ, непонятнымъ, *сбивающимся съ толку* (см. на той же страницѣ, строки 8 и 9). Но самъ онъ все-таки не виноватъ, а виноваты будто бы другіе, какіе-то „спасители отечества“, которые воспользовались словомъ *нигилистъ*, сдѣлали изъ этого слова орудіе доноса, клеймо позора и такимъ образомъ, „обратили *Отцовъ и Дѣтей* въ предлогъ, чтобы остановить движеніе, овладѣвшее русскимъ обществомъ“ (стр. ХСVІІ). И вотъ какъ случилось, что, нимало не желая мѣшать этому отрадному движенію, невинный поэтъ, не знавшій самъ, любитъ онъ или не любитъ Базарова, былъ обвиненъ въ ненависти къ этому типу и способствовалъ тому, что „общественное мнѣ-

ніе хлынуло обратной волной“ и что *на его имя легла тѣнь, которая съ него не сойдетъ!* (стр. ХСVІІІ).

Смотрите, милостивый государь, смотрите, съ какою ясностію отсюда видно, что г. Тургеневъ и не подозрѣваетъ, какія страшныя вины онъ возводитъ на себя въ глазахъ нигилистовъ своими оправданіями. Онъ, изволите видѣть, не зналъ, любитъ онъ или нѣтъ Базарова! Да не заключается ли уже въ этомъ жесточайшее преступленіе передъ тѣми, кто всею душою и всѣмъ сердцемъ преданъ нигилизму? Онъ — объективенъ, онъ равнодушенъ, онъ холоденъ какъ ледъ — и еще удивляется, что люди, пламенно преданные извѣстному дѣлу, покрыли его презрѣніемъ и осыпали насмѣшками! Да какъ же могло быть иначе? Онъ сочувствуетъ втайнѣ, а явно насмѣхается; онъ въ душѣ исповѣдуетъ извѣстныя мнѣнія, а на дѣлѣ выставляетъ ихъ на общее обсужденіе и порицаніе, какъ что-то постороннее, ни мало ему не дорогое, нисколько до него не касающееся! Кому и въ какомъ дѣлѣ можетъ быть пріятно, когда на васъ смотрятъ со стороны и свысока? Только какой-нибудь наивный нѣмецъ могъ обмануться въ этомъ случаѣ, такъ какъ для него непонятна иронія и онъ сарказмы принимаетъ за чистую монету.

А откуда вся бѣда? Отчего все вышло? Оттого, что г. Тургеневъ занимается поэзіей, старается создавать поэтическія произведенія. Не лучшій ли это примѣръ того, какъ вредна и опасна поэзія? Не ясно ли, что она приводитъ къ равнодушію въ самыхъ важныхъ дѣлахъ и вопросахъ? Не очевидно ли, что она только сбиваетъ съ толку и путаетъ и авторовъ и читателей? Не лучше ли было бы, если бы г. Тургеневъ пошелъ по слѣдамъ любимаго имъ критика Писарева и писалъ бы

критическія и публицистическія статьи? Тогда бы мы давно знали его убѣжденія, никто бы не былъ сбить съ толку и никакой тѣни на его имени не легло бы, а, напротивъ, слава его была бы столь же чиста и безупречна, какъ слава Писарева и многихъ другихъ.

Между тѣмъ г. Тургеневъ упорствуетъ и, несмотря на ясное заявленіе своихъ убѣжденій, въ противность сознанію, что онъ принесъ вредъ русскому обществу, въ противность тому, что самъ же уличилъ себя въ глубочайшей винѣ—въ равнодушіи къ общественнымъ интересамъ, продолжаетъ настаивать, что онъ правъ, что можетъ считать себя не только невиннымъ, а даже полезнымъ писателемъ. Обратимъ вниманіе на эти оправданія, и мы, какъ я надѣюсь, найдемъ въ нихъ точки опоры для разрѣшенія странныхъ противорѣчій, опутавшихъ собою нашего славнаго соотечественника.

„Господа критики“,—пишетъ онъ,—„вообще не со-„всѣмъ вѣрно представляютъ себѣ то, что происходитъ въ душѣ автора, то, въ чемъ именно состоятъ его радости и горести, его стремленія, удачи и неудачи. Они, „напримѣръ, и не подозреваютъ того наслажденія, о которомъ упоминаетъ Гоголь и которое состоитъ въ казни-„ни самого себя, своихъ недостатковъ въ изображаемыхъ „вымышленныхъ лицахъ; они вполнѣ убѣждены, что „авторъ только и дѣлаетъ, что проводить свои идеи; „не хотятъ вѣрить, что *точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни*, есть высочайшее счастье „для литератора, *даже если эта истина не совпадаетъ „съ его собственными симпатіями*“ (стр. ХСІІІ).

„Я прежде всего хотѣлъ быть *искреннимъ и правдивымъ*“ (тамъ же).

„Совѣсть не упрекала меня: я хорошо зналъ, что

„я *честно* отнесся къ выведенному мною типу; я слишкомъ уважалъ призваніе художника, литератора, чтобы „покривить душою въ такомъ дѣлѣ“ (стр. ХСІІ).

Не правда ли, милостивый государь, что это другого рода рѣчи, которыя весьма пріятно слушать? Итакъ, есть нѣчто, что должно для поэта стоять выше его личныхъ симпатій, выше всякаго желанія провести ту или другую любимую идею. Это нѣчто, этотъ высшій авторитетъ, передъ которымъ все другое ничтожно, есть *истина*, поэтическая правда, есть та *реальность жизни*, противъ которой никогда не долженъ кривить душою художникъ. Художникъ, слѣдовательно, признаетъ для себя руководствомъ нѣчто непонятное и таинственное, независимое отъ его идей и убѣжденій, превышающее его разумъ, его частныя соображенія, нѣчто абсолютное, не нуждающееся ни въ какихъ оправданіяхъ, не пользу, не наслажденіе, не патріотизмъ, не общественное мнѣніе и т. п., а *правду*, благоговѣнное прониканіе въ то чѣмъ и какъ обнаруживаетъ себя *жизнь*. Этотъ авторитетъ, широкій и неуловимый для не художническаго смысла, очевидно, освобождаетъ художника отъ всѣхъ другихъ авторитетовъ, даетъ ему полнѣйшую независимость отъ нихъ.

Въ такомъ смыслѣ, конечно, слѣдуетъ понимать и тѣ немногія, но краснорѣчивыя слова г. Тургенева, въ которыхъ онъ, нѣсколько далѣе, ратуетъ за художническую свободу. „Нигдѣ“, говоритъ онъ, „такъ свобода не нужна, „какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи“. „Можетъ ли человекъ *схватывать, улавливать* то, что его окружаетъ, если „онъ связанъ внутри себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ; недаромъ въ своемъ безсмертномъ сонетѣ, въ этомъ „сонетѣ, который каждый начинающій писатель долженъ

„вытвердить наизусть и помнить какъ заповѣдь — онъ сказалъ:

„Дорогою *свободной*

Иди, куда влечетъ тебя *свободный* умъ...

„Безъ свободы въ обширнѣйшемъ смыслѣ, — въ отношеніи къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ, и системамъ, даже къ своему народу, къ своей исторіи — немыслимъ истинный художникъ“ (стр. ХСІХ и С.

Вотъ, милостивый государь, прекрасныя оправданія! Вотъ ссылка на права поэта самыя священныя, самыя непререкаемыя! И никакихъ другихъ ссылокъ, никакихъ другихъ оправданій намъ не нужно! Если поэтъ правъ передъ лицомъ поэзіи, то онъ правъ передъ всѣмъ, что есть хорошаго и высокаго на свѣтѣ; зачѣмъ же было пускаться въ унижительныя объясненія своей благонамѣренности относительно нигилизма? Зачѣмъ было толковать о своихъ идеяхъ и симпатіяхъ, когда поэтъ, по собственнымъ словамъ Тургенева, долженъ отрѣшиться отъ своихъ симпатій и остерегаться всякаго *проведенія идеи*?

Кажется мнѣ, что теперь дѣло начинается нѣсколько уясняться. Поэзія сыграла злую шутку съ г. Тургеневымъ, заставила его надѣлать вещей, которыхъ онъ самъ не понимаетъ, въ которыхъ готовъ раскаиваться и просить прощенія. Онъ теперь не знаетъ, что ему дѣлать, — держаться ли за поэзію и отказаться отъ своего нигилизма, или же держаться за нигилизмъ и отказаться отъ своей поэзіи. По нелогичности, вполне объясняемой затруднительностію столь сложныхъ обстоятельствъ, г. Тургеневъ не усмотрѣлъ неизбежности выбрать одно изъ двухъ и очевидно, волнуемый пламеннымъ желаніемъ

оправдаться, ссылается въ одно время и на свой нигилизмъ и на свою поэзію. Какое униженіе для поэзіи!

Собственно говоря, эти „Литературныя воспоминанія“, красующіяся во главѣ полнаго собранія сочиненій Тургенева, имѣютъ одну главную цѣль — доказать читателямъ, что авторъ есть искренній нигилистъ. Поэзія же, со всѣми ея высокими правами, служитъ только извиненіемъ въ тѣхъ безпокойствахъ и непріятностяхъ, которыя г. Тургеневъ надѣлалъ нигилистамъ. Извѣстно, напримѣръ, что лучшее произведеніе нашего автора есть „Дворянское гнѣздо“. Смыслъ этого прекраснаго романа, наиболѣе теплаго, наиболѣе поэтическаго изъ всѣхъ произведеній г. Тургенева — славянофильскій. Мы помнимъ, какъ нѣкогда проникательные люди радовались этому повороту въ воззрѣніяхъ и симпатіяхъ поэта. Но что же оказывается? Г. Тургеневъ объявляетъ нынче, что самъ онъ тутъ нисколько не виноватъ, а виновата одна поэзія: онъ считаетъ нужнымъ поставить это читателямъ на видъ, чтобы кто-нибудь не подумалъ, что онъ сочувствуетъ тому, что тогда написалъ; словомъ, ради нигилизма онъ отрекается отъ лучшаго созданія своей поэзіи. „Я — говоритъ онъ — коренной, неисправимый западникъ, и нисколько этого не скрывалъ и не скрываю; однако я, несмотря на это, съ особеннымъ удовольствіемъ велъ въ лицѣ Паншина (въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“) всѣ комическія и пошлыя стороны западничества; я заставилъ славянофила Лаврецкаго „разбить его на всѣхъ пунктахъ“. Почему я это сдѣлалъ — я, считающій славянофильское ученіе ложнымъ и бесплоднымъ? Потому, что въ данномъ случаѣ такимъ именно образомъ, по моимъ понятіямъ, сложилась жизнь, а я прежде всего хотѣлъ быть искреннимъ и правдивымъ“ (стр. ХСІІІ).

Не грустное ли, не смѣшное ли зрѣлище представляетъ подобное оправданіе съ точки зрѣнія нигилизма? Западникъ вдругъ написалъ романъ въ славянофильскомъ духѣ,—и еще оправдывается! Опять повторимъ—не ясный ли это примѣръ того, какъ вредна поэзія? Два раза, какъ видно изъ словъ самого г. Тургенева, онъ самымъ непростительнымъ образомъ *сбивалъ съ толку* своихъ читателей; одинъ разъ онъ расточилъ самую глубокую симпатію на славянофила Лаврецаго, на человѣка, душевное настроеніе котораго должно быть омерзительно для всякаго западника; другой разъ онъ равнодушно и скептически отнесся къ Базарову, къ человѣку, весь строй мыслей котораго составляетъ лучший цвѣтъ западническаго направленія. И послѣ этого онъ думаетъ еще оправдаться! Да пропадай она вся поэзія со всѣми ея высокими претензіями, если она приводитъ къ подобнымъ медвѣжьимъ услугамъ обществу, развитію, молодому поколѣнію!

Нѣтъ, милостивый государь, ни въ какомъ случаѣ и никакимъ образомъ не можетъ быть правъ Тургеневъ, если мы станемъ судить его по основаніямъ, на которыхъ онъ самъ ссылагается. Посмотрите въ самомъ дѣлѣ:

Онъ виноватъ передъ своими убѣжденіями, которыя въ Базаровѣ вывелъ на общій судъ не какъ ихъ защитникъ и послѣдователь, а какъ дѣло для него чужое, какъ нѣчто сомнительное, дерзкое и дикое.

Онъ виноватъ передъ читателями, которыхъ дважды *сбивалъ съ толку*, „Дворянскимъ гнѣздомъ“ и „Отцами и дѣтьми“. Въ послѣднемъ случаѣ онъ успѣлъ отвести глаза даже столь проницательному человѣку, какъ г. Катковъ.

Онъ виноватъ передъ нашимъ прогрессомъ, такъ какъ

способствовалъ тому, что этотъ прогрессъ замедлился и пріостановился.

Онъ виноватъ передъ молодымъ поколѣніемъ, такъ какъ въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ выступилъ не его сторонникомъ, а его строгимъ судьей и хладнокровнымъ цѣнителемъ.

Онъ виноватъ, наконецъ, передъ поэзіею, такъ какъ въ „Воспоминаніяхъ“ не умѣлъ постоять за ея священные права и сталъ прибѣгать къ другимъ оправданіямъ, отрекаться отъ мысли своихъ произведеній и увѣрять, что онъ больше дорожитъ своимъ нигилизмомъ, чѣмъ своею поэзіею.

Такъ что, милостивый государь, если я не вступлюсь за Тургенева противъ него самого, если я не покажу его истинныхъ заслугъ, то слава его, какъ мнѣ кажется, будетъ помрачена на вѣки, къ истинному прискорбію всѣхъ любителей отечественной литературы. Къ такой защитѣ я наконецъ и приступаю. Я полагаю, что о Тургеневѣ можно и необходимо судить съ иныхъ точекъ зрѣнія, и именно слѣдующимъ образомъ:

Не своими поэтическими произведеніями провинился передъ нами г. Тургеневъ, а развѣ всѣмъ тѣмъ, что у него является помимо поэзіи, на примѣръ тѣми вставочными разсужденіями, которыми онъ наполнилъ „Дымъ“, тѣми „Воспоминаніями“, которыя лежатъ теперь передъ нами. Впрочемъ, и тутъ—какая вина? Себѣ самому, кажется, г. Тургеневъ повредилъ всего больше. Но вездѣ, гдѣ, онъ оставался поэтомъ, онъ былъ правъ и чистъ и полезенъ. Итакъ, мы различаемъ Тургенева-мыслителя и Тургенева-художника. Для спасенія славы одного изъ нашихъ знаменитыхъ писателей нужно твердо держаться этого различія; ибо оказывается, что въ одномъ и томъ

же человѣкъ поэтъ и мыслитель могутъ приходить въ крайнее противорѣчіе. Въ настоящемъ случаѣ, какой разумный человѣкъ усумнится, что ради Тургенева-поэта намъ слѣдуетъ пожертвовать Тургеневымъ-мыслителемъ? Поэтъ онъ хорошій, но мыслитель... не составляющій украшенія нашей литературы. Въ немъ съ удивительной ясностью обнаружилось то явленіе, что поэзія даетъ людямъ прозорливость и глубину, далеко превышающія силу ихъ разума. И потому, да будетъ поэзія прославлена во вѣки! Какъ не подивиться въ самомъ дѣлѣ тому, напри-мѣръ, что сдѣлано Тургеневымъ? Если повѣрить его словамъ, то онъ все время былъ искреннимъ западникомъ; а между тѣмъ, чему онъ послужилъ своими произведеніями? Онъ безпрестанно казнилъ и развѣнчивалъ западничество. Вслѣдствіе чудесной правдивости, свойственной поэзіи, выходило такъ, что явленія, передъ которыми онъ готовъ былъ преклониться, обнаружили въ его произведеніяхъ свою истинную натуру, ту гнилость, которою они были поражены. Такъ случилось съ Базаровымъ. Да и съ однимъ ли Базаровымъ? Чтò такое всѣ семь томовъ Тургенева, законченные только-что вышедшимъ первымъ томомъ? Это пространнѣйшій *лазаретъ*, какъ выразился одинъ изъ моихъ знакомыхъ; это правдивая картина людей, искалѣченныхъ внутреннею-духовною болѣзнью. Мы видимъ передъ собою цѣлые ряды *лишнихъ людей*, *Гамлетовъ*, *Рудиныхъ*, *Базаровыхъ*, то есть всевозможныхъ представителей нашего западничества послѣднихъ двадцати лѣтъ. Передъ нами происходитъ длинная комедія, повѣствующая объ ихъ жалкой участи, о слабости ихъ силъ и несостоятельности во всѣхъ дѣлахъ, начиная отъ любовныхъ. Это уныніе, этотъ внутренній разладъ и разрывъ съ окружающимъ міромъ, это отсут-

ствіе прочныхъ и ясныхъ основъ жизни—все это болѣзненные черты, которыми отличались наши западники. И слѣдовательно, всѣми своими произведеніями г. Тургеневъ достигъ одного результата—изобразилъ наше западничество въ его истинномъ свѣтѣ, и слѣдовательно, казнилъ и развѣнчивалъ его. Такова благотворная сила поэзіи!

Нынѣ г. Тургеневъ удивляется, почему его Базаровъ не нравится молодому поколѣнію. Чтò касается до меня, то я искренно готовъ радоваться за нашихъ юношей, не нашедшихъ ничего для себя лестнаго въ этомъ изображеніи. Еще бы они были довольны! Кому же не ясно что, напри-мѣръ, глупенькая Өеничка, или старушка-мать Базарова представляютъ людей въ тысячу разъ болѣе симпатическихъ, чѣмъ высокоумный Базаровъ? Кому не ясно, что та оторванность отъ жизни, которая отличаетъ героя „Отцовъ и дѣтей“, его отчужденіе отъ всего живаго и теплаго, его гордость, самолюбіе, его медицинскій цинизмъ и матеріализмъ, наконецъ тоска и пустота его собственной души—должны были оттолкнуть отъ этой фигуры не только холодную Одинцову, но еще болѣе всякаго нечестиваго человѣка? Мнѣ кажется, г. Тургеневъ ошибается въ своемъ чувствѣ къ Базарову; онъ не сочувствуетъ ему, а онъ его *боится*. Написавши портретъ страшнаго для себя человѣка, г. Тургеневъ теперь никакъ не можетъ понять, почему и тѣ, которыхъ онъ предполагалъ испугать, и тѣ, которымъ онъ надѣялся польстить, находятъ такъ мало страшнаго и величественнаго въ этой фигурѣ. Недоумѣніе нашего автора можно сравнить съ изумленіемъ мыши, которая, изображая Геркулеса, придала бы ему черты кошки, и потомъ убѣдилась бы, что это изображеніе ни львовъ не пугаетъ, ни самому Геркулесу не льститъ. Между тѣмъ

бѣды бы никакой не было, если бы мышь только никому не сказывала, что она непремѣнно хотѣла изобразить могучаго и непобѣдимаго Геркулеса; всѣ любовались бы прекраснымъ портретомъ и дивились бы только мѣткости, съ которою схвачена кошачья фѣзіономія. Это замѣчаніе можно расширить и распространить на всю дѣятельность г. Тургенева. Изображая жизнь нашего образованнаго класса, онъ видѣлъ въ ея волненіяхъ и представителяхъ нѣчто великое и важное, онъ думалъ, что живетъ въ мірѣ геройскихъ лицъ и дѣяній, и изображалъ ихъ съ благоговѣніемъ и правдивостью. Вдругъ оказывается, что это міръ фальшивый, чуждый настоящей здоровой жизни; тѣмъ не менѣе, изображенія нашего поэта должны быть признаны прекрасными и добросовѣстными, хотя они получаютъ для насъ совершенно не тотъ смыслъ, какой имѣли для него, даютъ намъ иное поученіе, приводятъ къ инымъ выводамъ.

Итакъ, вотъ мое заключеніе. Если бы у г. Тургенева не было поэтическаго дара, онъ представилъ бы собою одного изъ самыхъ жалкихъ нигилистовъ. Но по милости небесъ онъ одаренъ былъ зоркостью поэта и потому оказалъ не малые услуги русскому обществу. Онъ способствовалъ разъясненію и правильной постановкѣ многихъ хаотическихъ и трудно-уловимыхъ явленій. Правда, что истинный смыслъ этихъ явленій остался недоступенъ для него самого; но для насъ они явились въ живыхъ, яркихъ образахъ, и всякій разумѣющій можетъ изслѣдовать ихъ дѣйствительную сущность.

И если въ концѣ концовъ мы откроемъ, что г. Тургеневъ въ сущности скептикъ, что онъ въ томъ мірѣ, который составлялъ законную область его поэзіи, ни къ чему не могъ отнести въполнѣ любовно, что, слѣдова-

тельно чудесная сила поэзіи помимо его воли и разума поднимала его выше этого міра, что онъ нигилистъ не потому, что будто бы любить Базарова и раздѣляетъ его убѣжденія, а потому, что онъ не нажилъ никакихъ убѣжденій и умѣетъ лишь ко всему относиться отрицательно, то вы убѣдитесь, что я былъ правъ въ своемъ прошломъ письмѣ, и согласитесь, что въ этой характеристикѣ г. Тургенева выходитъ несравненно лучше, чѣмъ онъ самъ себя рекомендуетъ въ своемъ первомъ томѣ.

10 декабря.

Н. Косица.

(Заря 1869, декабрь).

IV.

ПОСЛѢДНІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ ТУРГЕНЕВА (1871).

Призраки. Фантазія. 1863.

Довольно. Отрывокъ изъ записокъ умершаго художника. 1864.

Собана. 1866.

Дымъ 1867.

Исторія лейтенанта Ергунова. 1867.

Бригадиръ. 1867.

Несчастная. 1868. (См. Сочиненія И. С. Тургенева. Ч. V и VI. Москва 1869).

Странная исторія. Разсказъ. (Вѣстн. Европы 1869, янв.).

Степной король Лиръ. (Вѣстн. Европы 1870, окт.).

Стукъ, стукъ, стукъ! Студія. (Вѣстн. Европы 1871, янв.).

I.

Литературная судьба г. Тургенева очень интересна. Въ его дѣятельности на нашихъ глазахъ совершился нѣкоторый переворотъ, переломъ; нежданно-негаданно (какъ это всегда бываетъ) упалъ на него какой-то ударъ судьбы, и Тургеневъ, повидимому, утратилъ въ одно время и вліяніе на читателей, и прежнюю творческую силу. Его нынче всѣ бранятъ, никто имъ недоволенъ, всѣ наперерывъ удивляются слабости его послѣднихъ произведеній. И дѣйствительно, въ этихъ произведеніяхъ нѣтъ прежней силы, нѣтъ прежней значительности.

Что же случилось? Дѣло, кажется, такое, что о

немъ стоитъ подумать. Наша литература, вѣдь, не пустякъ. Она нынче процвѣтаетъ въ полномъ смыслѣ этого слова; она процвѣтаетъ, ширится и развѣтывается, тогда какъ, на примѣръ, литература французская, нѣмецкая, англійская—или падаютъ, или находятся въ застоѣ. Мы говоримъ здѣсь, разумѣется, о литературѣ въ тѣсномъ смыслѣ, то есть о художественной словесности. Какъ бы строго мы ни стали судить о нашихъ художникахъ слова (а мы, русскіе всегда расположены строго судить о самихъ себѣ), нельзя не согласиться, что у насъ не мало хорошихъ писателей, что они много сдѣлали, много дѣлаютъ теперь и много общаются въ будущемъ. Европейскіе критики, нѣмцы и англичане, находятъ, что наши писатели по силѣ и мастерству своего искусства *не уступаютъ никакимъ европейскимъ*. А что сказали бы эти критики, если бы они могли понять внутреннюю задачу русскихъ писателей, ту задачу, которая составляетъ душу нашей литературы и разрѣшается ею съ такимъ напряженіемъ и успѣхомъ, съ такою глубокою и неутомимою серіозностію! У насъ нѣтъ установившихся, окрѣпшихъ формъ и возрѣній; у насъ все растетъ, все вновь складывается. Большею частію наши писатели даже не останавливаются въ своемъ развитіи, а продолжаютъ дѣлать все новые и новые шаги до тѣхъ поръ, пока пишутъ. Такъ Тургеневъ выросъ безмѣрно въ сравненіи съ тѣмъ, чего ожидалъ отъ него Бѣлинскій. Такъ Левъ Толстой поднимался еще правильнѣе и неуклоннѣе, и возшелъ еще выше. Такъ Достоевскій, несмотря на колебанія, все еще продолжаетъ подыматься, и для русскаго критика ясно, что, на примѣръ, въ повѣсти „Вѣчный мужъ“ этотъ писатель, работающій такъ давно, сдѣлалъ новый

шагъ въ развитіи своихъ идей. Этихъ примѣровъ довольно. Въ силу этого непрерывнаго роста—наша литература теперь уже не та, что была пять лѣтъ назадъ; она растетъ бисто, какъ сказочный богатырь. Уловить душу этого развитія, его движущую силу, — вотъ задача нашей критики; этой критикѣ есть надѣ чѣмъ поработать—предметъ ея достигъ огромной значительности, даже европейской славы (если ужъ непременно нужно мнѣніе Европы), а важность его непонятна только тому, кто не имѣетъ достаточно смысла, чтобы интересоваться духовнымъ развитіемъ своего народа.

Итакъ, въ нашей процвѣтающей литературѣ случился фактъ самыхъ крупныхъ размѣровъ. Писатель, безспорно занимавшій долгое время первое мѣсто, любимецъ всего общества и молодого поколѣнія, вдругъ подвергся гоненію журналистики и публики. Это подѣйствовало на него такъ, что онъ, повидимому, потерялъ свою прежнюю силу, и хотя продолжаетъ писать, но, очевидно, понизилъ свой голосъ. Вотъ уже девять лѣтъ, какъ дѣло находится въ такомъ положеніи. Казалось бы смыслъ его давно долженъ быть ясенъ, а между тѣмъ, едва ли это такъ.

Вотъ, между прочимъ, свидѣтельство, какое трудное и жестокое дѣло наша литература. Тургеневъ не первый лишается внезапно благоволенія нашей капризной публики; нѣчто подобное, и даже въ гораздо большихъ размѣрахъ, случилось съ Пушкинымъ, Гоголемъ, Герценомъ... Изслѣдованіе этихъ случаевъ весьма любопытно, можетъ дать нѣкоторыя откровенія относительно нашего духовнаго роста, умственнаго склада нашего общества. Есть, очевидно, какая-то странная зыбкость, какая-то не-

устойчивость и лихорадочность въ развитіи нашего общества и нашей литературы. Обыкновенно дѣло идетъ такъ, что писатели *перерастаютъ* своихъ читателей. Они нравятся толпѣ и бываютъ ея любимцами, пока не вполне обнаружили себя, не достигли своего высшаго развитія. Пока толпа можетъ понимать ихъ по своему, можетъ находить въ нихъ пищу для своихъ нравственныхъ вкусовъ, она ихъ превозноситъ и балуетъ. Но, когда понемногу оказывается, что идолъ совсѣмъ не то думаетъ и не туда смотритъ, куда хотѣлось бы толпѣ,—она безжалостно, какъ истинная толпа, свергаетъ свое божество и топчетъ его въ грязь. Вотъ жестокая игра, безпрестанно повторяющаяся въ нашей литературѣ и приносящая столько страданій нашимъ писателямъ. Толпа обыкновенно увѣряетъ, что писатели отстаютъ отъ ея движенія, что будто они остаются назади, а она впереди; но этому трудно повѣрить и вообще, судя по обыкновеннымъ свойствамъ толпы, и въ частности, по свойству и подробностямъ тѣхъ случаевъ, о которыхъ мы говоримъ. *Люди понимаютъ только то, что имъ нравится*; для всего остального они слѣпы и глухи. Поэтому, мы мало расположены довѣрять пониманію толпы и, въ случаѣ недоразумѣнія и разногласія, заранѣе становимся на сторону писателей.

II.

Относительно Тургенева можно впрочемъ замѣтить, что онъ и самъ виноватъ. Едва ли бы онъ подвергся такимъ жестокимъ и долгимъ нападеніямъ, если бы онъ самъ не старался всячески дразнить общественное мнѣніе, дерзко касаться его любимыхъ идей и вкусовъ, до-

трогиваться до самыхъ больныхъ и чувствительныхъ мѣстъ. Эта опасная игра не прошла Тургеневу даромъ, но онъ долженъ сознаться, что со своей стороны онъ подвергалъ терпѣніе общества значительному испытанію. Какъ будто онъ не чувствовалъ, чтò онъ дѣлаетъ, когда писалъ *Отцовъ и дѣтей*, или *Дымъ*? Желаніе противорѣчить общему настроенію, взглянуть объективно, со стороны, на послѣдній фазисъ нашего прогресса, не участвовать въ немъ, а судить, и даже прямо осуждать его, — это желаніе очень ясно видно въ названныхъ произведеніяхъ. Кому же это могло быть пріятно? Въ самую горячую минуту, когда люди лихорадочно увлечены извѣстными стремленіями, вдругъ раздается скептический, недовольный, охлаждающій голосъ. Когда все общество бредило *Современникомъ*, вдругъ появляются *Отцы и дѣти*, въ которыхъ мѣтко, ясно, съ плотью и кровью выставленъ на всенародныя очи *нигилизмъ*. Когда вѣтеръ перемѣнился, и все общество затолковало о народности, о величій нашего государства и о будущности Россіи, вдругъ появляется *Дымъ*, въ которомъ безпощадно, въ рѣзкихъ и животрепещущихъ образахъ осуждается нашъ *патріотизмъ*. Не это ли называется крикнуть людямъ подъ руку, или неожиданно облить ихъ холодной водою?

Но чтò же изъ этого? Можно сказать только, что Тургеневъ въ значительной мѣрѣ воспользовался правами писателя. Права писателя, какъ извѣстно, столь велики и обширны, что съ ними ничьи другія не сравнятся. По давнишнему ученію, писатель можетъ говорить о чемъ угодно, когда угодно и какъ ему угодно. Онъ можетъ не отвѣчать ни на какіе вопросы, ни на общественные, ни на лично къ нему обращенные, и мо-

жетъ говорить о томъ, о чемъ его вовсе не спрашиваютъ. Онъ можетъ заниматься тѣмъ, чтò никого не занимаетъ, и молчать о томъ, о чемъ всѣ говорятъ. Онъ можетъ смѣяться надъ тѣмъ, чтò всѣ уважаютъ, сомнѣваться въ томъ, во чтò всѣ вѣрятъ, и вѣрить въ то, — чего никто не признаетъ, и чтò онъ самъ выдумалъ. Своимъ мыслямъ онъ можетъ придавать такую форму, какая ему заблагоразсудится. Онъ можетъ излагать ихъ въ ясныхъ и связанныхъ разсужденіяхъ, или въ художественныхъ образахъ, или въ видѣ фантазій и иносказаний: можетъ говорить прямо, или одними намеками, загадками, капризными выходками, отрывочными и безсвязными. Онъ можетъ говорить сегодня одно, а завтра другое, объявивши, что онъ перемѣнилъ свое мнѣніе, или даже не объявляя этого. Все дозволяется писателю, и чтò бы онъ ни дѣлалъ, ему воздается честь и слава, если онъ успѣетъ сдѣлать то, чтò задумалъ. Если онъ возбудилъ недоумѣніе и сомнѣніе въ томъ, чтò было выше всякихъ недоумѣній и сомнѣній, — слава. Если пошатнулъ кумиръ, которому всѣ поклонялись, — слава. Если заставилъ читателей сегодня думать не такъ, какъ они думали вчера, — слава. Если нашелъ то, чего никто не зналъ, и сталъ на точку зрѣнія, на которой никто не стоялъ, — слава. Словомъ, если только писатель успѣлъ чтò-нибудь создать, или чтò-нибудь погубить, то, не разбирая, чтò и какъ создано, чтò и какъ погублено, — слава и слава.

Таковы общепризнанныя права писателей, и въ этомъ либерализмъ относительно литературы, обыкновенно проповѣдываемомъ и защищаемомъ самою же литературой, есть нѣкоторый важный смыслъ. Этотъ либерализмъ основывается на вѣрѣ въ разумъ, въ законность и неизмѣн-

ность его развитія. Предполагается, что всѣ явленія мысли имѣютъ разумность, что есть неизбѣжная логика въ развитіи мнѣній и сужденій, ведущая ихъ непремѣнно *впередъ*, непремѣнно *къ лучшему*. Такъ точно, защитники свободной торговли и всяческой свободы обмѣна увѣрены, что эта свобода ведетъ къ большому накопленію богатствъ и къ лучшему ихъ распредѣленію. Въ литературѣ предполагается, что какой бы кавардакъ мы ни сочинили, какого бы туману ни напустили въ глаза, какъ бы сильно и неожиданно ни сбивали людей съ толку и ни приводили ихъ въ недоумѣніе, изъ этого безпорядка самъ собою возникнетъ новый порядокъ, еще лучшій, чѣмъ прежній, такъ какъ онъ и побѣдитъ и сохранитъ въ себѣ всѣ элементы, внесенные безпорядкомъ. Вѣра, побѣдившая сомнѣнія, станетъ выше прежней несомнѣвавшейся вѣры; истина, выдержавшая критику, станетъ еще яснѣе и обогатится всѣмъ содержаніемъ вынесенной борьбы, и т. д.

Вотъ тотъ оптимистическій взглядъ на явленія литературы, на который можетъ сослаться Тургеневъ, и который, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ когда-нибудь къ нему примѣнить. Не довольно ли мы его бранили и не пора ли перестать?

Оказывается однакоже, что либеральная теорія, столь прекрасная и ясная въ отвлеченномъ видѣ, на практикѣ прилагается вовсе не такъ удобно и порождаетъ явленія весьма некрасивыя, смутныя и печальныя. На дерзкія произведенія Тургенева, непочтительно затрогивавшія наши любимыя идеи, общество и литература отвѣчали такъ запальчиво, съ такимъ живымъ и долгимъ негодованіемъ, что художникъ, хорошо знавшій свои права на свободу мнѣній, смутился однакоже до глубины души.

Объ этомъ смущеніи свидѣтельствуютъ — упадокъ дѣятельности Тургенева со времени *Отцовъ и дѣтей*, и еще прямѣе — тѣ оправданія, въ которыя онъ вдается въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ и въ предисловіи къ отдѣльному изданію *Дыма*. Такимъ образомъ, ни общество, ни художникъ *не выдержали* игры въ свободу творчества и въ терпимость всякихъ литературныхъ явленій. Тургеневу объявили, что онъ *вреденъ*; не нашлось почти никого, кто бы попытался стать выше раздраженія и извлечь пользу изъ произведеній, на которыя положено было столько тонкаго, упорнаго чутья, столько талантливой работы. Самъ Тургеневъ готовъ признать, что, напримѣръ, *Отцы и дѣти*, гдѣ онъ былъ такъ объективенъ, такъ безпристрастенъ, такъ искренно стремился къ правдѣ и точному воспроизведенію жизни, не принесли пользы, а повели къ одному вреду. „На мое имя“, горестно замѣчаетъ онъ, „легла тѣнь. Я себя не обманываю; я знаю, эта тѣнь съ моего имени не сойдетъ“ (Соч. Тург. Т. I, стр. XCVIII).

Вотъ до чего доводитъ вѣра въ разумъ, теорія литературной свободы, тотъ взглядъ, что чѣмъ больше кутерма умовъ и мнѣній, тѣмъ быстрѣе совершается прогрессъ, и что все непремѣнно пойдеть къ лучшему! Вотъ вамъ примѣръ, неопытные, еще не знающіе осторожности юноши! Судьба Тургенева да научить васъ: не довѣряйтесь теченію вашихъ думъ и чувствъ; не смѣйте идти, куда васъ повлекутъ *невольныя мечты*, какъ говоритъ Пушкинъ; берегитесь, чтобы и на ваше имя не легла тѣнь, какъ она легла на имя Тургенева!

Такое заключеніе мы находимъ, однакоже, слишкомъ печальнымъ. и потому не расположены ему вѣрить. Неужели же до этого дошло? Неужели мы должны отречься

отъ свободы въ литературѣ, и дѣлать нашихъ писателей не на умныхъ и глупыхъ, а на полезныхъ и вредныхъ? Мы этого не думаемъ. Не даромъ же мы построили безмѣрно-огромное государство, ревниво берегли свою независимость, боролись съ Европою, и вообще составляемъ народъ самостоятельный, желающій жить своею жизнью. Мы можемъ, кажется, дать волю своему уму и воображенію, можемъ свободно помечтать и пофилософствовать. Нетерпимость, которая появилась у насъ въ литературѣ, и отъ которой пострадалъ Тургеневъ, кажется, есть явленіе временное, есть слѣдствіе того, что наши партіи слишкомъ разгорячились въ недавній періодъ своего усиленнаго развитія. Было бы слишкомъ печально, если бы мы всѣхъ нашихъ писателей, всѣ наши умственные силы, принуждены были запрягать въ государственное или какое-нибудь другое тягло, если бы постановили правиломъ, какъ это было у грековъ, что всякій человѣкъ долженъ принадлежать къ извѣстной партіи, а иначе онъ намъ бесполезенъ, или даже вреденъ.

Какъ бы то ни было, какъ бы мы ни смотрѣли вообще на теорію литературной свободы, мы во всякомъ случаѣ сдѣлаемъ хорошо, если *сдумаемъ* ей слѣдовать, если *сможемъ* приложить ея правила. Есть случаи, когда на насъ не лежитъ прямой обязанности сдѣлать извѣстное дѣло и когда, однакоже, мы будемъ и счастливы, и достойны похвалъ, если успѣемъ сдѣлать это дѣло. Если мы попробуемъ отдѣлаться отъ случайнаго и минутнаго настроенія, если не поддадимся раздраженію, возбуждаемому въ насъ извѣстными произведеніями, если *сдумаемъ* стать выше этихъ произведеній и разсматривать ихъ такъ возраженіе, какъ поясненіе и дальнѣйшее развитіе

вопроса, то мы поступимъ наилучшимъ образомъ. Высокія дарованія Тургенева, его основательная образованность, его искренность и добросовѣстность, даже его любовь къ Россіи—не подлежатъ сомнѣнію. Трудно допустить, чтобы при такихъ условіяхъ онъ былъ вреднымъ писателемъ, чтобы творческая работа такого человѣка не приносила прямой пользы, не способствовала развитію нашихъ идей, не была цѣннымъ вкладомъ въ сокровищницу нашей литературы.

Посмотримъ ближе, въ чемъ дѣло.

III.

Тургеневъ задѣлъ и раздражилъ обѣ наши главные партіи, западниковъ и славянофиловъ, первыхъ преимущественно *Отцами и дѣтьми*, вторыхъ преимущественно *Дымомъ*. Говоримъ преимущественно, потому что и въ другихъ его произведеніяхъ обѣ партіи находили не мало поводовъ къ неудовольствію.

Что касается до западниковъ, до нигилистовъ, которыми Тургеневъ далъ имя и образъ, то причины раздора между ними и нашимъ романистомъ до сихъ поръ остаются покрытыми густымъ мракомъ. Покойный Писаревъ совершенно справедливо называлъ это дѣло *Нерешеннымъ вопросомъ*. До послѣднихъ дней не понимаетъ этого дѣла самъ Тургеневъ, не хотятъ понимать „Отечественныя Записки“, никакъ не могутъ понять нѣмецкіе критики. Въ газетѣ *Vossische Zeitung*, какъ указываетъ Тургеневъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“, было сказано, что въ Базаровѣ „всякій новѣйшій радикалъ долженъ бы съ чувствомъ радостнаго удовлетворенія признать свой портретъ“ (Соч. Тург. т. I, стр. XCIV).

Юліанъ Шмидтъ пришелъ къ такому же заключенію. „Молодое поколѣніе русскихъ, говоритъ онъ, безъ основанія разсердилось на *Отцовъ и дѣтей*“ *), и критикъ даже ни на минуту не останавливается надъ вопросомъ, откуда произошелъ этотъ неосновательный гнѣвъ. Вообще, какъ свидѣлствуетъ Тургеневъ, „иностранцы никакъ не могутъ понять безпощадныхъ обвиненій, возводимыхъ на автора *Отцовъ и дѣтей* за Базарова“ (Соч. Тург. т. I стр. XCIV).

Эти свидѣтельства много значатъ. Они показываютъ, что нашъ нигилизмъ есть дѣйствительно плодъ нашего европейничанья, что Европа узнаетъ въ немъ свое дитя, плоть отъ своей плоти. Мать, какъ оно и естественно, находитъ свое дѣтище очень милымъ и красивымъ и чрезвычайно удивлена, что варвары, обладающіе такими образчиками европейской цивилизаціи, не почитаютъ ихъ и недовольны ими. Между Россіей и Европою обнаружилось такимъ образомъ замѣчательное разногласіе во взглядѣ на вещи.

Русскій нигилизмъ, по нашему мнѣнію, нѣсколько отличается отъ европейскаго; но несомнѣнно правъ Н. Я. Данилевскій, замѣчая, что Европа имѣла своихъ нигилистовъ раньше Россіи и что эти нигилисты суть нѣмцы.

«Для жившей заднимъ умомъ официальной Россіи»,—говоритъ онъ, «все еще Франція, по старой памяти, казалась олицетвореніемъ всѣхъ антисоціальныхъ, антирелигіозныхъ, противонравственныхъ ученій, а скромная, глубокомысленная Германія олицетворяла собою противодѣйствующій этимъ зло-

*) Bilder aus dem geistigen Leben unserer Zeit, von Julian Schmidt. Leipz. 1870, стр. 407.

вреднымъ направленіемъ спасительный идеализмъ». «Не такъ еще давно, молодымъ людямъ, отправлявшимся за границу, строго возбранялся въѣздъ во Францію, какъ въ страну нравственно-зачумленную, тогда какъ *зараза давно уже оставила французскую почву и перешла въ Германію*. Безъ самобытнаго развитія, привыкши вѣрить на слово нашимъ иностраннымъ учителямъ, и въ послѣднее время будучи обучаемы исключительно нѣмецкою наукою, мы заразились самоновѣйшимъ и самооднѣйшимъ ея направленіемъ, которое не встрѣчало ни внутренняго, ни внѣшняго противодѣйствія. Къ какой націи принадлежать: Фохтъ, Мошоттъ, Фейербахъ, Бруно Бауэръ, Бюхнеръ, Максъ Штирнеръ—эти корифеи новѣйшаго матеріализма?» *).

Подобно другимъ молодымъ людямъ, и Тургеневъ прожилъ два года (1838—1840) въ Берлинѣ и старался усвоить себѣ всѣ тайны нѣмецкой мудрости. Юліанъ Шмидтъ по поводу слова *нигилизмъ* дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія:

«Какъ ни зорко видитъ Тургеневъ свой предметъ, однакоже, въ его взглядѣ на русскія партіи отзываются иногда воспоминанія его юности, его нѣмецкаго образованія. Онъ жилъ въ Берлинѣ въ то время, когда на мѣсто *благородства убѣжденій* стала *критика*, когда *Бруно Бауэръ* выставилъ догматъ, что образованный человѣкъ не долженъ имѣть никакихъ убѣжденій, когда *Макс Штирнеръ* доказывалъ юнымъ Гегельянцамъ, считавшимъ идеи обязательными для человѣка, что идеи суть дымъ, паръ, романтика, и сводилъ всю реальность на *я*, на «единичнаго и его собственность»; когда наконецъ еще дальше пошедшій прогрессивный мыслитель показалъ Максу Штирнеру, что *я* и вѣра въ *я* есть корень всяческой романтики. *Вотъ, кто были настоящіе нигилисты*» **).

*) *Россія и Европа*, Н. Я. Данилевскаго. Спб. 1871 г. стр. 308.

**) Bilder etc., стр. 464.

Но, по мнѣнію Юліана Шмидта, Базаровъ есть нигилистъ не въ этомъ смыслѣ, а въ гораздо высшемъ, составляющемъ еще новый, сдѣланный въ послѣдствіи шагъ европейскаго прогресса. Именно, Шмидтъ, подобно Писареву, называетъ Базарова *реалистомъ*. „Ничто“, говоритъ онъ, „не есть результатъ, къ которому онъ стремится; онъ хочетъ только очистить мѣсто, отдѣлаться отъ пустыхъ отвлеченій, чтобы видѣть вещи, какъ они есть,—отбросить условныя правила“ и пр. Однимъ словомъ Шмидтъ совершенно доволенъ Базаровымъ и рассыпается въ похвалахъ ему.

Изъ всего этого слѣдуетъ—и то, что Германія имѣла вліяніе на Тургенева, на его взгляды, творчество и самую терминологию, и то, что русскій нигилизмъ имѣетъ несомнѣнное сродство съ нѣмецкимъ, предупредившимъ его своимъ развитіемъ. Такъ и вышло, что Тургеневъ теперь заодно съ нѣмцами недоумѣваетъ и удивляется: отчего русскимъ не понравился нигилизмъ, воплощенный въ Базаровѣ?

Попробуемъ отвѣчать. Нѣмцы—народъ грубый и наивный, мы—народъ чуткій и чуждый наивности; чтò годится для однихъ, то другимъ вовсе не по нутру. Почему Тургеневъ такъ крѣпко вѣрить въ теорію прогресса, которую въ юности услышалъ въ Берлинѣ? Почему онъ думаетъ, что мы съ такою же наивностію, какъ нѣмцы, примемъ въ сурьезъ, сочтемъ за шагъ впередъ, за новый фазисъ человѣческаго духа,—послѣднюю народившуюся глупость, послѣднее умственное повѣтріе, настроеніе послѣдней минуты? На святой Руси никогда этого не будетъ; ни французская *мода*, ни нѣмецкій *прогрессъ* никогда у насъ не будутъ имѣть большой власти, серьезнаго значенія. Не такой мы народъ, чтобы повѣрить,

что глубокія основы жизни могутъ быть сегодня открыты, завтра передѣланы, послѣ завтра радикально измѣнены.

Тургеневъ ошибся, полагая, что къ намъ вполне прилагаются формы европейскаго развитія. Теперь онъ сердится, почему на его Базарова не смотрятъ уважительно, какъ на героя, какъ на нѣчто солидное и серьезное. Увы! въ той сферѣ, которая породила Базарова, ничего не можетъ быть для насъ солиднаго и серьезнаго. Напрасно Тургеневъ думалъ, что къ намъ такъ или иначе привьется европейская цивилизація; вотъ ему примѣръ и собственный опытъ: не прививается! Базаровъ есть лучший плодъ европейскаго прогресса на русской почвѣ. Что же вышло? За исключеніемъ наивныхъ писаревцовъ никто въ немъ не видитъ у насъ ни серьезнаго врага, ни серьезнаго друга.

Да наконецъ, и въ самомъ Тургеневѣ сказала русская жилка. Развѣ Базаровъ изображенъ съ тою наивностію, съ тѣмъ благоговѣніемъ, какое подобаетъ мужу прогресса и какое мы видѣли потомъ въ настоящихъ нигилистическихъ романахъ? Несмотря на западничество Тургенева и его усердіе къ нашему *движенію*, очевидно, что-то не даетъ ему вполне примкнуть къ этому движенію. Онъ, очевидно, стоитъ въ сторонѣ, смотритъ со стороны; онъ полонъ недовѣрія и какихъ то иныхъ, болѣе глубокихъ требованій, передъ которыми лица, имъ описываемыя, оказываются мелкими и некрасивыми. Помимо его воли, онъ осуждаетъ своихъ героевъ, онъ ихъ развѣнчиваетъ, снимаетъ съ нихъ ореолъ, и—прибавимъ мы—прекрасно дѣлаетъ.

Вся сфера нашего прогресса, все, чтò у насъ родится и растетъ подъ вліяніемъ Европы,—все это шелуха и дымъ. Лица, изображаемыя Тургеневымъ, какъ нельзя

лучше доказываютъ этотъ тезисъ, и самъ Базаровъ, котораго онъ такъ уважаетъ, оказался, въ силу неумолимой правдивости поэзіи, принадлежащимъ все къ той же категоріи лишнихъ и больныхъ духомъ людей, которыхъ столько и съ такимъ мастерствомъ нарисовалъ намъ Тургеневъ. Онъ *обличилъ* наше западничество, хотя не хотѣлъ этого сдѣлать. Дѣло сдѣлалось само собою.

IV.

Разобидѣвши неумышленно западничество, Тургеневъ уже совершенно умышленно не остался въ долгу и передъ славянофильствомъ. И точно такъ, какъ *Отцы и дѣти* явились въ ту минуту, когда наше западническое движеніе, такъ называемая нами *воздушная революція*, достигло своей кульминаціонной точки, такъ и *Дымъ* явился въ ту минуту, когда нашъ разгорѣвшійся патріотизмъ имѣлъ еще свѣжесть и жаръ недавно распространившагося увлеченія.

Первое замѣчаніе, которое здѣсь представляется, будетъ то, что Тургеневымъ, очевидно, владѣетъ неукротимый *духъ противорѣчій*, что онъ, очевидно, жадно слѣдитъ за измѣненіями вкусовъ и умовъ въ нашемъ обществѣ, непременно желаетъ сказать свое слово въ нашемъ прогрессѣ, и непременно осуждаетъ, даже когда о томъ вовсе не думаетъ. Такимъ образомъ, война съ славянофильствомъ, начавшаяся у Тургенева съ *Дыма* и продолжающаяся до сихъ поръ, доказываетъ прежде всего, что славянофильство стало самымъ сильнымъ, самымъ значительнымъ направленіемъ въ нашемъ обществѣ, подобно тому, какъ появленіе *Отцовъ и дѣтей* показывало, что нигилизмъ уже созрѣлъ, уже достигъ наи-

большей силы. Проницательность Тургенева поистинѣ безпримѣрна. Напримѣръ, многіе въ минуту появленія *Отцовъ и дѣтей* не имѣли ни малѣйшаго чаянія о существованіи нигилизма. Какъ потомъ они были удивлены, когда направленіе Базарова развернулось и обнаружилось, когда малѣйшая черта Тургеневского романа повторилась въ безчисленныхъ отраженіяхъ!

Итакъ, смѣло можно сказать, что славянофильство получило въ послѣднее время особенную силу и значительность, если Тургеневъ считаетъ нужнымъ нападать на него. Это во-первыхъ. А во-вторыхъ, самое нападеніе далеко не имѣло той мѣткости и силы и не произвело такого дѣйствія, какъ прежде обличеніе нигилизма. Стоитъ того, чтобы разобрать это дѣло подробно.

Въ сущности, *Дымъ* есть вещь прекрасная, перво-степенная, могущая стать на ряду со всѣмъ лучшимъ, что написалъ Тургеневъ. При этомъ мы разумѣемъ именно сущность *Дыма*, то есть исторію Ирины и Литвинова. Эта исторія чрезвычайно похожа на ту, которая разсказана въ *Евгеніи Онегинѣ*; только на мѣсто мужчины поставлена женщина и наоборотъ. Онѣгинъ, любимый Татьяною, сперва отказывается отъ нея, а потомъ, когда та замужемъ, влюбляется въ нее и страдаетъ. Такъ и въ *Дымѣ*—Ирина, любимая студентомъ Литвиновымъ, отказывается отъ него; а потомъ, когда сама она замужемъ, а у Литвинова есть невѣста, влюбляется въ него и причиняетъ большія страданія и ему и себѣ. Въ обоихъ случаяхъ первоначально происходитъ ошибка, которую потомъ герои сознаютъ и стараются поправить, да уже нельзя. Нравоученіе изъ той и другой басни вытекаетъ одинаковое:

А счастье было такъ возможно,
Такъ близко!

Онѣгинъ и Ирина не видятъ, въ чемъ ихъ настоящее счастье; они ослѣплены какими-то ложными взглядами и страстями,—за чтò и наказываются.

Ко всему этому въ *Дымъ* прибавлена еще одна грустная черта. Татьяна Пушкина не поддается преслѣдованіямъ Онѣгина; она остается чиста и безупречна и олицетворяетъ передъ нами *милый идеалъ* русской женщины, непонятой тѣмъ, кого она полюбила. Литвиновъ же, играющій роль бабы, не устоялъ передъ Ириною, и нанесъ тѣмъ новыя муки себѣ, Ирину, своей невѣстѣ.

Таковы печальныя картины русской жизни, которыя оба поэта выставили для обнаруженія какого-то внутренняго разлада въ духовномъ строѣ нашего общества. Какъ у Пушкина, такъ и у Тургенева, женщина поставлена выше мужчины—давно замѣченная черта нашей жизни. Но Ирина придана не только первенствующая, но и прямо дѣятельная роль, чтобы тѣмъ яснѣе была ничтожность нашихъ мужчинъ и нѣкоторое дурное начало, присутствующее въ нашихъ женщинахъ. Тургеневъ какъ бы хотѣлъ сказать: въ высшемъ кругу у насъ господствуютъ не Пушкинскія Татьяны, а Ирины, испорченныя до мозга костей.

Нельзя не согласиться, что въ *Дымъ* рассказана чисто русская исторія, что характеры дѣйствующихъ лицъ и ходъ событій носятъ рѣзкій, отчетливый отпечатокъ русской жизни. И слѣдовательно, *обличеніе*, заключающееся въ повѣсти Тургенева, имѣетъ полную силу. Русское безволіе въ Литвиновѣ, искаженіе богатыхъ и прекрасныхъ силъ въ Ирину, грубость и непреодолимость страсти, возникающей между ними, и какая-то смутная окру-

жающая ихъ нравственная атмосфера, лишенная ясныхъ идеаловъ и прочныхъ началъ,—все это наше родное.

Къ этой-то печальной исторіи Тургеневъ присоединилъ, въ видѣ подходящей для нея обстановки, сцены и разговоры, имѣющіе уже чисто полемическій характеръ. Онъ вывелъ толпу такъ называемыхъ нами *нигилистическихъ славянофиловъ*, и заставилъ Потугина изливать насмѣшки и возраженія противъ настоящихъ славянофиловъ. Все вмѣстѣ образовало *дымъ*, нѣчто зыбкое и туманное, клочекъ хаоса, на которомъ ясно вырѣзывается только фигура Ирины, въ одно время и чарующая, и отталкивающая. „Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу“, говоритъ Потугинъ объ Россіи; вѣроятно, то же самое онъ сказалъ бы объ Ирину; и конечно, это самое отношеніе къ родинѣ составляетъ руководящую мысль автора въ цѣломъ рассказѣ.

Смыслъ *Дыма* совершенно ясенъ, и въ то же время совершенно ясна односторонность, несправедливость этого нападенія на всякіе виды вѣры въ Россію, начиная отъ вѣры г-жи Кохановской и кончая мечтами какого-нибудь яраго нигилиста. На этотъ разъ и нѣмцы могли вполне понять, въ чемъ дѣло. Юліанъ Шмидтъ, вообще говоря ревностный поклонникъ Тургенева, считающій его ни больше ни меньше, какъ лучшимъ представителемъ современной, новѣйшей поэзіи *), пишетъ слѣдующее:

«Если молодое поколѣніе русскихъ безъ основанія разсердилось на «Отцовъ и дѣтей», то нельзя отрицать, что въ *Дымъ* (1866) поэтъ самъ вызвалъ негодованіе. Фигуры фан-

*) So empfinden wir die Natur bei Turgeniew, *dem modernsten aller Poeten*; so empfindet sie *Schopenhauer*, der modernste aller Philosophen Bildeer, S. 446.

тастическихъ болтуновъ, Губарева, Бамбаева и пр., конечно, выхвачены изъ жизни и именно потому раздражили русскую публику. Если Литвиновъ, Потугинъ, Тургеневъ утверждаютъ, что въ идеяхъ и стремленіяхъ *этой* компаніи все дымъ и паръ, то, конечно, здѣсь не можетъ имѣть мѣста какое сомнѣніе. Но, чтобы объявить дымомъ *все* стремленіе молодого поколѣнія, для этого недостаточно характеризовать общество Баденъ-Бадена. Легко было бы набрать столь же многочисленную компанію нѣмцевъ въ Лондонѣ или въ Парижѣ, въ Бернѣ или въ любомъ изъ берлинскихъ окружныхъ союзовъ, которая болтаетъ о будущности Германіи еще ужаснѣе, чѣмъ Губаревъ и его приверженцы: тѣмъ не менѣе, созданіе Сѣверо-германскаго Союза есть фактъ, и освобожденіе крестьянъ въ Россіи остается фактомъ. Литвиновъ, Потугинъ, Тургеневъ сердятся на своихъ юныхъ соотечественниковъ за то, что у нихъ не сходитъ съ языка внутренняя сила (Urkraft) русскаго государства и что они поносятъ европейскую цивилизацію, тогда какъ все хорошее, чтò сдѣлано въ Россіи, должно быть приписано вліянію европейской культуры. Но въ этомъ случаѣ Тургеневъ съ Литвиновымъ и Потугинымъ правы только на половину. *Если они спрашиваютъ своихъ противниковъ: чѣмъ вы докажете вашу вѣру въ будущность Россіи? то эти могутъ съ полнымъ правомъ оборотить вопросъ: а чѣмъ вы докажете ваше невѣріе?* Прежде всего нужно попытаться. Фанфаронады нѣмецкихъ буршей о величіи нѣмецкаго народа были, конечно, смѣшны; но развѣ заявленіе *Арнольда Руне*, что сущность нѣмецкаго народа есть подлость, была философская истина? Вѣра не только приноситъ блаженство, она внушаетъ и дѣятельность; *невѣріе есть чувство непроизводительное*.

«Почти всѣ характеры этой повѣсти страдаютъ чрезмѣрно мягкостію и вяlostію, не одни только идеалисты. Иногда спрашиваешь себя, *дѣйствительно ли передъ нами русскіе, члены народа, изъ котораго вышелъ Суворовъ, Растопчинъ*. Объ гладкомъ Ратмировѣ мимоходомъ сказано, что онъ засѣкъ до смерти нѣсколькихъ крестьянъ, а демократъ Губаревъ обнаруживаетъ большую грубость; но въ своей дѣятельности онъ, однакоже, напоминаетъ Рудина: какъ тотъ рѣчами, такъ

онъ краснорѣчивымъ молчаніемъ умѣетъ, безъ опредѣленной цѣли, собирать вокругъ себя толпу незначительныхъ людей, изъ чего, однакоже, ничего не выходитъ ни для него, ни для другихъ. *Тургеневъ, конечно, вѣрно и проникательно передалъ намъ отдѣльныя черты русской жизни, но это—мигъ отрывки; никакъ мы не чувствуемъ цѣлаго народа, который, хотя не представляетъ ничего связаннаго въ мелочахъ своей жизни, но, однако, обладаетъ несознательно для него самого субстанціональной жизнію, жизнію, которая при сильномъ возбужденіи можетъ раскрыть дотолъ дремавшую силу, какъ это разъ уже случилось въ образѣ Петра Великаго* *)).

Вотъ наставленіе Тургеневу, идущее не отъ насъ или кого-нибудь другого, а отъ его любезныхъ нѣмцевъ. Тургеневъ оказался почему-то невѣрнымъ, непослушнымъ послѣдователемъ германской мудрости. Для ученаго нѣмца, притомъ сильно проникнутаго чувствомъ собственной народности, непонятно, какъ можетъ русскій писатель отвергать (или не замѣчать) *субстанціональную жизнь русскаго народа*, какъ можетъ онъ проповѣдывать невѣріе въ будущность Россіи, во внутреннюю, коренную силу русскаго государства? Тургеневъ противорѣчитъ въ этомъ случаѣ нѣмецкой философіи, утверждающей, что каждый народъ обладаетъ „субстанціональною жизнію“, противорѣчитъ и исторіи, въ которой мы находимъ Суворова, Растопчина, Петра Великаго. Нѣмецъ указываетъ, какъ на примѣръ, на успѣхъ собственной народности, на созданіе Сѣверо-Германскаго союза; а чтò сказалъ бы онъ теперь, послѣ взятія пруссаками Парижа?

Славянофильство развилось у насъ подъ вліяніемъ Германіи; Германія теперь и вступаетъ за свою идею и защищаетъ ее отъ нападеній Тургенева.

*) Bilder, S. 147 fg.

V.

Предметъ любопытнѣйшій. Дѣло собственно стоитъ такъ: знаменитый писатель, мастеръ литературнаго художества, человѣкъ высокаго образованія и огромнаго таланта, почувалъ распространеніе славянофильства и вооружился противъ него, и сталъ проповѣдывать западничество. Чтò же онъ сказалъ? Очевидно, это одно изъ послѣднихъ и самыхъ значительныхъ усилій западничества, и если эта его новая битва неудачна, то дѣло плохо. Если тутъ, послѣ столькихъ размышленій, опытовъ, споровъ, послѣ цѣлой исторіи, западническая партія не высказала чего-нибудь твердаго и яснаго, то значитъ ей нечего больше сказать.

Всякая мысль опровергается, если мы найдемъ въ ней внутреннее противорѣчіе; но настоящее, полное возраженіе противъ какой-нибудь мысли есть *другая* мысль.

Замѣтки Тургенева противъ славянофильства не лишены мѣткости и силы, но, очевидно, не составляютъ ничего цѣлаго. Самымъ существеннымъ въ этомъ отношеніи нужно считать то мѣсто, которое Тургеневъ *вставилъ* въ отдѣльное изданіе *Дыма*; приведемъ здѣсь это мѣсто, вѣроятно, вовсе неизвѣстное тѣмъ, кто прочиталъ *Дымъ* въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Говоритъ Потугинъ:

«Кто же васъ заставляетъ перенимать зря? Вѣдь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вамъ пригодно: стало быть вы соображаете, выбираете. *А что до результатовъ—такъ вы не извольте беспокоиться: своеобразность въ нихъ будетъ* въ силу самыхъ этихъ мѣстныхъ, климатическихъ и прочихъ условий, о которыхъ вы упоминаете. Вы только предлагайте пищу добрую, а *народный желудокъ ее перевариваетъ по своему*; и со временемъ, когда организмъ окрѣпнетъ, онъ дастъ свой сокъ. Возьмите примѣръ хоть съ

нашего языка. Петръ Великій наводнилъ его тысячами чужеземныхъ словъ, голландскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ: слова эти выражали понятія, съ которыми нужно было познакомиться русскій народъ; не мудрствуя и не церемонясь, Петръ вливалъ эти слова цѣликомъ, ушатами, бочками въ нашу утробу. Сперва—точно вышло нѣчто чудовищное, а потомъ началось именно то перевариваніе, о которомъ я вамъ докладывалъ. Понятія привились и усвоились; чужія формы постепенно испарились, языкъ въ собственныхъ нѣдрахъ нашелъ, чѣмъ ихъ замѣнить, и теперь вашъ покорнѣйшій слуга, стилистъ весьма посредственный, берется перевести любую страницу изъ Гегеля... да-съ, да-съ, изъ Гегеля, не употребивъ ни одного не-славянскаго слова. Чтò произошло съ языкомъ, то, должно надѣяться, произойдетъ и въ другихъ сферахъ. *Весь вопросъ въ томъ—крѣпка ли натура? а наша натура—ничего, выдержитъ: не въ такихъ была передрыгахъ. Боятся за свое здоровье, за свою самостоятельность могутъ одни нервные больные, да слабые народы: точно также, какъ восторгаться до пѣны у рта тому, что мы, молъ, русскіе—способны одни праздные люди.* Я очень забочусь о своемъ здоровьи, но въ восторгъ отъ него не прихожу: совѣстно-съ».

«— Все такъ, заговорилъ въ свою очередь Литвиновъ; но зачѣмъ же непременно подвергать насъ подобнымъ испытаніямъ? Сами жъ вы говорите, что сначала вышло нѣчто чудовищное! ну—а коли это чудовищное такъ-бы и осталось? *Да оно и осталось, вы сами знаете*».

«— Только не въ языкѣ—а ужъ это много значить! А нашъ народъ не я дѣлалъ, не я виноватъ, что ему суждено проходить черезъ такую школу. «Нѣмцы правильно развивались», кричатъ славянофилы,—«подавайте и намъ правильное развитіе!» Да гдѣ жъ его взять, когда самый первый историческій поступокъ нашего племени—призваніе себѣ князей изъ-за моря—*есть уже неправильность, анормальность*, которая повторяется на каждомъ изъ насъ до сихъ поръ; каждый изъ насъ хоть разъ въ жизни непременно чему-нибудь чужому, не русскому, сказалъ: *иди владѣти и княжити надо мною!*—Я, пожалуй, готовъ согласиться, что, *вкладывая иностранную суть въ собственное тѣло, мы никакъ не можемъ*

навѣрное знать напередъ, что такое мы вкладываемъ: кусокъ хлѣба, или кусокъ яда?—да вѣдь, извѣстное дѣло: отъ худаго къ хорошему никогда не идешь черезъ лучшее, а всегда черезъ худшее,—и *ядъ въ медицину бываетъ полезенъ*. Однимъ только тупицамъ или пройдохамъ прилично указывать съ торжествомъ на бѣдность крестьянъ послѣ освобожденія, на усиленное ихъ пьянство послѣ уничтоженія откуповъ... черезъ худшее къ хорошему?» (Соч. Тург. т. VI, стр. 51—53).

Вотъ, какое внутреннее противорѣчіе нашелъ въ славянофильствѣ Тургеневъ. Славянофильство, хочеть онъ сказать, есть напрасная забота, ненужная идея; ибо именно тотъ, кто вѣритъ въ своеобразіе русскаго народа, въ его здоровый желудокъ, тотъ не долженъ бояться заимствованій. Человѣкъ, вѣрующій въ народъ, не можетъ думать, что отъ кого-нибудь зависить то, каковъ этотъ народъ и что изъ него будетъ; слѣдовательно, не станетъ напрасно беспокоиться. Самая подражательность есть народная черта и, слѣдовательно, славянофилы, возставая противъ нея, возстаютъ противъ самихъ себя, противъ своеобразія русскаго народа. Словомъ, славянофильство приходитъ къ какому-то невѣрію въ народныя силы, тогда какъ западничество будто бы въ нихъ твердо вѣритъ.

Мысли эти такъ понравились Тургеневу, что онъ повторилъ ихъ потомъ въ началѣ своихъ „Воспоминаній“, явившихся въ концѣ 1869 года.

«Неужели же, говоритъ онъ, мы такъ мало самобытны, такъ слабы, что должны бояться всякаго посторонняго вліянія и съ дѣтскимъ ужасомъ отмахиваться отъ него, какъ бы оно насъ не испортило? Я этого не полагаю: я полагаю на-противъ, что насъ хоть въ семи водахъ мой—нашей русской сути изъ насъ не вывести. Да и что бы мы были въ противномъ случаѣ за плохенькій народецъ?»! (Соч. Тург. т. I, стр. X).

Однакоже, разсуждая подобнымъ образомъ, мы едва ли придемъ къ ясному выводу. Точка зрѣнія, выбранная Тургеневымъ, очевидно, такова, что съ нея ничего нельзя рѣшить. Не онъ ли самъ называетъ наше вѣчное подчиненіе чужимъ элементамъ—явленіемъ *неправильнымъ, аномальнымъ*? Не онъ ли самъ говоритъ, что изъ заимствованій выходитъ нѣчто *чудовищное*, что, вкладывая въ свое тѣло чужую суть, мы вкладываемъ, можетъ быть, *ядъ*?

Выходитъ, слѣдовательно, что подражать Европѣ бываетъ и очень вредно, но что, *такъ какъ напередъ ничего знать нельзя*, то приходится жить спустя рукава, въ надеждѣ, что русскій желудокъ все переварить. Изъ вѣры въ русскій народъ Тургеневъ заключаетъ, что ему все въ прокъ пойдетъ, что *чѣмъ хуже, тѣмъ лучше* (по извѣстной формулѣ прогресса, придуманной нѣмцами), и что, слѣдовательно, не зачѣмъ обороняться отъ яда западной цивилизаціи.

VI.

Но истинные западники такъ не говорятъ, и подобные разсужденія не составляютъ возраженія противъ истинныхъ славянофиловъ. Истинные западники исповѣдуютъ извѣстныя *начала*, признаваемые ими непреложными и годными *для всѣхъ народовъ*. Они вѣруютъ въ разумъ и его развитіе, видятъ въ Европѣ представительницу этого развитія и *на этомъ основаніи* считаютъ необходимымъ внести тѣ же начала въ Россію. Положительные, несомнѣнные идеалы—вотъ настоящая точка опоры западниковъ, а не та мысль, что авось наша натура выдержитъ; была, молъ, и не въ такихъ *передрымахъ*.

Точно также, славянофилы не просто боятся за свою самостоятельность, какъ люди слабые волею; а стоятъ за извѣстные начала нашей народной жизни и стараются ихъ предохранить отъ искажающихъ вліяній. Славянофиловъ можно сравнить съ людьми, которые нѣкогда заботились о чистотѣ и развитіи нашего языка; они не потому только возставали противъ чужаго вліянія, что боялись за свой языкъ, а главнымъ образомъ потому, что его любили, чувствовали его силу и красоту, и за эту силу и красоту стояли.

Итакъ, приведенныя нами разсужденія Тургенева ничего еще не доказываютъ; споръ нужно перенести на другое поле, на поприще положительныхъ убѣжденій. Тургеневъ, Потугинъ и Литвиновъ только тогда имѣютъ право назваться западниками, если исповѣдуютъ какія-нибудь начала западной жизни. „Я удивляюсь Европѣ и *преданъ ея началамъ* до чрезвычайности“, — говоритъ Потугинъ (Т. VI, стр. 53). „Преданность моя“ — говоритъ Тургеневъ — „*началамъ, выработаннымъ западною жизнью*“, не помѣшала мнѣ“, и проч. (Т. I, стр. X). Ну вотъ, что же это за начала? Что выработано Европою?

Читатели видятъ, что здѣсь главный пунктъ всего дѣла. Что намъ будетъ проповѣдывать такой знаменитый и искушенный западникъ, какъ Тургеневъ? Какія ученія, какіе научные взгляды, политическія и нравственныя правила онъ намъ предложить? Не правда ли, что это любопытно, и не правда ли, что это законное любопытство въ этомъ случаѣ обманывается самымъ жестокимъ образомъ?

Въ образахъ — Тургеневъ нигдѣ и никогда не рѣшался противопоставить западную жизнь русской жизни. Онъ ни разу не выводилъ на сцену Европейцевъ съ тою

цѣлью, чтобы противопоставить ихъ, какъ примѣръ и поученіе, русскимъ людямъ. (Въ такомъ смыслѣ выведенъ у гр. Алексѣя Толстаго въ „Царѣ Борисѣ“ королевичъ, женихъ Ксеніи, у Лажечникова „Басурманъ“). Напротивъ, вездѣ, гдѣ у Тургенева являются западные люди, Нѣмцы, Французы, Поляки и даже другіе наши братья Славяне, онъ вездѣ съ величайшею тонкостью схватываетъ тѣ неуловимыя отвлеченными понятіями черты, по которымъ душевный складъ этихъ чужихъ людей намъ непремѣнно является ниже русскаго душевнаго склада. Чѣмъ, кажется, дурень Болгаръ Инсаровъ въ „Наканунѣ“? А между тѣмъ и онъ развѣнчанъ, какъ всѣ другіе герои Тургенева, и даже болѣе другихъ. Въ немъ отсутствуетъ та русская мягкость сердца и широта ума, которыми отличаются Берсеневи и Шубини. Вспомните нѣмокъ и нѣмцевъ, выводимыхъ на сцену Тургеневымъ; они всѣ комичны, всѣ жалки и грубы, сообразно нашему народному представленію, всегда находящему въ нѣмцѣ что-то смѣшное. Вспомните поляка графа Малевскаго въ „Первой любви“; да, наконецъ, вспомните весь Парижъ въ „Призракахъ“ и весь Бадень-Бадень въ самомъ „Дымѣ“: Потугинъ не даромъ называетъ Бадень *противнымъ*; противенъ онъ, очевидно, и Тургеневу; противнымъ онъ и нарисованъ. Гдѣ же тутъ поученіе для русскихъ людей? Гдѣ та западная жизнь, которой намъ слѣдуетъ подражать, которая должна быть намъ примѣромъ?

А съ какою любовью, съ какою нѣжною симпатіею нарисованы у Тургенева многія лица, въ которыхъ нѣтъ ничего ни западнаго, ни западническаго! Лиза „Дворянскаго Гнѣзда“, Маша „Затишья“, „Ася“, „Хоръ и Калиничъ“, „Касьянъ съ Красивой Мечи“, и проч. и проч. —

гдѣ же тутъ западныя начала, при чемъ тутъ жизнь Европы и выработанные ею результаты? Тайное сочувствіе къ русскому складу ума и сердца, къ нравственнымъ началамъ, которыми сложилась и держится русская жизнь, безпрестанно сквозить у Тургенева.

И вообще, если взять въ цѣломъ произведеніи Тургенева, то ихъ придется истолковать въ смыслѣ отнюдь не благопріятномъ западничеству. Рисуя наше общество, давая образы представителей нашего прогресса, Тургеневъ, въ силу правдивости, всегда присущей поэзіи, изобразилъ намъ общество больное и представителей несостоятельныхъ. Онъ не прославилъ людей, оторвавшихся отъ своей почвы, а скорѣе обличилъ ихъ; его „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“ и „Лишніе люди“ вошли въ пословицу.

Но поэзія—дѣло темное и мудреное. Поэтъ часто самъ не знаетъ, что онъ хочетъ сказать, часто говоритъ больше, чѣмъ хотѣлъ. Глубина и правда поэтического творчества такова, что нерѣдко превосходитъ объемъ и дальность сознательныхъ убѣжденій поэта. Тургеневъ можетъ оставаться западникомъ въ противность элементамъ своей поэзіи. Итакъ, нельзя ли отыскать его взгляды помимо его поэзіи? Нельзя ли найти указаній на то, чему онъ поклоняется въ Европѣ, какихъ ея началъ держится?

Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, мы напрасно стали бы перебирать тѣ вставочныя разсужденія о западной цивилизаціи, изъ которыхъ состоятъ рѣчи Потугина. Ничего опредѣленнаго мы въ нихъ не найдемъ. Въ „Воспоминаніяхъ“ Тургеневъ счелъ нужнымъ уже прямо отъ себя настаивать на своемъ западниществѣ. Но какъ же онъ опредѣляетъ свои убѣжденія? Онъ прямо

говорить, что онъ—почти нигилистъ, почти во всѣхъ взглядахъ, кромѣ взгляда на искусство, сходится со своимъ Базаровымъ. Вотъ какое западничество предлагаетъ намъ Тургеневъ, вотъ начала, которымъ онъ преданъ.

Скажемъ два слова объ этомъ нигилизмѣ. Во-первыхъ, онъ есть дѣйствительно западничество, такъ какъ нигилисты явились у нѣмцевъ гораздо раньше, чѣмъ у насъ, и такъ какъ до сихъ поръ передовые нѣмцы остаются все тѣми же нигилистами, хотя Юліанъ Шмидтъ и увѣряетъ, что сдѣланъ будто бы новый шагъ впередъ и что теперь они уже не нигилисты, а реалисты. Свидѣтельство Тургенева, объявляющаго себя въ одно время и западникомъ и нигилистомъ, есть важное доказательство того, что нашъ русскій нигилизмъ нашелъ себѣ главную пищу, главную поддержку въ ученіяхъ нашихъ давнишнихъ наставниковъ нѣмцевъ.

Во-вторыхъ, изъ своего нигилизма Тургеневъ выключаетъ отрицаніе искусства, и, вѣроятно, готовъ выключить и многія другія вещи, напримѣръ, отрицаніе *любви*, отверженіе важности и многозначительности отношеній между полами. Нигилизмъ Тургенева, конечно, нужно разумѣть въ самомъ чистомъ и умномъ смыслѣ. Но если такъ, то это будетъ просто-на-просто — невѣріе, сомнѣніе, скептицизмъ, не тотъ положительный, яркій матеріализмъ, который иногда исповѣдуютъ послѣдовательные нѣмцы, а просто отсутствіе живыхъ вѣрованій, прочныхъ основъ для мысли.

Спрашивается, гдѣ же тутъ *начала, выработанныя европейскою жизнью*? Объявляя себя нигилистомъ, не говоритъ ли намъ прямо Тургеневъ, что Европа потеряла всякія руководящія нити, что она не выработала себѣ началъ, а напротивъ, утратила всякія начала? По-

нятно теперь, почему Потугинъ, приходящій въ восторгъ отъ Европы, не знаетъ собственно, чѣмъ ему восторгаться, и ни однимъ словомъ не обнаруживаетъ какихъ-нибудь положительныхъ сочувствій. Понятно, почему Тургеневъ, настаивающій на своемъ западничествѣ, не проповѣдуетъ однакоже никакихъ началъ, никакихъ опредѣленныхъ взглядовъ.

Къ нигилизму, то есть къ сомнѣнію и отрицанію, у Тургенева присоединяется еще одно западное вліяніе: слегка отзывается у него мрачная философія Шопенгауэра, глубокаго пессимизма которой Тургеневъ опять таки не раздѣляетъ до конца. Итакъ — легкій нигилизмъ и легкій шопенгауэризмъ — вотъ все, что даетъ намъ нынѣ Европа, все, что заимствовалъ изъ нея такой просвѣщенный и чуткій западникъ, какъ Тургеневъ. Онъ, какъ термометръ, показываетъ намъ, до какого градуса опустилась теперь Европа. Западникамъ, очевидно, нечего проповѣдывать.

VII.

Нашу тему, то есть, что нѣтъ такихъ началъ, которые могли бы быть исповѣдуемы западниками, или, по крайней мѣрѣ, что такихъ началъ не имѣется у Тургенева, мы можемъ доказать еще косвеннымъ образомъ. Когда вышелъ *Дымъ* и посыпались всяческія нареканія на эту повѣсть, П. В. Анненковъ, большой поклонникъ Тургенева, написалъ статью, въ которой защищалъ *Дымъ* и старался растолковать его смыслъ. При этомъ толкованіи критикъ неизбежно наткнулся на вопросъ: чему же поклоняется Потугинъ? Какія начала Европы Тургеневъ рекомендуетъ намъ въ *Дымѣ*? И вотъ что написалъ П. В. Анненковъ:

«Потугинъ говоритъ не о той Европѣ, которой мы по-дражаемъ, а о той, которую мало видимъ и почти не знаемъ. Боже мой! Какая же это малоизвѣстная намъ Европа, намъ, исколесившимъ ее во всѣхъ направленіяхъ и изучившимъ ее болѣе своей родины? Да вотъ та самая, на которую авторъ романа только и указываетъ своимъ читателямъ черезъ посредство Потугина. Отличіе ея отъ видимой Европы состоитъ въ томъ, что посреди множества отрицательныхъ, часто возмутительныхъ явленій своего быта, иногда подъ гнетомъ грубаго давленія матеріальной силы, еще далеко не устраненной ею, иногда въ пылу національныхъ увлеченій, подвигающихъ ее на вопіющія несправедливости, — она занята устройствомъ человѣческой личности, ближайшей среды, ее окружающей и возвышеніемъ духовной природы человека вообще. Нашимъ туристамъ по Европѣ (да и однимъ ли туристамъ?) кажется, что знаменитые ея университеты, богатѣйшая литература и музеи, сохраняющіе геніальныя произведенія искусствъ, направлены къ тому, чтобы украшать жизнь, и безъ того достаточно красивую, избранныхъ классовъ, или производить какъ можно больше ораторовъ, депутатовъ, профессоровъ, ученыхъ и писателей, между тѣмъ какъ они служатъ орудіемъ у той малоизвѣстной намъ Европы, о которой говоримъ, — поднять мысль самаго послѣдняго человѣка въ государствѣ. Генрихъ IV, по свидѣтельству, впрочемъ крайне подозрительному, своихъ современниковъ, опредѣлилъ назначеніе внутренней и внѣшней политики Франціи единственно цѣлю — доставить каждому изъ его подданныхъ возможность имѣть по праздникамъ «курицу» на своемъ столѣ. Съ тѣхъ поръ, кромѣ этой «курицы», вошедшей въ программы всѣхъ партій и всѣхъ европейскихъ правительствъ, малоизвѣстная намъ Европа нашла и другое назначеніе для политики государствъ. Главной ея задачей она поставляетъ точное, общедоступное опредѣленіе идей нравственности, добра и красоты, и такое распространеніе ихъ, которое помогло бы самому скромному и темному существованію выйти изъ сферы животныхъ инстинктовъ, воспитать въ себѣ чувства справедливости, благо-расположенія и состраданія къ другимъ, понять важность разумныхъ отношеній между людьми и наконецъ получить

способность къ прозрѣнію «идеаловъ» *единичнаго, семейнаго и общественнаго существованія*. Последняя часть задачи, не во гнѣвъ будь сказано нашимъ реалистамъ, считается при этомъ и самой важной, существенной ея частью. Насколько успѣла эта, въ половину скрытая отъ насъ, Европа осуществить *свою неписанную, нигдѣ не заявленную*, но тѣмъ не менѣе страстно исполняемую программу — составляетъ другой вопросъ, хотя признаки *тайнственной работы*, ею производимой, обнаруживаются уже и для глазъ, мало различающихъ предметы, которые имъ сначала не указаны. Появление у насъ такихъ энтузиастовъ иноземщины, какъ Потугинъ, объясняется именно тѣмъ, что они успѣли *прозрѣть эту, а не другую какую либо Европу*; да подъ ея же вліяніемъ написанъ и разбираемый нами романъ». (*Вѣстникъ Европы*, 1867, іюнь, стр. 110).

Вотъ одинъ изъ яркихъ образчиковъ той непоколебимой фанатической вѣры, которую внушаетъ западникамъ Европа! Отъ Европы ждутъ всего хорошаго; въ ней не сомнѣваются и другимъ не позволяютъ сомнѣваться. Вѣра такъ крѣпка, что намъ обѣщанія выдаютъ за очевидные факты и надежды за неопровержимыя доказательства! А вспомните-ка, чтѣ говоритъ Потугинъ? „Славянофилы“, говоритъ онъ, „прекраснѣйшіе люди, а та же (какъ у другихъ моихъ соотечественниковъ) смѣсь отчаянія и задора, *тоже живутъ буквой „буки“ Все молъ будетъ, будетъ*. Въ наличности ничего нѣтъ, и Русь въ цѣлые десять вѣковъ ничего своего не выработала... Но постойте, *потерпите: все будетъ*. А почему будетъ, позвольте полюбопытствовать?“ (т. VI. стр. 50).

Очевидно, толки о будущности Европы, въ которые пустился П. В. Анненковъ, о „тайнственной работѣ“, „незаявленной программѣ“ и пр., имѣютъ тотъ же смыслъ, какъ и толки о будущности Россіи, надъ которыми такъ

потѣшаются Тургеневъ и его Потугинъ. Эти толки значать, что *въ наличности ничего нѣтъ* у Европы. Въ сущности, слова П. В. Анненкова показываютъ, что Европа тоже *ничего не выработала* (или, чтѣ тоже, все потеряла), что она только исполнена добрыхъ стремлений, благихъ намѣреній. Напирая такъ сильно на неписанныя программы и тайнственные задачи, критикъ только даетъ уразумѣть, что явныя и имѣющія силу въ дѣйствительности начала Европейской жизни никуда не годятся. Онъ прибѣгъ къ будущему потому, что принужденъ отречься отъ настоящаго. Онъ вынужденъ сдѣлать поправку къ словамъ Тургенева, растолковывать читателямъ, что поклоненіе должно относиться не къ нынѣшней, видимой и извѣстной Европѣ (таковъ однакоже прямой и несомнѣнный смыслъ *Дыма*), а къ будущей, возможной, вѣроятной, тайнственно-работающей, невидимой, неизвѣстной...

Въ идеалахъ, которые г. Анненковъ приписываетъ этой Европѣ, мы не находимъ, однакоже, ничего тайнсвеннаго, ничего специально-европейскаго, наконецъ ничего опредѣленнаго. Заботы о благѣ недѣлимыхъ и меньшей братіи вовсе не новостъ. Уже Соломонъ, царь Іудейскій и Израильскій, хвалился, какъ извѣстно, что у него *каждый* подданный *сидитъ сладко подъ смоковницею своею и подъ виноградомъ своимъ*. Ужели мы должны считать за новое открытіе *возвышеніе духовной природы челоѣка вообще или курицу въ супъ?* Ужели только недавно, и ото всѣхъ тайно, челоѣчество стало заботиться объ *идеалахъ единичнаго, семейнаго и общественнаго существованія?* Мы не думаемъ и не вѣримъ, чтобы *точное общедоступное опредѣленіе идей нравственности, добра и красоты*, составляло въ нынѣшней Европѣ

главную задачу для политики государств; не думаемъ главнымъ образомъ потому, что смѣшно было бы государствамъ братья за такую стародавнюю задачу и вообразить себѣ, что они сѣмѣютъ разрѣшить ее лучше, чѣмъ рѣшали религія, искусство, философія. Всѣ эти рѣчи скорѣе всего показываютъ одно: что Европа утратила всякія прочныя понятія о нравственности, добрѣ и красотѣ, о задачахъ государства, о значеніи человѣческой личности и *устройствѣ ближайшей среды, ее окружающей*, объ идеалахъ единичнаго, семейнаго и общественнаго существованія; она утратила всѣ начала, которыми нѣкогда жила, которыя составляли ея силу и славу, блистательно проявились въ ея исторіи. Теперь она находится въ періодѣ блужданія и исканія, въ періодѣ нигилизма, — и вотъ что намъ выставляютъ за образецъ, вотъ на что указываютъ, какъ на примѣръ достойный подражанія, какъ будто безъ этого примѣра мы сами не въ состояніи пожелать даже курицы въ супѣ, какъ будто наша жизнь лишена всякихъ началъ и даже всякихъ стремленій къ нравственности, добру и красотѣ!

Итакъ, поправка г. Анненкова не годится. Намъ нечему поклоняться въ будущей и неизвѣстной Европѣ, и указаніе на эту Европу только доказываетъ, что ужъ настоящей и извѣстной Европѣ ни въ какомъ случаѣ невозможно поклоняться, хотя именно это поклоненіе и проповѣдывалъ Тургеневъ въ своемъ *Дымѣ*.

VIII.

Мы видимъ теперь, какой западникъ Тургеневъ; это западничество не содержитъ въ себѣ дѣйствительной *преданности началамъ, выработаннымъ европейской жизнью*;

оно есть ничто иное, какъ нѣкотораго рода нигилизмъ, заимствованный изъ отрицательныхъ и мрачныхъ ученій современной Европы, нигилизмъ, положимъ, и вѣрующій въ свою плодотворность, надѣющійся перейти въ нѣчто положительное, но, во всякомъ случаѣ, въ настоящую минуту не представляющій возможности другой проповѣди, кромѣ отрицанія. Этотъ выводъ для насъ очень важенъ. Мы видимъ опять на живомъ примѣрѣ, на славномъ и высокодаровитомъ писателѣ, что западъ въ настоящую минуту не даетъ вѣры, что въ самомъ чистомъ видѣ вліяніе, имъ производимое, есть скептицизмъ.

Всего лучше, намъ кажется, назвать Тургенева именно скептикомъ. Какъ скептикъ, онъ естественно долженъ былъ одинаково оттолкнуться отъ обѣихъ нашихъ партій, и отъ славянофиловъ, и отъ западниковъ. Оторванный вліяніемъ Европы отъ своего роднаго, онъ не могъ всею душею примкнуть къ чему-нибудь чужому, онъ выбралъ въ этомъ чужомъ только элементы отрицанія и невѣрія. Но и тутъ, оберегаемый своими поэтическими инстинктами, своимъ живымъ чувствомъ, онъ не ушелъ далеко, не вдался въ крайности. Напрасно Тургеневъ недоумѣваетъ, почему къ нему такъ холодны и даже отчасти враждебны наши западники; онъ вовсе не похожъ на нихъ: въ немъ нѣтъ не только фанатическаго проповѣдыванія какой-нибудь новой жизни, но и фанатическаго отрицанія старой. Не только онъ не проповѣдывалъ намъ фаланстера, но не сказалъ ни единого слова противъ искусства, любви, брака; онъ не написалъ ни разу повѣсти даже за облегченіе развода или противъ излишней силы родительской власти. Этого мало: къ людямъ *старой* жизни, къ людямъ, живущимъ старыми понятіями, наполненнымъ всякими предразсудками —

отношенія Тургенева очень мягки, часто любовны. Какъ же онъ хочетъ, чтобы его любили западники? Пусть онъ сравнитъ себя съ г. Авдѣевымъ или съ Маркомъ Вовчкомъ, — писателями, которые усердно ему подражали, которыхъ можно назвать его дѣтищами, и онъ увидитъ, куда нужно зайти, чтобы понравиться нашему западническому лагерю.

Въ „Воспоминаніяхъ“ Тургеневъ указываетъ какъ на заслугу своего западничества на то, что онъ былъ постоянно врагомъ крѣпостнаго состоянія. Дѣйствительно, „Записки охотника“ сослужили намъ прекрасную службу; да и вообще на произведеніяхъ Тургенева лежитъ тотъ чудесный демократическій отпечатокъ, который составляетъ общую черту нашей литературы отъ Ломоносова и до Льва Толстого. Но изъ одного отрицанія крѣпостнаго права нельзя составить всего содержанія своихъ убѣжденій, а многихъ другихъ отрицаній нашего новѣйшаго западничества Тургеневъ, очевидно, не раздѣляетъ.

Кстати: Юліанъ Шмидтъ остался не совсѣмъ доволенъ картинами Тургенева, изображающими крѣпостное состояніе. Иностранцамъ очень по душѣ всякое обличеніе Россіи; но у Тургенева Шмидтъ находитъ мало подробностей, или, какъ онъ выражается, малое раскрытіе *чувственного момента вещи*. А подробности нѣмцу воображаются очень занимательныя.

«Въ чувственный моментъ вещи» — говоритъ онъ — «поэтъ мало входитъ. Кажется, что въ Россіи не было въ обычаѣ сжигать крѣпостныхъ живьемъ, сдирать съ нихъ кожу, или морить ихъ голодомъ въ ящикахъ, какъ это дѣлалось въ Америкѣ. Въ Россіи все идетъ монотонно, безъ изобрѣтательности: только сѣкутъ, да сѣкутъ. Но главное дѣло есть полное подавленіе всѣхъ духовныхъ силъ состояніемъ абсолютнаго безправія. Человѣкъ юридически разсматривается, какъ

вещь; ни такъ какъ онъ не есть вещь, то онъ и обращается въ скота; — какъ рабъ, такъ и его господинъ» *).

Нѣмецъ не вполне увѣренъ въ томъ, что крѣпостныхъ у насъ не жгли и не сдирали съ нихъ кожу; но если этого и не было, то, думаетъ онъ, только *по недостатку изобрѣтательности*, въ которой русскіе, само собою разумѣется, не могли поравняться съ американцами.

Да! Гдѣ же намъ съ вами поравняться, наши старшіе братья! На вашей сторонѣ много преимуществъ; но что вы превосходите насъ въ изобрѣтательности зла — это, конечно, самое яркое, самое несомнѣнное вапе превосходство надъ нами.

Еслибы нѣмецъ былъ не такъ ослѣпленъ своимъ презрѣніемъ къ Россіи, то онъ нашелъ бы у того же Тургенева примѣры крѣпостныхъ отношеній совершенно мягкихъ, совершенно человѣческихъ, и понялъ бы, что строй нашего общества не имѣетъ никакого сходства съ чувствами и нравами Южныхъ Штатовъ. Подобно Юліану Шмидту судятъ и наши западники, которые, гуляя по Невскому проспекту, нисколько не лучше его знаютъ Россію, не менѣе презрительно къ ней относятся. Тургеневъ для нихъ слишкомъ мягкій обличитель, его тенденціозность не достаточно ярка, слишкомъ смягчена художественною многосторонностію взгляда.

Вообще, напрасно мы будемъ дѣлать изъ Тургенева обличителя. Осмѣлимся ли сказать? Его задача выше, чѣмъ изображеніе вреда извѣстнаго государственнаго учрежденія, обличеніе тѣхъ нравственныхъ искаженій, которыя этимъ учрежденіемъ порождены. Скептицизмъ и

*) Bilder, S. 482.

отрицаніе Тургенева имѣютъ болѣе высокую область. Онъ хотѣлъ бы обличить не одну несостоятельность извѣстныхъ учреждений и порядковъ; онъ хотѣлъ бы обличить *несостоятельность русской души*.

IX.

Тургеневъ есть прежде всего художникъ. Его скептицизмъ есть художественный скептицизмъ, его отрицаніе имѣетъ художественное направленіе — то есть: касается не частныхъ фактовъ и временныхъ порядковъ, а строя души человѣческой вообще, ея уклоненій отъ красоты, отъ истиннаго благородства и истиннаго изящества. Тургеневъ — западникъ преимущественно въ томъ, что онъ воспитанъ на западномъ художествѣ, что онъ носитъ въ себѣ его идеалы и съ ихъ высоты смотритъ на жизнь. Вотъ что всего больше отрываетъ его отъ Россіи, что поддерживаетъ его скептицизмъ относительно русской жизни.

Тургеневъ сомнѣвается въ силахъ и красотѣ русской души. Въ чемъ состоятъ главныя нападенія *Дыма*? Не въ томъ, что у насъ невѣжество, безпорядокъ, притѣсненія; а главнымъ образомъ въ такихъ замѣткахъ: „Зачѣмъ вретъ русскій человѣкъ?“ (Т. VI, стр. 115). „Таковъ предѣлъ судебъ на Руси: *скучны у насъ превосходные люди*“ (стр. 90). „Зачѣмъ же онъ далъ ему денегъ? спроситъ читатель. А чортъ знаетъ зачѣмъ! *на это русскіе тоже молодцы*“ (стр. 90). „Удивляюсь я своимъ соотечественникамъ. Всѣ унываютъ, всѣ повѣсивши носъ ходятъ, и въ то же время всѣ исполнены надеждой, *чуть что, такъ на стѣну и мзуютъ*“ (стр. 50). И т. д., и т. д.

Вездѣ слышится чуткое, раздражительное недоволь-

ство нашимъ народнымъ характеромъ, невѣріе въ изящество его проявленій. Такъ мы объясняемъ себѣ въ особенности его *послѣднія произведенія*. Съ тѣхъ поръ, какъ ему измѣнило молодое поколѣніе, и онъ пересталъ выводить намъ представителей нашего прогресса, этихъ героевъ нашего общества, Тургеневъ, очевидно, обобщилъ свою задачу и сталъ вообще изображать, какъ въ русской жизни проявляются сильныя страсти, какія въ ней встрѣчаются *исторіи*, болѣе или менѣе романическія, болѣе или менѣе *странныя*. Передъ поэтомъ какъ бы постоянно носятъ образцы западнаго искусства, Лиръ, Вертеръ и пр., и онъ ищетъ имъ подобій въ нашей скудной и блѣдной жизни. Пошлость русскаго быта, общая низменность нравовъ и характеровъ составляетъ необыкновенно яркій контрастъ съ порывами сильныхъ страстей, съ исключительными событіями и лицами, въ которыхъ какъ бы открывается иная природа, міръ явленій болѣе высокаго порядка. Вотъ дѣвушка, исполненная самоотверженія и пламенной религіозности. Куда же ушли эти силы? Она стала спутницею грязнаго и дикаго юродиваго. Вотъ фантастическое явленіе *Собаки*, достойное воплотить въ себѣ глубокій смыслъ, быть страшнымъ откровеніемъ человѣческихъ тайнъ. Съ кѣмъ же оно случилось? Съ пошлякомъ помѣщикомъ, къ которому оно такъ же идетъ, какъ къ коровѣ сѣдло. Да мало того — въ этомъ чудѣ нѣтъ никакого смысла, ни для него, ни для насъ. Вотъ примѣръ неизмѣнной, неугасающей любви — *Бригадиръ*. Боже мой! Что за фигура, что за обстановка, какая неизмѣримая, безвыходная пошлость! Самыя формы этой любви, просительныя письма Бригадира, его толки о подаркахъ, даже его фамилія — *Гуськовъ* — все представляетъ картину, оскорбляющую чувство красоты, все

даетъ чувствовать нестерпимый диссонансъ между безобразіемъ дѣйствительности и тою искрою идеальной жизни, которая попала въ эту грязь. А вотъ и самъ *Король Лиръ*, вотъ величіе въ образѣ Мартына Харлова. Его двѣ дочери—такія же красавицы и такія же злодѣйки, какъ Гонерилля и Регана. Есть и Эдмундъ—Слѣткинъ, плѣбившій обѣихъ сестеръ. Шутъ—это Сувениръ. Кентъ—казачекъ Максимка и т. д. Тургеневъ самымъ серіознымъ образомъ переложилъ Шекспира на русскіе нравы, пародировалъ одну изъ чудеснѣйшихъ его драмъ. Искусство, съ которымъ это сдѣлано, натуральность этого сочиненія—выше всякихъ похвалъ. Вообще во всемъ, что создаетъ Тургеневъ—онъ до высочайшей степени вѣренъ русской жизни; онъ не вноситъ въ нее чужихъ элементовъ; напротивъ, тщательно объективируетъ ее, тщательно отличаетъ ее отъ всякой другой жизни, съ тѣмъ, чтобы вѣрнѣе и явственнѣе выступала противоположность ея съ идеалами страстей, съ мощными и изящными проявлениями души человѣческой.

Лейтенантъ Ергуновъ. Въ этой повѣсти есть любовь, убійство, восточная красавица, пѣсни, пляски, волшебныя грезы... Но подставку для этихъ событій и картинъ, нить, на которую они нанизаны, составляетъ пустѣйшій и прозаичнѣйшій въ мірѣ чловѣкъ, морякъ Ергуновъ (одна фамилія чего стоитъ!). Въ этой противоположности заключается вся соль, вся пикантность этого разсказа.

Въ *Несчастной* мы видимъ передъ собою еврейку, отецъ которой, живописецъ, былъ вывезенъ изъ заграницы, и дочь этой еврейки Сусанну,—женщину иного племени, иного душевнаго склада, окруженныхъ русскою жизнью, и чистыми русскими, и русскими съ нѣмецкой

кровью, и обрусѣвшими чехами. Какія мастерскія фигуры—Колтовской, Фустовъ, Рачъ, Викторъ!

«Помнится», говоритъ Тургеневъ, «гдѣ-то у Шекспира говорится о *бѣломъ голубѣ въ стаѣ черныхъ вороновъ*»; подобное впечатлѣніе произвела на меня вошедшая дѣвушка: между окружающимъ ее міромъ и ею было слишкомъ мало общаго; казалось, она сама втайнѣ недоумѣвала и дивилась, какъ она попала сюда» (Т. VI. стр. 290).

Вотъ смыслъ этого разсказа. Попавши въ чужой міръ, мать и дочь невыразимо страдаютъ и, наконецъ, гибнутъ. Мать любила когда-то Колтовскаго, чему не мало удивляется Сусанна; Колтовской, не умѣвшей любить и, по знаменитому выраженію, только *пребывавшій благосклоннымъ* къ своей любовницѣ, измучилъ и ее и дочь. Дочь, любившая Фустова, находитъ въ немъ холодность и недовѣрчивость, отъ которой и гибнетъ. Это двѣ души, глубоко оскорбленныя дѣйствительностію, два бѣлыхъ голубя среди вороновъ.

Въ *Стукъ, стукъ, стукъ!* выставленъ пошлый, тупой, неуклюжій и бездушный офицеръ, который вздумалъ разыгрывать изъ себя героя. Ни въ немъ самомъ, ни вокругъ него нѣтъ ничего героическаго, необыкновеннаго, способнаго возбудить и питать фантазію. Но онъ выдумываетъ, сочиняетъ себѣ несчастія, дѣйствія судьбы, чудесныя явленія. Эти безмѣрно-упрямыя попытки *подняться въ идеальный міръ* оканчиваются тѣмъ, что герой убиваетъ себя безъ всякой на то причины, единственно изъ желанія выдержать роль роковаго чловѣка. Тутъ изображенъ контрастъ между низменною и тупою натурою и идеальными стремленіями. Вотъ какъ русскіе люди иногда пытаются быть героями! Они не имѣютъ на это ни правъ, ни способностей.

Дымъ въ сущности есть такая же исторія. Тутъ развѣнчана русская страсть, русская любовь, которая (мы разумѣемъ связь между Ириною и Литвиновымъ) бесплодно пытается облечься въ поэзію, подняться на какія-то ходули; она не можетъ прійти въ гармонію съ дѣйствительностію, не можетъ обратиться въ прочное и живое явленіе, и остается на степени безобразнаго, грубаго увлеченія. Русскія страсти не имѣютъ и не могутъ имѣть тѣхъ блестящихъ формъ, той поэтической значительности, которую представляютъ страсти европейскія.

Такимъ образомъ, вездѣ и повсюду мы находимъ у нашего художника то, что Апполонъ Григорьевъ называлъ бы *борьбою съ хищнымъ типомъ*; вездѣ мысль объ идеальныхъ, мощныхъ и изящныхъ проявленіяхъ души и о контрастѣ этихъ проявленій съ русскою жизнью. Чужіе идеалы, идеалы хищной жизни, сильныхъ страстей, романическихъ событій носятъ передъ художникомъ, и онъ примѣриваетъ ихъ къ нашей дѣйствительности, по видимому, такой блѣдной и чуждой красоты.

Напряженный, безмѣрно-чуткій и раздражительный идеализмъ слышится намъ у Тургенева, и онъ-то придаетъ его реальнымъ картинамъ колоритъ отталкивающий, выражающій и возбуждающій брезгливость къ ихъ дѣйствующимъ лицамъ. Сквозь видимую міру брезгливость незримое міру сочувствіе... Скажемъ прямо: у Тургенева все вѣрно русской жизни и, однакоже, постоянно чувствуется въ этой вѣрности односторонность, неполнота изображенія. Въ *Дымъ* присутствуетъ, по крайней мѣрѣ, Татьяна Шустова, которая должна насъ утѣшать за нашихъ Иринъ. Но въ другихъ вещахъ не видать даже издали этого свѣта, горящаго подъ спудомъ русской дѣйствительности.

Что же? Ужели мы станемъ упрекать въ этомъ нашего художника? Нимало не думаемъ; мы хотѣли только указать на борьбу и работу, совершающуюся въ его душѣ. Дадимъ ему свободу духа и слова, и будемъ пользоваться тѣмъ, что онъ намъ даетъ. Работаетъ онъ съ достойной всякаго уваженія добросовѣстностію. Мастерство его рассказовъ безукоризненно. Въ нихъ нѣтъ ни единой невѣрной черты, ни единого лишняго слова. Публика бранитъ Тургенева, но читаетъ его попрежнему съ жадностію, попрежнему не пропускаетъ ни одной его страницы. На него устремлены *полныя ожиданія очи*. Его потому и бранятъ, что онъ какъ будто обманываетъ ожиданія; но ожидать все-таки не перестаютъ. И какъ знать? Душевный процессъ, совершающійся въ художникѣ, можетъ разрѣшиться новымъ наплывомъ бодрости и творчества.

Самый идеализмъ Тургенева намъ очень по душѣ. Пусть онъ развитъ и подогрѣтъ созданіями чужаго художества, мечтами и формами иной, не нашей жизни: намъ все-таки слышится въ немъ родное, русское свойство. Мы, русскіе, кажется, носимъ на себѣ задатки идеализма необычайно-высокаго, такъ сказать, нѣжнаго. Отъ этого зависитъ наша впечатлительность, наша отзывчивость на всякіе идеалы, и вмѣстѣ наша вѣчная неудовлетворенность и своимъ и чужимъ, своимъ даже преимущественно и всего сильнѣе. Въ самой первой молодости бываетъ у людей нѣчто подобное: нѣкоторое чувство отвращенія ко всему своему, и даже къ себѣ (Вспомните Наташу въ „Войнѣ и Мирѣ“, когда она скучаетъ на праздникахъ въ селѣ Отрадномъ). Такъ и мы, юный народъ на сценѣ міра, часто бываемъ расположены отворачиваться отъ того, съ чѣмъ связаны,

однакоже, всѣми нервами нашей души. Это—время идеаловъ, сходящихъ сверху, идеаловъ на воздухѣ, передъ которыми меркнетъ и является безобразною всякая дѣйствительность.

Въ силу подобнаго идеализма Тургеневъ скептически отнесся къ нашимъ партіямъ. Тотъ же идеализмъ составляетъ душу его послѣднихъ произведеній.

16 февр.

(Заря 1871, февраль).

V.

ПОМИНКИ ПО ТУРГЕНЕВЪ.

Похороны Тургенева оставили по себѣ самое грустное впечатлѣніе. Чѣмъ пышнѣе было зрѣлище, чѣмъ въ большемъ порядкѣ и чинности совершалась длиннѣйшая процессія, тѣмъ яснѣе была ея искусственность и холодность. Чѣмъ больше было вѣнковъ, тѣмъ виднѣе было, что провожавшіе были въ скудномъ числѣ, конечно, сравнительно. Нельзя сказать, чтобы весь Петербургъ провожалъ Тургенева,—многія и многія сфѣры изъ самымъ видныхъ были или едва замѣтны, или блистали полнѣйшимъ отсутствіемъ*). А что много было зрителей—значило только то, что было большое зрѣлище, на которое цѣлый мѣсяцъ приглашали газеты. Надъ гробомъ покойника, очевидно, разыгралась какая-то борьба, и насколько, съ одной стороны, похороны были непомѣрно раздуты, настолько, съ другой—они были непомѣрно оборваны.

То же повторилось и въ области литературы, во всѣхъ этихъ безчисленныхъ отзывахъ, восхваленіяхъ, спорахъ, которыми два мѣсяца наполнялись газеты и журналы. Одни видѣли въ Тургеневѣ великаго писателя, гениальнаго вождя, указывавшаго истинные пути для нашей мысли и дѣятельности; другіе негодовали на такое преувеличеніе и упорно хотѣли ограничить всѣ его заслуги—

*) Военныхъ вовсе не было, по совѣту, который былъ имъ данъ начальствомъ.

областью искусства, по ихъ мнѣнію, совершенно *невинною*. Это разногласіе дошло до необыкновеннаго ожесточенія съ обѣихъ сторонъ. Имя Тургенева сдѣлалось знаменемъ опредѣленныхъ мнѣній, опредѣленной партіи, и ревностные поклонники его, часто совершенно вопреки своему желанію, были всѣ зачислены въ эту партію. Поэтому ихъ осыпали упреками и злобными насмѣшками; память Тургенева старались защитить, охранить отъ его превозносителей, и для этого сводили его значеніе до наименьшей возможной величины.

Бѣдный Тургеневъ! Бѣдная русская публика! Всѣ умы въ такомъ напряженіи, въ такой тревогѣ, что самыя ясныя мысли и чувства искажаются, и ни одинъ предметъ не является въ своемъ истинномъ видѣ.

Тургеневъ былъ любимцемъ публики въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ. Двадцать пять лѣтъ онъ считался первымъ русскимъ писателемъ, прямымъ и достойнымъ преемникомъ Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Никто изъ его современниковъ не имѣлъ такой свѣтлой, общепризнанной и широкой славы. Чѣмъ же объясняется это первенство, это долгое и живое обаяніе?

Художественнымъ мастерствомъ, отвѣчаютъ тѣ цѣнители, которыхъ можно назвать въ одно время и хвалителями и хулителями Тургенева. Но это вполнѣ не вѣрно. По художественности, то есть по жизненности, яркости и глубинѣ образовъ, Тургеневъ уступить не только Л. Н. Толстому, не только Гончарову, или Островскому, но и Достоевскому, и Писемскому. Настоящаго искусства, то есть, творчества въ полномъ смыслѣ этого слова, мало у Тургенева. Его фигуры, обыкновенно, представляютъ довольно блѣдные очерки; черты ихъ вѣрны, проведены осторожно, изящно; композиція проста

и опрятна; но выпуклости, плоти, душевной глубины нѣтъ въ этихъ *аквареляхъ*, какъ остроумно назвалъ кто-то писанія Тургенева. Во множествѣ случаевъ, даже просто намѣчено нѣсколько отдѣльныхъ штриховъ и нѣтъ полного рисунка, тогда какъ у настоящаго творческаго писателя фигура всегда является разомъ во всей полнотѣ жизни, и съ десяти строкъ читатель чувствуетъ, съ какимъ существомъ онъ встрѣтился.

Было бы очень жаль, если бы пониманіе искусства у насъ стояло такъ низко, что мы Тургенева признавали бы за великаго художника и серьезно сравнивали бы его произведенія съ Пушкинымъ или Гоголемъ.

Но несмотря на то, сочиненія Тургенева въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ представляли для публики такую занимательность, такую прелесть, что онъ бралъ верхъ надъ самыми даровитыми изъ своихъ совмѣстниковъ по литературѣ. Часто указываютъ на то, что онъ всегда держался современныхъ вопросовъ, выводилъ героевъ дня. Но кто же не пытался дѣлать то же самое? Сколько было усилій схватить самую современную современность!

Давно уже искусство заражено тою идеею, которую теперь все заражено,—идеею политическою; давно уже вѣра въ прогрессъ, въ развитіе, почти вытѣснила вѣру въ вѣчныя истины и замѣнила собою самое исканіе этихъ истинъ. Тургеневъ вовсе не составляетъ исключенія въ этой общей погонѣ за современностью, въ стремленіи отзываться на вопросы минуты. Его отличительная черта состоитъ не въ выборѣ предметовъ, а въ томъ, *какъ* онъ относился къ предметамъ.

Это отношеніе было—полное *подчиненіе*, подчиненіе искреннее, естественное, вытекающее не изъ расчета

или увлеченія, а прямо изъ мягкой натуры писателя. Тургеневъ шелъ постоянно рядомъ и вмѣстѣ съ самою большою толпою публики, съ главною массою нашихъ образованныхъ людей. Онъ не хотѣлъ отдѣляться отъ этой массы (то есть и не могъ отдѣляться), онъ ни въ чемъ не расходился съ ея вкусами и мыслями, и потому никогда не противорѣчилъ этимъ вкусамъ и мыслямъ. Такого отношенія не выдерживалъ и не могъ выдержать никто изъ другихъ писателей. Всякій изъ нихъ, въ томъ или другомъ пунктѣ, становился въ сторонѣ отъ толпы, бралъ себѣ другія точки зрѣнія, подымался на высоты, съ которыхъ объективнѣе и крупнѣе являлась картина. Одинъ Тургеневъ не дѣлалъ ничего подобнаго.

Возьмемъ дѣло съ внѣшней стороны, самой ясной. Возьмемъ языкъ. Сверстники Тургенева, нисколько не задумываясь, писали такимъ языкомъ, какимъ каждому вздумается. Оригинальность языка считалась достоинствомъ, заслугою. Одинъ Тургеневъ писалъ общелитературнымъ языкомъ, избѣгая всякой шероховатости и особенности. Онъ писалъ языкомъ образованнаго русскаго общества и, естественно, былъ за то милъ этому обществу.

Точно такъ—одинъ Тургеневъ соблюдалъ то изящество, ту граціозность, къ которой стремится нашъ образованный классъ. Вы не найдете у него грубыхъ образовъ, дикихъ нравовъ, рѣзкихъ выраженій. Все опрятно и умѣренно; скорѣе встрѣтится жеманство, чѣмъ отступленіе отъ приличія.

Но и это лишь внѣшность. По внутреннему содержанию своихъ произведеній Тургеневъ долженъ былъ имѣть главную и несравненную привлекательность для нашихъ образованныхъ людей. Кого онъ выводилъ на

сцену? Онъ изображалъ представителей нашей образованности, „современныхъ героев“, и онъ одинъ умѣлъ это дѣлать, потому что стоялъ наравнѣ съ этими героями, нисколько не думалъ отъ нихъ отдѣляться. Ни у какого другаго писателя русскій образованный человѣкъ не встрѣчалъ себя самого, или людей, стоящихъ съ нимъ на одной доскѣ, ягодъ съ того же поля. И *лишніе люди*, и Рудины, и Базаровы, Литвиновы и т. д., все это—люди представляющіе нашу образованность. Если иные изъ нихъ недовольно типичны, то зато весь кругъ ихъ понятій, нравовъ и интересовъ былъ именно кругъ передоваго слоя, та самая атмосфера, въ которой вращались наши образованные люди.

Подумайте, какъ это должно было привлекать и занимать! Послѣ великаго переворота, произведеннаго Гоголемъ, наша литература потеряла вѣру въ *прекраснаго человѣка*; она оторвалась отъ общества и смотрѣла на все съ идеальной высоты, съ которой реальныя явленія или обнаруживаютъ свое безобразіе, или составляютъ типы живые и крѣпкіе, но объективируемые художествомъ холодно и, такъ сказать, высокоумно. Въ одномъ Тургеневѣ не было этого высокоумія. Онъ одинъ продолжалъ старыя преданія. Какъ Пушкинъ писалъ Онѣгина, Лермонтовъ Печорина, такъ и Тургеневъ писалъ своихъ героевъ, то есть: почти переносясь въ нихъ душою, не пытаясь даже выходить въ другія сферы мысли, въ которыя подъ конецъ подымались его предшественники.

Рисуя задачи и стремленія нашего образованнаго класса, возводя въ перлъ созданія его радости и горести, Тургеневъ никогда не впадалъ въ противорѣчіе съ духомъ того общественнаго слоя, которому служилъ. Если бы онъ увлекся религіозностью, или патріотизмомъ, или

славянствомъ, или задался бы чисто нравственными стремленіями, то онъ сталъ бы въ разрѣзъ съ общепринятыми понятіями, съ ходячими вкусами. Русскій образованный слой, заимствуя свое просвѣщеніе отъ Европы, естественно расположенъ не придавать вѣса различію народности, расположенъ къ общимъ мѣстамъ, къ неопредѣленности, или, если позволительно такъ выразиться, ко *всеядности* мнѣній и вкусовъ, и всегда инстинктивно уклоняется отъ строгой и рѣшительной постановки вопросовъ *). Вотъ гдѣ источникъ и того единственного случая, когда Тургеневъ попалъ въ разладъ съ западною литературой. Нигилисты, въ жару своей проповѣди и первыхъ успѣховъ, вознегодовали на него, вѣрно понявъ, что онъ отъ нихъ отдѣлился. Эта единственная неудача на литературномъ поприщѣ больно поразила Тургенева. Но грубая и фанатическая односторонность была рѣшительно противна всѣмъ его умственнымъ и эстетическимъ привычкамъ; хотя онъ готовъ былъ въ этомъ случаѣ даже насиловать себя, онъ не успѣлъ найти твердой почвы для примиренія и остался неопредѣленнымъ, общимъ западникомъ. Неудачная „Новъ“ представляетъ лишь отвлеченное и холодное преклоненіе передъ нигилизмомъ.

Таковъ былъ Тургеневъ. Съ удивительною мягкостью,

*) Неопредѣленность мнѣній Тургенева видна всего болѣе изъ той важности, которую онъ придавалъ своему протесту противъ крѣпостнаго права. Роль такого протеста сыграли, какъ извѣстно, „Записки Охотника“, — не станемъ разбирать, основательно или ошибочно, намѣренно или случайно имъ досталась эта роль. Интересно то, что Тургеневъ очень крѣпко держался за такую свою услугу прогрессу; между тѣмъ, противъ крѣпостнаго права стояли лучшіе люди всякаго рода мнѣній, никакъ не одни западники. Явный знакъ скудости катихизиса людей, мечтающихъ, что они черпаютъ изъ самой сокровищницы просвѣщенія.

съ женственной отзывчивостію онъ подчинялся всѣмъ лучшимъ стремленіямъ, господствовавшимъ въ нашемъ просвѣщеніи. Поэтому онъ былъ самымъ чистымъ, полнымъ и искреннимъ представителемъ этого просвѣщенія. Въ немъ не было ничего оригинальнаго, никакой упорной послѣдовательности, никакой глубокой задачи, но при этомъ было столько ума, образованности, вкуса и художественнаго таланта, сколько можетъ совмѣститься съ настроеніемъ и умственной жизнью нашихъ просвѣщенныхъ людей.

Какъ же было имъ не любить его? Какъ не любить писателя, до такой степени имъ сочувственнаго и однороднаго? Поэтому понятно, что никакой другой писатель не могъ имѣть столько поклонниковъ; поэтому странно было бы винить все это множество въ какомъ-нибудь преувеличеніи, въ какихъ-нибудь заднихъ мысляхъ. Развѣ они не идутъ по главному руслу нашего просвѣщенія, нашего умственнаго движенія? Развѣ до сихъ поръ не съ Запада почерпается нами образованіе? Большинство у насъ слѣдуетъ вкусу, образу мыслей и примѣру образованныхъ странъ, и потому Тургеневъ, какъ самый европейскій изъ русскихъ писателей, долженъ пользоваться наибольшими симпатіями этого большинства. Развѣ есть другое такое же широкое русло? Развѣ можно указать другое направленіе, столь же распространенное, столь же правильно вытекающее изъ положенія вещей, столь же неизбежно увлекательное?

Нельзя упрекать людей за то, что они не обладаютъ самостоятельностью въ мысляхъ и твердостью въ чувствахъ. По существу дѣла, людямъ всегда нуженъ авторитетъ, нужна опора и руководство. Если нѣтъ вполне достойной того опоры, они хватаются за менѣе достой-

ную, лишь бы она была близка и ясна. Нужно имѣть снисхожденіе къ жаждущимъ авторитета, а плакать развѣ о томъ, что мы не успѣли до сихъ поръ создать для нихъ авторитетъ болѣе высокій и твердый, чѣмъ тотъ, за который они хватаются.

Очень поразительно и характерно для Тургенева, что онъ до конца такъ и не вернулся духовно къ своей родинѣ. Онъ, очевидно, искалъ, но такъ и не нашелъ пути къ этому возвращенію. Внутреннія силы, которыми живетъ Россія, оставались ему чуждыми, и онъ съ какимъ-то отчаяніемъ хватался за одно лишь понятное ему проявленіе народной души—за нашъ языкъ. Восхищеніе отъ русскаго языка не могло мѣшать никакому западническому, и Тургеневъ настойчиво предавался этому восхищенію, считая, конечно, и себя самого большимъ мастеромъ языка. Но намъ кажется, есть иныя, болѣе значительныя черты, въ которыхъ сказывалась въ Тургеневѣ родственная любовь къ духовной жизни Россіи. Его симпатіи въ отношеніи къ людямъ были чисто русскія. Простота, хрустальная ясность души, золотое сердце—вотъ что добрый и мягкій Тургеневъ ставитъ, очевидно, выше всякихъ другихъ достоинствъ, на чемъ любовно останавливается, какіе бы высокоумные герои ни играли главную роль въ разсказѣ. Иностранцы всегда изображаются, если не съ враждебностью, то съ тѣмъ отчужденіемъ, которое такъ трудно побѣдимо въ русскомъ человѣкѣ, которое очень часто составляетъ нашъ недостатокъ, но которое въ чистой формѣ есть черта самаго тонкаго патріотизма. Религіозная жизнь, такъ глубоко проникающая духъ нашего народа, отразилась у Тургенева въ нѣсколькихъ разсказахъ, имѣющихъ и

типичность и прелесть, хотя отношеніе автора къ предмету иногда переходитъ въ простое изумленіе.

Вообще, Тургеневъ до конца любовно обращался къ русской природѣ, къ русскому быту, къ тѣмъ преданіямъ, случаямъ, нравамъ, которыми окружена была его юность. Позволю себѣ сослаться на нѣчто личное: въ разсказахъ Тургенева, особенно въ небольшихъ, безпритязательныхъ, меня часто поражали мелкія частности, живо напоминавшія что-то давно знакомое, слышанное или видѣнное въ дѣтствѣ. Мнѣ трудно было бы точно и прямо указать эти черты, но онъ вдругъ переносили меня въ среднюю полосу Россіи, въ атмосферу такихъ привычекъ, такого склада жизни, который свойственъ только этой мѣстности. Еще сильнѣе дѣйствовали на меня въ этомъ отношеніи разсказы г-жи Кохановской. Это сохраненіе въ душѣ мѣстной умственной и бытовой, пожалуй исторической, атмосферы возможно только у писателей, обладающихъ живою *памятью сердца*, неизмѣнно любящихъ то, что ихъ нѣкогда окружало, чѣмъ питалась ихъ душа.

При всемъ этомъ, Тургенева нельзя назвать писателемъ, выражающимъ духъ своего народа, или нѣкоторыя стороны этого духа. Ренанъ, который все больше и больше впадаетъ въ фразу и теряетъ ту тонкость и отчетливость, которая была въ немъ такъ привлекательна, напрасно приложилъ къ Тургеневу общую характеристику великаго поэта, именно сказалъ, что нашъ писатель есть выразитель безчисленныхъ поколѣній, умѣвшихъ жить и чувствовать, но не умѣвшихъ высказывать свою жизнь и чувства. Тургеневъ есть пѣвецъ только нашего культурнаго слоя, только послѣднихъ формаций этого слоя. Если бы въ „Евгеніи Онегинѣ“

азы не возведены на ту высоту, которой можно ждать поэтического озарения жизни. Самое лучшее в , конечно,—встрѣчающееся иногда яркое изображѣнной страсти, покоряющей героевъ противъ ихъ

Другія пружины состоятъ въ мелкихъ чувствахъ любви, тщеславія, упадка духа, въ слабыхъ зачаткахъ любви и вражды, но не въ развитыхъ до конца вахъ. Тургеневъ знаменитъ своими изображеніями изъ людей, но едва ли гдѣ достигаетъ вполне яркихъ освѣщеній. Можетъ быть, лучшее въ этомъ отношении представляютъ тѣ жалобные стоны, которые онъ есть инымъ изъ этихъ героевъ, вообще та струна боли, которая звучитъ у него довольно часто и вромъ замѣчена иностранцами.

Этотъ полубольной, жидкій и шаткій міръ, эти дѣтища и герои нашего культурнаго слоя невольно сами обличаютъ свою несостоятельность. Они не стоятъ на твердой землѣ, они рѣютъ по воздуху, они похожи на дымъ, какъ выразился одинъ изъ нихъ въ минуту тоски.

Брандесъ очень хорошо понялъ этотъ смыслъ Тургеневскихъ писаній и излагаетъ его такъ:

„Тургеневъ глубоко убѣжденъ, что въ Россіи все „какъ-то идетъ вкривъ и вкось; никакая любовная исторія не кажется ему чисто-русской, если она не имѣетъ „несчастливаго исхода, благодаря непостоянству мужчины „или безсердечности женщины; никакое стремленіе не „кажется ему чисто-русскимъ, если оно не превышаетъ „силъ людей, или не погибаетъ, встрѣтивъ равнодушіе. „Въ его глазахъ современная Россія—это страна, гдѣ „все не удается, страна всеобщихъ крушеній“.

„Онъ былъ патриотъ, грустящій о своемъ отечествѣ „и сомнѣвающійся въ его судьбахъ. Онъ не раздѣлялъ „энтузіазма своихъ болѣе наивныхъ и менѣе знающихъ „соотечественниковъ къ русскому народу. Онъ находилъ, „что у него (т. е. у этого народа) нѣтъ великаго прошлаго. Когда авторъ этихъ строкъ стоялъ однажды на „Римскомъ Форумѣ, ему пришла въ голову мысль, что „тамъ у каждаго фута земли есть болѣе богатая исторія, „чѣмъ у всей русской имперіи. Хотя и русскій человекъ, Тургеневъ думалъ почти также. Онъ описываетъ „гдѣ-то печаль, охватившую его на всемірной выставкѣ, „при видѣ ничтожности вклада Россіи въ общую сумму „промышленныхъ изобрѣтеній человѣчества“ („Новое „Время“, 1883 г. 12 сент.).

Такіе взгляды и мнѣнія, конечно, очень по душѣ иностранцамъ и дѣлаютъ изъ Тургенева одного изъ са-

мыхъ ясныхъ представителей западничества. Ослѣпленіе почти невѣроятное, но оно существовало и существуетъ, къ нашему стыду и поученію. Онъ не вѣрилъ во внутреннюю силу Россіи и думалъ, что это страшно-громадное тѣло выросло безъ души, не развивалось, а какъ-то случайно скопилось. Это море народа, этотъ океанъ людей, глубоко и спокойно растущій, будто бы не имѣетъ исторіи, будто бы еще не живетъ могущественною нравственною жизнью, а только еще ищетъ себѣ души, есть только безформенная стихія, которую долженъ современемъ оживить духъ, откуда-то имѣющій явиться.

Есть, однако, иностранцы, которые понимаютъ насъ болѣе правильно; такъ Юліанъ Шмидтъ, какъ нѣмецъ, которому вполне привычны философскіе приемы, дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія.

Указавъ сперва на ужасы нигилизма, онъ затѣмъ обобщаетъ свои разсужденія и, съ тою проницательностью, въ которой, можетъ быть, участвуетъ страхъ и ненависть, пишетъ:

„Русскій народъ, какъ это теперь доказано, способенъ отдаться великой страсти. Если эта страсть возвысится на степень культа, — чего-то въ родѣ религиознаго изступленія, — то она можетъ сдѣлаться опасною для Европы. Здѣсь, по моему, Тургеневу, какъ и прочимъ европейски-образованнымъ русскимъ, недостаетъ надлежащаго общенія съ душою народа. Въ народѣ словно дремлютъ силы, совершенно чуждыя европейской цивилизаціи и непонятныя ей. Тургеневъ въ своихъ разсказахъ неоднократно описываетъ странные феномены русской религіи: какъ молодая нѣжная барышня скитается по деревнямъ, прислуживая юривому; какъ

„сынъ попа, человѣкъ неглупый и способный, страдаетъ „отъ дьявольскаго навожденія... Писатель повѣствуетъ „все это съ чарующимъ реализмомъ, но замѣтно, что „ему самому становится страшно“.

Затѣмъ Ю. Шмидтъ старается показать, почему Европейцы, будто бы, ближе стоятъ къ религіи и лучше могутъ ее понимать, чѣмъ образованные русскіе.

Причина состоитъ въ самомъ ходѣ нѣмецкой образованности, въ Лейбницѣ, Лессингѣ, Кантѣ, Гердерѣ и т. д., которые не давали произойти полному раздвоенію въ духовной жизни Германіи. У русскихъ не то.

„Русскій идеалистъ“, говоритъ критикъ, „ничего не „знаетъ о религіи народа, потому что она никогда не „преподавалась ему въ просвѣщенной формѣ; идеализмъ, „заимствованный имъ изъ-за границы, не вполне усвоивается имъ, не растворяется въ его крови, ибо онъ не „самъ выработалъ его“.

„Поэтому, образованный русскій, почерпающій свои „идеалы изъ чужбины, находится въ извѣстной изолированности“.

„Быть можетъ, это — смѣлое мнѣніе, но я нахожу связь „между этой полной отчужденностью отъ всякихъ религиозныхъ преданій и безнадежной меланхоліей, которая проявляется у нашего поэта внезапно тамъ, гдѣ „ея менѣе всего ожидаешь; она придаетъ его картинамъ „своеобразную прелесть, но она поражаетъ насъ: какъ „могъ такъ чувствовать писатель, обладавшій такимъ „свободнымъ, такимъ богатымъ, такимъ любовнымъ „вниманіемъ всего прекраснаго?“ („Новое Время“, 9 сент. 1883 г.).

Для Ю. Шмидта, какъ для протестанта и питомца высокой нѣмецкой культуры, очевидно, наша религія и

душа нашего народа суть нѣчто хотя и могущественное, но дикое и темное; тѣмъ не менѣе, главные черты Тургеневскаго настроенія замѣчены имъ вѣрно и поставлены правильно. Нельзя не чувствовать себя потеряннымъ, оторвавшись отъ родной почвы и не найдя для себя другой твердой опоры. И таковъ былъ Тургеневъ, слишкомъ слабый для того, чтобы выйти изъ того неправильнаго положенія, въ которое ставитъ насъ наше отношеніе къ Европѣ.

Западники должны вполне гордиться Тургеневымъ и съ великимъ почетомъ вписать его имя въ исторію нашей литературы. Изъ всѣхъ значительныхъ писателей онъ одинъ остался почти вовсе чуждъ того, что въ нашемъ обществѣ принято называть „элементами славянофильства“. Онъ первый не подходитъ подъ общій законъ, по которому наши писатели сперва подчиняются вліянію Запада, но, по мѣрѣ созрѣванія своихъ силъ, начинаютъ обнаруживать стремленія, вытекающія изъ самобытнаго духовнаго строя ихъ родины. Причины такого исключенія довольно ясны. Во-первыхъ, Тургеневъ *сознательно* держался своихъ мыслей. Въ его время различіе и противоположеніе западничества и славянофильства вполне опредѣлилось и высказалось. Каждый писатель, если имѣлъ желаніе и силу быть послѣдовательнымъ, былъ *обязанъ* стать на ту или на другую сторону, не могъ уйти отъ этой дилеммы. И Тургеневъ даже хвалился тѣмъ, что „не измѣнилъ убѣжденія своей молодости“, т. е. западничеству 40-хъ годовъ. Во-вторыхъ, Тургеневъ и вообще не имѣлъ столько силы и оригинальности, чтобы быть самостоятельнымъ. Аполлонъ Григорьевъ любилъ говорить, что Тургеневъ есть *повтореніе Пушкина*, разумѣется, не полное, а отчасти.

И въ самомъ дѣлѣ, и языкъ и всѣ художественные приемы Тургенева — Пушкинскіе. Эта прелестная форма, отличающаяся простотою и ясностью, трезвостью реализма и одушевленіемъ творчества, эта форма, приводившая въ такое восхищеніе иностранцевъ, которые сами всегда черезчуръ плодовиты и рѣдко не злоупотребляютъ художествомъ, — она завѣщана намъ Пушкинымъ, она составляетъ привычный и неизмѣнный образецъ для нашихъ художниковъ слова.

Затѣмъ, ни яркаго своеобразія языка и быта, какъ напримѣръ, у Островскаго, ни постоянно господствующей мысли, какъ, положимъ, у Достоевскаго, — нельзя найти у Тургенева. Можетъ быть, высшее мѣрило жизни для его дѣйствующихъ лицъ есть мечта о какомъ-то счастьи, обыкновенно съ любимымъ существомъ, счастья, иногда какъ будто близко стоящемъ передъ глазами, но, болшею частью, только мелькающемъ издали, вѣчно манящемъ и вѣчно исчезающемъ, такъ что подъ конецъ у нихъ остается лишь тоска ненаполненной или разбитой жизни и страхъ смерти. Да и этотъ мотивъ, сказывающійся довольно часто, не выступаетъ съ полной силою, не воплощенъ съ художественною яркостью, а звучитъ какъ-то робко и жалобно.

Тургеневъ до конца дней не обладалъ никакимъ авторитетомъ. Его очень любили и жадно читали; всякая мысль, всякое чувство, которое онъ вздумалъ бы вложить въ свое созданіе, были бы приняты публикою съ открытыми душами. Но ему нечего было сказать; не было въ немъ струны, которая, издавая господствующій звукъ, вносила бы ясность и гармонію во всѣ его звуки. Понятно, что Западъ, передъ которымъ онъ такъ преклонялся, не могъ дать ему какого-нибудь руководящаго

начала; Западъ внушилъ ему только вѣру въ прогрессъ, заставлявшую вѣчно оглядываться на другихъ и ждать чего-то впереди; но для насъ всего прискорбнѣе должно быть то, что такой добросовѣстный, талантливый и мягкій душою человѣкъ равно не нашелъ себѣ твердыхъ опоръ и среди того хаоса, въ которомъ ему явился нашъ русскій нравственный міръ. Мудрено винить такихъ людей, какъ Тургеневъ; они—дѣти своего времени, но, очевидно, изъ тѣхъ дѣтей, которыя способны были бы примкнуть къ самымъ высокимъ стремленіямъ времени.

(Русь, 1 дек. 1883).

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

I.

Сочиненія гр. Л. Н. Толстаго. Въ двухъ частяхъ. Спб. 1864. (Изданіе Θ. Стелловскаго).

— А что, баринъ, ваше дѣло—
господское.

— Что?—спросилъ я.

— Дѣло-то, дѣло—господское,
повторилъ онъ, шамкая беззубыми губами.

Л. Н. Толстой. (Юность).

Статья первая.

Что дѣлаетъ въ послѣднее время наша поэзія? Чѣмъ заняты умы нашихъ людей, одаренныхъ творческою силою?

Работа нашихъ творческихъ силъ заслонена и отодвинута на задній планъ всякаго рода историческимъ движеніемъ, такъ шумно совершающимся теперь на нашей родинѣ. Но, тѣмъ не менѣе, эта работа продолжается: поэзія дѣлаетъ свое дѣло. И должно считать даже весьма замѣчательнымъ явленіемъ, что среди той шумной сумятицы мнѣній и направленій, которая у насъ недавно господствовала, среди того общаго упадка вниманія къ литературѣ, того все болѣе и болѣе воз-

растающего равнодушія читателей, которое послѣдовало за этой сумятицей, наша поэзія дѣлала свое дѣло, свое настоящее дѣло.

Это дѣло всегда одинаково; оно во всѣ времена устремлено на раскрытіе, какъ говорится, тайнъ души человеческой. Такъ было и въ наше послѣднее время. Внутренній вопросъ души, уясненіе себѣ идеала душевной красоты—вотъ куда были обращены помыслы нашихъ творческихъ умовъ. И если мы внимательно взглянемъ въ то, какіе отвѣты даны на вопросъ, какъ поставлено его рѣшеніе, то найдемъ не мало достойнаго размышленія. Тутъ сказалося вѣрное слово, можетъ быть слабымъ и неполнымъ образомъ, но сказалась боль и радость русской души, отразилась и наша всегдашняя сущность, и та минута, которую эта сущность переживаетъ въ ходѣ нашей исторіи.

Возьму здѣсь, пока, трехъ нашихъ писателей: Тургенева, Писемскаго и гр. Л. Толстаго, причемъ насколько не думаю равнять ихъ по таланту. Дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что всѣ они несомнѣнно одарены поэтическою силою. Тургеневъ въ прошломъ году напечаталъ свое „Довольно“, а Писемскій „Русскихъ лгуновъ“. Оба эти произведенія весьма незначительны по объему, но они очень замѣчательны потому, что и то и другое даетъ ключъ къ уразумѣнію остальныхъ произведеній этихъ двухъ писателей. Такъ, иногда, невольно вырвавшееся слово или восклицаніе объясняетъ намъ многія дѣйствія и рѣчи человѣка. Чтѣ касается до гр. Л. Толстаго, то полное собраніе его сочиненій, вышедшее въ позапрошломъ году, мнѣ кажется, всего удобнѣе можетъ подтвердить главную мысль настоящей статьи, почему мы остановимся на нихъ въ особенности.

Чтѣ изображаетъ намъ Тургеневъ въ своемъ „Довольно“? Русскаго человѣка, художника, у котораго гаснетъ *свѣтъ, исходящій изъ сердца человѣка*, который скрещиваетъ *ненужныя* руки на *пустой* груди. Какъ же это случилось? Какъ возможно, чтобы этотъ человѣкъ, мыслившій, любившій, создававшій художественныя произведенія, вдругъ почувствовалъ, что грудь у него пуста, что источникъ желаній и радостей изсякъ, что ему нечѣмъ жить и не для чего жить? Если такія явленія есть въ русской жизни, если эта струна въ ней отзывается, то стоитъ объ этомъ подумать.

Не сломила ли тургеневскаго художника жизнь? Не подвергся ли онъ тяжкимъ страданіямъ и несчастіямъ? Вовсе нѣтъ. Въ прошломъ, по его собственному убѣренію, всѣ свѣтло у него. Его жизнь, какъ онъ самъ говоритъ, проходила въ томъ, что онъ *нѣжилъ сладкой нѣгой неопредѣленныхъ, но плѣнительныхъ ощущеній, бѣжалъ за каждымъ новымъ образомъ красоты, ловилъ каждое трепетаніе ея тонкихъ и сильныхъ крылъ*.

Нѣтъ, онъ не страдалъ и не страдаетъ. Еслибъ у него было горе, то грудь его не была бы пуста: ее наполняло бы это горе, хотя бы и терзая эту грудь. Но самое горькое, какъ видно, не то, что у человѣка есть горе, есть то, чтѣ обыкновенно называется горемъ; самое горькое то, когда человѣкъ почувствуетъ себя неспособнымъ страдать, неспособнымъ носить въ себѣ горе. Вотъ въ чемъ его горькая бѣда. Точно такъ — самъ онъ говоритъ, ему *страшно то, что нѣтъ ничего страшнаго*, что ему нѣчего бояться.

Человѣку не по чемъ страдать и нѣчего бояться — да это ужасно! Значитъ, нѣтъ для него ничего доро-

гаго, о чемъ бы радовалась или печалилась душа, что было бы источникомъ и надеждъ и страха.

Но откуда же могло возникнуть такое душевное настроеніе? Какъ возможна такая мертвенность души? Люди гоняются, пишетъ художникъ, за *вздоромъ, двѣ тысячи лѣтъ назадъ осмѣяннымъ Аристофаномъ...*

Смѣхъ? Отчего же нѣтъ? Смѣхъ—тоже живое явленіе. Если человѣкъ можетъ смѣяться яро, съ увлеченіемъ, если грудь его полна злобы, веселости, или насмѣшки, то это не будетъ пустая грудь. Но самый великій вздоръ выходитъ тогда, когда человѣку нечего называть вздоромъ, такъ какъ все уравнилось передъ его глазами; самую горькую насмѣшку вызываетъ тотъ, для кого уже ничто не горько и не смѣшно.

Итакъ, откуда намъ сіе? Коротенькій рассказъ художника прекрасно изображаетъ намъ это настроеніе духа, но, къ сожалѣнію, ни мало не исчерпываетъ вопроса. Разсужденія, въ которыя онъ пускается, насколько не помогаютъ объяснить недостатокъ жизни въ его сердцѣ. Его міросозерцаніе интересно лишь потому, что вполне гармонируетъ съ его душевной пустотой. Вотъ оно въ его собственныхъ словахъ:

„Бессознательно и неуклонно покорная законамъ, природа *не знаетъ искусства*, какъ не знаетъ *свободы*, какъ не знаетъ *добра*; отъ вѣка движущаяся, отъ вѣка преходящая, она не терпитъ ничего безсмертнаго, ничего неизмѣннаго“...

„Человѣкъ — дитя природы; но она—всеобщая мать, и у ней нѣтъ предпочтенія: все, что существуетъ въ ея лонѣ, возникло только на счетъ другаго и должно въ свое время уступить мѣсто другому“.

„Гдѣ же намъ, бѣднымъ людямъ, сладить съ этой

„*глухо-нѣмой, слѣпорожденной силой*, которая даже не торжествуетъ своихъ побѣдъ, а идетъ, идетъ впередъ, все пожирая; какъ устоять противъ этихъ тяжелыхъ, грубыхъ, безконечно и безустанно надвигающихся волнъ?“

Итакъ, міръ есть слѣпорожденная глухо-нѣмая сила, которая, не вѣдая ни искусства, ни свободы, ни добра, отъ вѣка движется своими тяжелыми, грубыми, но неотразимыми волнами, а человѣкъ—дитя этой силы, наравнѣ съ другими ея дѣтьми, безъ всякаго предпочтенія отъ всеобщей матери. Въ концѣ концовъ выходитъ, что наше искусство, наша свобода, наше добро—призракъ, обманъ, которымъ мы только тѣшимся.

И здѣсь, какъ въ тысячѣ другихъ случаевъ, нужно помнить, что не мысль создаетъ человѣка, а человѣкъ мысль; не это міросозерцаніе опустошило грудь нашего художника, а наоборотъ, пустая грудь подсказала ему такой безотрадный взглядъ. Прекрасно выразился объ этомъ предметѣ покойный Аполлонъ Григорьевъ:

„Наши мысли вообще“, пишетъ онъ, — „если онѣ точно мысли, а не баловство одно—суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, *вымучившіяся* до формулъ и опредѣленій. Немногіе въ этомъ сознаются, ибо немногіе имѣютъ счастье или несчастье *рождать* изъ себя собственные, а не чужія мысли“ (*Эпоха* 1865, февр. Нов. Письма, стр. 164).

Такимъ образомъ, Тургеневъ, послѣ цѣлаго ряда людей, пораженныхъ душевною пустотою, послѣ всѣхъ *лишнихъ* людей, незнающихъ, что дѣлать съ жизнью, или, какъ Гамлетъ Шигровскаго уѣзда, *живущихъ въ потъ лица, словно въ подражаніе разнымъ изученнымъ ими сочинителямъ*, послѣ всѣхъ этихъ комическихъ и

жалкихъ фигуръ, Тургеневъ, наконецъ, выставилъ намъ грандіозную фигуру, изображающую, однакоже, ту же самую пустоту души, то же самое малодушіе.

Отъ Тургенева, отъ этихъ страницъ, которыя все еще благоухаютъ, гдѣ все еще слышно *трепетаніе тонкихъ и сильныхъ крылъ красоты*, обратимся къ Писемскому. У этого писателя есть своя опредѣленная задача, которой онъ остается вѣренъ. Онъ самъ такъ ясно сознавалъ служеніе этой задачѣ и столько гордился имъ, что съ великою смѣлостію назвалъ однажды свой путь *единственно честнымъ путемъ*. Читатель найдетъ это мѣсто въ той части „Взбаломученнаго моря“, гдѣ авторъ выводитъ на сцену самого себя и заставляетъ другое лицо произносить сужденіе о своей повѣсти „Старческій грѣхъ“. Тутъ же встрѣчаются и насмѣшки надъ Майковымъ, Полонскимъ и въ особенности надъ Тургеневымъ.

Путь Писемскаго — изображать пошлость поплаго человѣка, и въ особенности изображать ее тамъ, гдѣ она прикрыта фальшивымъ блескомъ благородства, ума, изящества и т. д. Писемскій постоянно изображаетъ фальшь и безпощадно обнажаетъ то, что подъ нею скрывается. Поэтому такая тема, какъ „Русскіе лгуны“, совершенно въ его духѣ, непременно совпадаетъ съ его *единственно честнымъ путемъ*. Но на этотъ разъ обнаружилась странность, которая, какъ мнѣ кажется, прекрасно объясняетъ, откуда идетъ этотъ единственно честный путь, откуда такое упорное и неутомимое исканіе фальши. Г. Писемскій пробовалъ искать фальши даже въ сферѣ такихъ событій, какъ крымская война, или освобожденіе крестьянъ, и ему замѣчено было, что это исканіе, безъ пониманія самаго смысла великихъ событій, — дѣло не-

умѣстное. Въ настоящемъ случаѣ, сущность единственно-честнаго пути обнаружилась еще проще и опредѣленнѣе. Именно, совершенно неожиданно въ число „Русскихъ лгуновъ“ попалъ Ромео, извѣстный герой извѣстной Шекспировской трагедіи. Въ заключеніе разсказа „Красавецъ“, гдѣ изображается фальшь страстной любви, г. Писемскій обращается къ своимъ читательницамъ такимъ образомъ:

„Смѣемъ васъ завѣрить, что самъ пламенный Ромео покраснѣлъ бы до конца ушей своихъ, или взбѣсилъ бы до нелзя, еслибы ему напомнили, буква въ „букву, тѣ слова, которыя онъ расточалъ своей боже-ственной Юліи, стоя передъ ея балкономъ, — особенно, „еслибы жестокіе родители не разлучили ихъ, а женили!“

Итакъ, самая любовь Ромео и Юліи есть фальшь, такая же фальшь, какую напускали на себя герои и героини г. Писемскаго, и подъ которою, какъ это весьма искусно показываетъ г. Писемскій относительно своихъ героевъ и героинь, скрывается одно простое животное сластолюбіе. Человѣкъ, впавшій въ такую фальшь, долженъ потомъ всю жизнь бѣситься и краснѣть при воспоминаніи о ней, и въ особенности будетъ бѣситься и краснѣть, если женщина, которую онъ полюбилъ, станетъ потомъ его женою, матерью его дѣтей, и проживетъ съ нимъ долгіе годы.

Дѣло весьма замѣчательное. Великій поэтъ Шекспиръ изобразилъ намъ любовь; онъ записалъ, отъ слова до слова, рѣчи, которыя Ромео расточалъ Юліи передъ балкономъ. Русскій писатель г. Писемскій находитъ, что все это фальшь, что за эти рѣчи вчужѣ становится совѣстно и стыдно. Итакъ, образъ прекрасныхъ мыслей и чувствъ, данный Шекспиромъ, не годится. Но

есть ли у русскаго писателя свой образъ, которымъ онъ вправѣ былъ бы замѣнить шекспировскій? Увы! какъ ни ищите въ сочиненіяхъ г. Писемскаго, тамъ не найдется ни единой черты этого образа; въ дѣйствительности, которой онъ такъ усердно держится, существуетъ, по его изображенію, одно животное влеченіе.

Бѣдная русская жизнь! Она порождаетъ людей съ пустою грудью, которымъ нѣтъ жить и нѣзачѣмъ жить, а шекспировскіе образы для созерцателей этой жизни кажутся пустымъ ломаньемъ, несносною фальшью! Не думаю вполне соглашаться съ этими печальными заключеніями, но полагаю, что важно и любопытно изслѣдовать тотъ недугъ, который отзывается въ настроеніяхъ и взглядахъ, дающихъ поводъ къ такимъ заключеніямъ. Есть, очевидно, какое-то зло, по которому намъ смѣшонъ и страненъ любой шекспировскій герой, по которому мы не можемъ подчасъ дать себѣ отчета, зачѣмъ человѣкъ живетъ на свѣтѣ.

Особенно удобно заняться разборомъ этого дѣла на произведеніяхъ гр. Л. Толстаго. У Тургенева, зло, о которомъ идетъ рѣчь, сквозить, очевидно, помимо его воли; оно не составляетъ прямого объекта, который онъ имѣетъ въ виду; Тургеневъ, насколько могъ, искалъ и изображалъ красоту нашей жизни. Писемскій изображалъ ея безобразіе и фальшь, но совершенно обратно, не сознавая отчетливо, во имя какихъ идеаловъ онъ казнить это безобразіе, такъ что иногда выходило, что безобразіе имѣетъ всѣ права существовать, такъ какъ оно-то и есть истинное и дѣйствительное явленіе, а все остальное только фальшь и призракъ. Только у гр. Толстаго задача, которая насъ занимаетъ, поставлена прямо, то-есть, прямо рисуются люди, у которыхъ идеаль

оскудѣлъ, которые ищутъ прекраснаго образа мыслей и чувствъ, и страдаютъ среди этого исканія.

Сочиненія гр. Л. Толстаго представляютъ, въ этомъ отношеніи, книгу прекрасную и, въ то же время, глубоко-печальную. Она прекрасна по мастерству, которое можно сравнить съ тургеневскимъ, по правдивости, которая не уступаетъ Писемскому, и по душевной теплотѣ и силѣ, которою, можетъ быть, превосходитъ того и другаго. Любовь есть та сторона жизни, которая, своею красотою, всего доступнѣе людямъ; любовь можетъ хотя на время наполнить самую опустошенную грудь, оживить самую мертвенную душу. Поэтому, понятно и то, что *художникъ* Тургенева отыскалъ-таки въ своей пустой груди слѣды любви, ее наполнявшей. Графъ Л. Толстой, мнѣ кажется, еще теплѣе и живѣе Тургенева понимаетъ это чувство, еще правильнѣе къ нему относится. Въ его любовной поэмѣ „Семейное счастье“, несмотря на нѣкоторую дробность и, такъ-сказать, напряженность анализа, чувство любви и вся его исторія выяснены въ живыхъ и полныхъ чертахъ.

Есть у гр. Л. Толстаго еще другія страницы, въ которыхъ красота жизни уловлена съ необыкновенною ясностію. Это—описаніе дѣтства. И опять, прелесть дѣтства, этихъ свѣжихъ ощущеній, когда новому жителю міра

новы

Всѣ впечатлѣнья бытія,

эта прелесть рѣдко бываетъ заглушена въ ребенкѣ даже самымъ тяжелымъ положеніемъ, и потому знакома всѣмъ даже въ такомъ обществѣ, которое страдаетъ пустотою и мертвенностію.

Любовь и дѣтство нашли себѣ выраженіе въ книгѣ гр. Л. Толстаго. Но не въ нихъ заключается главный центръ тяжести книги; эти свѣтлыя стороны изображены правдивою рукою художника именно для того, чтобы рѣзче отѣнить его главную мысль, его глубокую и печальную думу. Въ книгѣ много разнообразія, но главная ея мысль постоянно царитъ надъ рассказомъ, чего бы этотъ рассказъ ни касался, и сообщаетъ всей книгѣ отпечатокъ тяжелой грусти.

Въ чемъ же дѣло? Толстой каждому, конечно, извѣстенъ, какъ большой мастеръ въ анализѣ душевныхъ явленій. Но какой характеръ имѣетъ этотъ анализъ? Въ чемъ заключается его источникъ, его первая движущая причина, отъ которой необходимо зависитъ его направленіе и цѣль? На это можно бы отвѣчать, что анализъ нашего автора—просто его художественная потребность, просто преобладающая черта его таланта. Отвѣтъ этотъ, дѣйствительно, годится для нѣкоторыхъ мѣстъ книги, именно для тѣхъ, гдѣ, какъ въ „Семейномъ счастьѣ“ и въ „Дѣтствѣ“, художественная сила идетъ наравнѣ съ анализомъ, вполнѣ имъ владѣетъ, употребляетъ его какъ орудіе, дающее полноту образамъ и краскамъ. Но въ другихъ мѣстахъ анализъ, очевидно, играетъ другую роль и служить самъ по себѣ удовлетвореніемъ какой-то потребности, говорящей въ душѣ художника помимо его стремленія создавать образы.

Во-первыхъ этотъ анализъ постоянно имѣетъ въ виду совершенную *правдивость*, постоянно вооруженъ противъ всякой фальши. Чтò бы ни рассказывалъ художникъ, его явнымъ образомъ томить забота не отступать ни на іоту отъ вѣрности дѣйствительности и не поддаться никакой, даже самой тонкой и едва уловимой

фальши. Въ этой чертѣ гр. Л. Толстой сроденъ съ Писемскимъ, и это весьма характеристическая черта ихъ, какъ русскихъ писателей. Нашъ художникъ, какъ будто, прежде всего боится впасть въ обманъ, прежде всего чувствуетъ недостатокъ истинной красоты, вообще истиннаго содержанія въ окружающихъ его явленіяхъ, и потому постоянно на сторожѣ, постоянно озабоченъ и затрудненъ и думаетъ уже не о красотѣ, а только о правдивости, о томъ, чтобъ самому какъ-нибудь не сфальшивить, не принять миража за дѣйствительность.

Мы, русскіе, вообще—люди серіозные и не любимъ ничего внѣшняго, никакой риторики, никакой шумихи, и высокопарности. Для насъ кажется лишнимъ всякій избытокъ въ проявленіи внутренняго чувства. Тѣмъ болѣе намъ противно всякое выраженіе, преувеличенное въ сравненіи съ содержаніемъ. Мы—народъ скептическій и насмѣшливый, и вмѣсто того, чтобы находить наслажденіе во внѣшнемъ изліяніи внутреннихъ движеній, готовы подсмѣяться даже надъ самымъ искреннимъ и истиннымъ ихъ выраженіемъ. Эта черта, съ одной стороны, представляетъ нѣкоторую *душевную стыдливость*, тò есть, постоянную боязнь профанировать свои чувства, такое ощущеніе ихъ святости и красоты, при которомъ всякая внѣшняя форма кажется негодною, несоотвѣтствующею. Такимъ образомъ, при постоянной насмѣшливости и отсутствіи всякихъ внѣшнихъ проявленій, у насъ сохраняется въ душѣ огромный запасъ энтузіазма, тѣмъ болѣе сосредоточеннаго, чѣмъ меньше онъ проявляется. Но, съ другой стороны, невѣріе въ форму, въ выраженіе, и неумѣнье найти эту форму и это выраженіе граничатъ съ *цинизмомъ*, то есть, съ отрицаніемъ всякаго энтузіазма, съ невѣріемъ въ самую законность

и дѣйствительную силу душевныхъ движеній. Постоянно колеблясь между этимъ цинизмомъ и этимъ энтузіазмомъ, мы, очевидно, можемъ быть удовлетворены только совершенною *правдою* и *простотою*, какъ въ жизни, такъ и въ художественныхъ произведеніяхъ.

Вотъ коренная черта нашей литературы, и она съ большою силою отзывается въ произведеніяхъ графа Л. Н. Толстаго. Посмотримъ же, что онъ нашелъ въ нашей жизни, приступивъ къ ней съ этимъ требованіемъ русской правдивости. Если вникнуть во всѣ подробности этихъ мастерскихъ произведеній, то окажется, что они съ поразительной яркостью рисуютъ намъ *душевную пустоту*, которою страдаютъ русскіе люди, и которою они, безъ сомнѣнія, еще долго будутъ страдать. Анализъ гр. Толстаго весь направленъ къ тому, чтобы отыскать истинно-живыя явленія въ душахъ людей. Это не простая поэзія, которая свободно сочувствуетъ каждому живому явленію и свободно воплощаетъ его въ художественныя формы. Нѣтъ, это упорное исканіе красоты и жизни и, слѣдовательно, непремѣнно—анализъ, разсѣченіе, доискивающееся до живыхъ частей и отбрасывающее мертвыя. Въ этомъ случаѣ, свойства таланта оказались вполне соответствующими предмету. Пустота и малодушіе, если составляютъ не комическое явленіе, а дѣйствительное страданіе, такъ-сказать, серьезное состояніе человека,—не даютъ пищи поэзии, не могутъ быть источникомъ художественныхъ произведеній, но именно всего лучше выразятся въ анализѣ; это ихъ настоящая форма.

Въ этомъ отношеніи гр. Л. Н. Толстой весьма замѣчателенъ и стоитъ прилежнаго изученія. Въ немъ сказалась съ большою силою жажда истинной, правди-

вой жизни, ея исканіе и обнаруженіе пустоты того, что выдаетъ себя за жизнь. Отсюда нужно объяснять и форму, и весь циклъ его произведеній. Центральную часть ихъ составляютъ рассказы о личной судьбѣ героев, которые всѣ—молодые люди, и, что называется, вступаютъ въ жизнь, впервые знакомятся съ нею. Эти лица обыкновенно принадлежать къ высшему классу, нѣкоторыя даже называются князьями, слѣдовательно, вообще принадлежать къ сословію помѣщиковъ, тому сословію, о которомъ до недавняго времени можно было сказать, что оно одно *жило* въ Россіи, и изъ котораго поэтому, брали свои картины и Гоголь, и Тургеневъ, и Писемскій. Герои гр. Л. Н. Толстаго обыкновенно *протестанты*, то-есть, они очень скоро отказываются отъ своего сословія, скоро находятъ, что въ немъ невозможно искать удовлетворенія своей души. Затѣмъ они пускаются въ жизнь, исполненные очень благородныхъ, но совершенно смутныхъ стремленій. Собственно, это люди, потерявшіе свой идеалъ, и которымъ жизнь, ихъ окружающая, не представляетъ никакой точки опоры, никакого руководства. Они не имѣютъ никакой опредѣленной цѣли, никакого твердаго желанія. Они совершенно на воздухѣ и не знаютъ, что имъ любить и что имъ дѣлать. Стараясь жить, то есть, вступить въ живыя отношенія къ людямъ, они съ изумленіемъ замѣчаютъ, что имъ жить *нечтъмъ*, то есть, что они въ своей душѣ не находятъ живыхъ связей, не находятъ того сродства съ окружающею жизнью, того притяженія къ ней, которыя нужны для образованія этихъ связей. И вотъ, они рассказываютъ свои приключенія, имѣя постоянно въ виду свою томящую думу, рассказываютъ, чтобы показать, какъ ничтожны и пусты были въ ихъ душѣ всѣ

начатки любви, дружбы и вообще всяких живых отношений къ людямъ. Даже смѣшныя вещи, которыя съ ними случаются, они принимаютъ серьезно. Имъ больно и не до смѣха.

Таковъ центръ, точка зрѣнія. Понятно, что при такомъ душевномъ настроеніи, въ людяхъ должно проявиться большое уваженіе къ явленіямъ настоящей, правдивой жизни. Исканіе жизни даетъ понять, оцѣнить и полюбить тѣ явленія, въ которыхъ жизнь проявляется несомнѣнно. Отсюда возникаетъ у гр. Л. Н. Толстаго, какъ и у другихъ нашихъ писателей, очень тонкое пониманіе простого народа. Въ простомъ народѣ есть такъ-называемая непосредственная жизнь, которая, какова бы она не была, все-таки есть настоящая жизнь. Народъ знаетъ, зачѣмъ онъ живетъ и какъ ему слѣдуетъ жить. То же самое отношеніе, по которому такъ прекрасно изображена Наталья Савишна въ „Дѣтствѣ“, руководило гр. Л. Толстымъ и въ картинахъ изъ жизни казаковъ и черкесовъ.

Затѣмъ есть еще сфера, гдѣ присутствіе жизни несомнѣнно; это—явленія исторической жизни народа, это великія событія, въ которыхъ внутренняя сила вещей проявляется помимо людской воли. Уваженіе къ исторіи и умѣнье понимать ее—вотъ самый трудный, но правильный результатъ исканія жизни.

Но исторія совершается передъ нами. На нашихъ глазахъ происходила страшная борьба нѣсколькихъ государствъ съ Россіею и узломъ этой борьбы былъ Севастополь. Была, слѣдовательно, возможность увидѣть историческую жизнь лицомъ къ лицу, такъ близко, какъ только возможно. Позволимъ себѣ сказать, что это желаніе входило въ число побужденій, приведшихъ гр.

Толстаго на бастіоны Севастополя. Поэтъ былъ при оборонѣ Севастополя и рассказалъ намъ это событіе если не вполне, то все же въ нѣкоторыхъ чертахъ, достойныхъ самого событія.

Но, повторяемъ, главный центръ не здѣсь: главный центръ въ томительной думѣ объ истинной жизни и красотѣ, и о душевномъ безсиліи, не дающемъ людямъ доступа къ этой жизни и красотѣ. Мы попробуемъ въ слѣдующей статьѣ анализировать эту думу и подтвердить выписками наши общія положенія.

Статья вторая.

Въ заключеніе одной изъ мастерскихъ своихъ повѣстей (*Севастополь въ мѣсь 1855*) гр. Л. Н. Толстой какъ-бы невольно высказалъ глубочайшій мотивъ своей поэзіи.

«Герой моей повѣсти»—говоритъ онъ,—«котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его, и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—*правда*». (Ч. II, стр. 61).

Тутъ разомъ высказывается и то, что поэтъ ищетъ героя, ищетъ прекрасныхъ явленій жизни, и то, что онъ приступаетъ къ жизни съ требованіями неподкупной правды, и то, что въ своемъ строгомъ исканіи онъ не находитъ героя, не находитъ прекрасной жизни. Ему остается одно—признать свое исканіе за прекрасную черту, свои требованія за нормальное явленіе. Такъ онъ и сдѣлалъ, восхваляя свою правдивость.

Какъ мы уже сказали, поэтъ въ своихъ поискахъ за

жизнью и красотою приходилъ на бастіоны Севастополя во время его обороны. И чтò же? Повидимому, онъ и тутъ не нашелъ героическихъ чертъ. Оканчивая повѣсть, изъ которой мы привели заключеніе, онъ говоритъ:

«Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны».

Если бы это было послѣднимъ словомъ автора, то отсюда слѣдовало бы, что всѣ явленія, какія нашелъ поэтъ въ русской жизни, безразличны, всѣ имѣютъ, такъ-сказать, одну степень и всѣ одинаково далеки отъ явленій прекрасной, героической жизни. Мы увидимъ, однакоже, что не таковъ окончательный выводъ, что тяжелымъ трудомъ нашъ авторъ достигъ до другихъ, болѣе отрадныхъ взглядовъ.

Но вотъ постановка дѣла. Требуется открыть героя на русской землѣ, то есть, героя въ смыслѣ поэзіи, такое лицо, которое можно было бы воспѣвать, которому бы можно было сочувствовать. И вотъ авторъ выводитъ намъ цѣлую вереницу лицъ, могущихъ имѣть притязаніе на сочувствіе, и со своею безпощадною правдивостію доказываетъ намъ, что они не герои, а люди малодушные и пустые, несмотря на употребляемые ими старанія быть вполне хорошими людьми.

Чтò же это за люди? Одного изъ нихъ авторъ опредѣляетъ весьма отчетливымъ образомъ:

«Оленинъ былъ юноша, нигдѣ не кончившій курса, нигдѣ не служившій (только числившійся въ какомъ-то присутственномъ мѣстѣ), промотавшій половину своего состоянія, и до двадцати-четырехъ лѣтъ не избравшій еще себѣ никакой карьеры и никогда ничего не дѣлавшій. Онъ былъ то, чтò

называется «молодой человѣкъ» въ московскомъ обществѣ» (ч. II, ст. 153).

Всякій замѣтитъ, что это старая исторія. Это тотъ же Онѣгинъ, который,

Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ
До двадцати-пяти годовъ,
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ,
Ничѣмъ заняться не умѣлъ.

Но процессъ тоски, снѣдавшей Онѣгина, у этихъ людей сталъ глубже и опредѣленнѣе, то есть, симптомы болѣзни раскрылись въ несравненно большей степени.

Воспитаніе—вполнѣ похоже на онѣгинское. Николай Иртеневъ съ величайшей живостію разсказалъ намъ свое „дѣтство“ и „отрочество“, и тутъ видно, что эти люди росли, не испытывая никакихъ нравственныхъ и умственныхъ вліяній, которыя бы помогли развитію ихъ души и наложили бы на нее свою печать. Чтò до нравственнаго вліянія, то Иртеневъ прямо говоритъ:

«Заботою о насъ отца было не столько нравственность и образованіе, сколько свѣтскія отношенія» (ч. I, стр. 102).

Чтò касается до умственнаго развитія, то нельзя не обратить вниманія на замѣчаніе Иртенева, что *исторія всегда казалась ему самымъ скучнымъ, тяжелымъ предметомъ*, и нельзя не найти комическимъ слѣдующій урокъ изъ исторіи:

«—Позвольте перышко, сказалъ мнѣ учитель, протягивая руку.—Оно пригодится. Ну-съ.

— Людо... Кар... Людовикъ святой былъ... былъ... былъ... добрый и умный царь...

— Кто-съ?

— Царь. Онъ вздумалъ пойти въ Иерусалимъ и *перевелъ бразды правленія* своей матери.

— Какъ ее звали-съ?

— Б...б...ланка.

— Какъ-съ? Буланка?

И усмѣхнулся какъ-то криво и неловко.

— Ну-съ, не знаете ли еще чего-нибудь? сказалъ онъ съ усмѣшкой» (ч. I, стр. 63).

При этомъ разсказѣ невольно чувствуется, что изъ чужеземной исторіи, какъ она у насъ до сихъ поръ преподается, намъ всего доступнѣе

Лишь дней минувшихъ анекдоты.

При такомъ ходѣ дѣла, было, однако же, одно вліяніе, которое обнаруживала окружающая среда на этихъ отроковъ и которое, разумѣется, дѣйствовало на нихъ очень сильно. Именно, на мѣсто различенія добра и зла, свѣта и тьмы, красоты и безобразія, въ душахъ ихъ было развиваемо понятіе *comme il faut*, понятіе—говорить Николай Иртеневъ—

«которое въ моей жизни было однимъ изъ самыхъ пагубныхъ, ложныхъ понятій, привитыхъ мнѣ воспитаніемъ и обществомъ.

«Родъ человѣческій можно раздѣлять на множество отдѣловъ—на богатыхъ и бѣдныхъ, на добрыхъ и злыхъ, на военныхъ и статскихъ, на умныхъ и глупыхъ и т. д.; но у каждаго человѣка есть непремѣнно свое любимое, главное подраздѣленіе, подъ которое онъ безсознательно подводитъ каждое новое лицо. Мое любимое и главное подраздѣленіе людей, въ то время, о которомъ я пишу, было на людей *comme il faut* и *comme il ne faut pas*.

«*Comme il faut* было для меня не только важной заслугой, прекраснымъ качествомъ, совершенствомъ, котораго я желалъ достигнуть, но это было необходимое условіе жизни, безъ ко-

тораго не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошаго на свѣтѣ. Я не уважалъ бы ни знаменитаго артиста, ни ученаго, ни благодѣтеля рода человѣческаго, еслибы онъ не былъ *comme il faut*. Человѣкъ *comme il faut* стоялъ выше и внѣ сравненія съ ними; онъ предоставлялъ имъ писать картины, ноты, книги, дѣлать добро—онъ даже хвалилъ ихъ за это,—отчего же и не похвалить хорошаго, въ комъ бы оно ни было?—но онъ не могъ становиться съ ними подъ одинъ уровень; онъ былъ *comme il faut*, а они нѣтъ—и довольно. Мнѣ кажется даже, что ежели бы у насъ былъ братъ, мать или отецъ, которые бы не были *comme il faut*, я бы сказалъ, что это несчастіе, но что ужъ тутъ между мной и ими не можетъ быть ничего общаго» (ч. I, стр. 123).

Вотъ катихизисъ, который былъ внушаемъ этимъ людямъ средою, ихъ окружавшею. Какъ не вспомнить здѣсь Онѣгина, который не прежде влюбился въ Татьяну, какъ увидѣвши ее блестящей свѣтской дамой, такую, что

Она, казалось,—вѣрный снимокъ
Du *comme il faut*,

и который былъ очень удивленъ, когда подъ этою внѣшностію нашелъ настоящую Татьяну, Татьяну не *comme il faut*, честную русскую женщину.

И большой Онѣгинъ, и маленькій Печоринъ, не смотря на тоску, ихъ грызущую, остаются, однако, въ томъ обществѣ, среди котораго родились. Съ героями гр. Толстаго дѣло происходитъ иначе. У нихъ рано начинается разладъ съ понятіями, привитыми обществомъ, и они уходятъ изъ своего круга и пускаются по всевозможнымъ путямъ, ища иныхъ людей и иной жизни для себя. Нехлюдовъ уходитъ въ деревню, Оленинъ въ казацкую станицу, другіе на Кавказъ въ дѣйствующіе отряды, или въ Севастополь, или даже, какъ Делесовъ,

на петербургскіе шпиц-балы, чтобы встрѣтиться тамъ съ Альбертомъ.

Разладъ происходитъ не у всѣхъ, а именно только у тѣхъ, кого гр. Толстой избираетъ своими героями. Другіе юноши легко сливаются съ своею средою. Такъ, братъ Николая Иртеньева, Володя, спокойно вступаетъ на путь своего отца. Такъ Бѣлецкій, встрѣтившійся съ Оленинымъ среди казаковъ, не чувствуетъ ни малѣйшаго разлада съ жизнью.

«Общее мнѣніе о Бѣлецкомъ было то, что онъ милый и добродушный малый. Можетъ быть, онъ и дѣйствительно былъ такой; но Оленину онъ показался, несмотря на добродушное хорошенькое лицо, чрезвычайно непріятель». (Ч. II, стр. 187).

Немудрено: между этими людьми нѣтъ ничего общаго. Одинъ принадлежитъ окружающей жизни, другой отъ нея оторвался. Одинъ легко ко всему прилаживается, для другого всякое жизненное явленіе составляетъ задачу.

«Бѣлецкій»—разсказывается далѣе—«сразу вошелъ въ обычную жизнь богатаго кавказскаго офицера въ станицѣ. Онъ подпаивалъ стариковъ, дѣлалъ вечеринки» и пр. «Казаки, ясно опредѣлившіе себѣ этого человѣка, любившаго вино и женщинъ, привыкли къ нему и даже полюбили его больше, чѣмъ Оленина, который былъ для нихъ *загадкой*».

Прибавимъ—загадкой и для самого себя. Далѣе, въ разговорѣ съ Бѣлецкимъ, Оленинъ самъ выражаетъ сознаніе своей разнородности съ нимъ и съ цѣлымъ міромъ, къ которому тотъ принадлежитъ. Оленинъ говоритъ:

«— Я знаю, что я составляю *исключеніе* (онъ видимо былъ смущенъ). Но жизнь моя устроилась такъ, что я не

вижу не только никакой потребности измѣнять свои правила, но я бы не могъ жить здѣсь, не говорю уже жить такъ счастливо, какъ живу, ежели бы я жилъ *по вашему*. И потому, я *совсѣмъ другого* ищу, *другое* вижу въ нихъ (женщинахъ), чѣмъ вы». (Ч. II, стр. 189).

Вотъ эти-то загадки для себя и другихъ, эти исключенія изъ общаго правила, и составляютъ главныхъ лицъ, выводимыхъ у гр. Толстаго. Лица эти—несчастные, страдающіе люди, въ противоположность счастливымъ и довольнымъ собою Володямъ, Бѣлецкимъ, Дубковымъ и всему множеству вообще. У нашихъ героевъ есть только одно счастливое время жизни, не *юность*, которая, походящему романическому мнѣнію составляетъ лучшую пору каждаго человѣка, не *мужество*, которое по сущности дѣла должно бы представлять полное раскрытіе жизни, а *дѣтство*, первоначальная пора, когда человѣкъ еще нѣтъ, а есть только задатокъ человѣка. Дѣтство является для нихъ единственною свѣтлою точкою. Вотъ какъ они говорятъ объ немъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ:

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дѣтства! Какъ не любить, какъ не лелѣять воспоминаній объ ней? Воспоминанія эти освѣжаютъ, возвышаютъ мою душу и служатъ для меня источникомъ лучшихъ наслажденій. (Ч. I, стр. 24).

«Вернутся ли когда-нибудь та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и сила вѣры, которыми обладаешь въ дѣтствѣ? *Какое время можетъ быть лучше* того, когда двѣ лучшія добродѣтели,—невинная веселость и безпредѣльная потребность любви, были единственными побужденіями въ жизни?»

«Гдѣ тѣ горячія молитвы? Гдѣ лучший даръ—тѣ чистыя слезы умиленія? Прилеталъ ангелъ-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и навѣвалъ сладкія грезы неиспорченному дѣтскому воображенію».

«Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?» (Тамъ же, стр. 25).

Конечно, можно считать очень несчастливими людей, у которыхъ есть дѣтство, но нѣтъ юности и мужества въ настоящемъ смыслѣ. Жизнь, имѣющая такой ходъ—очевидно, поражена глубокой неправильностію.

Что же случается? Какъ мы уже сказали, у героевъ гр. Толстаго возникаетъ разладъ съ окружающимъ міромъ. Процессъ возникновенія этого разлада описанъ у гр. Толстаго со всею отчетливостію. Не то, чтобы окружающая дѣйствительность поражала этихъ людей своимъ безобразіемъ, или производила на нихъ давленіе, изъ-подъ котораго они старались выбиться; не то, чтобы въ душѣ ихъ существовали стремленія, которыя не находили себѣ пищи, существовала жажда дѣятельности, для которой не оказывалось простора: нѣтъ—дѣло здѣсь имѣло совершенно иной видъ.

Среди той пустоты, того отсутствія вліяній, въ которомъ эти люди провели свое дѣтство и отрочество, у нихъ въ извѣстную пору, въ силу внутренняго развитія души, возникали идеальныя стремленія, чрезвычайно сильныя и совершенно неопредѣленные. Въ этомъ была ихъ бѣда, пощадившая другихъ юношей. Свѣтъ возникшаго идеала былъ такъ силенъ, что міръ *comme il faut* исчезалъ передъ нимъ безъ слѣда; идеалъ почти не удостоивалъ бороться съ этимъ міромъ. Такимъ образомъ, эти люди оставались наединѣ съ собою, отрѣзанные отъ своей дѣйствительности. Но, въ то же время, молодой позывъ къ идеалу не успѣваетъ сформироваться въ опредѣленные требованія и желанія. Недостаетъ руководства, примѣровъ, формъ, словъ и очертаній, которыя помогли

бы широкому и сильному идеалу, такъ-сказать, сложиться въ опредѣленный организмъ. Поэтому душа, если можно такъ выразиться, недорастаетъ; являются страдающіе люди, которые не знаютъ, что имъ дѣлать и какъ имъ дѣлать, которые и въ себѣ и въ другихъ постоянно отыскиваютъ идеальную сторону жизни, мучатся ея отсутствіемъ и, иногда, доходятъ до совершеннаго сомнѣнія въ ея существованіи.

Переломъ, которымъ начинается этотъ разладъ, наступаетъ въ *юности*.

«Подъ вліяніемъ Нехлюдова»—разсказываетъ Николай Иртеньевъ—«я невольно усвоилъ и его направленіе, сущность котораго составляло *восторженное обожаніе идеала добродѣтели* и убѣжденіе въ назначеніи человѣка совершенствоваться. Тогда исправить все человѣчество, уничтожить всѣ пороки и несчастія людскія, казалось удобоисполнимою вещью,—очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить всѣ добродѣтели и быть счастливымъ»... (Ч. I, стр. 80).

Совершенно опредѣленно эта эпоха обозначена нѣсколько далѣе:

«Тѣ добродѣтельныя мысли, которыя мы въ бесѣдахъ перебирали съ обожаемымъ другомъ моимъ Дмитріемъ, *чудеснымъ Митей*, какъ я самъ съ собою шепотомъ иногда называлъ его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли съ такой свѣжей силой моральнаго открытія пришли мнѣ въ голову, что я испугался, подумавъ о томъ, сколько времени я потерялъ даромъ, и тотчасъ же, ту же секунду, захотѣлъ прилагать эти мысли къ жизни, съ твердымъ намѣреніемъ никогда уже не измѣнять имъ.

«И съ этого времени я считаю начало *юности*.

«Мнѣ былъ тогда шестнадцатый годъ въ исходѣ».

Тутъ же сказывается и неопредѣленность этихъ порывовъ, пробудившихся съ такою силою.

«Этотъ пахучій сырой воздухъ и радостное солнце—говорили мнѣ внятно, ясно *о чемъ-то новомъ и прекрасномъ*, которое, хотя я не могу передать такъ, какъ оно сказывалось мнѣ, а постараюсь передать такъ, какъ я воспринималъ его—все мнѣ говорило про красоту, счастье и добродѣтель, говорило, что какъ то, такъ и другое легко и возможно для меня, что одно не можетъ быть безъ другаго, и даже, что красота, счастье и добродѣтель—одно и то же».

Иртеневъ мечтаетъ о своей новой жизни:

«... въ точности буду исполнять все (что было это «все», я никакъ бы не могъ сказать тогда, но я живо понималъ и чувствовалъ это «все» разумной, нравственной, безупречной жизни)».

А вотъ описаніе подобнаго пробужденія идеала у другого героя, двадцатичетырехлѣтняго юноши Оленина—лица, къ которому авторъ отнесся болѣе строго, чѣмъ къ Иртеневу. Оленинъ въ лѣсу задаетъ себѣ вопросъ: „какъ же надо жить, чтобы быть счастливымъ и отчего онъ не былъ счастливъ прежде?“

«И вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. «Счастье вотъ что»—сказалъ онъ самъ себѣ—«счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья, стало быть она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть, отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на вѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!» Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскочилъ, и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому бы сдѣлать добро, кого бы любить». (Ч. II, стр. 183).

Какъ все это молодо и благородно! Несмотря на то, что авторъ не только не льститъ этимъ юношамъ, а напротивъ, почти готовъ отнестись къ нимъ комически (чистаго комическаго отношенія, какъ мы замѣтили, у него не бываетъ, потому что это—не свободное, самообладающее творчество), нельзя не сочувствовать этимъ порывамъ. „Богъ одинъ знаетъ“—говорить съ сомнѣніемъ авторъ—*„точно ли смѣшны были эти благородныя мечты юности“*; но въ другомъ, болѣе объективномъ мѣстѣ, гр. Толстой ясно высказываетъ, какую цѣну имѣютъ эти мечты.

«Этотъ-то голосъ раскаянія и страстнаго желанія совершенства и былъ главнымъ новымъ душевнымъ ощущеніемъ въ ту эпоху моего развитія, и онъ-то положилъ новыя начала моему взгляду на себя, на людей и на міръ Божій. Благій, отрадный голосъ, столько разъ съ тѣхъ поръ, въ тѣ грустныя времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдругъ смѣло возстававшій противъ всякой неправды, злостно обличавшій прошедшее, указывавшій добро и счастье въ будущемъ—благій, отрадный голосъ! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?» (Ч. I, стр. 86).

Есть люди, у которыхъ никогда не звучалъ этотъ голосъ; есть такіе, у которыхъ онъ звучитъ въ извѣстную пору, но легко заглушается голосомъ нужды, страстей, привычекъ и примѣровъ окружающей жизни; чаще же всего, люди, подавляемые жизнью, чувствуютъ смиреніе передъ нею, не смѣютъ становиться выше ея и предлагать ей требованія, считаютъ дерзостію возложитъ и на себя большія надежды, и потому слѣпо влекутся обстоятельствами, смутно сознавая, что должна быть какая-то другая жизнь, которая, однако, имъ не по силамъ.

Но у героев гр. Толстаго, голосъ идеала звучить громко и не даетъ имъ никогда успокоиться. Одинъ изъ нихъ, чувствуя, что мелкія страсти и привычки совершенно завладѣли его душою, сталъ такъ для себя гадокъ, что застрѣлился („Разсказъ маркера“). Всѣ они приступаютъ къ себѣ и къ жизни съ огромными требованіями; у всѣхъ постоянно шевелится въ душѣ вопросъ, который рано задалъ себѣ Николай Иртеньевъ: „Зачѣмъ все такъ прекрасно, ясно у меня на душѣ и такъ безобразно выходитъ на бумагѣ и вообще въ жизни, когда я хочу примѣнять къ ней что-нибудь изъ того, что думаю?...“

Тутъ намъ слѣдовало бы привести цѣлый рядъ комическихъ явленій съ молодыми людьми гр. Толстаго—явленій, впрочемъ, очень обыкновенныхъ у всякаго рода молодыхъ людей. Явленія эти состоятъ въ томъ, что юноши прикидываются взрослыми людьми, обнаруживаютъ интересы, желанія, потребности, которыхъ не имѣютъ, волнуются чувствами, которыхъ не питаютъ, однимъ словомъ, *напускаютъ* на себя всякаго рода содержание, котораго еще лишены ихъ юныя души. Николай Иртеньевъ разсказываетъ про себя:

«Я продолжалъ считать своею непремѣнною обязанностію скрывать отъ всего общества Нехлюдовыхъ, и въ особенности отъ Вариньки, свои настоящія чувства и наклонности, и старался выказывать себя совершенно другимъ молодымъ человекомъ отъ того, какимъ я былъ въ дѣйствительности, и даже такимъ, какого не могло быть въ дѣйствительности» (Ч. I, стр. 136).

Подобныхъ обезьянничаній приведено множество въ разсказахъ гр. Толстаго. Смыслъ явленій такъ простъ, что не нуждается ни въ какомъ поясненіи. Комизмъ—

вотъ единственное правильное отношеніе къ нимъ; но замѣчательно, что именно этого-то отношенія и не устанавливается у гр. Толстаго. Очевидно, комизмъ былъ бы возможенъ только въ томъ случаѣ, еслибы у юношей, о которыхъ идетъ рѣчь, на ряду съ фальшивыми проявленіями, постепенно возрастали и усиливались дѣйствительныя чувства, желанія и потребности. Тогда эта дѣйствительная душевная жизнь могла бы утѣшить человека въ томъ, что онъ въ иныхъ случаяхъ поддался фальши, и дать ему надежду, что онъ, наконецъ, навсегда избавится отъ фальши. Но, къ несчастію, здѣсь нѣтъ этого утѣшенія и этой надежды. Герои гр. Толстаго чувствуютъ, что въ душѣ ихъ нѣтъ живыхъ движеній, и потому, съ горестію и уныніемъ видятъ въ себѣ одну фальшь. Прекрасный идеалъ, который они носятъ въ душѣ, заставляетъ ихъ страдать отъ той фальши, которой другіе предаются съ увлеченіемъ и о которой вспоминаютъ потомъ со смѣхомъ. Какое глубокое недовольство собою долженъ былъ чувствовать Николай Иртеньевъ, напримѣръ, при такомъ собственномъ поведеніи:

«Вспомнивъ, какъ Володя цѣловалъ прошлаго года кошелекъ своей барышни, я попробовалъ сдѣлать то же; и дѣйствительно, когда я одинъ вечеромъ въ своей комнатѣ сталъ мечтать, глядя на цвѣтокъ, и прикладывать его къ губамъ, и почувствовалъ нѣкоторое пріятно-слезливое расположеніе и снова былъ влюбленъ, или такъ предполагалъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней». (Ч. I, стр. 132).

Бѣдный мальчикъ! Онъ, очевидно, ясно чувствуетъ фальшь, которой Володя, конечно, предавался, не задумываясь, какъ будто дѣло дѣлалъ.

Откуда-же, спрашивается, такое отсутствіе живыхъ

интересовъ и потребностей у этихъ юношей? Мы уже указывали на отсутствіе умственныхъ и нравственныхъ вліяній, среди которыхъ они развивались. Внѣшнія ихъ обстоятельства давали имъ полную возможность жить особнякомъ, не связывая себя тѣсно ни съ какими людьми, ни съ какимъ опредѣленнымъ дѣломъ. Вотъ какъ авторъ описываетъ положеніе Оленина:

«Въ восемнадцать лѣтъ Оленинъ былъ такъ свободенъ, какъ только бывали свободны русскіе богатые молодые люди сороковыхъ годовъ, съ молодыхъ лѣтъ оставшіеся безъ родителей. Для него не было никакихъ, ни физическихъ, ни моральныхъ оковъ; онъ все могъ сдѣлать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни отечества, ни вѣры, ни нужды. Онъ ни во что не вѣрилъ и ничего не признавалъ». (Ч. II, стр. 153).

Другой герой слѣдующимъ образомъ указываетъ на то, какъ понятія, среди которыхъ онъ воспитывался, отрывали его отъ дѣйствительности:

«Ни потеря золотого времени, употребленнаго на постоянную заботу о соблюденіи всѣхъ трудныхъ для меня условій *comme il faut*, *исключающихъ всякое серьезное увлеченіе*, ни ненависть и презрѣніе къ девяти-десятымъ рода человѣческаго, ни отсутствіе вниманія ко всему прекрасному, совершающемуся внѣ кружка *comme il faut*, все это еще было не главное зло, которое мнѣ причинило это понятіе. Главное зло состояло въ томъ убѣжденіи, что *comme il faut* есть *самостоятельное положеніе въ обществѣ*, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ *comme il faut*; что, достигнувъ этого положенія, онъ *уже исполняетъ свое назначеніе*, и даже становится выше большей части людей».

«Въ извѣстную пору молодости, послѣ многихъ ошибокъ и увлеченій, каждый человѣкъ обыкновенно *становится въ необходимость* дѣятельнаго участія въ общественной жизни,

выбираетъ какую-нибудь отрасль труда и посвящаетъ себя ей; но съ человѣкомъ *comme il faut* это *редко случается*. Я зналъ и знаю очень, очень много людей старыхъ, гордыхъ, самоувѣренныхъ, рѣзкихъ въ сужденіяхъ, которые на вопросъ, если такой задастся имъ на томъ свѣтѣ: «кто ты такой? И что ты тамъ дѣлалъ?» не будутъ въ состояніи отвѣтить иначе, какъ: *je fus un homme très comme il faut*».

«Эта участь ожидала меня». (Ч. I, стр. 124).

Изъ этого видно, что пустая, безсодержательная среда не давала этимъ юношамъ никакой точки опоры, никакого живаго, теплаго прикосновенія къ дѣйствительности. Но это—только внѣшнее условіе или возможность для ихъ особаго развитія. Внутреннее, существенное условіе, по которому они не стали въ ряды *очень и очень многихъ*, почему они были выброшены изъ своей среды и почували въ себѣ такую страшную пустоту, заключается въ ихъ душевномъ пробужденіи, въ томъ порывѣ къ идеалу, отъ котораго начинается разладъ ихъ жизни.

«Бываютъ люди»—замѣчаетъ авторъ—«лишенные этого порыва, которые сразу, входя въ жизнь, надѣваются на себя первый попавшійся хомутъ и честно работаютъ въ немъ до конца жизни».

Вся бѣда нашихъ героевъ въ томъ и заключается, что они ни мало на такихъ людей не похожи и, на-примѣръ, прежде всего сбрасываютъ съ себя хомутъ *comme il faut*, въ которомъ многіе чувствуютъ себя такъ счастливо.

«Оленинъ»—разсказываетъ авторъ—«раздумывалъ надъ тѣмъ, куда положить всю силу молодости, только разъ въ жизни бывающую въ человѣкѣ, тотъ не повторяющійся порывъ, ту на одинъ разъ данную человѣку власть *сдѣлать изъ себя все*

что онъ хочетъ и, какъ ему кажется, и изъ всего міра все, что ему хочется».

«Оленинъ слишкомъ сознавалъ въ себѣ присутствіе этого всемогущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно желаніе, въ одну мысль, способность захотѣть и сдѣлать, броситься головой внизъ въ бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачѣмъ».

Итакъ, вотъ каковы герои гр. Толстаго. Это не худшіе наши люди, а скорѣе лучшіе. Это исключенія изъ нашей жизни, но исключенія, порожденные самою нашею жизнью, ея пустотою и безсодержательностію. Въ нихъ проснулась неумирающая душа человѣческая, они почувствовали въ себѣ порывъ къ идеалу, услышали его зовущій голосъ. Они пошли за нимъ и попали въ тотъ тяжелый разладъ съ самимъ собою и съ окружающими людьми, который составляетъ главную тему гр. Толстаго. При свѣтѣ своего идеала они сами себѣ кажутся пустыми и мертвенными, а окружающая ихъ жизнь является имъ темною и мелкою.

Что же дѣлаютъ герои графа Толстаго? Они буквально бродятъ по свѣту,нося въ себѣ свой идеалъ, и ищутъ идеальной стороны жизни. Они мучительно заняты рѣшеніемъ самыхъ общихъ и, повидимому, очень наивныхъ вопросовъ такого рода: существуетъ ли на свѣтѣ истинная дружба? существуетъ ли истинная любовь къ женщинѣ? существуетъ ли высокое наслажденіе природою или искусствомъ? существуетъ ли истинная доблесть, напр., храбрость на войнѣ? Эти вопросы, которые мы, обыкновенно, считаемъ признакомъ пошлости человѣка, ихъ задающаго, пошлости у насъ очень обыкновенной и всѣмъ знакомой, эти вопросы не стыдятся задавать себѣ юноши гр. Толстаго, потому что

для нихъ это мучительные вопросы, потому что они во чтобы то ни стало хотятъ увидѣть собственными глазами ту прекрасную сторону жизни, о которой они слышали и къ которой ихъ влечетъ внутреннее чувство. Двадцатичетырехлѣтній Оленинъ подъѣзжаетъ къ Кавказскимъ горамъ.

«Оленинъ съ жадностію сталъ вглядываться, но было пасмурно, и облака до половины застилали горы. Оленину видѣлось что-то сѣрое, бѣлое, курчавое; *какъ онъ ни старался*, онъ не могъ найти ничего хорошаго въ видѣ горъ, про которыя *столько читалъ и слышалъ*. Онъ подумалъ, что горы и облака имѣютъ совершенно одинаковый видъ, и что *особенная красота снѣговыхъ горъ* есть такая же *выдумка, какъ музыка Баха и любовь къ женщинамъ, въ которыя онъ не вѣрилъ*».

Но не даромъ же онъ поѣхалъ на Кавказъ, а не остался въ Москвѣ, вмѣстѣ съ Сашкой Б...—флигель-адъютантомъ, и княземъ Д... На другое же утро онъ *почувствовалъ всю безконечность красоты* горъ. Но если горы достались такъ легко, то въ другихъ случаяхъ приходилось вынести долгое исканіе и тысячи тяжелыхъ колебаній, прежде чѣмъ жизнь открывала свою таинственную красоту.

Бѣдная, бѣдная жизнь! Такъ ли ты уже дурна и темна на самомъ дѣлѣ, что каждую прекрасную черту твою нужно отыскивать, какъ кладъ, зарытый въ глубокомъ подземельѣ? Или же эти люди, жаждущіе твоей красоты, почему-то поражаются слѣпотою и неспособны увидѣть то, что прямо передъ ихъ глазами? Они *слышатъ*, они *читаютъ* про какой-то дивный міръ, гдѣ есть любовь къ женщинѣ, музыка Баха, красота природы; но, хотя женщинъ вокругъ нихъ много,—они не

любить кого-нибудь изъ нихъ, музыка звучитъ—они не чувствуютъ восторга, природа передъ глазами—они ея не видятъ.

Отыскивая по свѣту идеальную сторону жизни, герои графа Толстаго нерѣдко приходятъ въ отчаяніе, нерѣдко теряютъ вѣру въ то, что они когда-нибудь достигнутъ цѣли. Въ сочиненіяхъ графа Толстаго много есть мѣстъ, выражающихъ полное невѣріе въ жизнь, признаніе ея совершеннаго ничтожества, совершеннаго отсутствія въ ней идеала. У него встрѣчается, на примѣръ, отрицаніе любви, ни мало не уступающее тому невѣрію, которое г. Писемскій выразилъ относительно Ромео и Юліи. Въ „Юности“ есть глава, которая называется *Любовь*. Въ ней Николай Иртеневъ порѣшаетъ дѣло такъ:

«Есть три рода любви:

- 1) Любовь красивая,
- 2) Любовь самоотверженная, и
- 3) Любовь дѣятельная.

«Я говорю не о любви молодого мужчины къ молодой дѣвушкѣ и наоборотъ; я боюсь этихъ нѣжностей, и былъ такъ несчастливъ въ жизни, что никогда не видалъ въ этомъ родѣ любви *ни одной искры правды, а только ложь*, въ которой чувственность, супружескія отношенія, деньги, желаніе связать или развязать себѣ руки, до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было».

Это настоящій взглядъ г. Писемскаго. Отвергается именно та любовь, къ разряду которой относится любовь Ромео и Юліи. Остальные три рода любви тоже оказываются фальшью. Вотъ, на примѣръ, замѣтка о *любви красивой*.

«Смѣшно и странно сказать, но я увѣренъ, что было очень много и теперь есть много людей извѣстнаго обще-

ства, въ особенности женщинъ, которыхъ любовь къ друзьямъ, мужьямъ, дѣтямъ, сейчасъ бы уничтожилась, ежели бы имъ только запретили про нее впоорить по французски» (Ч. I, стр. 112).

Во второмъ разсказѣ о Севастополѣ—разсказѣ, гдѣ авторъ съ поразительнымъ мастерствомъ изобразилъ сцены мелочныхъ страстей, тщеславія, зависти, трусости, скупоści и т. д., которыя онъ напелъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ, казалось бы, можно было найти только невыразимо-величественную и грозную эпопею, гр. Толстой усумнился въ достоинствѣ души человѣческой и заключаетъ свой разсказъ такъ:

«Вотъ я и сказалъ, что хотѣлъ сказать на этотъ разъ. Но тяжелое раздумье одолеваетъ меня. Можетъ быть, не надо было говорить этого; можетъ быть, то, что я сказалъ, принадлежитъ къ одной *изъ тѣхъ злыхъ истинъ*, которыя, безсознательно таясь въ душѣ каждаго, не должны быть высказываемы, чтобы не сдѣлаться вредными, какъ осадокъ вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его».

«Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать, гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны» (Ч. II, стр. 61).

Злая истины, о которыхъ говорить здѣсь авторъ, встрѣчаются у него безпрестанно. Это—больное мѣсто въ душѣ его героевъ, до котораго они любятъ дотрогиваться. Тема этихъ злыхъ истинъ одна—ничтожество и малодушіе человѣческаго племени. Доказывается эта тема всегда одинаковымъ образомъ, именно тѣмъ, что герои ловятъ себя постоянно на отступленіи отъ своего идеала, на томъ, что не выдерживаютъ своихъ благороднѣйшихъ плановъ и предположеній. Они такъ любить свои высокія мечтанія, что ни за что не хотятъ

отъ нихъ отказаться, такъ что противорѣчіе жизни этимъ мечтаніямъ огорчаетъ ихъ до глубины души и наводитъ на самыя мрачныя идеи. Иногда это выходитъ комически, какъ огорченіе отъ неисполненія совершенно фантастическихъ, совершенно чуждыхъ дѣйствительности желаній. Вотъ, напримѣръ, мрачныя размышленія Николая Иртеньева:

«Мой другъ былъ совершенно правъ; только гораздо, гораздо позднѣе, и я изъ опыта жизни убѣдился въ томъ, какъ вредно думать и еще вреднѣе говорить многое, кажущееся очень благороднымъ, но *что навсегда должно быть спрятано отъ всѣхъ въ сердцахъ каждого человека*,—и въ томъ, что *благородныя слова рѣдко сходятся съ благородными дѣлами*. Я убѣжденъ въ томъ, что уже *по одному тому, что хорошее намѣреніе высказано*, трудно, даже большею частію *невозможно, исполнить это хорошее намѣреніе*. Но какъ удержать отъ высказыванія благородно-самодовольные порывы юности? Только гораздо позднѣе вспоминаешь объ нихъ, какъ о цвѣтикахъ, который—не удержался, сорвалъ нераспустившимся и потомъ увидѣлъ на землѣ завялымъ и затоптаннымъ.

«Я, который сейчасъ только говорилъ Дмитрію, своему другу, о томъ, чѣмъ деньги портятъ отношенія, на другой день утромъ, передъ нашимъ отъѣздомъ въ деревню, когда оказалось, что я промоталъ всѣ свои деньги на разныя картинки и стамбулки, взялъ у него двадцать пять рублей ассигнаціями на дорогу, которые онъ предложилъ мнѣ, и потомъ очень долго оставался ему долженъ».

Экая бѣда, въ самомъ дѣлѣ, эти двадцать пять рублей! И какъ отсюда ясно слѣдуетъ, что благородныхъ намѣреній не слѣдуетъ высказывать, а если разъ выскажешь, то уже потомъ никакъ не исполнишь!

Эти фантастическія страданія тѣмъ не менѣе суть страданія; они свидѣтельствуютъ все о томъ же—о силѣ идеальныхъ стремленій, которымъ преданы эти юноши,

слишкомъ много требующіе отъ себя и отъ жизни. Они строго судятъ людей и себя; но у нихъ нѣтъ никакого руководства, которое бы научило ихъ различать добро отъ зла, давало бы имъ ясно видѣть, что любить и что презирать. Юноша, который мучится избыткомъ благородныхъ чувствъ и намѣреній—собственно есть очень милое явленіе, разумѣется, какъ задатокъ. Но если этотъ задатокъ не развивается, если его мечты не получаютъ современемъ опредѣленныхъ формъ, если въ душѣ его не возникаетъ живыхъ потребностей, которые подсказали бы ему, что любить и что ненавидѣть, то это будетъ болѣзненное явленіе пустой, холодной жизни. Для князя Д. Нехлюдова въ „Люцернѣ“, міръ все еще представляется хаосомъ:

«Кто опредѣлитъ мнѣ»—спрашиваетъ онъ—«что свобода, что деспотизмъ, что цивилизація, что варварство? И гдѣ границы одного и другаго? У кого въ душѣ такъ непоколебимо это *мѣрило добра и зла*, чтобы онъ могъ мѣрить имъ бѣгущіе факты?»

Чѣмъ же оканчиваются, и оканчиваются ли вообще, всѣ эти волненія, сомнѣнія и колебанія? Находятъ ли, наконецъ, эти люди въ себѣ и въ другихъ ту идеальную сторону жизни, по которой они такъ мучатся? Какъ мы уже замѣтили, дѣло не останавливается на полномъ отчаяніи, къ которому они иногда приходятъ. Для нихъ открываются проблески истинной жизни, истинной духовной красоты, большею частію не въ нихъ, а въ другихъ людяхъ, которыхъ они въ своемъ упорномъ исканіи идеала, наконецъ, начинаютъ цѣнить и любить. Такимъ образомъ они пріобрѣтаютъ вѣру, что красота жизни существуетъ, что есть души, вполне сохраняющія достоинство человѣка, вполне достойныя сочувствія.

Особенно подробно и полно разработанъ у графа Толстаго вопросъ о *храбрости*, о томъ, какъ дѣлается война, по выраженію одного изъ лицъ его севастопольскихъ рассказовъ, Козельцова, т. е. какъ она дѣлается по отношенію къ недѣлимымъ, къ душѣ лицъ, тѣмъ или другимъ путемъ попавшихъ на театръ войны. Начинается разработка этого вопроса съ повѣсти „Набѣгъ“, а концомъ разработки можно считать „1805 годъ“ *), гдѣ, во второй части, война изображена уже съ полнымъ мастерствомъ, съ полнымъ знаніемъ дѣла, съ полнымъ обладаніемъ предметомъ. Центръ же, поворотную точку, гдѣ достигнута, наконецъ, *суть* дѣла, гдѣ храбрость найдена лицомъ къ лицу, составляетъ *послѣдній* севастопольскій рассказъ.

Въ „Набѣгъ“ выведенъ на сцену *волонтеръ*, который, какъ подобаетъ герою графа Толстаго, ищетъ проявленій истинной жизни и потому просится въ дѣло, чтобы видѣть, проявляется ли, и какъ проявляется храбрость. Его отговариваютъ.

—«И чего вы не видали тамъ? продолжалъ убѣждать меня капитанъ.—*Хочется вамъ узнать, какія сраженія бывають?* Прочтите Михайловскаго-Данилевскаго «Описаніе войны» — прекрасная книга: тамъ все подробно описано—и гдѣ какой корпусъ стоялъ, и какъ сраженія происходятъ.

—«Напротивъ, *это-то* меня и не занимаетъ», отвѣчалъ я.

—«Ну, такъ что же? вамъ просто хочется, видно, посмотреть, какъ людей убиваютъ!.. Вотъ въ тридцать второмъ году былъ тутъ же неслужащій какой-то, изъ испанцевъ, кажется. Два похода съ нами ходилъ, въ синемъ плащѣ въ

*) Вотъ полное заглавіе этой книги: *Тысяча восемь сотъ пятый годъ, Гр. Льва Толстаго. Дѣя части. Москва 1866.* Это ничто иное, какъ начало „Войны и Мира“, до Шенграбенскаго сраженія включительно.

какомъ-то... такъ ухлопали молодца. Здѣсь, батюшка, никого не удивись!»

Немудрено, что этотъ истинно-прекрасный человѣкъ, капитанъ Хлоповъ, не понимаетъ, чего хочется волонтеру. Для него не существуетъ душевнаго вопроса, который мучить молодого человѣка. Для него *храбрость* такое же простое и ясное понятіе, какъ и всѣ другія, и онъ понимаетъ „Описаніе“ Михайловскаго-Данилевскаго. Волонтеръ же не понимаетъ этого слова, какъ и многихъ другихъ, о которыхъ *слышалъ* и *читалъ*. Это сейчасъ и оказывается изъ его разспросовъ.

—«Что, онъ *храбрый* былъ?» спросилъ я капитана (про испанца).

—«А Богъ его знаетъ: все бывало впереди ѣздить; гдѣ перестрѣлка, тамъ и онъ.

—«Такъ стало быть храбрый, сказалъ я.

—«Нѣтъ, это не значить храбрый, что суется туда, гдѣ его не спрашиваютъ...

—«*Что же вы называете храбрымъ?*

—«Храбрый? храбрый? повторилъ капитанъ съ видомъ человѣка, которому въ первый разъ представляется подобный вопросъ»... (Ч. II, стр. 7).

Вопросъ этотъ никогда не беспокоилъ капитана, между тѣмъ какъ онъ глубоко тревожитъ волонтера. И вотъ, волонтеръ напряженно присматривается къ тому, какъ держатъ себя различные лица во время похода и дѣла.

«Я съ любопытствомъ вслушивался въ разговоры солдатъ и офицеровъ и внимательно всматривался въ выраженія ихъ *физиономій*; но рѣшительно ни въ комъ я не могъ замѣтить и тѣни того *безпокойства*, которое испытывалъ самъ: шуточки, смѣхи, рассказы, выражали общую беззаботность и равнодушіе къ предстоящей опасности». (Ч. II, стр. 11).

Испытывая самъ нѣкоторое чувство страха, онъ видѣть лицомъ къ лицу всѣ проявленія мужества и удивляется имъ, но еще не понимаетъ ихъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ прямо и говоритъ: *я совершенно ничего не понималъ* (Тамъ же, стр. 12).

Стараясь, однакоже, рѣшить, которое изъ этихъ различныхъ явленій храбрости достигаетъ совершенной полноты, которое представляетъ настоящее воплощеніе идеала, волонтеръ останавливается въ заключеніе на капитанѣ Хлоповѣ:

«Въ фигурѣ капитана было *очень мало воинственнаго*; но зато въ ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. *«Вотъ кто истинно храбръ»*, сказалось мнѣ невольно.

«Онъ былъ точно такимъ же, какимъ я всегда видѣлъ его.

«Легко сказать: такимъ же, какъ и всегда; но сколько различныхъ оттѣнковъ я замѣчалъ въ другихъ: одинъ хочетъ казаться спокойнѣе, другой суровѣе, третій веселѣе, чѣмъ обыкновенно; по лицу же капитана замѣтно, что капитанъ *и не понимаетъ, зачѣмъ казаться»*.

Вотъ первое рѣшеніе вопроса, очевидно, весьма слабое и недостаточное. Капитанъ Хлоповъ, конечно, прекрасный и храбрый человѣкъ; но не всѣ же могутъ быть такъ просты, какъ онъ. Можетъ быть, храбрыми могутъ быть и люди, которые понимаютъ нѣсколько больше его, которые понимаютъ, *зачѣмъ казаться*, задавали себѣ вопросъ: *что такое храбрый*, равно какъ и многіе другіе вопросы, никогда не приходившіе въ голову капитана Хлопова.

Итакъ, требуются новые этюды. Авторъ рисуетъ множество людей, менѣе спокойныхъ, чѣмъ капитанъ, волнующихся страхомъ при видѣ опасности, иныхъ совер-

шенно поддающихся этому страху, другихъ успѣшно борющихся съ нимъ, и многихъ вполне и блистательно подавляющихъ это чувство и владѣющихъ собою. Среди этого анализа, попадаетъ и *злая истина* на своемъ надлежащемъ мѣстѣ. Въ „Рубкѣ лѣса“, юнкеръ рассказываетъ свой разговоръ съ ротнымъ командиромъ Болховымъ, который „имѣлъ состояніе, служилъ прежде въ гвардіи и говорилъ по французски“. Этотъ Болховъ объявляетъ юнкеру, что онъ неспособенъ къ кавказской службѣ.

«Я», говоритъ онъ, «не могу переносить опасности... просто *я не храбръ*...

«Онъ остановился и посмотрѣлъ на меня безъ шутокъ». (Ч. II, стр. 27).

Болховъ, очевидно, трусъ, до того падающій духомъ, что уже не можетъ владѣть собою. Казалось бы, подобное малодушіе должно было непріятно подѣйствовать на юнкера. Между тѣмъ, вотъ разговоръ, который происходитъ между ними въ тотъ же день:

«Болховъ съ улыбкой посмотрѣлъ на меня.

— А я думаю, вамъ очень страннымъ показался нашъ разговоръ утромъ? сказалъ онъ.

— Нѣтъ, *отчего же?* Мнѣ только показалось, что вы слишкомъ откровенны; *есть вещи, которыя мы всѣ знаемъ, но которыя никогда говорить не надо*.

То есть, всѣ мы трусы, да только нельзя же объ этомъ рассказывать. Бѣдный юноша! Онъ, очевидно, испуганъ не опасностію, а тѣмъ, что чувствуетъ въ душѣ своей страхъ, несмотря на свое отвращеніе отъ этого чувства и желаніе подавить его. Стыдливо скрываетъ онъ свою внутреннюю благородную борьбу, и когда ма-

лодушный и мелочной Болховъ открываетъ ему свою трусость, онъ не смѣетъ укорить его, ставитъ себя съ нимъ наравнѣ и называетъ и себя трусомъ.

Много и другихъ проявленій малодушія анализировано авторомъ съ его необыкновеннымъ мастерствомъ. Черты тщеславія и другихъ мелкихъ страстей, разыгрывающихся среди самаго разгара битвъ и великихъ событій, тоже выставлены, какъ явленія, подрывающія вѣру въ достоинство души человѣческой. Человѣкъ доблестный среди битвы—черезъ минуту становится мелочнымъ въ обыкновенной жизни. Чтѣ же такое эта доблесть, такъ быстро уступающая мѣсто малодушію? На эту тему, какъ мы уже упоминали, написанъ второй севастопольскій рассказъ. Но Севастополь взялъ-таки свое. Въ третьемъ, послѣднемъ севастопольскомъ рассказѣ, уже вполне разрѣшенъ вопросъ: чтѣ такое храбрость. Этотъ рассказъ писанъ уже полною художественною манерою, тою же самою, которою писанъ „1805 годъ“. Въ рассказѣ „Севастополь въ августѣ 1855 года“, уже твердо записано важное замѣчаніе,

«что страхъ, какъ и *каждое сильное чувство*, не можетъ въ одной степени продолжаться долго». (Ч. II, стр. 79).

Замѣчаніе весьма важное для того наивно-идеальнаго взгляда, который готовъ потребовать, чтобы человѣкъ постоянно питалъ весьма сильныя и весьма благородныя чувства.

По обыкновенію, авторъ и здѣсь рисуетъ свои лица со всею правдивостію, изображаетъ всѣ ихъ мелочныя слабости, всевозможные переходы отъ доблести къ малодушію. Онъ рассказываетъ, напримѣръ, какъ, наканунѣ битвы, офицеры въ оборонительной казармѣ играютъ въ

карты. Они жадничаютъ, злятся, наконецъ завязывается ссора. Авторъ перестаетъ рассказывать.

«Опустимъ»—говоритъ онъ—«скорѣе занавѣсу надъ этой сценой. Завтра, нынче же, можетъ быть, каждый изъ этихъ людей *весело и гордо* пойдетъ на встрѣчу смерти и умретъ *твердо и спокойно*; но одна отрада жизни въ тѣхъ ужасающихъ самое холодное воображеніе условіяхъ отсутствія всего человѣческаго и безнадежности выхода изъ нихъ, одна отрада есть—забвеніе, уничтоженіе сознанія. *На днѣ души каждого лежитъ та благородная искра, которая сдѣлаетъ изъ него героя*; но *искра эта угасаетъ горѣть ярко*—придетъ роковая минута, она *вспыхнетъ пламенемъ* и освѣтитъ *великія дѣла*».

Итакъ, вотъ разгадка! Вотъ объясненіе возможности героизма и признаніе его дѣйствительнаго существованія. Стыдливый юнкеръ и безстыдный трусъ Болховъ уже никого не заставятъ усумниться въ возможности доблести въ душѣ человѣческой.

Само собою разумѣется, что присутствіе душевной доблести не могло быть подвергнуто сомнѣнію гр. Толстымъ—въ простомъ народѣ, не въ средѣ юнкеровъ, волонтеровъ и офицеровъ, а въ средѣ простыхъ солдатъ. Здѣсь дѣло было столь же ясное, какъ и относительно капитана Хлопова. Храбрость была на лицо, и оставалось только изучать ее. Въ этомъ отношеніи найдется немало прекрасныхъ изображеній у гр. Толстаго. Величіе народнаго духа особенно поражаетъ въ *первомъ* севастопольскомъ рассказѣ „Севастополь въ декабрѣ 1854 г.“ Это какъ будто первое неотразимое впечатлѣніе, которое потомъ забылось въ силу постоянного и неизмѣннаго присутствія предмета, его производившаго, такъ что явилась возможность возникнуть колебаніямъ и грусти *второго* рассказа. Но, очевидно, заключеніе перваго рассказа годится и для всѣхъ трехъ.

«Надолго» — оканчиваетъ авторъ — «оставить въ Россіи великіе слѣды эта эпопея Севастополя, которой героемъ былъ народъ русскій...»

Итакъ, герой найденъ, наконецъ. Герой несомнительный, въ которомъ ни разу не приходилось усумниться, рассказывая о которомъ, нельзя было ни разу окончить правдивую повѣсть грустнымъ вопросомъ: „кто же герой этой повѣсти?“

Намъ довелось бы долго черпать въ книгѣ, столь богатой поэзіею и наблюдательностію, какъ сочиненія гр. Толстаго, еслибы мы вздумали прослѣдить другія черты душевной жизни тѣхъ героевъ автора, на которыхъ устремлено его главное вниманіе, то есть, дѣтей нашего общества, Иртеньевыхъ, Олениныхъ, князей Нехлюдовыхъ и пр. Они больны, эти люди, одною болѣзнію — пустотою и мертвенностію души. Но у нихъ въ душѣ несомнѣнно таится *благородная искра*, которая стремится *встлѣхнуть пламенемъ*, и только почему-то не находитъ пищи для своего огня. Еслибы эта искра вспыхнула, она озарила бы прекрасную душевную жизнь; стремленіе къ этой жизни составляетъ мученіе этихъ душъ.

На сколько нашъ общій духовный складъ, наше образованіе, образъ мыслей и чувствъ, или отсутствіе мыслей и чувствъ въ нашемъ обществѣ — содѣйствуютъ рожденію такихъ болѣзненныхъ явленій, — вопросъ, который мы не будемъ рѣшать, но который ясно затрогивается этими явленіями.

Но еще интереснѣе вопросъ: какія живыя начала обнаруживаетъ здѣсь русская душа, какой нравственный и эстетическій складъ она проявляетъ, выбиваясь изъ-подъ какого-то давящаго ее недуга?

(Отечественныя Записки 1866, декабрь).

Война и миръ. Сочиненіе Графа Л. Н. Толстаго. Томы I, II, III и IV. Изданіе второе. Москва, 1868.

Статья первая.

Все, что дѣлается у насъ въ литературѣ и литературной критикѣ, забывается быстро и, такъ сказать, поспѣшно. Таковъ, впрочемъ, вообще удивительный ходъ нашего умственного прогресса; сегодня мы забываемъ то, что сдѣлано вчера, и каждую минуту чувствуемъ себя такъ, какъ будто за нами нѣтъ никакого прошедшаго, — каждую минуту готовы начинать все съизнова. Число книгъ и журналовъ, число читающихъ и пишущихъ возрастаетъ съ каждымъ годомъ; между тѣмъ, число установившихся понятій, — такихъ понятій, которыя получили бы ясный и опредѣленный смыслъ для большинства, для массы читающихъ и пишущихъ, — повидимому, не только не увеличивается, а даже уменьшается. Наблюдая, какъ, въ продолженіе десятковъ лѣтъ, на сценѣ нашего умственного міра фигурируютъ все одни и тѣ же вопросы, постоянно поднимаемые и постоянно недѣлающіе ни шагу впередъ, — какъ одни и тѣ же мнѣнія, предрасудки, заблужденія повторяются безъ конца, каждый разъ въ видѣ чего-то новаго, — какъ, не только статья или книга, а цѣлая дѣятельность иного человѣка,

горячо и долго работавшаго надъ извѣстной областію и успѣвшаго внести въ нее нѣкоторый свѣтъ, исчезаетъ, повидимому, безъ всякаго слѣда, и опять безконечной вереницею появляются все тѣ же мнѣнія, все тѣ же ошибки, тѣ же недоразумѣнія, та же путаница и бессмыслица,—наблюдая все это, можно подумать, что мы вовсе не развиваемся, не движемся впередъ, а только толчемся на одномъ мѣстѣ, вертимся въ заколдованномъ кругу. „Мы растемъ“, говорилъ Чаадаевъ, „но не зрѣемъ“.

Со временъ Чаадаева дѣло не только не улучшилось, а ухудшилось. Тотъ существенный порокъ, который онъ замѣтилъ въ нашемъ развитіи, раскрывался все съ большею и съ большею силою. Въ тѣ времена дѣло шло медленнѣе и касалось сравнительно-небольшаго числа людей; нынче, припадки болѣзни ускорились и охватили огромную массу. „Наши умы“, писалъ Чаадаевъ, „не браздятся неизгладимыми чертами послѣдовательнаго движенія идей“; и вотъ, по мѣрѣ внѣшняго развитія литературы, все больше и больше растетъ число пишущихъ и читающихъ, которые чужды всякихъ основъ, не имѣютъ для своихъ мыслей никакихъ точекъ опоры, не чувствуютъ въ себѣ ни съ чѣмъ никакой связи. Отрицаніе, бывшее нѣкогда смѣлостію и дѣлавшее первые шаги съ усиліемъ, сдѣлалось наконецъ общимъ мѣстомъ, рутиною, казенщиною; какъ общая подкладка, какъ исходная точка для всевозможныхъ блужданій и шатаний мысли, образовался нигилизмъ, то есть, почти прямое отрицаніе всего прошедшаго,—отрицаніе всякой необходимости какого бы то ни было историческаго развитія. „У каждаго человѣка, когда бы и гдѣ бы онъ ни родился, есть мозгъ, сердце, печенька, желудокъ: чего же еще нужно для того, чтобы онъ мыслилъ и дѣйствовалъ

почеловѣчески?“ Нигилизмъ, имѣющій тысячи формъ и проявляющійся въ тысячахъ поползновеній, намъ кажется, есть только пробившееся наружу сознаніе нашей интеллигенціи, что ея образованность не имѣетъ никакихъ прочныхъ корней,—что въ ея умахъ никакія идеи не оставили слѣдовъ,—что прошедшаго у нея вовсе нѣтъ.

Многіе негодуютъ на такой ходъ дѣлъ, да и какъ возможно иногда сдержать негодованіе? Какъ не окрестить глупостію и нелѣпостію всѣ эти безобразнѣйшія мнѣнія, формирующіяся, повидимому, безъ всякаго участія правильной мысли? Какъ не назвать грубымъ и дикимъ невѣжествомъ это полное непониманіе и забвеніе прошлаго,—эти разсужденія не только не опирающіяся на изученіе предмета, но явно дышашія совершеннымъ презрѣніемъ ко всякому изученію? И однако же мы были бы совершенно неправы, если бы приписывали плачевныя явленія нашего умственнаго міра этимъ двумъ причинамъ, то есть, слабости русскіихъ умовъ и господствующему между ними невѣжеству. Умы слабые и невѣжественные не суть еще по этому самому умы блуждающіе и забывчивые. Очевидно, причина здѣсь другая, болѣе глубокая. Скорѣе же бѣда въ томъ, что мы не только не считаемъ, но даже имѣемъ нѣкоторое право не считать себя невѣжественными; бѣда въ томъ, что мы дѣйствительно обладаемъ какимъ-то образованіемъ, но что это образованіе внушаетъ намъ только смѣлость и развязность и не вноситъ никакого толку въ наши мысли. Другая же причина, параллельная первой и составляющая главный, коренной источникъ зла, очевидно, та, что у насъ, при этой ложной образованности, недостаетъ дѣйствительнаго, *настоящаго* образованія, которое своимъ дѣйствіемъ парализовало бы всѣ

уклоненія и блужданія, порождаемыя какими бы то ни было причинами.

Итакъ, дѣло гораздо сложнѣе и глубже, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Общая формула, *намъ нужно больше образованія*, подобно другимъ общимъ формуламъ, не разрѣшаетъ вопроса. Пока всякій новый наплывъ образованія будетъ имѣть слѣдствиемъ только наращеніе нашей безсодержательной, неимѣющей никакихъ корней, словомъ *фальшивой* образованности, образованіе не будетъ приносить намъ никакой пользы. А это не прекратится и не можетъ прекратиться до тѣхъ поръ, пока у насъ не разовьются и не укрѣпятся ростки и побѣги настоящаго образованія, — пока не получитъ полной силы движеніе идей, „оставляющее въ умахъ неизгладимыя черты“.

Дѣло трудное до высокой степени. Ибо для того, чтобы образованіе заслуживало своего имени, — чтобы его явленія имѣли надлежащую силу, надлежащую связь и послѣдовательность, — чтобы мы сегодня не забывали того, что дѣлали и о чемъ думали вчера, — для этого необходимо требуется весьма тяжелое условіе, требуется самостоятельное, самобытное умственное развитіе. Необходимо, чтобы мы жили не чужою, а своею умственною жизнью, — чтобы чужія идеи не просто отпечатлѣвались, или отражались на насъ, а превращались бы въ нашу плоть и кровь, перерабатывались бы въ части нашего организма. Мы не должны быть воскомъ, отливающимся въ готовые формы, а должны быть живымъ существомъ, которое всѣму имъ воспринимаемому даетъ свои собственные формы, образуемыя имъ по законамъ своего собственнаго развитія. Такова высокая цѣна, которою одною мы можемъ купить дѣйствительное образованіе.

Если мы станемъ на эту точку зрѣнія, — если подумаемъ, какъ неизбѣжно это условіе, какъ оно трудно и высоко, — то намъ многое объяснится въ явленіяхъ нашего умственнаго міра. Мы не будемъ уже дивиться тѣмъ безобразіямъ, которыя наполняютъ его и не станемъ надѣяться на скорое очищеніе его отъ этихъ безобразій. Всему этому слѣдовало быть и слѣдуетъ быть еще долго. Развѣ можно требовать, чтобы наша интеллигенція, не выполняя существеннаго условія правильнаго развитія, произвела что-нибудь хорошее? Развѣ не должна естественно, необходимо, возникнуть эта призрачная дѣятельность, это мнимое движеніе, этотъ прогрессъ, не оставляющій послѣ себя никакихъ слѣдовъ? Зло, для того чтобы прекратиться, должно быть исчерпано до конца; слѣдствія будутъ продолжаться, пока будутъ существовать причины.

Весь нашъ умственный міръ давно уже раздѣляется на двѣ области, только изрѣдка и ненадолго сливающихся между собою. Одна область, самая большая, объемлющая большинство читающихъ и пишущихъ, есть область прогресса, не оставляющаго слѣдовъ, — область метеоровъ и миражей, — *дымъ, несущійся по вѣтру*, какъ выразился Тургеневъ. Другая область, несравненно меньшая, заключаетъ въ себѣ все, что дѣйствительно *дѣлается* въ нашемъ умственномъ движеніи, — есть русло, питаемое живыми родниками, — струя нѣкотораго преемственнаго развитія. Это та область, въ которой мы не только растемъ, но и зрѣемъ, — въ которой, слѣдовательно, такъ или иначе совершается трудъ нашей самостоятельной духовной жизни. Ибо дѣйствительнымъ дѣломъ въ этомъ случаѣ можетъ быть только то, что носить на себѣ печать самобытности, и (по справедливому

замѣчанію, давно сдѣланному нашей критикой) каждый замѣчательный дѣятель нашего развитія непременно обнаруживалъ въ себѣ вполне русскаго человѣка. Понятно теперь противорѣчіе, существующее между этими двумя областями, — противорѣчіе, которое должно возрастать по мѣрѣ уясненія ихъ взаимныхъ отношеній. Для первой, господствующей области, явленія второй не имѣютъ почти никакого значенія. Она или не обращаетъ на нихъ никакого вниманія, или понимаетъ ихъ превратно и искаженно; она ихъ или вовсе не знаетъ, или узнаетъ поверхностно и быстро забываетъ.

Они забываютъ, и имъ естественно забывать; но кто же помнитъ? Казалось бы, у насъ должны существовать люди, для которыхъ столь же естественно помнить, какъ для тѣхъ — забывать, — люди, способные оцѣнить достоинство какихъ бы то ни было явленій умственного міра, не увлекающіеся минутными настроеніями общества и умѣющіе, сквозь дымъ и туманъ, видѣть настоящее движеніе впередъ и отличать его отъ пустаго, бесплоднаго броженія. Дѣйствительно, у насъ есть люди, повидимому, вполне способные для этого дѣла; но, по несчастію, такова сила вещей, что они этого дѣла не дѣлаютъ, не желаютъ дѣлать, да въ сущности и не могутъ. Наши серьезные и основательно-образованные люди неизбѣжно находятся подъ злополучнымъ вліяніемъ общаго порока нашего развитія. Прежде всего — ихъ собственное образованіе, обыкновенно составляющее нѣкоторое исключеніе, и хотя высокое, но болѣею частью одностороннее, внушаетъ имъ высокомеріе къ явленіямъ нашего умственного міра; они не удостоиваютъ его пристального вниманія. Затѣмъ, по своимъ отношеніямъ къ этому міру, они раздѣляются на два разряда: одни питаютъ

къ нему полнѣйшее равнодушіе, какъ къ явленію, для нихъ болѣе или менѣе чуждому; другіе, теоретически признавая свое родство съ этимъ міромъ, останавливаются въ немъ на кой-какихъ единичныхъ явленіяхъ и тѣмъ съ болѣешимъ презрѣніемъ смотрятъ на все остальное. Первое отношеніе — космополитическое, второе національное. Космополиты — грубо, невнимательно, безъ любви и проникательности, — подводятъ наше развитіе подъ европейскія мѣрки и не умѣютъ въ немъ видѣть ничего особенно хорошаго. Націоналы, съ неменьшею грубостію и невнимательностію, прилагаютъ къ нашему развитію требованіе самобытности и, на этомъ основаніи, отрицаютъ въ немъ все, кромѣ немногихъ исключеній.

Очевидно, вся трудность заключается въ умѣннхъ цѣнить проявленія самобытности. Одни вовсе не желаютъ и не умѣютъ ихъ находить; немудрено, что они ихъ не видятъ. Другіе именно ихъ и желаютъ; но, будучи слишкомъ скоры и требовательны въ своихъ желаніяхъ, вѣчно недовольны тѣмъ, что есть на самомъ дѣлѣ. Такимъ образомъ, дѣло, безцѣнное и совершаемое съ тяжкимъ трудомъ, постоянно остается въ пренебреженіи. Одни повѣряютъ въ русскую мысль только тогда, когда она произведетъ великихъ всемірныхъ философовъ и поэтовъ; другіе — только тогда, когда всѣ ея созданія примутъ яркій національный отпечатокъ. А до тѣхъ поръ, тѣ и другіе считаютъ себя въ правѣ съ презрѣніемъ относиться къ ея работѣ, — забывать все, что она ни сдѣлаетъ, — и попрежнему подавлять ее все тѣми же высокими требованіями.

Такія мысли пришли намъ на умъ, когда мы рѣшились приступить къ разбору „Войны и Мира“. И намъ кажется, эти мысли всего умѣстнѣе, когда дѣло идетъ именно о новомъ художественномъ произведеніи.

Съ чего начать? Къ чему намъ примкнуть свои сужденія? На что бы мы ни сослались, на какія бы понятія ни оперлись, все будетъ темно и непонятно для большинства нашихъ читателей. Новое произведение гр. Л. Н. Толстаго, одно изъ прекраснѣйшихъ произведеній русской литературы, составляетъ, во-первыхъ, плодъ движенія этой литературы, ея глубокаго и труднаго прогресса; во-вторыхъ, оно есть результатъ развитія самого художника, его долгой и совѣстливой работы надъ своимъ талантомъ. Но кто же имѣетъ ясное понятіе о движеніи нашей литературы и о развитіи таланта гр. Л. Н. Толстаго? Правда, наша критика нѣкогда внимательно и глубокомысленно оцѣнила особенности этого удивительнаго таланта*); но кто же объ этомъ помнить?

Недавно одинъ критикъ объявилъ, что передъ появленіемъ „Войны и Мира“ всѣ уже забыли о гр. Л. Н. Толстомъ, и никто о немъ больше не думалъ. Замѣчаніе совершенно справедливое. Конечно, вѣроятно, были еще отсталые читатели, которые продолжали восхищаться прежними произведеніями этого писателя и находить въ нихъ безцѣнные откровенія души человѣческой. Но наши критики не принадлежали къ числу этихъ наивныхъ читателей. Наши критики, конечно, меньше всѣхъ другихъ помнили о гр. Л. Н. Толстомъ и думали о немъ. Мы будемъ правы, если даже распространимъ и обобщимъ это заключеніе. Есть у насъ, вѣроятно, читатели, которые дорожатъ русской литературой,—которые помнятъ и любятъ ее; но это отнюдь не русскіе критики. Критиковъ же наша литература не столько занимаетъ, сколько беспокоитъ своимъ суще-

*) Здѣсь разумѣется статьи Аполлона Григорьева.

ствованіемъ; они вовсе не желаютъ объ ней помнить и думать, и только досаждаютъ, когда она напоминаетъ имъ о себѣ новыми произведеніями.

Таково, дѣйствительно, было впечатлѣніе, произведенное появленіемъ „Войны и Мира“. Для многихъ, съ наслажденіемъ занимавшихся чтеніемъ послѣднихъ книжекъ журналовъ и въ нихъ своихъ собственныхъ статей, было чрезвычайно непріятно убѣдиться, что есть какая-то другая область, о которой они не думали и думать не хотѣли, и въ которой, однакоже, созидаются явленія огромныхъ размѣровъ и блистательной красоты. Каждому дорого свое спокойствіе, — самолюбивая увѣренность въ своемъ умѣ, въ значеніи своей дѣятельности,—и отсюда объясняются тѣ озлобленные вопли, которые у насъ поднимаются—въ частности на поэтовъ и художниковъ, а вообще на все, что уличаетъ насъ въ невѣжествѣ, забвеніи и непониманіи.

Изъ всего этого мы выведемъ сперва одно заключеніе: у насъ трудно говорить о литературѣ. Вообще замѣчено, что у насъ трудно говорить о чемъ бы то ни было, не возбуждая безчисленныхъ недоразумѣній,—не вызывая самыхъ невѣроятныхъ извращеній своей мысли. Но всего труднѣе говорить о томъ, что называется литературой по преимуществу, о художественныхъ произведеніяхъ. Тутъ намъ слѣдуетъ не предполагать у читателей никакихъ сколько-нибудь установленныхъ понятій; слѣдуетъ писать такъ, какъ будто никто ничего не знаетъ ни о нынѣшнемъ состояніи нашей литературы и критики, ни объ историческомъ развитіи, которое привело ихъ къ этому состоянію.

Такъ мы и поступимъ. Не ссылаясь ни на что, мы будемъ прямо заявлять факты, описывать ихъ съ воз-

можною точностію, анализировать ихъ значеніе и связь, и отсюда уже выводить свои заключенія.

I.

Фактъ, которымъ вызвано настоящее изслѣдованіе, и за объясненіе котораго, вслѣдствіе его огромности, мы беремся не безъ сомнѣнія въ своихъ силахъ, заключается въ слѣдующемъ:

Въ 1868 году появилось одно изъ лучшихъ произведеній нашей литературы, „Война и Миръ“ Успѣхъ его былъ необыкновенный. Давно уже ни одна книга не читалась съ такою жадностію. Притомъ, это былъ успѣхъ самаго высокаго разряда. „Войну и Миръ“ внимательно читали не только простые любители чтенія, до сихъ поръ восхищающіеся Дюма и Февалемъ, но и самые взыскательные читатели, — всѣ, имѣющіе основательное или неосновательное притязаніе на ученость и образованность; читали даже тѣ, которые вообще презираютъ русскую литературу и ничего не читаютъ по русски. И такъ какъ кругъ нашихъ читателей съ каждымъ годомъ возрастаетъ, то вышло, что ни одно изъ нашихъ классическихкихъ произведеній, — изъ тѣхъ, которые не только имѣютъ успѣхъ, но и заслуживаютъ успѣха, — не расходилось такъ быстро и въ такомъ количествѣ экземпляровъ, какъ „Война и Миръ“. Прибавимъ къ этому, что еще ни одно изъ замѣчательныхъ произведеній нашей литературы не имѣло такого большаго объема, какъ новое произведеніе гр. Л. Н. Толстаго.

Приступимъ же прямо къ анализу совершившагося факта. Успѣхъ „Войны и Мира“ есть явленіе чрезвычайно простое и отчетливое, не заключающее въ себѣ ни-

какой сложности и запутанности. Этого успѣха нельзя приписать никакимъ побочнымъ, постороннимъ для дѣла причинамъ. Гр. Л. Н. Толстой не старался увлечь читателей ни какими-нибудь запутанными и таинственными приключеніями, ни описаніемъ грязныхъ и ужасныхъ сценъ, ни изображеніемъ страшныхъ душевныхъ мукъ, ни, наконецъ, какими-нибудь дерзкими и новыми тенденціями, — словомъ, ни однимъ изъ тѣхъ средствъ, которые дразнятъ мысль или воображеніе читателей, болѣзненно раздражаютъ любопытство картинами неизвѣданной и неиспытанной жизни. Ничего не можетъ быть проще множества событій, описанныхъ въ „Войнѣ и Мирѣ“. Всѣ случаи обыкновенной семейной жизни, разговоры между братомъ и сестрой, между матерью и дочерью, разлука и свиданіе родныхъ, охота, святки, мазурка, игра въ карты и пр., — все это съ такою же любовью возведено въ перлъ созданія, какъ и Бородинская битва. Простые предметы занимаютъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ также много мѣста, какъ, на примѣръ, въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ безсмертныя описанія жизни Лариныхъ, зимы, весны, поѣздки въ Москву и т. п.

Правда, рядомъ съ этимъ гр. Л. Н. Толстой выводитъ на сцену великія событія и лица огромнаго историческаго значенія. Но никакъ нельзя сказать, чтобы именно этимъ былъ возбужденъ общій интересъ читателей. Если и были читатели, которыхъ привлекло изображеніе историческихъ явленій, или даже чувство патріотизма, то, безъ всякаго сомнѣнія, было не мало и такихъ, которые вовсе не любятъ искать исторіи въ художественныхъ произведеніяхъ, или же сильнѣйшимъ образомъ вооружены противъ всякаго подкупа патріотическаго чувства, и которые, однакоже, прочли „Войну и

Миръ“ съ живѣйшимъ любопытствомъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что „Война и Миръ“ вовсе не есть историческій романъ, т. е., вовсе не имѣетъ въ виду дѣлать изъ историческихъ лицъ романическихъ героев и, рассказывая ихъ похождения, соединять въ себѣ интересъ романа и исторіи.

Итакъ, дѣло чистое и ясное. Какія бы цѣли и намѣренія ни были у автора, какихъ бы высокихъ и важныхъ предметовъ онъ ни касался, успѣхъ его произведенія зависитъ не отъ этихъ намѣреній и предметовъ, а оттого, что онъ сдѣлалъ, руководясь этими цѣлями и касаясь этихъ предметовъ, то есть, отъ *высокаго художественнаго выполненія*.

Если гр. Л. Н. Толстой достигъ своихъ цѣлей, если онъ заставилъ всѣхъ вперить глаза на то, что занимало его душу, то только потому, что вполне владѣлъ своимъ орудіемъ, искусствомъ. Въ этомъ отношеніи примѣръ „Войны и Мира“ чрезвычайно поучителенъ. Едва-ли многіе отдали себѣ отчетъ въ мысляхъ, руководившихъ и одушевлявшихъ автора, но всѣ одинаково поражены его творчествомъ. Люди, приступавшіе къ этой книгѣ съ предвзятыми взглядами, — съ мыслию найти противорѣчіе своей тенденціи, или ея подтвержденіе, — часто недоумѣвали, не успѣвали рѣшить, что имъ дѣлать — негодовать или восторгаться, но всѣ одинаково признавали необыкновенное мастерство загадочнаго произведенія. Давно уже искусство не обнаруживало въ такой степени своего всепобѣднаго, неотразимаго дѣйствія.

Но художественность не дается даромъ. Да не подумаетъ кто-нибудь, что она можетъ существовать отдѣльно отъ глубокихъ мыслей и глубокихъ чувствъ, — что она можетъ быть явленіемъ не серьезнымъ, не имѣю-

щимъ важнаго смысла. Въ этомъ случаѣ нужно отличать истинную художественность отъ ея фальшивыхъ и уродливыхъ формъ. Попробуемъ анализировать творчество, обнаружившееся въ книгѣ гр. Л. Н. Толстого, и мы увидимъ, какая глубина лежитъ въ его основаніи.

Чѣмъ всѣ были поражены въ „Войнѣ и Мирѣ“? Конечно, объективностію, образностію. Трудно представить себѣ образы болѣе отчетливые, — краски болѣе яркія. Точно видишь все то, что описывается, и слышишь всѣ звуки того, что совершается. Авторъ ничего не рассказываетъ отъ себя: онъ прямо выводитъ лица и заставляетъ ихъ говорить, чувствовать и дѣйствовать, причемъ каждое слово и каждое движеніе вѣрно до изумительной точности, то есть, вполне носитъ характеръ лица, которому принадлежитъ. Какъ будто имѣешь дѣло съ живыми людьми, и притомъ видишь ихъ гораздо яснѣе, чѣмъ умѣешь видѣть въ дѣйствительной жизни. Можно различать не только образъ выраженій и чувствъ каждаго дѣйствующаго лица, но и манеры каждаго, любимые жесты, походку. Важному князю Василью пришлось однажды, въ необыкновенныхъ и трудныхъ обстоятельствахъ, пройти на цыпочкахъ; авторъ въ совершенствѣ знаетъ, какъ ходитъ каждое изъ его лицъ. „Князь Василій“, говоритъ онъ, „не умѣлъ ходить на цыпочкахъ и неловко подпрыгивалъ всѣмъ тѣломъ“ (Т. 1-й стр. 115). Съ такою же ясностію и отчетливостію авторъ знаетъ всѣ движенія, всѣ чувства и мысли своихъ героев. Когда онъ разъ вывелъ ихъ на сцену, онъ уже не вмѣшивается въ ихъ дѣла, не помогаетъ имъ, предоставляя каждому изъ нихъ вести себя сообразно со своею натурой.

Изъ того же стремленія соблюсти объективность про-

исходитъ, что у гр. Толстаго нѣтъ картинъ или описаній, которыя онъ дѣлалъ бы отъ себя. Природа у него является только такъ, какъ она отражается въ дѣйствующихъ лицахъ; онъ не описываетъ дуба, стоящаго среди дороги, или лунной ночи, въ которую не спалось Наташѣ и князю Андрею, а описываетъ то впечатлѣніе, которое этотъ дубъ и эта ночь произвели на князя Андрея. Точно такъ, битвы и событія всякаго рода рассказываются не по тѣмъ понятіямъ, которыя составилъ себѣ о нихъ авторъ, а по впечатлѣніямъ лицъ, въ нихъ дѣйствующихъ. Шенграбенское дѣло описано большею частію по впечатлѣніямъ князя Андрея; Аустерлицкая битва — по впечатлѣніямъ Николая Ростова; пріѣздъ императора Александра въ Москву изображенъ въ волненіяхъ Пети, и дѣйствіе молитвы о спасеніи отъ нашествія — въ чувствахъ Наташи. Такимъ образомъ, авторъ нигдѣ не выступаетъ изъ-за дѣйствующихъ лицъ и рисуетъ событія не отвлеченно, а, такъ сказать, плотью и кровью тѣхъ людей, которые составляли собою матеріалъ событій.

Въ этомъ отношеніи „Война и Миръ“ представляетъ истинныя чудеса искусства. Схвачены не отдѣльныя черты, а цѣликомъ — та жизненная атмосфера, которая бываетъ различна около различныхъ лицъ и въ разныхъ слояхъ общества. Самъ авторъ говоритъ о *любви и семейной атмосферѣ* дома Ростовыхъ; но припомните другія изображенія того же рода: атмосфера, окружавшая Сперанскаго; атмосфера, господствовавшая около *дядюшки* Ростовыхъ; атмосфера театральной залы, въ которую попала Наташа; атмосфера военного госпиталя, куда зашелъ Ростовъ, и пр. и пр. Лица, вступающія въ одну изъ этихъ атмосферъ или переходящія изъ од-

ной въ другую, неизбежно чувствуютъ ихъ вліяніе, и мы переживаемъ его вмѣстѣ съ ними.

Такимъ образомъ достигнута высшая степень объективности, т. е., мы не только видимъ передъ собою поступки, фигуру, движенія и рѣчи дѣйствующихъ лицъ, но и вся ихъ внутренняя жизнь предстаетъ передъ нами въ такихъ же отчетливыхъ и ясныхъ чертахъ; ихъ душа, ихъ сердце ничѣмъ не заслоняются отъ нашихъ взоровъ. Читая „Войну и Миръ“, мы въ полномъ смыслѣ слова *созерцаемъ* тѣ предметы, которые избралъ художникъ.

Но что же это за предметы? Объективность есть общее свойство поэзіи, которое должно всегда въ ней присутствовать, какіе бы предметы она ни изображала. Самыя идеальныя чувства, самая высокая жизнь духа должны быть изображаемы объективно. Пушкинъ совершенно объективенъ, когда вспоминаетъ о нѣкоторой *величавой женѣ*; онъ говоритъ:

Ея чела я помню покрывало
И очи, свѣтлыя, какъ небеса.

Онъ слышалъ ея голосъ:

Пріятнымъ, сладкимъ голосомъ, бывало,
Съ младенцами бесѣдуетъ она.

Точно такъ, онъ вполне объективно изображаетъ ощущенія „Пророка“:

И внялъ я неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.

Объективность гр. Л. Н. Толстаго, очевидно, обращена въ другую сторону, — не на идеальные предметы,

а на то, что мы противопоставляемъ идеалу,—на такъ называемую дѣйствительность, на то, что не достигаетъ идеала, уклоняется отъ него, противорѣчитъ ему и, однакоже, существуетъ, какъ бы свидѣтельствуя о его безсиліи. Гр. Л. Н. Толстой есть *реалистъ*, то есть принадлежитъ къ давно господствующему и весьма сильному направленію нашей литературы. Онъ глубоко почувствуетъ стремленію нашихъ умовъ и вкусовъ къ реализму, и его сила заключается въ томъ, что онъ умѣетъ вполне удовлетворить этому стремленію.

Въ самомъ дѣлѣ, реалистъ онъ великолѣпный. Можно подумать, что онъ не только изображаетъ свои лица съ неподкупной вѣрностію дѣйствительности, а какъ будто даже умышленно совлекаетъ ихъ съ идеальной высоты, на которую мы, по вѣчному свойству человѣческой природы, такъ охотно и легко ставимъ людей и событія. Безжалостно, беспощадно гр. Л. Н. Толстой обнаруживаетъ всѣ слабыя стороны своихъ героев; онъ не утаиваетъ ничего, не останавливается ни передъ чѣмъ, такъ что наводитъ даже страхъ и тоску о несовершенствѣ человѣка. Многія чувствительныя души не могутъ, напр., переварить мысли объ увлеченіи Наташи Курагинымъ; не будь этого,—какой вышелъ бы прекрасный образъ, нарисованный съ изумительной правдивостію! Но поэтъ реалистъ беспощаденъ.

Если смотрѣть на „Войну и Миръ“ съ этой точки зрѣнія, то можно принять эту книгу за самое ярое *обличеніе* александровской эпохи,—за неподкупное разоблаченіе всѣхъ язвъ, которыми она страдала. Обличены—своекорыстіе, пустота, фальшивость, развратъ, глупость тогдашняго высшаго круга; бессмысленная, лѣнивая, обжорливая жизнь московскаго общества и богатыхъ по-

мѣщиковъ въ родѣ Ростовыхъ; затѣмъ, величайшіе безпорядки вездѣ, особенно въ арміи, во время войнъ; повсюду показаны люди, которые, среди крови и битвъ, руководятся личными выгодами и приносятъ имъ въ жертву общее благо; выставлены страшныя бѣдствія, происходившія отъ несогласія и мелочнаго честолюбія начальниковъ,—отъ отсутствія твердой руки въ управленіи; выведена на сцену цѣлая толпа трусовъ, подлецовъ, воровъ, развратниковъ, шулеровъ; ярко показана грубость и дикость народа (въ Смоленскѣ мужъ, бьющій жену; бунтъ въ Богучаровѣ).

Такъ что, еслибы кто нибудь вздумалъ написать по поводу „Войны и мира“ статью, подобную статьѣ Добролюбова „Темное царство“, то нашелъ бы въ произведеніи гр. Л. Н. Толстаго обильные матеріалы для этой темы. Одинъ изъ писателей, принадлежащихъ къ заграничному отдѣлу нашей литературы, Н. Огаревъ, когда-то подвелъ всю нашу нынѣшнюю литературу подъ формулу обличенія,—именно сказалъ, что Тургеневъ есть обличитель помѣщиковъ, Островскій — купцовъ, а Некрасовъ — чиновниковъ. Слѣдуя такому взгляду, мы могли бы порадоваться появленію новаго обличителя и сказать: гр. Л. Н. Толстой есть обличитель военныхъ,—обличитель нашихъ воинскихъ подвиговъ, нашей исторической славы.

Весьма знаменательно, однако, что подобный взглядъ нашелъ себѣ только слабые отголоски въ литературѣ,—явное доказательство, что самые пристрастные глаза не могли не видѣть его несправедливости. Но что подобный взглядъ возможенъ, на это мы имѣемъ драгоцѣнное историческое свидѣтельство; одинъ изъ участниковъ войны 1812 года, ветеранъ нашей литературы, А. С. Норовъ,

увлеченный пристрастіемъ, внушающимъ къ себѣ невольное и глубокое уваженіе, принялъ гр. Л. Н. Толстого за обличителя. Вотъ подлинныя слова А. С. Норова:

„Читатели поражены, при первыхъ частяхъ романа („Война и миръ“), сначала грустнымъ впечатлѣніемъ „представленнаго имъ въ столицѣ пустаго и почти безнравственнаго высшаго круга общества, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣющаго вліяніе на правительство; а потомъ, „отсутвіемъ всякаго смысла въ военныхъ дѣйствіяхъ и „едва не отсутвіемъ военныхъ доблестей, которыми „всегда такъ справедливо гордилась наша армія“. „Громкій славою 1812 годъ, какъ въ военномъ, такъ и въ гражданскомъ быту представленъ намъ мыльнымъ пузыремъ; цѣлая фаланга нашихъ генераловъ, которыхъ боевая слава прикована къ нашимъ военнымъ лѣтописямъ, и которыхъ имена переходятъ доселѣ изъ устъ въ уста „новаго военного поколѣнія, будто бы составлена была „изъ бездарныхъ, слѣпыхъ орудій случая, дѣйствовавшихъ иногда удачно, и объ этихъ даже ихъ удачахъ „говорится только мелькомъ и часто съ ироніею. Неужели таково было наше общество, неужели такова была „наша армія?“ „Будучи въ числѣ очевидцевъ великихъ „отечественныхъ событій, я не могъ безъ оскорбленнаго „патріотическаго чувства дочитать этотъ романъ, имѣющій претензію быть историческимъ“ *).

Какъ мы сказали, эта сторона произведенія гр. Л. Н. Толстого, столь больно затронувшая А. С. Норова, не произвела замѣтнаго впечатлѣнія на большинство читателей. Отчего же? Оттого, что ее слишкомъ сильно за-

*) „Война и миръ“ (1805—1812) съ исторической точки зрѣнія и по воспоминаніямъ современника. По поводу сочиненія графа Л. Н. Толстого „Война и миръ“. А. С. Норова. Спб. 1868. стр. 1 и 2.

слоняли другія стороны произведенія, — что на первый планъ выступали въ немъ другіе мотивы, болѣе поэтическаго свойства. Очевидно, гр. Л. Н. Толстой изображалъ темныя черты предметовъ не потому, чтобы желалъ ихъ выставить на видъ, а потому, что хотѣлъ изображать предметы вполне, со всѣми ихъ чертами, слѣдовательно, и съ темными. Цѣлью его была *правда* въ изображеніи, — неизмѣнная вѣрность дѣйствительности, и эта-то правдивость и приковывала къ себѣ все вниманіе читателей. Патріотизмъ, слава Россіи, нравственные правила, все забывалось, все отходило на задній планъ передъ этимъ реализмомъ, выступившимъ во всеоружіи. Читатель жадно слѣдилъ за этими картинами; какъ будто художникъ, ничего не проповѣдуя, никого не обличая, подобно нѣкоторому волшебнику, переносилъ его изъ одного мѣста въ другое и давалъ ему самому видѣть, что тамъ дѣлалось.

Все ярко, все образно и, въ то же время, все реально, все вѣрно дѣйствительности, какъ дагерротипъ или фотография; вотъ въ чемъ сила гр. Л. Н. Толстого. Чувствуешь, что авторъ не хотѣлъ преувеличить ни темныхъ, ни свѣтлыхъ сторонъ предметовъ, не хотѣлъ набросить на нихъ никакого особеннаго колорита или эффектнаго освѣщенія, — что онъ всею душою стремился передать дѣло въ его настоящемъ, дѣйствительномъ видѣ и свѣтѣ, — вотъ неодолимая прелесть, побѣждающая самыхъ упорныхъ читателей! Да, мы, русскіе читатели, давно уже упорны въ отношеніи къ художественнымъ произведеніямъ, давно уже вооружены сильнѣйшимъ образомъ противъ того, что называется поэзіею, идеальными чувствами и мыслями; мы какъ будто потеряли способность увлекаться идеализмомъ въ искусствѣ и упрямо

упираемся противъ малѣйшаго соблазна въ эту сторону. Мы или не вѣримъ въ идеаль, или (что гораздо вѣрнѣе, такъ какъ не вѣрить въ идеаль можетъ частное лицо, но не народъ) ставимъ его такъ высоко, что не вѣримъ въ силу художества, — въ возможность какого-либо воплощенія идеала. При такомъ положеніи дѣла художеству осталась одна дорога — реализмъ; что вы сдѣлаете, чѣмъ вооружитесь противъ правды, — противъ изображенія жизни, какъ она есть?

Но реализмъ реализму рознь; искусство, въ сущности никогда не отказывается отъ идеала, всегда стремится къ нему; и чѣмъ яснѣе и живѣе слышно это стремленіе въ созданіяхъ реализма, тѣмъ они выше, тѣмъ ближе къ настоящей художественности. Немало у насъ людей, которые понимаютъ это дѣло грубо, именно — воображаютъ, что они должны для наилучшаго успѣха въ искусствѣ превратить свою душу въ простой фотографическій приборъ и снимать въ него тѣ картинки, какія попадутся. Наша литература представляетъ множество подобныхъ картинокъ: зато простодушные читатели, воображавшіе, что передъ ними выступаютъ дѣйствительные художники, немало потомъ удивлялись, видя, что изъ этихъ писателей ровно ничего не выходитъ. Дѣло, однако же, понятное; эти писатели были вѣрны дѣйствительности не потому, чтобы она у нихъ ярко была озарена ихъ идеаломъ, а потому, что сами не видѣли дальше того, что писали. Они стояли въ уровень съ тою дѣйствительностью, которую описывали.

Гр. Л. Н. Толстой не реалистъ-обличитель, но онъ и не реалистъ-фотографъ. Тѣмъ и дорого его произведеніе, въ томъ его сила и причина успѣха, что, удовлетворяя вполнѣ всѣмъ требованіямъ нашего современ-

наго искусства, онъ выполнилъ ихъ въ самомъ чистомъ ихъ видѣ, въ самомъ глубокомъ ихъ смыслѣ. Сущность русскаго реализма въ искусствѣ никогда еще не обнаруживалась съ такой ясностію и силою; въ „Войнѣ и мирѣ“ онъ поднялся на новую ступень, вошелъ въ новый періодъ своего развитія.

Сдѣлаемъ еще шагъ въ характеристикѣ этого произведенія, и мы уже будемъ близко къ цѣли.

Въ чемъ заключается особенная, ярко выступающая черта таланта гр. Л. Н. Толстаго? Въ необыкновенно тонкомъ и вѣрномъ изображеніи душевныхъ движеній. Гр. Л. Н. Толстаго можно назвать по преимуществу *реалистомъ-психологомъ*. По прежнимъ своимъ произведеніямъ онъ давно извѣстенъ какъ изумительный мастеръ въ анализѣ всякаго рода душевныхъ перемѣнъ и состояній. Этотъ анализъ, разрабатываемый съ какимъ-то пристрастіемъ, доходилъ до мелочности, до неправильной напряженности. Въ новомъ произведеніи всѣ крайности его отпали, и осталась вся его прежняя точность и проницательность; сила художника нашла свои предѣлы и улеглась въ свои берега. Все вниманіе его устремлено на душу человѣческую. У него рѣдки, кратки и неполны описанія обстановки, костюмовъ, словомъ — всей внѣшней стороны жизни; но зато нигдѣ не упущено впечатлѣніе и вліяніе, производимое этою внѣшнею стороною на душу людей, а главное мѣсто занимаетъ ихъ внутренняя жизнь, для которой внѣшняя служитъ только поводомъ или неполнымъ выраженіемъ. Малѣйшіе отѣнки душевной жизни и самыя глубокія ея потрясенія изображены съ одинаковою отчетливостію и правдивостію. Чувство праздничной скуки въ Отраденскомъ домѣ Ростовыхъ и чувство всего русскаго войска въ самый разгаръ

Бородинской битвы, молодые душевные движенія Наташи и волненія старика Болконскаго, теряющаго память и близкаго къ удару паралича,—все ярко, все живо и точно въ разсказѣ гр. Л. Н. Толстаго.

Итакъ, вотъ гдѣ сосредоточивается весь интересъ автора, а, въ силу того, и весь интересъ читателя. Какія бы огромныя и важныя событія ни происходили на сценѣ,—будетъ-ли это Кремль, захлебнувшійся народомъ, вслѣдствіе пріѣзда Государя, или свиданіе двухъ императоровъ, или страшная битва съ громомъ пушекъ и тысячами умирающихъ,—ничто не отвлекаетъ поэта, а вмѣстѣ съ нимъ и читателя, отъ пристальнаго вглядыванія во внутренній міръ отдѣльных лицъ. Художника какъ будто вовсе не занимаетъ событіе, а занимаетъ только то, какъ дѣйствуетъ при этомъ событіи человѣческая душа,—что она чувствуетъ и вноситъ въ событіе?

Спросите теперь себя, чего же ищетъ поэтъ? Какое упорное любопытство заставляетъ его слѣдить за малѣйшими ощущеніями всѣхъ этихъ людей, начиная отъ Наполеона и Кутузова до тѣхъ маленькихъ дѣвочекъ, которыхъ князь Андрей засталъ въ своемъ разоренномъ саду?

Отвѣтъ одинъ: художникъ ищетъ слѣдовъ красоты души человѣческой,—ищетъ въ каждомъ изображаемомъ лицѣ той искры Божіей, въ которой заключается человѣческое достоинство личности,—словомъ, старается найти и опредѣлить со всею точностію, какимъ образомъ и въ какой мѣрѣ идеальныя стремленія человѣка осуществляются въ дѣйствительной жизни.

II.

Очень трудно изложить, даже въ главныхъ чертахъ, идею глубокаго художественнаго произведенія; она воплощается въ немъ съ такою полнотою и многосторонностію, что отвлеченное изложеніе ея всегда будетъ чѣмъ-то неточнымъ, недостаточнымъ,—не будетъ, какъ говорятъ, вполне исчерпывать предмета.

Идею „Войны и Мира“ можно формулировать различнымъ образомъ.

Можно сказать, напримѣръ, что руководящая мысль произведенія есть *идея героической жизни*. На это намекаетъ самъ авторъ, когда, среди описанія Бородинской битвы, дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: „Древніе оставили намъ образцы героическихъ поэмъ, въ которыхъ *герои* составляютъ весь *интересъ исторіи*, и мы все еще не можемъ привыкнуть къ тому, что для нашего человѣческаго времени исторія такого рода не имѣетъ смысла“. (т. IV, стр. 236).

Художникъ, такимъ образомъ, прямо заявляетъ намъ, что онъ хочетъ изобразить намъ ту жизнь, которую мы обыкновенно называемъ героическою, но—изобразить въ ея настоящемъ смыслѣ, а не въ тѣхъ неправильныхъ образахъ, которые завѣщаны намъ древностію; онъ хочетъ, чтобы мы *отвыкли* отъ этихъ ложныхъ представлений и для этого даетъ намъ истинныя представленія. На мѣсто идеальнаго, мы должны получить реальное.

Гдѣ же искать героической жизни? Конечно, въ исторіи. Мы привыкли думать, что люди, отъ которыхъ зависятъ исторія,—которые совершаютъ исторію,—суть герои. Поэтому—мысль художника остановилась на 1812 годѣ и войнахъ ему предшествовавшихъ, какъ на эпохѣ

по преимуществу героической. Если Наполеонъ, Кутузовъ, Багратионъ—не герои, то кто же послѣ того герой? Гр. Л. Н. Толстой взялъ громадные историческія событія, страшную борьбу и напряженіе народныхъ силъ, для того чтобы уловить высшія проявленія того, чтѣ мы называемъ героизмомъ.

Но въ наше человѣческое время, какъ пишетъ гр. Л. Н. Толстой, одни герои не составляютъ всего интереса исторіи. Какъ бы мы ни понимали героическую жизнь, требуется опредѣлить отношеніе къ ней обыкновенной жизни, и въ этомъ заключается даже главное дѣло. Чтѣ такое обыкновенный человѣкъ—въ сравненіи съ героемъ? Чтѣ такое частный человѣкъ—въ отношеніи къ исторіи? Въ болѣе общей формѣ это будетъ тотъ же вопросъ, который давно разрабатывается нашимъ художественнымъ реализмомъ: чтѣ такое обыкновенная, будничная дѣйствительность—въ сравненіи съ идеаломъ, съ прекрасною жизнью?

Гр. Л. Н. Толстой старался разрѣшить вопросъ какъ можно полнѣе. Онъ представилъ намъ, напримѣръ, Багратиона и Кутузова въ величій несравненномъ, поразительномъ. Они какъ будто обладаютъ способностію становиться выше всего человѣческаго. Въ особенности это ясно въ изображеніи Кутузова, слабого отъ старости, забывчиваго, лѣниваго, —человѣка дурныхъ нравовъ, сохранившаго, по выраженію автора, *всѣ привычки страстей, но самыхъ страстей уже вовсе неимѣющаго*. Для Багратиона и Кутузова, когда имъ приходится дѣйствовать, исчезаетъ все личное; къ нимъ даже вовсе не примѣнимы выраженія: храбрость, сдержанность, спокойствіе,—такъ какъ они не храбрятся, не сдерживаются, не напрягаются и не погружаются въ покой. Естественно

и просто они дѣлаютъ свое дѣло, какъ будто они—духи, способные только созерцать и безошибочно руководиться чистѣйшими чувствами долга и чести. Они прямо глядятъ въ лицо судьбы, и для нихъ невозможна самая мысль о страхѣ,—невозможно никакое колебаніе въ дѣйствіяхъ, потому что они дѣлаютъ все, *что могутъ*, покоряясь теченію событій и своей собственной человѣческой слабости.

Но, сверхъ этихъ высокихъ сферъ доблести, достигающей своихъ высшихъ предѣловъ, художникъ представилъ намъ и весь тотъ міръ, гдѣ требованія долга борются со всѣми волненіями страстей человѣческихъ. Онъ изобразилъ намъ *всѣ виды храбрости и всѣ виды трусости*. Какое разстояніе отъ первоначальной трусости юнкера Ростова до блестящей храбрости Денисова, до твердаго мужества князя Андрея, до безсознательнаго геройства капитана Тушина! Всѣ ощущенія и формы битвы—отъ паническаго страха и бѣгства при Аустерлицѣ до непобѣдимой стойкости и яркаго горѣнія *скрытаго душевнаго огня* при Бородинѣ—описаны намъ художникомъ. Эти люди являются намъ то *мерзавцами*, какъ называлъ Кутузовъ бѣгущихъ солдатъ, то безтрепетными, самоотверженными воинами. Въ сущности же, всѣ они—простые люди, и художникъ, съ изумительнымъ мастерствомъ, показываетъ, какъ, въ различной мѣрѣ и степени, въ душѣ каждаго изъ нихъ возникаетъ, потухаетъ или разгорается искра доблести, обыкновенно присущая человѣку.

И главное—показано, чтѣ значатъ всѣ эти души въ ходѣ исторіи,—чтѣ онѣ вносятъ въ великія событія,—какую долю участія имѣютъ въ героической жизни. Показано, что цари и полководцы тѣмъ и велики, что

составляютъ какъ бы центры, въ которыхъ стремится сосредоточиться героизмъ, живущій въ душахъ простыхъ и темныхъ. Пониманіе этого героизма, сочувствіе ему и вѣра въ него составляютъ все величіе Багратіоновъ и Кутузовыхъ. Непониманіе его, пренебреженіе имъ или даже презрѣніе къ нему составляютъ несчастіе и малость Барклаевъ де-Толли и Сперанскихъ.

Война, государственныя дѣла и потрясенія — составляютъ поприще исторіи, поприще героическое по преимуществу. Изобразивъ съ безупречною правдивостію, какъ люди ведутъ себя, чтѣ чувствуютъ и чтѣ дѣлаютъ на этомъ поприщѣ, художникъ, для полноты своей мысли, хотѣлъ показать намъ тѣхъ же людей въ частной ихъ сферѣ, гдѣ они являются просто какъ люди. „Жизнь, между тѣмъ“, пишетъ онъ въ одномъ мѣстѣ, „настоящая жизнь людей съ своими существенными интересами здоровья, болѣзни, труда, отдыха, съ своими интересами мысли, науки, поэзіи, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, какъ и всегда, независимо и внѣ политической близости или вражды съ Наполеономъ Бонапарте, и внѣ всѣхъ возможныхъ преобразованій“ (т. III, стр. 1 и 2).

За этими словами слѣдуетъ описаніе того, какъ князь Андрей ѣздитъ въ Отрадное и встрѣтился тамъ въ первый разъ съ Наташею.

Князь Андрей и его отецъ въ сферѣ общихъ интересовъ суть настоящіе герои. Когда князь Андрей уѣзжаетъ изъ Брюнна въ армію, находящуюся въ опасности, насмѣшливый Билибинъ два раза, безъ всякой насмѣшки, даетъ ему титулъ героя (т. I, стр. 78 и 79). И Билибинъ совершенно правъ. Переберите всѣ дѣйствія и мысли князя Андрея во время войны, и вы не

найдете на немъ ни единой укоризны. Вспомните его поведеніе въ Шенграбенскомъ дѣлѣ; никто лучше его не понималъ Багратіона, и онъ одинъ и видѣлъ и оцѣнилъ подвигъ капитана Тушина. Но Багратіонъ мало зналъ князя Андрея; Кутузовъ знаетъ его лучше, и къ нему обращается во время Аустерлицкаго сраженія, когда нужно было остановить бѣгущихъ и повести ихъ впередъ. Вспомните, наконецъ, Бородино, — когда князь Андрей долгіе часы стоитъ со своимъ полкомъ подъ выстрѣлами (онъ не хотѣлъ остаться при штабѣ и не попалъ въ ряды сражающихся); всѣ человѣческія чувства говорятъ въ его душѣ, но онъ ни на мгновеніе не теряетъ полного самообладанія и кричитъ прилегшему на землѣ адъютанту: „стыдно, господинъ офицеръ!“ въ тотъ самый мигъ, когда разрывается граната и наноситъ ему тяжкую рану. Дорога такихъ людей дѣйствительно — *дорога чести*, какъ выразился Кутузовъ, и они могутъ, не колеблясь, сдѣлать все, чтѣ требуется самымъ строгимъ понятіемъ мужества и самоотверженія.

Старикъ Болконскій не уступаетъ своему сыну. Вспомните то спартанское напутствіе, которое онъ даетъ сыну, идущему на войну и любимому имъ съ кровною отеческою нѣжностію: „Помни одно, князь Андрей, коли тебя убьютъ, мнѣ старику *больно* будетъ... А коли узнаю, что ты повелъ себя не какъ сынъ Николая Болконскаго, мнѣ будетъ... *стыдно!*“

И сынъ его таковъ, что имѣлъ полное право возразить своему отцу: „этого вы могли бы не говорить мнѣ, батюшка“ (т. I, стр. 165).

Вспомните потомъ, что всѣ интересы Россіи становятся для этого старика какъ-будто его собственными, личными интересами, — составляютъ главную часть его

жизни. Онъ жадно слѣдитъ за дѣлами изъ своихъ Лысыхъ Горъ. Его постоянныя насмѣшки надъ Наполеономъ и нашими военными дѣйствіями, очевидно, внушены чувствомъ оскорбленной народной гордости; онъ не хочетъ вѣрить, чтобы могучая его родина вдругъ утратила свою силу; онъ желалъ бы приписать это одной случайности, а не силѣ противника. Когда же началось нашествіе, и Наполеонъ подвинулся до Витебска, дряхлый старикъ совсѣмъ теряется: сперва онъ даже не понимаетъ того, чтò читаетъ въ письмѣ сына: онъ отталкиваетъ отъ себя мысль, которой ему перенести невозможно, — которая должна сокрушить его жизнь. Но пришлось убѣдиться, — пришлось, наконецъ, повѣрить: и тогда старикъ умираетъ. Вѣрнѣ пули, его сразила мысль объ общемъ бѣдствіи.

Да, эти люди — дѣйствительные герои; такими людьми бываютъ крѣпки народы и государства. Но отчего же, спросить, вѣроятно, читатель, героизмъ ихъ какъ будто лишень всего поражающаго, и они скорѣе являются намъ обыкновенными людьми? Оттого, что художникъ изобразилъ ихъ намъ *вполнѣ*, — показалъ намъ не только то, какъ они дѣйствуютъ по отношенію къ долгу, къ чести, къ народной гордости, но и ихъ частную, личную жизнь. Онъ показалъ намъ домашнюю жизнь старика Болконскаго съ его болѣзненными отношеніями къ дочери, со всѣми слабостями одряхлѣвшаго человѣка, — невольнаго мучителя своихъ ближнихъ. Въ князѣ Андреѣ гр. Л. Н. Толстой открылъ намъ порывы страшнаго самолюбія и честолюбія, холодныя и вмѣстѣ ревнивыя отношенія къ женѣ, вообще весь его тяжелый характеръ, своею тяжестію напоминающій характеръ его отца. „Я

его боюсь“, говоритъ Наташа о князѣ Андреѣ, передъ самымъ его предложеніемъ.

Старикъ Болконскій поражалъ постороннихъ лицъ величіемъ; явившись въ Москву, онъ сталъ главою тамошней оппозиціи и возбуждалъ во всѣхъ чувство почтительнаго уваженія. „Для посѣтителей весь этотъ старинный домъ съ огромными трюмо, дореволюціонной мебелию, этими лакеями въ пудрѣ, и самъ *прошлаго вѣка крutoй и умный старикъ съ его кроткою дочерью и хо-рошенькою французенкой, которая благоволи передъ нимъ, — представлялъ величественно-пріятное зрѣлище*“ (т. III, стр. 190). Точно также, князь Андрей внушаетъ всѣмъ невольное уваженіе, играетъ въ свѣтѣ какую-то царственную роль. Его ласкаютъ Кутузовъ и Сперанскій, его боготворятъ солдаты.

Но все это имѣетъ полную силу для постороннихъ, а не для насъ. Насъ художникъ ввелъ въ самую сокровенную жизнь этихъ людей; онъ посвятилъ насъ во всѣ ихъ думы, во всѣ волненія. Человѣческая слабость этихъ лицъ, — тѣ минуты, въ которыя они становятся наравнѣ съ обыкновеннѣйшими смертными, — тѣ положенія и душевныя движенія, въ которыхъ всѣ люди одинаково чувствуютъ, одинаково — люди, — все это открыто намъ ясно и полно; и вотъ отчего героическія черты лицъ какъ-будто тонуть въ массѣ чертъ просто человѣческихъ.

Это слѣдуетъ отнести ко всѣмъ лицамъ „Войны и мира“, безъ исключенія. Вездѣ та же исторія, что съ дворникомъ Отрапонтковымъ, который безчеловѣчно бьетъ свою жену, просившуюся уѣхать, — скаредно торгуется съ извозчиками въ самую минуту опасности, а потомъ, когда увидѣлъ въ чемъ дѣло, кричитъ: „Рѣшилась! Россея!“ и самъ зажигаетъ свой домъ. Такъ точно въ каж-

домъ лицъ авторъ изображаетъ всѣ стороны душевной жизни—отъ животныхъ поползновеній до той искры героизма, которая часто таится въ самыхъ малыхъ и извращенныхъ душахъ.

Но да не подумаетъ кто-нибудь, что художникъ такимъ образомъ хотѣлъ унижить героическія лица и дѣйствія,—разоблачить ихъ мнимое величіе; напротивъ, вся цѣль его заключалась въ томъ, чтобы только показать ихъ въ настоящемъ свѣтѣ и, слѣдовательно, скорѣе научить насъ видѣть ихъ тамъ, гдѣ мы ихъ прежде не умѣли видѣть. Человѣческія слабости не должны заслонять отъ насъ человѣческихъ достоинствъ. Другими словами—поэтъ учитъ своихъ читателей проникать въ ту поэзію, которая скрыта въ дѣйствительности. Она глубоко закрыта отъ насъ пошлостію, мелочностію, грязною и безтолковою суетою ежедневной жизни, она непроницаема и недоступна для нашего собственнаго равнодушія, сонливой лѣни и эгоистической хлопотливости; и вотъ поэтъ озаряетъ передъ нами *всю тину, опутывающую людскую жизнь*, для того, чтобы мы умѣли видѣть въ самыхъ темныхъ ея закоулкахъ искру божественнаго пламени,—умѣли понимать тѣхъ людей, въ которыхъ это пламя горитъ ярко, хотя его и не видятъ близорукіе глаза,—умѣли сочувствовать дѣламъ, которыя казались непонятными для нашего малодушія и себялюбія. Это не Гоголь, озаряющій яркимъ свѣтомъ идеала всю *пошлость пошлаго* человѣка; это художникъ, который, сквозь всю видимую міру пошлость, умѣетъ разглядѣть въ человѣкѣ его человѣческое достоинство. Съ неслыханною смѣлостію художникъ взялся изобразить намъ самое героическое время нашей исторіи,—то время, отъ котораго собственно начинается сознательная жизнь новой

Россіи; и кто не скажетъ, что онъ вышелъ побѣдителемъ изъ состязанія со своимъ предметомъ?

Передъ нами картина той Россіи, которая выдержала нашествіе Наполеона и нанесла смертельный ударъ его могуществу. Картина нарисована не только безъ прикрасъ, но и съ рѣзкими тѣнями всѣхъ недостатковъ,—всѣхъ уродливыхъ и жалкихъ сторонъ, которыми страдало тогдашнее общество въ умственномъ, нравственномъ и правительственномъ отношеніи. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, во очію показана та сила, которая спасла Россію.

Мысль, которая составляетъ *военную теорію* гр. Л. Н. Толстаго, надѣлавшую столько шума, заключается въ томъ, что каждый солдатъ не есть простое матеріальное орудіе, а силенъ преимущественно своимъ *духомъ*,—что въ концѣ концовъ, все дѣло зависитъ отъ этого духа солдатъ, могущаго или упасть до паническаго страха, или возвыситься до геройства. Полководцы бываютъ сильны тогда, когда они управляютъ не одними передвиженіями и дѣйствіями солдатъ, а умѣютъ управлять ихъ духомъ. Для этого полководцамъ самимъ необходимо стоять духомъ *выше всего своего войска*, выше всякихъ случайностей и несчастій,—словомъ, имѣть силу нести на себѣ всю судьбу арміи и, если нужно, всю судьбу государства. Таковъ, на примѣръ, дряхлый Кутузовъ во время Бородинскаго сраженія. Его вѣра въ силу русскаго войска и русскаго народа, очевидно, выше и тверже вѣры каждаго воина; Кутузовъ какъ бы сосредоточиваетъ въ одномъ себѣ все ихъ воодушевленіе. Судьба битвы рѣшается собственно его словами, сказанными Вольцогену: „вы ничего не знаете. Непріятель побѣжденъ, и завтра погонимъ его изъ священной земли русской“. Въ эту минуту Кутузовъ, очевидно, стоитъ

неизмѣримо выше всѣхъ Вольцогеновъ и Барклаевъ; онъ стоитъ наравнѣ съ Россіей.

Вообще, описаніе Бородинской битвы — вполне достойное своего предмета. Похвала немалая, которую гр. Л. Н. Толстой успѣлъ вырвать даже у такихъ пристрастныхъ цѣнителей, какъ А. С. Норовъ. „Графъ Толстой“ пишетъ А. С. Норовъ, „въ главахъ 33—35 *прекрасно и вѣрно* изобразилъ общіе фазисы Бородинской битвы“ *). Замѣтимъ въ скобкахъ, что, если Бородинская битва изображена хорошо, то уже нельзя не повѣрить, что такой художникъ счумѣлъ хорошо изобразить и всякаго рода другія военныя событія.

Сила описанія этой битвы вытекаетъ изъ всего предыдущаго разсказа; это какъ бы высшая точка, пониманіе которой подготовлено всѣмъ предыдущимъ. Когда мы доходимъ до этой битвы, то мы уже знаемъ всѣ виды храбрости и всѣ виды трусости, — знаемъ, какъ ведутъ себя или могутъ себя вести всѣ члены войска, отъ полководца до послѣдняго солдата. Поэтому въ разсказѣ о битвѣ авторъ такъ сжатъ и кратокъ; тутъ дѣйствуетъ не одинъ капитанъ Тушинъ, подробно описанный въ Шенграбенскомъ дѣлѣ; тутъ цѣлыя сотни такихъ Тушиныхъ. По немногимъ сценамъ, — на курганѣ, гдѣ былъ Безухій, — въ полку князя Андрея, — у перемычкаго пункта, — мы чувствуемъ все напряженіе душевныхъ силъ каждаго солдата, понимаемъ тотъ единый и непоколебимый духъ, который оживлялъ собою всю эту страшную массу людей. Кутузовъ же является намъ какъ будто связаннымъ какими-то невидимыми нитями съ сердцемъ каждаго солдата. Едва-ли была когда-нибудь

*) Тамъ же, стр. 36.

другая такая битва, и едва ли что-нибудь подобное было разсказано на какомъ-нибудь другомъ языкѣ.

Итакъ, героическая жизнь изображена въ самыхъ возвышенныхъ проявленіяхъ и въ своемъ дѣйствительномъ видѣ. Какъ дѣлается война, какъ дѣлается исторія, — эти вопросы, глубоко занимавшіе художника, разрѣшены имъ съ мастерствомъ и проницательностію, которыя выше всякихъ похвалъ. Нельзя не вспомнить при этомъ объясненій самого автора насчетъ его пониманія исторіи *). Съ наивностію, которую по всей справедливости можно назвать геніальной, онъ почти прямо утверждаетъ, что историки, по самому свойству своихъ пріемовъ и изслѣдованій, могутъ изображать событія только въ ложномъ и превратномъ видѣ, — что настоящій смыслъ, настоящая правда дѣла доступны только художнику. И что же? Какъ не сказать, что гр. Л. Н. Толстой имѣетъ немалыя права на подобную дерзость относительно исторіи? Всѣ историческія описанія двѣнадцатаго года дѣйствительно являются какою-то *ложью*, въ сравненіи съ живою картиною „Войны и Мира“. Несомнѣнно, что наше художество въ этомъ произведеніи стоитъ безмѣрно выше нашей исторической науки, и потому имѣетъ право учить ее пониманію событій. Такъ нѣкогда Пушкинъ своею *Лѣтописью села Горохина* хотѣлъ выставить на видъ ложныя черты, ложный тонъ и духъ первыхъ томовъ *Исторіи Государства Россійскаго* Карамзина.

Но героическая жизнь не исчерпываетъ собою задачи автора. Предметъ его, очевидно, гораздо шире. Главная мысль, которою онъ руководится при изображеніи ге-

*) См. *Русскій Архивъ*, 1868 г. № 3. *Нѣсколько объяснительныхъ словъ*, гр. Л. Н. Толстаго.

роических явлений, состоитъ въ томъ, чтобы открыть ихъ *человѣческую* основу, — показать въ герояхъ — *людей*. Когда князь Андрей знакомится со Сперанскимъ, авторъ замѣчаетъ: „ежели бы Сперанскій былъ изъ того же общества, изъ котораго былъ князь Андрей, — того же воспитанія и нравственныхъ привычекъ, то Болконскій „*скоро бы нашелъ его слабыя, человѣческія, негероическія стороны*; но теперь этотъ странный для него логическій складъ ума тѣмъ болѣе внушалъ ему уваженія, „что онъ не вполне понималъ его“ (т. III, стр. 22). То, чтò не давалось въ этомъ случаѣ Болконскому, художникъ съ величайшимъ мастерствомъ умѣетъ дѣлать относительно всѣхъ своихъ лицъ: онъ открываетъ намъ ихъ *человѣческія* стороны. Такимъ образомъ, весь его рассказъ получаетъ не героическій, а *человѣческій* характеръ; это не исторія подвиговъ и великихъ событій, а исторія людей, которые въ нихъ участвовали. Итакъ, болѣе обширный предметъ автора есть просто *человѣкъ*; люди, очевидно, интересуютъ автора совершенно независимо отъ ихъ положенія въ обществѣ и тѣхъ великихъ или малыхъ событій, которыя съ ними случаются.

Посмотримъ же, какъ гр. Л. Н. Толстой изображаетъ людей.

III.

Душа *человѣческая* изображается въ „Войнѣ и Мирѣ“ съ реальностію, еще небывалою въ нашей литературѣ. Мы видимъ передъ собою не отвлеченную жизнь, а существа вполне опредѣленные, со всѣми ограниченіями мѣста, времени, обстоятельствъ. Мы ви-

димъ, напримѣръ, какъ *растутъ* лица гр. Л. Н. Толстаго. Наташа, выбѣгающая съ куклой въ гостинную въ первомъ томѣ, и Наташа, входящая въ церковь въ четвертомъ, — это дѣйствительно одно и то же лицо въ двухъ различныхъ возрастахъ, — дѣвочки и дѣвушки, а не два возраста, только приписанные одному лицу (какъ это часто бываетъ у другихъ писателей). Авторъ показалъ намъ при этомъ и всѣ промежуточные ступени этого развитія. Точно такъ — передъ нашими глазами растетъ Николай Ростовъ, Петръ Безухій изъ молодого челоѣка превращается въ московскаго барина, дряхлѣетъ старикъ Болконскій и пр.

Душевные особенности лицъ гр. Л. Н. Толстаго такъ ясны, такъ запечатлѣны индивидуальностію, что мы можемъ слѣдить за *родственнымъ сходствомъ* тѣхъ душъ, которыя связаны родствомъ по крови. Старикъ Болконскій и князь Андрей явно одинаковыя натуры; только одна — молодая, другая старая. Семейство Ростовыхъ, несмотря на все разнообразіе своихъ членовъ, представляетъ удивительно схваченныя общія черты, — доходящія до тѣхъ оттѣнковъ, которые можно чувствовать, но не выразить. Почему-то чувствуется, напримѣръ, что и Вѣра есть настоящая Ростова, тогда какъ Соня явно имѣетъ душу другаго корня.

Объ иностранцахъ и говорить нечего. Вспомните нѣмцевъ: генерала Мака, Цфюля, Адольфа Берга, французенку M-lle Bourienne, самого Наполеона и пр. Психическое отличіе національностей схвачено и выдержано до тонкости. Относительно же русскихъ лицъ не только ясно, что каждое изъ нихъ — лицо вполне русское, но мы можемъ различать даже и классы и состоянія, къ которымъ они принадлежатъ. Сперанскій, являющійся въ

двухъ небольшихъ сценахъ, оказывается семинаристомъ съ головы до ногъ, причемъ особенности его душевнаго строя выражены съ величайшей яркостью и безъ малѣйшаго преувеличенія.

И все, чтò происходитъ въ этихъ душахъ, имѣющихъ столь опредѣленныя черты, — каждое чувство, страсть, волненіе, — имѣетъ точно такую же опредѣленность, изображенно съ такою же точно реальностію. Нѣтъ ничего обыкновеннѣе отвлеченнаго изображенія чувствъ и страстей. Герою обыкновенно приписывается какое-нибудь *одно* душевное настроеніе, — любовь, честолюбіе, жажда мщенія, — и дѣло разсказывается такъ, какъ будто это настроеніе *постоянно* существуетъ въ душѣ героя; такимъ образомъ, дѣлается описаніе явленій извѣстной страсти, взятой отдѣльно, и приписывается выведенному на сцену лицу.

Не то у гр. Л. Н. Толстаго. У него каждое впечатлѣніе, каждое чувство усложняется всѣми тѣми отзвуками, которые оно находитъ въ различныхъ способностяхъ и стремленіяхъ души. Если представить себѣ душу въ видѣ музыкальнаго инструмента со множествомъ различныхъ струнъ, то можно будетъ сказать, что художникъ, изображая какое-нибудь потрясеніе души, никогда не останавливается на преобладающемъ звукѣ одной струны, а схватываетъ всѣ звуки, даже самые слабые и едва замѣтные. Припомните, напр., описаніе Наташи, существа, въ которомъ душевная жизнь имѣетъ такую напряженность и полноту; въ этой душѣ все говоритъ разомъ: самолюбіе, любовь къ жениху, веселость, жажда жизни, глубокая привязанность къ роднымъ и пр. Припомните князя Андрея, когда онъ стоитъ надъ дымящеюся гранатою.

„Неужели это смерть“, думалъ князь Андрей, совершенно новымъ, завистливымъ взглядомъ глядя на траву, на песокъ и на струйку дыма, выходящую отъ вертящагося чернаго мячика. „Я не могу, не хочу умереть; я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздухъ“... Онъ думалъ это и вмѣстѣ съ тѣмъ помнилъ „о томъ, что на него смотрятъ“ (т. IV, стр. 323).

И далѣе, — какое бы чувство ни владѣло человѣкомъ, оно изображается у гр. Л. Н. Толстаго со всѣми его измѣненіями и колебаніями, — не въ видѣ какой-то постоянной величины, а въ видѣ только способности къ извѣстному чувству, — въ видѣ искры, постоянно тлѣющей, готовой вспыхнуть яркимъ пламенемъ, но часто заглушаемой другими чувствами. Вспомните, напримѣръ, чувство злобы, которое князь Андрей питаетъ, къ Курагину, — доходящія до странности противорѣчія и перемѣны въ чувствахъ княжны Марьи, религіозной, влюбчивой, безгранично любящей отца, и т. п.

Какую же цѣль имѣлъ при этомъ авторъ? Какая мысль его руководитъ? Изображая душу человѣческую въ ея зависимости и измѣнчивости, — въ ея подчиненіи собственнымъ ея особенностямъ и временнымъ обстоятельствамъ, ее окружающимъ, — онъ какъ будто умалываетъ душевную жизнь, какъ будто лишаетъ ее единства, — постоянного, существеннаго смысла. Несостоятельность, ничтожество, суетность человѣческихъ чувствъ и желаній, — вотъ, повидимому, главная тема художника.

Но мы и здѣсь ошибемся, если остановимся на реалистическихъ стремленіяхъ художника, выступающихъ съ такою необыкновенною силою, и забудемъ объ источникѣ, которымъ внушены эти стремленія. Реальность въ изображеніи души человѣческой необходима была для

того, чтобы тѣмъ ярче, тѣмъ правдивѣе и несомнѣннѣе являлось передъ нами хотя бы слабое, но дѣйствительное осуществленіе идеала. Въ этихъ душахъ, волнующихъ и подавляемыхъ своими желаніями и внѣшними событіями, рѣзко запечатлѣнныхъ своими неизгладимыми особенностями, художникъ умѣетъ уловить каждую черту, каждый слѣдъ истинной душевной красоты,—истиннаго человѣческаго достоинства. Такъ что, если мы попробуемъ дать новую, болѣе широкую формулу для задачи произведенія гр. Л. Н. Толстаго, мы должны будемъ, кажется, выразить ее такъ?

Въ чемъ заключается человѣческое достоинство? Какъ слѣдуетъ понимать жизнь людей, отъ самыхъ сильныхъ и блестящихъ до самыхъ слабыхъ и ничтожныхъ, чтобы не упускать изъ виду ея существенной черты—человѣческой души въ каждомъ изъ нихъ?

На эту формулу мы нашли намекъ у самого автора. Разсуждая о томъ, насколько мало было участіе Наполеона въ Бородинскомъ сраженіи, насколько несомнѣнно въ немъ участвовалъ своею душою каждый солдатъ,—авторъ замѣчаетъ: „*человѣческое достоинство говоритъ мнѣ*, что всякій изъ насъ, ежели не больше, то никакъ „*не меньше человѣкъ, чѣмъ великій Наполеонъ*“ (Т. IV стр. 282).

Итакъ, изобразить то, чѣмъ каждый человѣкъ бываетъ не меньше всякаго другаго,—то, въ чемъ простой солдатъ можетъ равняться Наполеону, человѣкъ ограниченный и тупой—величайшему умнику,—словомъ, то, что мы должны *уважать* въ человѣкѣ, въ чемъ должны поставлять его *цѣну*,—вотъ широкая цѣль художника. Для этой цѣли онъ вывелъ на сцену великихъ людей, великія событія и рядомъ—приключенія юнкера Ростова,

великосвѣтскіе салоны и житье-бытье *дядюшки*, Наполеона и дворника Отрапонтובה. Для этого же онъ разсказалъ намъ семейныя сцены простыхъ, слабыхъ людей и сильныя страсти блестящихъ, богатыхъ силами натуръ,—изобразилъ порывы благородства и великодушія и картины глубочайшихъ человѣческихъ слабостей.

Человѣческое достоинство людей закрывается отъ насъ или ихъ недостатками всякаго рода, или же тѣмъ, что мы слишкомъ высоко цѣнимъ другія качества и потому измѣряемъ людей ихъ умомъ, силою, красотою и пр. Поэтъ научаетъ насъ проникать сквозь эту внѣшность. Что можетъ быть проще, дюжиннѣе, такъ сказать, смиреннѣе фигуръ Николая Ростова и княжны Марьи? Ничѣмъ они не блестятъ, ничего не умѣютъ сдѣлать, ни въ чемъ не выдаются изъ самаго низкаго уровня обыкновеннѣйшихъ людей; а между тѣмъ, эти простые существа, безъ борьбы идущія по самымъ простымъ жизненнымъ путямъ, суть, очевидно, существа прекрасныя. Неотразимая симпатія, которою художникъ успѣлъ окружить эти два лица, повидимому, столь малыя, а въ сущности никому не уступающія душевною красотою,—составляетъ одну изъ самыхъ мастерскихъ сторонъ „Войны и Мира“. Николай Ростовъ—очевидно, человѣкъ по уму весьма ограниченный; но, какъ замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ авторъ, „у него былъ здравый смыслъ посредственности, который показывалъ ему, *что было должно*“ (Т. III, стр. 113).

И дѣйствительно, Николай дѣлаетъ множество глупостей, мало понимаетъ и людей и обстоятельства, но всегда понимаетъ, *что должно*; и эта безцѣнная мудрость во всѣхъ случаяхъ охраняетъ чистоту его простой и горячей натуры.

Говорить ли о княжнѣ Марьѣ? Несмотря на всѣ ея слабости, этотъ образъ достигаетъ почти ангельской чистоты и кротости; и по временамъ кажется, что его окружаетъ святое сіяніе.

Тутъ насъ невольно останавливаетъ страшная картина,—отношенія между старикомъ Болконскимъ и его дочерью. Если Николай Ростовъ и княжна Марья представляютъ лица явно симпатическія, то, повидимому, нѣтъ возможности простить этому старику всѣхъ мученій, которыя переноситъ отъ него дочь. Изъ всѣхъ лицъ, выведенныхъ художникомъ, ни одно, повидимому, не заслуживаетъ большаго негодованія. А между тѣмъ, чтò же оказывается? Съ изумительнымъ мастерствомъ авторъ изобразилъ намъ одну изъ самыхъ страшныхъ человѣческихъ слабостей,—неодолимыхъ ни умомъ, ни волей,—и болѣе всего способныхъ возбудить искреннее сожалѣніе. Въ сущности, старикъ безпредѣльно любитъ свою дочь,—въ буквальномъ смыслѣ, *не могъ бы безъ нея жить*; но эта любовь у него извратилась въ желаніе наносить боль себѣ и любимому существу. Онъ какъ-будто безпрестанно дергаетъ ту неразрывную связь, которая соединяетъ его съ дочерью, и находитъ болѣзненное наслажденіе въ *такомъ* ощущеніи этой связи. Всѣ оттѣнки этихъ странныхъ отношеній схвачены у гр. Л. Н. Толстаго съ неподражаемою вѣрностію, и развязка,—когда старикъ, сломленный болѣзнію и близкій къ смерти, выражаетъ, наконецъ, всю нѣжность къ дочери,—производитъ потрясающее впечатлѣніе.

И до такой степени могутъ извратиться самыя сильныя, самыя чистыя чувства! Столько мученій могутъ наносить себѣ люди по собственной винѣ! Нельзя представить картины, болѣе ясно доказывающей, какъ мало

иногда человѣкъ можетъ владѣть самъ собою. Отношенія величаваго старика Болконскаго къ дочери и сыну, основанныя на ревнивомъ и извращенномъ чувствѣ любви, составляютъ образецъ того зла, которое часто гнѣздится въ семействахъ, и доказываютъ намъ, что самыя святыя и естественныя чувства могутъ получить безумный и дикій характеръ.

Эти чувства составляютъ, однакоже, корень дѣла, и ихъ извращеніе не должно закрывать отъ насъ ихъ чистаго источника. Въ минуты сильныхъ потрясеній, ихъ истинная, глубокая натура часто вполне выступаетъ наружу; такъ, любовь къ дочери овладѣваетъ всѣмъ существомъ умирающаго Болконскаго.

Видѣтъ то, чтò таится въ душѣ человѣка подъ игрою страстей, подъ всѣми формами себялюбія, своекорыстія, животныхъ влеченій,—вотъ на что великій мастеръ графъ Л. Н. Толстой. Очень жалки, очень неразумны и безобразны увлеченія и похожденія такихъ людей, какъ Пьеръ Безухій и Наташа Ростова; но читатель видитъ, что, за всѣмъ тѣмъ, у этихъ людей *золотыя сердца*, и ни на минуту не усумнится, что тамъ, гдѣ бы дѣло шло о самопожертвованіи,—гдѣ нужно было бы беззавѣтное сочувствіе добру и прекрасному,—въ этихъ сердцахъ нашелся бы полный отзывъ, полная готовность. Душевная красота этихъ двухъ лицъ поразительна. Пьеръ—взрослый ребенокъ, съ огромнымъ тѣломъ и съ страшною чувственностію, какъ дитя непрактичный и неразумный, соединяетъ въ себѣ дѣтскую чистоту и нѣжность души съ умомъ наивнымъ, но по тому самому высокимъ,—съ характеромъ, которому все неблагородное не только чуждо, но даже и непонятно. Этотъ человѣкъ, какъ дѣти ничего не боится и не знаетъ за собою зла.

Наташа—дѣвушка, одаренная такой полнотою душевной жизни, что (по выраженію Безухаго) *она не удостоиваетъ быть умною*, т. е. не имѣетъ ни времени, ни расположенія, переводить эту жизнь въ отвлеченныя формы мысли. Безмѣрная полнота жизни (приводящая ее иногда въ *состояніе опьяненія*, какъ выражается авторъ) вовлекаетъ ее въ страшную ошибку, въ безумную страсть къ Курагину, — ошибку, искупаемую потомъ тяжкими страданіями. Пьеръ и Наташа—люди, которыхъ, по самой ихъ натурѣ, должны постигать въ жизни ошибки и разочарованія. Какъ бы въ противоположность имъ, авторъ вывелъ и счастливую чету, Вѣру Ростову и Адольфа Берга,—людей, чуждыхъ всякихъ ошибокъ, разочарованій, и вполне удобно устрояющихся въ жизни. Нельзя не подивиться той мѣрѣ, съ которою авторъ, выставя всю низменность и малость этихъ душъ, ни разу не поддался искушенію смѣха или гнѣва. Вотъ настоящій реализмъ, настоящая правдивость. Такова же правдивость и въ изображеніи Курагиныхъ, Эленъ и Анатоля; эти безсердечныя существа выставлены безпощадно, но безъ малѣйшаго желанія бичевать ихъ.

Что же выходитъ изъ этого ровнаго, яснаго, дневнаго свѣта, которымъ авторъ озарилъ свою картину? Передъ нами нѣтъ ни классическихъ злодѣевъ, ни классическихъ героев; душа человѣческая является въ чрезвычайномъ разнообразіи типовъ, является—слабая, подчиненная страстямъ и обстоятельствамъ, но, въ сущности, въ массѣ руководимая чистыми и добрыми стремленіями. Среди всего разнообразія лицъ и событій, мы чувствуемъ присутствіе какихъ-то твердыхъ и неизблемыхъ началъ, на которыхъ держится эта жизнь. Обязанности семейныя, общественныя, супружескія—ясны для всѣхъ. По-

нятія о добрѣ и злѣ отчетливы и прочны. Изобразивъ съ величайшею правдивостію фальшивую жизнь высшихъ слоевъ общества и разныхъ штабовъ, окружающихъ высокія лица, авторъ противопоставилъ имъ двѣ крѣпкія и истинно живыя сферы—семейную жизнь и настоящую военную, то есть, армейскую жизнь. Два семейства, Болконскихъ и Ростовыхъ, представляютъ намъ жизнь, руководимую ясными, несомнѣнными началами, въ соблюденіи которыхъ члены этихъ семействъ поставляютъ свой долгъ и честь, достоинство и утѣшеніе. Точно также, армейская жизнь (которую гр. Л. Н. Толстой въ одномъ мѣстѣ сравниваетъ съ раемъ) представляетъ намъ полную опредѣленность понятій о долгѣ, о достоинствахъ человека; такъ что простодушный Николай Ростовъ даже предпочелъ однажды остаться въ полку, а не ѣхать въ семью, гдѣ онъ не совсѣмъ ясно видитъ, какъ ему слѣдуетъ вести себя.

Такимъ образомъ, въ крупныхъ и ясныхъ чертахъ изображена намъ Россія 1812 года, какъ масса людей, которые знаютъ, чего отъ нихъ требуетъ ихъ человѣческое достоинство,—что имъ слѣдуетъ дѣлать, по отношенію къ себѣ, къ другимъ людямъ и къ родинѣ. Весь рассказъ гр. Л. Н. Толстаго изображаетъ только всякаго рода борьбу, которую это чувство долга выдерживаетъ со страстями и случайностями жизни, а также—борьбу, которую этотъ крѣпкій, наиболѣе многочисленный слой Россіи выдерживаетъ съ верхнимъ, фальшивымъ и несостоятельнымъ слоемъ. Двѣнадцатый годъ былъ минутою, когда нижній слой взялъ верхъ и, въ силу своей твердости, выдержалъ напоръ Наполеона. Все это прекрасно видно, напримѣръ, на дѣйствіяхъ и мысляхъ князя Андрея, который ушелъ изъ штаба въ полкъ и,

разговаривая съ Пьеромъ наканунѣ Бородинской битвы, безпрестанно воспоминаетъ объ отцѣ, убитомъ вѣстью о нашествіи. Чувства, подобныя чувствамъ князя Андрея, спасли тогда Россію. „Французы разорили *мой домъ*“, говоритъ онъ, „и идутъ разорить Москву, оскорбили и оскорбляютъ меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники всѣ, по моимъ понятіямъ“ (т. IV, стр. 267).

Послѣ этихъ и подобныхъ рѣчей, Пьеръ, какъ сказано у автора, „понялъ весь смыслъ и все значеніе этой войны и предстоящаго сраженія“.

Война была, со стороны русскихъ, оборонительная и, слѣдовательно, имѣла святой и народный характеръ; тогда какъ, со стороны французовъ, она была наступательная, то-есть насильственная и несправедливая. При Бородинѣ всѣ другія отношенія и соображенія сгладились и исчезли; другъ противъ друга стояли два народа — одинъ нападающій, другой защищающійся. Поэтому, тутъ съ величайшей ясностію обнаружилась сила тѣхъ двухъ *идей*, которыя на этотъ разъ двигали этими народами и поставили ихъ въ такое взаимное положеніе. Французы явились, какъ представители космополитической идеи, — способной, во имя общихъ началъ, прибѣгать къ насилію, къ убійству народовъ; Русскіе явились представителями идеи народной, — съ любовью охраняющей духъ и строй самобытной, органически-сложившейся жизни. Вопросъ о національностяхъ былъ поставленъ на Бородинскомъ полѣ, и Русскіе рѣшили его здѣсь въ первый разъ въ пользу національностей.

Понятно поэтому, что Наполеонъ не понималъ и никогда не могъ понять того, чтò совершилось на Бородинскомъ полѣ; понятно, что онъ долженъ былъ быть объятъ недоумѣніемъ и страхомъ при зрѣлищѣ неожиданной и невѣдомой силы, которая возстала противъ него.

Такъ какъ дѣло, однакоже, было, повидимому, очень простое и ясное, то понятно, наконецъ, что авторъ счелъ себя въ правѣ сказать о Наполеонѣ слѣдующее:

„И не на одинъ только этотъ часъ и день были *„помрачены умъ и совѣсть* этого человѣка, тяжеле всѣхъ *„другихъ участниковъ* этого дѣла носившаго на себѣ всю *„тяжесть совершившагося*, но и никогда, до конца жизни *„своей, не могъ понимать онъ ни добра, ни красоты, ни истинны*, ни значенія своихъ поступковъ, которые были *„слишкомъ противоположны* добру и правдѣ, слишкомъ *„далеки отъ* всего человѣческаго, для того, чтобы онъ *„могъ понимать ихъ значеніе*. Онъ не могъ отречься *„отъ* своихъ поступковъ, восхваляемыхъ половиной свѣта, *„и потому долженъ былъ отречься отъ правды и добра* *„и всего человечества“* (т. IV, стр. 330, 331).

Итакъ, вотъ одинъ изъ окончательныхъ выводовъ: въ Наполеонѣ, въ этомъ героѣ изъ героевъ, авторъ видитъ человѣка, дошедшаго до совершенной утраты истиннаго человѣческаго достоинства, — человѣка, постигнутаго помраченіемъ ума и совѣсти. Доказательство на лицо. Какъ Барклай де Толли навсегда уроненъ тѣмъ, что не понималъ положенія Бородинской битвы, — какъ Кутузовъ превознесенъ выше всякихъ похвалъ тѣмъ, что совершенно ясно понималъ, чтò дѣлается во время этой битвы, — такъ Наполеонъ на вѣки осужденъ тѣмъ, что не понималъ того святаго, простаго дѣла, которое мы дѣлали при Бородинѣ и которое понималъ каждый нашъ солдатъ. Въ дѣлѣ, такъ громко вопіявшемъ о своемъ смыслѣ, Наполеонъ не понималъ, что правда была на нашей сторонѣ. Европа хотѣла задушить Россію и въ своей гордости мечтала, что дѣйствуетъ прекрасно и справедливо.

Итакъ, въ лицѣ Наполеона художникъ какъ-будто хотѣлъ представить намъ душу человѣческую въ ея слѣпотѣ, хотѣлъ показать, что героическая жизнь можетъ противорѣчить истинному человѣческому достоинству, — что добро, правда и красота могутъ быть гораздо доступнѣе людямъ простымъ и малымъ, чѣмъ инымъ великимъ героямъ. Простой человѣкъ, простая жизнь, поставлены поэтомъ выше героизма — и по достоинству и по силѣ; ибо простые русскіе люди съ такими сердцами, какъ у Николая Ростова, у Тимохина и Тушина, побѣдили Наполеона и его великую армію.

IV.

До сихъ поръ мы говорили такъ, какъ будто авторъ имѣлъ совершенно опредѣленные цѣли и задачи, — какъ будто онъ хотѣлъ доказывать или разъяснять извѣстныя мысли и отвлеченныя положенія. Но это только приблизительный способъ выраженія. Мы говорили такъ только для ясности, для выпуклости рѣчи; мы умышленно придавали дѣлу грубыя и рѣзкія формы, чтобы онѣ живѣе бросились въ глаза. Въ дѣйствительности же художникъ не руководился такими голыми соображеніями, какія мы ему приписали; творческая сила дѣйствовала шире и глубже, проникала въ самый сокровенный и высокій смыслъ явленій.

Такимъ образомъ, мы могли бы дать еще нѣсколько формулъ цѣли и смысла „Войны и Мира“. *Истина* есть сущность каждаго дѣйствительно-художественнаго произведенія, и потому, на какую бы философскую высоту созерцанія жизни мы ни поднялись, мы найдемъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ точки опоры для своего созерца-

нія. Много было говорено объ *исторической теоріи* графа Л. Н. Толстаго. Несмотря на чрезмѣрность нѣкоторыхъ его выраженій, люди самыхъ различныхъ мнѣній согласились, что онъ, если не вполне правъ, то *на одинъ шагъ* отъ правды.

Эту теорію можно бы обобщить и сказать, напримеръ, что не только историческая, но и всякая человѣческая жизнь управляется не умомъ и волею, т. е. не мыслями и желаніями, достигшими ясной сознательной формы, а чѣмъ-то болѣе темнымъ и сильнымъ, такъ называемою *натурою* людей. Источники жизни (какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ народовъ) гораздо глубже и могущественнѣе, чѣмъ тотъ сознательный произволъ и сознательное соображеніе, которыми, повидимому, руководятся люди. Подобная *вѣра въ жизнь*, — признаніе за жизнью бѣльшаго смысла, чѣмъ тотъ, какой способенъ уловить нашъ разумъ, — разлита по всему произведенію графа Л. Н. Толстаго; и можно бы сказать, что на эту мысль написано все это произведение.

Приведемъ небольшой примѣръ. Послѣ своей поѣздки въ Отрадное, князь Андрей рѣшается ѣхать изъ деревни въ Петербургъ. „Цѣлый рядъ“, говоритъ авторъ „разумныхъ логическихъ доводовъ, почему ему необходимо ѣхать въ Петербургъ и даже служить, ежеминутно былъ готовъ къ его услугамъ. Онъ даже теперь не понималъ, какъ могъ онъ когда-нибудь сомнѣваться въ необходимости принять дѣятельное участіе въ жизни, точно такъ же, какъ мѣсяцъ тому назадъ онъ не понималъ, какъ могла бы ему прійти мысль ѣхать изъ деревни. Ему казалось ясно, что всѣ его опыты жизни должны были пропасть даромъ и быть безсмыслицей, ежели бы онъ не приложилъ ихъ къ дѣлу и не принялъ опять

„дѣятельнаго участія въ жизни. Онъ даже не помнилъ „того, какъ прежде, на основаніи *такихъ же бѣдныхъ разумныхъ доводовъ*, очевидно было, что онъ бы унизился, „ежели бы теперь, послѣ своихъ уроковъ жизни, опять „бы повѣрилъ въ возможность приносить пользу и „въ возможность счастья и любви“ (т. III, стр. 10).

Такую же подчиненную роль играетъ разумъ и у всѣхъ другихъ лицъ гр. Л. Н. Толстаго. Вездѣ жизнь оказывается шире бѣдныхъ логическихъ соображеній, и поэтъ превосходно показываетъ, какъ она обнаруживаетъ свою силу помимо воли людей. Наполеонъ стремится къ тому, что должно погубить его; безпорядокъ, въ которомъ онъ засталъ наше войско и правительство, спасаетъ Россію, потому что привлекаетъ Наполеона къ Москвѣ,—даетъ созрѣть нашему патріотизму,—вызываетъ необходимость назначить Кутузова и вообще измѣнить весь ходъ дѣлъ. Истинныя, глубокія силы, управляющія событіями, берутъ верхъ надъ всѣми расчетами.

Итакъ, таинственная глубина жизни—вотъ мысль „Войны и Мира“.

Но съ такимъ же правомъ мы могли бы взять и какое-нибудь другое высокое созерцаніе явленій и приписать его этому произведенію. Можно, напримѣръ, сказать, что высшая точка зрѣнія, на которую подымается авторъ, есть религіозный взглядъ на міръ. Когда князь Андрей,—невѣрующій, какъ и его отецъ,—тяжело и больно испыталъ всѣ превратности жизни и, смертельно раненый, увидѣлъ своего врага Анатоля Курагина, онъ вдругъ почувствовалъ, что ему открывается новый взглядъ на жизнь.

„Состраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, „любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ, да,

„та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, „которой меня учила княжна Марья и *которой я не понималъ*; вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ „оно то, что еще оставалось мнѣ, ежелибы я былъ „живъ“ (т. IV, стр. 329).

И не одному князю Андрею, но и многимъ лицамъ „Войны и Мира“ открывается въ различной степени это высокое пониманіе жизни, напримѣръ, многострадальной и многолюбящей княжнѣ Марьѣ, Пьеру послѣ измѣны жены, Наташѣ послѣ ея измѣны жениху и пр. Съ удивительною ясностію и силою, поэтъ показываетъ, какъ религіозный взглядъ составляетъ всегдашнее прибѣжище души, измученной жизнью,—единственную точку опоры для мысли, пораженной измѣнчивостію всѣхъ человѣческихъ благъ. Душа, отрекающаяся отъ міра, становится выше міра и обнаруживаетъ новую красоту—всепрощеніе и любовь.

Въ одномъ мѣстѣ авторъ замѣчаетъ въ скобкахъ, что люди ограниченные любятъ говорить „*въ наше время*, *въ наше время*, такъ какъ воображаютъ, что они „нашли и оцѣнили особенности нашего времени, и думаютъ, что *свойства людей измѣняются со временемъ*“ (т. III, стр. 85). Гр. Л. Н. Толстой, очевидно, отвергаетъ это грубое заблужденіе, и, на основаніи всего предъидущаго, мы, кажется, имѣемъ полное право сказать, что въ „Войнѣ и Мирѣ“ онъ повсюду вѣренъ неизмѣннымъ, вѣчнымъ свойствамъ души человѣческой. Какъ въ героѣ онъ видитъ человѣческую сторону, такъ въ человѣкѣ извѣстнаго времени, извѣстнаго круга и воспитанія, онъ прежде всего видитъ человѣка,—такъ въ его дѣйствіяхъ, опредѣленныхъ вѣкомъ и обстоятельствами, видитъ неизмѣнные законы человѣческой природы. От-

сюда происходит, такъ сказать, *общечеловѣческая* занимательность этого удивительнаго произведенія, соединяющаго въ себѣ художественный реализмъ съ художественнымъ идеализмомъ, историческую вѣрность съ общепсихическою правдою, — яркую народную своеобразность съ общечеловѣческою шириною.

Таковы нѣкоторыя общія точки зрѣнія, подѣ которыхъ подходитъ „Война и Миръ“. Но всѣ эти опредѣленія еще не указываютъ *частнаго* характера произведенія гр. Л. Н. Толстаго, — его особенностей, дающихъ ему, сверхъ общаго смысла, еще опредѣленный смыслъ для нашей жизни и нашей литературы. Эту частную характеристику возможно сдѣлать не иначе, какъ, показавъ мѣсто „Войны и Мира“ въ нашей литературѣ, объяснивъ связь этого произведенія съ общимъ ходомъ нашей словесности и съ исторіей развитія самого таланта автора. Мы попытаемся сдѣлать это въ слѣдующей статьѣ.

1868 г. 13 дек.

(Заря 1869, янв.).

III.

Война и Миръ. Сочиненіе Графа Л. Н. Толстаго. Томы I, II, III и IV Изданіе второе. Москва, 1868.

Статья вторая и послѣдняя.

Окончательное сужденіе о „Войнѣ и Мирѣ“ составить теперь едва ли возможно. Пройдутъ многіе годы, прежде чѣмъ вполне выяснится значеніе этого произведенія. И это мы говоримъ не въ особенную ему похвалу, не ради его превознесенія; нѣтъ, такова вообще судьба фактовъ слишкомъ къ намъ близкихъ, что мы слабо и дурно понимаемъ ихъ смыслъ. Но, разумѣется, всего плачевнѣе такое непониманіе и всего яснѣе открывается его источникъ, когда дѣло идетъ о важныхъ явленіяхъ. Часто великое и прекрасное проходитъ передъ нашими глазами, но мы, въ силу нашей собственной малости, не вѣримъ и не замѣчаемъ, что намъ дано быть свидѣтелями и очевидцами великаго и прекраснаго. Мы обо всемъ судимъ по себѣ. Поспѣшно, небрежно, невнимательно мы судимъ о всемъ современномъ, какъ будто все оно намъ по плечу, какъ будто имѣемъ полное право обращаться съ нимъ за панибрата; больше всего мы любимъ даже не просто судить, а именно осуждать, такъ какъ этимъ думаемъ несомнѣнно доказать наше умственное превосходство. Такимъ образомъ, о самомъ

глубокомъ и свѣтломъ явленіи являются равнодушные или высокомерные отзывы, которыхъ изумительной дерзости и не подозреваютъ тѣ, кто ихъ произносятъ. И хорошо еще, если мы опомнимся и уразумѣемъ наконецъ, о чемъ мы смѣли судить, съ какими великанами равняли себя въ своей наивности. Большею частію и этого не бываетъ, и люди держатся своихъ мнѣній съ упорствомъ того столоначальника, у котораго нѣсколько мѣсяцевъ служилъ Гоголь, и который потомъ уже до конца жизни не могъ повѣрить, что его подчиненный сталъ великимъ русскимъ писателемъ.

Мы слѣпы и близоруки для современнаго. И хотя художественныя произведенія, какъ назначенныя прямо для созерцанія и употребляющія всѣ средства, какими можно достигнуть ясности впечатлѣнія, повидимому, должны бы болѣе другихъ явленій бросаться намъ въ глаза, но и они не избѣгаютъ общей участи. Безпрестанно сбывается замѣчаніе Гоголя: „поди ты, сладъ съ „человѣкомъ! не вѣрить въ Бога, а вѣрить, что если „почешется переносье, то непременно умретъ; *пропущитъ мимо созданіе поэта, ясное какъ день, все пропущенное согласіемъ и высокою мудростію простоты*, „а бросится именно на то, гдѣ какой-нибудь удалецъ „напугаетъ, наплететъ, изломаетъ, выворотитъ природу, „и ему оно понравится, и онъ станетъ кричать: вотъ „оно, вотъ настоящее знаніе тайнъ сердца!“

Есть, впрочемъ, въ этомъ неумѣнии цѣнить настоящее и близкое къ намъ другая, болѣе глубокая сторона. Пока человѣкъ развивается, стремится впередъ, онъ не можетъ правильно цѣнить то, чѣмъ онъ обладаетъ. Такъ дитя не знаетъ прелести своего дѣтства, и юноша не подозреваетъ красоты и свѣжести своихъ душевныхъ

явленій. Только потомъ, когда все это сдѣлается прошлымъ, мы начинаемъ понимать, какими великими благами мы обладали; тогда мы находимъ, что этимъ благамъ и цѣны нѣтъ, такъ какъ возвратитъ ихъ, вновь пріобрѣсти невозможно. Минувшее, неповторимое становится единственнымъ и незамѣнимымъ, и потому всѣ его достоинства выступаютъ передъ нами ясно, ничѣмъ не заслоняемая, не помрачаемая ни заботами о настоящемъ, ни мечтами о будущемъ.

Понятно поэтому, отчего, переходя въ область исторіи, все получаетъ болѣе ясный и опредѣленный смыслъ. Современемъ, значеніе „Войны и Мира“ перестанетъ быть вопросомъ, и это произведеніе займетъ въ нашей литературѣ то незамѣнимое и единственное мѣсто, которое современникамъ трудно разглядѣть. Если же мы хотимъ теперь же имѣть нѣкоторыя указанія на это мѣсто, то мы можемъ добыть ихъ не иначе, какъ разсмотрѣвъ историческую связь „Войны и Мира“ съ русскою литературою вообще. Если мы найдемъ живыя нити, связывающія это современное явленіе съ явленіями, смыслъ которыхъ для насъ уже сталъ яснѣе и опредѣленнѣе, то и его смыслъ, его важность и особенности станутъ для насъ понятнѣе. Точкой опоры для нашихъ сужденій будутъ въ этомъ случаѣ уже не отвлеченныя понятія, а твердые историческіе факты, имѣющіе вполне опредѣленную фізіономію.

Итакъ, переходя къ историческому взгляду на произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, мы вступаемъ въ область болѣе ясную и отчетливую. Говоря такъ, мы однакоже должны прибавить, что это справедливо лишь вообще и сравнительно. Ибо исторія нашей литературы въ сущности есть одна изъ исторій наиболѣе покрытыхъ мра-

комъ, наименѣе общеизвѣстныхъ, и пониманіе этой исторіи,—какъ этого и слѣдовало ожидать отъ общаго состоянія нашего просвѣщенія,—въ высшей степени искажено и запутано предрасудками и ложными взглядами. Но, по мѣрѣ движенія нашей литературы, смыслъ этого движенія долженъ однакоже уясняться, и такое важное произведеніе, какъ „Война и Миръ“, конечно, должно открывать намъ многое относительно того, чѣмъ внутренно живетъ и питается наша литература, куда стремится ея главное теченіе.

I.

Есть въ русской литературѣ классическое произведеніе, съ которымъ „Война и Миръ“ имѣетъ больше сходства, чѣмъ съ какимъ бы то ни было другимъ произведеніемъ. Это—„Капитанская дочка“ Пушкина. Сходство есть и во внѣшней манерѣ, въ самомъ тонѣ и предметѣ разсказа; но главное сходство—во внутреннемъ духѣ обоихъ произведеній. „Капитанская дочка“ тоже не историческій романъ, то есть, вовсе не имѣетъ въ виду въ формѣ романа рисовать жизнь и нравы, уже ставшіе для насъ чуждыми, и лица, игравшія важную роль въ исторіи того времени. Историческія лица, Пугачевъ, Екатерина, являются у Пушкина мелькомъ въ немногихъ сценахъ, совершенно такъ, какъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ являются Кутузовъ, Наполеонъ и пр. Главное же вниманіе сосредоточено на событіяхъ частной жизни Гриневыхъ и Мироновыхъ, и историческія событія описаны лишь въ той мѣрѣ, въ какой они прикасались къ жизни этихъ простыхъ людей. „Капитанская дочка“, собственно говоря, есть *хроника семейства Гриневыхъ*; это—

тотъ разсказъ, о которомъ Пушкинъ мечталъ еще въ третьей главѣ Онѣгина,—разсказъ, изображающій

Преданья русскаго семейства.

Въ послѣдствіи у насъ явилось не мало подобныхъ разсказовъ, между которыми высшее мѣсто занимаетъ *Семейная хроника* С. Т. Аксакова. Критики замѣтили сходство этой хроники съ произведеніемъ Пушкина. Хомяковъ говоритъ: „простота формъ Пушкина въ *повѣстяхъ* и особенно Гоголя, съ которыми С. Т. былъ такъ друженъ, подѣйствовали на него“ *).

Стоитъ немножко взглянуть въ „Войну и Миръ“, чтобы убѣдиться, что это—тоже нѣкоторая *семейная хроника*. Именно эта хроника двухъ семействъ: семейства Ростовыхъ и семейства Болконскихъ. Это—воспоминанія и разсказы о всѣхъ важнѣйшихъ случаяхъ въ жизни этихъ двухъ семействъ и о томъ, какъ дѣйствовали на ихъ жизнь современныя имъ историческія событія. Разница отъ простой хроники заключается только въ томъ, что разсказу дана болѣе яркая, болѣе живописная форма, въ которой всего лучше художникъ могъ воплотить свои идеи. Голаго разсказа нѣтъ; все—въ сценахъ, въ ясныхъ и отчетливыхъ краскахъ. Отсюда—видимая отрывочность разсказа, въ сущности чрезвычайно связнаго; отсюда же то, что художникъ по необходимости ограничился немногими годами описываемой имъ жизни, а не сталъ разсказывать ее постепенно отъ самаго рожденія того или другого героя. Но, и въ этомъ—сосредоточенномъ для большей художественной ясности—разсказѣ, не выступаютъ ли передъ глазами читателей всѣ „семейныя преданія“ Болконскихъ и Ростовыхъ?

*) Сочин. Хомякова, Т. I, стр. 665.

Итакъ, руководясь сравненіемъ, мы нашли наконецъ тотъ *родъ* словесныхъ произведеній, къ которому слѣдуетъ отнести „Войну и Миръ“. Это не романъ вообще, не историческій романъ, даже не историческая хроника; это—*хроника семейная*. Если прибавимъ, что мы непремѣнно разумѣемъ при этомъ художественное произведеніе, то наше опредѣленіе будетъ готово. Этотъ своеобразный родъ, котораго нѣтъ въ другихъ словесностяхъ, и идея котораго долго тревожила Пушкина и наконецъ была осуществлена имъ, можетъ быть характеризованъ двумя особенностями, на которыя указываетъ его названіе. Во-первыхъ, это—*хроника*, т. е. простой, безхитростный разсказъ, безъ всякихъ завязокъ и запутанныхъ приключеній, безъ наружнаго единства и связи. Эта форма, очевидно, проще, чѣмъ романъ,—ближе къ дѣйствительности, къ правдѣ; она хочетъ, чтобы ее принимали за быль, а не за простую возможность. Во-вторыхъ, это—быль *семейная*, т. е. не похождения отдѣльнаго лица, на которомъ должно сосредоточиваться все вниманіе читателя, а событія, такъ или иначе важныя для цѣлаго семейства. Для художника какъ будто одинаково дороги, одинаково герои—всѣ члены семейства, хронику котораго онъ пишетъ. И центръ тяжести произведенія всегда въ семейныхъ отношеніяхъ, а не въ чемъ-нибудь другомъ. „Капитанская дочка“ есть разсказъ о томъ, какъ Петръ Гриневъ женился на дочери капитана Миронова. Дѣло вовсе не въ любопытныхъ ощущеніяхъ, и всѣ приключенія жениха и невесты касаются не измѣненія ихъ чувствъ, простыхъ и ясныхъ отъ самаго начала, а составляютъ случайныя препятствія, мѣшавшія простой развязкѣ,—не помѣхи страсти, а помѣхи женитьбѣ. Отсюда—такая естественная пестрота

этого разсказа; романической нити въ немъ собственно нѣтъ.

Нельзя не подивиться геніальности Пушкина, обнаружившейся въ этомъ случаѣ. „Капитанская дочка“ имѣетъ всѣ внѣшнія формы романовъ Вальтеръ-Скотта, эпиграфы, раздѣленіе на главы и т. п. (Такъ, внѣшняя форма „Исторіи Государства Россійскаго“ взята у Юма). Но, вздумавши подражать, Пушкинъ написалъ произведеніе въ высшей степени оригинальное. Пугачевъ, на примѣръ, выведенъ на сцену съ такою удивительною осторожностію, какую можно найти только у гр. Л. Н. Толстаго, когда онъ выводитъ передъ нами Александра I-го, Сперанскаго и пр. Пушкинъ, очевидно, считалъ дѣломъ легкомысленнымъ и недостойнымъ поэтического труда малѣйшее уклоненіе отъ строгой исторической истины. Точно также, романическая исторія двухъ любящихъ сердецъ доведена у него до простоты, въ которой исчезаетъ все романическое.

И такимъ образомъ, хотя онъ считалъ необходимымъ—и основать завязку на любви, и ввести въ эту завязку историческое лицо, но, въ силу своей неуклонной поэтической правдивости, онъ написалъ намъ не историческій романъ, а семейную хронику Гриневыхъ.

Но мы не можемъ показать всего глубокаго сходства между „Войною и Миромъ“ и „Капитанской дочкой“, если не вникнемъ во внутренній духъ этихъ произведеній,—не покажемъ того многозначительнаго поворота въ художественной дѣятельности Пушкина, который привелъ его къ созданію нашей первой семейной хроники. Безъ пониманія этого поворота, отразившагося и развившагося въ гр. Л. Н. Толстомъ, намъ не будетъ понятенъ полный смыслъ „Войны и Мира“. Внѣш-

нее сходство ничего не значить въ сравненіи съ сходствомъ того духа, которымъ внушены оба сравниваемые нами произведенія. Тутъ, какъ и всегда, оказывается, что Пушкинъ есть истинный родоначальникъ нашей самобытной литературы,—что его геній постигалъ и совмѣщалъ въ себѣ всѣ стремленія нашего творчества.

II.

Итакъ, чтò же такое „Капитанская дочка“? Всѣмъ извѣстно, что это—одно изъ драгоцѣннѣйшихъ достояній нашей литературы. По простотѣ и чистотѣ своей поэзіи, это произведеніе одинаково доступно, одинаково привлекательно для взрослыхъ и дѣтей. На „Капитанской дочкѣ“ (также какъ на „Семейной хроникѣ“ С. Аксакова) русскія дѣти воспитываютъ свой умъ и свое чувство, такъ какъ учителя, безъ всякихъ постороннихъ указаній, находятъ, что нѣтъ въ нашей литературѣ книги болѣе понятной и занимательной, и вмѣстѣ съ тѣмъ столь серіозной по содержанію и высокой по творчеству. Чтò же такое „Капитанская дочка“?

Рѣшеніе этого вопроса мы уже не имѣемъ права брать только на себя. У насъ есть литература, и есть также критика. Мы желаемъ показать, что въ нашей литературѣ существуетъ постоянное развитіе, — что въ ней въ различной степени и разныхъ формахъ раскрываются все тѣ же основные задатки; міросозерцаніе гр. Л. Н. Толстаго мы связываемъ съ одною изъ сторонъ поэтической дѣятельности Пушкина. Точно такъ, мы обязаны и хотѣли бы связать наши сужденія со взглядами, уже высказанными нашей критикой. Если у насъ есть критика, то она не могла не оцѣнить того важнаго на-

правленія въ нашемъ художествѣ, которое началось съ Пушкина, жило до настоящаго времени (около сорока лѣтъ) и наконецъ породило такое огромное и высокое произведеніе, какъ „Война и Миръ“. На фактъ подобнаго размѣра всего лучше можно провѣрить проницательность критики и глубину ея пониманія.

О Пушкинѣ у насъ писано много, но изъ всего писаннаго рѣзко выдаются два произведенія; у насъ есть двѣ *книги* о Пушкинѣ, конечно, извѣстныя всѣмъ читателямъ: одна—8-й томъ сочиненій *Бѣлинскаго*, заключающій въ себѣ десять статей о Пушкинѣ (1843—1846), другая—„Матеріалы для біографіи Пушкина“ П. В. *Анненкова*, составляющія 1-й томъ его изданія сочиненій Пушкина (1855). Обѣ книги весьма замѣчательны. У Бѣлинскаго въ первый разъ въ нашей литературѣ (у Нѣмцевъ о Пушкинѣ уже писалъ достойнымъ поэта образомъ Варнгагенъ фонъ Энзе) сдѣлана отчетливая и твердая оцѣнка художественнаго достоинства произведеній Пушкина; со всею ясностію Бѣлинскій понималъ высокое достоинство этихъ произведеній и съ точностью указалъ, какія изъ нихъ ниже, какія выше, какія достигаютъ высоты, по словамъ критика, *утомляющей всякое удивленіе*. Приговоры Бѣлинскаго относительно художественной цѣнности произведеній Пушкина остаются вѣрны до сихъ поръ и свидѣлствуютъ объ удивительной чуткости эстетическаго вкуса нашего критика. Извѣстно, что наша литература въ то время не понимала великаго значенія Пушкина; Бѣлинскому принадлежитъ слава, что онъ твердо и сознательно стоялъ за его величіе, хотя ему и не было дано постигнуть всю мѣру этого величія. Такъ точно ему досталась слава — понять высоту Лермонтова и Гоголя, съ которыми тоже за пани-

брата обращались современные имъ литературные судьи. Но иное дѣло—эстетическая оцѣнка, и другое—оцѣнка значенія писателя для общественной жизни, его нравственнаго и народнаго духа. Въ этомъ отношеніи книга Бѣлинскаго о Пушкинѣ рядомъ съ вѣрными и прекрасными мыслями заключаетъ много ошибочныхъ и смутныхъ взглядовъ. Такова, напримѣръ, статья IX-я, о Татьянѣ. Какъ бы то ни было, эти статьи представляютъ полный и, въ эстетическомъ отношеніи, чрезвычайно вѣрный обзоръ произведеній Пушкина.

Другая книга, „Матеріалы“ П. В. Анненкова, содержитъ такой же обзоръ, изложенный въ тѣсной связи съ біографіею поэта. Менѣе оригинальная, чѣмъ книга Бѣлинскаго, но болѣе зрѣлая, составленная съ величайшею тщательностію и любовью къ дѣлу, эта книга даетъ всего больше пищи для того, кто хочетъ изучать Пушкина. Она превосходно написана; какъ будто духъ Пушкина сошелъ на біографа и далъ его рѣчи простоту, краткость и опредѣленность. „Матеріалы“ необыкновенно богаты содержаніемъ и чужды всякихъ разглагольствій. Чтò касается до сужденій о произведеніяхъ поэта, то, руководясь его жизнью, близко держась обстоятельствъ, его окружавшихъ, и перемѣнъ въ немъ происходившихъ, біографъ сдѣлалъ драгоцѣнныя указанія и начертилъ съ большою вѣрностію, съ любовнымъ пониманіемъ дѣла, исторію творческой дѣятельности Пушкина. Ошибочныхъ взглядовъ въ этой книгѣ нѣтъ, такъ какъ авторъ не отклонялся отъ своего предмета, столько имъ любимаго и такъ хорошо понимаемаго: есть только неполнота, вполнѣ оправдываемая скромнымъ тономъ и слишкомъ скромнымъ названіемъ книги.

И вотъ, къ такимъ-то книгамъ мы естественно обра-

щаемся за рѣшеніемъ нашего вопроса о „Капитанской дочкѣ“. Что же оказывается? И въ той и въ другой книгѣ этому удивительному произведенію посвящено лишь нѣсколько небрежныхъ строчекъ. Мало того, обо всемъ циклѣ произведеній Пушкина, примыкающихъ къ „Капитанской дочкѣ“ (каковы: *Повѣсти Бѣлкина*, *Лѣтопись села Горохина*, *Дубровский*), оба критика отзываются или съ неодобреніемъ, или съ равнодушными, вскользь сказанными похвалами. Такимъ образомъ, цѣлая сторона въ развитіи Пушкина, завершившаяся созданіемъ „Капитанской дочки“, упущена изъ вида и вниманія, признана маловажною и даже *недостойною* имени Пушкина. Оба критика пропустили то, чтò существеннымъ образомъ повліяло на весь ходъ нашей литературы и отразилось наконецъ въ такихъ произведеніяхъ, какъ „Война и Миръ“.

Фактъ—знаменательный въ высшей степени и объясняемый только внутреннею исторіею нашей критики. Весьма понятно, что для пониманія столь многосторонняго и глубокаго поэта, какъ Пушкинъ, нужно было долгое время, и что не одному человѣку досталось на долю потрудиться на этомъ поприщѣ; много труда предстоитъ еще и впереди. Сперва мы должны были понять ту сторону Пушкина, которая всего доступнѣе, всего больше сливается съ общимъ направленіемъ нашей образованности. Уже до Пушкина и въ его время, мы понимали европейскихъ поэтовъ—Шиллера, Байрона и другихъ; Пушкинъ явился ихъ соперникомъ, сореоовнатель; такъ мы на него и смотрѣли, измѣряя его достоинства знакомою намъ мѣркою, сравнивая его произведенія съ произведеніями западныхъ поэтовъ. И Бѣлинскій и Анненковъ—западники; поэтому они и могли

хорошо чувствовать только общечеловѣческія красоты Пушкина. Тѣ же черты, въ которыхъ онъ являлся самобытнымъ русскимъ поэтомъ,—въ которыхъ его русская душа обнаруживала нѣкотораго рода реакцію противъ западной поэзіи, должны были остаться для нашихъ двухъ критиковъ малодоступными, или вовсе непонятными. Для пониманія ихъ нужно было другое время, когда появились бы иные взгляды, кромѣ западныхъ, и другой человѣкъ, который пережилъ бы въ своей душѣ поворотъ, подобный повороту пушкинскаго творчества.

III.

Этотъ человѣкъ былъ Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ. Имъ былъ въ первый разъ указанъ важный смыслъ той стороны поэтической дѣятельности Пушкина, лучшимъ плодомъ которой была „Капитанская дочка“. Взгляды Григорьева на этотъ предметъ, и вообще на значеніе Пушкина, были часто имъ повторяемы и развиваемы, но въ первый разъ были изложены въ „Русскомъ Словѣ“ 1859 года. То былъ первый годъ этого журнала, имѣвшаго тогда трехъ редакторовъ: гр. Г. А. Кушелева-Безбородко, Я. П. Полонскаго и Ап. А. Григорьева. Передъ этимъ, Григорьевъ года два ничего не писалъ и жилъ за границею, большею частію въ Италіи и большею частію въ созерцаніи художественныхъ произведеній. Статьи о Пушкинѣ были плодомъ его долгихъ заграничныхъ размышленій. Этихъ статей собственно шесть; двѣ первыя подъ заглавіемъ: *Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина*; четыре остальные называются—*И. С. Тургеневъ и его дѣятельность, по поводу*

романа „Дворянское гнездо“, и содержать развитіе тѣхъ же взглядовъ и приложеніе ихъ къ Тургеневу *).

Въ чемъ же состоитъ мысль Григорьева? Постараемся высказать ее яснѣе, ограничиваясь тѣмъ вопросомъ, который мы разбираемъ. Григорьевъ нашелъ, что дѣятельность Пушкина представляетъ душевную борьбу съ различными идеалами, съ различными вполне сложившимися историческими типами, тревожившими его натуру и пережитыми ею. Идеалы эти или типы принадлежали чуждой, не русской жизни; это были — мутно-чувственная струя ложнаго классицизма, туманный романтизмъ, но всего больше байроновскіе типы Чайльдъ-Гарольда, Донъ-Жуана и т. д. Эти формы иной жизни, иныхъ народныхъ организмовъ, вызывали сочувствіе въ душѣ Пушкина, находили въ ней стихіи и силы для созданія соотвѣствующихъ идеаловъ. Это не было подражаніе, внѣшнее передразниваніе извѣстныхъ типовъ; это было ихъ дѣйствительное усвоеніе, ихъ переживаніе. Но вполне и до конца природа поэта покориться имъ не могла. Обнаружилось то, что Григорьевъ называетъ *борьбою* съ типами, то есть, съ одной стороны—стремленіе отозваться на извѣстный типъ, дойти до него своими душевными силами и, такимъ образомъ, помѣряться съ нимъ; съ другой стороны, неспособность живой и самобытной души вполне отдаться типу, неудержимая потребность отнестись къ нему критически и даже обнаружить и признать въ себѣ законными сочувствія, вовсе несогласныя съ типомъ. Изъ такого рода борьбы съ чуждыми типами, Пушкинъ всегда

*) Эти статьи перепечатаны въ первомъ томѣ сочиненій Ап. Григорьева, заключающемъ всѣ его общія статьи. *Сочиненія Аполлона Григорьева т. 1. Спб. 1876, стр. 230—248.*

выходилъ *самимъ собою, особеннымъ типомъ, совершенно новымъ*. Въ немъ въ первый разъ обособилась и ясно обозначилась наша русская фizioномія, истинная мѣра всѣхъ нашихъ общественныхъ, нравственныхъ и художественныхъ сочувствій, полный типъ русской души. Обособиться, характеризоваться — этотъ типъ могъ только въ томъ человѣкѣ, который дѣйствительно *жилъ* другими типами, но имѣлъ силу имъ не поддаться и поставить наравнѣ съ ними свой собственный типъ, смѣло узаконить желанія и требованія своей самобытной жизни. Оттого Пушкинъ и есть творецъ русской поэзіи и литературы, что въ немъ наше типовое не только сказалось, но и выразилось, то есть, облеклось въ высочайшую поэзію, поравнялось со всѣмъ великимъ, что онъ зналъ и на что отзывался своею великою душою. Поэзія Пушкина есть выраженіе идеальной русской натуры, помѣрявшейся съ идеалами другихъ народовъ.

Пробужденіе *русскаго душевнаго типа* съ его правами и требованіями можно найти во многихъ произведеніяхъ Пушкина. Одно изъ самыхъ важныхъ мѣстъ представляетъ тотъ отрывокъ изъ путешествія Онѣгина, въ которомъ говорится о *Тавридѣ* (попросту — о Крымѣ)

Воображенью край священный!
 Съ *Атридомъ* спорилъ тамъ *Пиладъ*,
 Тамъ заколося *Митридатъ*,
 Тамъ пѣлъ *Мицкевичъ* вдохновенный
 И посреди прибрежныхъ скалъ
 Свою Литву воспоминалъ.
 Прекрасны вы, брега Тавриды,
 Когда васъ видишь съ корабля,
 При свѣтѣ утренней *Киприды*,
 Какъ васъ въ первой увидѣлъ я!
 Вы мнѣ предстали въ блескѣ брачпомъ:

На небѣ синемъ и прозрачномъ
 Сіяли груди вашихъ горъ;
 Долинъ, деревьевъ, сель узоръ
 Разостланъ былъ передо мною.
 А тамъ, межъ хижинъ татаръ...
 Какой во мнѣ проснулся жаръ!
 Какой волшебною тоскою
 Стѣснялась пламенная грудь!
 Но, Муза! прошлое забудь.
 Какія-бъ чувства ни таились
 Тогда во мнѣ — теперь ихъ нѣтъ:
 Они прошли иль измѣнились...
 Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!
 Въ ту пору мнѣ казались нужны
 Пустыни, волнъ края жемчужны,
 И моря шумъ, и груди скалъ,
 И гордой дѣвы идеалъ,
 И безымянныя страданья...
 Другіе дни, другіе сны!
 Смирились вы, моей весны
 Высокопарныя мечтанья,
 И въ поэтическій бокалъ
 Воды я много подмѣшалъ.
 Иныя нужны мнѣ картины;
 Люблю песчаный косогоръ,
 Передъ избушкой дѣвъ рябины,
 Калитку, сломанный заборъ,
 На небѣ сѣренькія тучи,
 Передъ шумномъ соломы кучи,
 Да прудъ подъ тѣнью ивъ пустыхъ —
 Раздолье утокъ молодыхъ;
 Теперь мила мнѣ балайка,
 Да пѣанный топотъ трепака
 Передъ порогомъ кабака;
 Мой идеалъ теперь — хозяйка,
 Мои желанья — покой,
 Да щей горшокъ, да самъ большой.
 Порой дождливою наредни,

Я, завернувъ на скотный дворъ...
 Тьфу! прозаическія бредни,
 Фламандской школы пестрый соръ!
 Таковъ ли былъ я, расцвѣтая?
 Скажи, фонтанъ Бахчисарая,
 Такія-ль мысли мнѣ на умъ
 Навелъ твой безконечный шумъ,
 Когда безмолвно предъ тобою
 Зарему я воображалъ?

(Изд. Исакова, 1-е, т. III, стр. 217).

Что происходитъ въ душѣ поэта? Мы очень ошибемся, если найдемъ здѣсь какое-нибудь горькое чувство; бодрость и ясность духа слышны въ каждомъ стихѣ. Точно также, неправильно видѣть здѣсь насмѣшку надъ низменностію русской природы и русскаго быта; иначе можно бы, пожалуй, истолковать это мѣсто и совершенно наоборотъ, какъ насмѣшку надъ *высокопарными мечтаніями* юности, надъ тѣми временами, когда поэту *казались нужны безымянные страданія*, и онъ *воображалъ себя* Зарему, слѣдя Байрону, „отъ котораго тогда съ ума сходилъ“ (См. тамъ же, т. IV, стр. 44).

Дѣло гораздо сложнѣе. Очевидно, въ поэтѣ рядомъ съ прежними идеалами возникаетъ что-то новое. Много есть предметовъ, которые издавна *священны для его воображенія*; и міръ греческій съ его Кипридою, Атридомъ, Пиладомъ; и римское геройство, съ которымъ боролся Митридатъ; и пѣсни чуждыхъ поэтовъ, Мицкевича, Байрона, внушившія ему *гордой дѣвы идеалъ*; и картины южной природы, представляющей глазамъ въ *блескъ брачномъ*. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, поэтъ чувствуетъ, что въ немъ заговорила любовь къ иному быту, къ иной природѣ. Этотъ *прудъ подъ снѣжною ивъ густыхъ*, вѣроятно, тотъ самый прудъ, надъ которымъ онъ бродилъ,

Тоской и риомами томимъ,

и съ котораго спугивалъ утокъ *пнѣмъ сладкозвучныхъ строфъ* (см. Евг. Он. гл. четв. XXXV); этотъ простой быть, въ которомъ веселье выражается *топотомъ тренака*, котораго идеалъ—*хозяйка*, а желанія—*щей горшокъ, да самъ большой*; весь этотъ міръ, столь непохожий на то, что священно для воображенія поэта, имѣетъ, однакоже, для него неотразимую привлекательность. „Поразительна“, говоритъ Ап. Григорьевъ, — „эта простая, душнѣйшая смѣсь ощущеній самыхъ разнородныхъ—негодованія и желанія *набросить на картину колоритъ самый сырой* съ невольной любовью къ картинѣ, съ чувствомъ ея особенной, самобытной красоты!“ „Эта выходка поэта—негодование на прозаизмъ и мелочность окружающей его обстановки, но вмѣстѣ и невольное *сознаніе того, что этотъ прозаизмъ имѣетъ неотъемлемыя права надъ душою*, — что онъ въ душѣ остался, какъ остатокъ послѣ всего броженія, послѣ всѣхъ напращеній, послѣ всѣхъ тщетныхъ попытокъ окаменѣть въ байроновскихъ формахъ“ (Соч. Ап. Григорьева, т. I, стр. 249, 250).

Въ этомъ процессѣ, совершавшемся въ душѣ поэта, нужно отличать три момента: 1) пламенное и широкое сочувствіе всему великому, что онъ встрѣтилъ готовымъ и даннымъ, сочувствіе всѣмъ свѣтлымъ и темнымъ сторонамъ этого великаго; 2) невозможность вполне уйти въ эти сочувствія, окаменѣть въ этихъ чуждыхъ формахъ; поэтому — критическое отношеніе къ нимъ, протестъ противъ ихъ преобладанія; 3) любовь къ своему, къ русскому типовому, къ „своей почвѣ“, какъ выразился Ап. Григорьевъ.

„Когда поэтъ“, говоритъ этотъ критикъ, — „въ эпоху

„зрѣлости самосознанія привелъ для самого себя въ оче-
 „видность всѣ эти, повидимому совершенно противопо-
 „ложныя, явленія, совершавшіяся въ его собственной на-
 „турѣ,—то, *прежде всего правдивый и искренній*, онъ
 „*умалил* себя, когда-то Плѣнника, Гирея, Алеко, до об-
 „раза Ивана Петровича Бѣлкина...“ (тамъ же, стр. 251).

„Типъ Ивана Петровича Бѣлкина былъ почти лю-
 „бимымъ типомъ поэта въ послѣднюю эпоху его дѣятель-
 „ности. Въ тонѣ и взглядѣ этого типа онъ рассказываетъ
 „намъ многія добродушныя исторіи, между прочимъ, „лѣ-
 „топись села Горохина“ и семейную хронику Гриневыхъ,
 „эту родоначальницу всѣхъ теперешнихъ „семейныхъ
 „хроникъ““ (стр. 248).

Что же такое Пушкинскій Бѣлкинъ?

„Бѣлкинъ есть простой здравый толкъ и здравое
 „чувство, кроткое и смиренное,—вопіющее законно про-
 „тивъ злоупотребленія нами нашей широкой способности
 „понимать и чувствовать“ (стр. 252). „Въ этомъ типѣ уза-
 „конивалась, и притомъ только на время, только *от-
 „рицательно, критически, чисто типовая сторона*“
 (тамъ же).

Протестъ противъ *высокопарныхъ мечтаній*, противъ
 увлеченія мрачными и блестящими типами, выразился у
 Пушкина любовью къ простымъ типамъ, способностію
 къ умѣренному пониманію и чувствованію. Одной поэзіи
 Пушкинъ противопоставилъ другую, Байрону—Бѣлкина;
 будучи великимъ поэтомъ, онъ спустился со своей вы-
 соты и сѣмѣлъ такъ подойти къ бѣдной дѣйствитель-
 ности, его окружавшей и невольно имъ любимой, что
 она открыла ему всю поэзію, какая только въ ней была.
 Поэтому Ап. Григорьевъ вполне справедливо могъ сказать:

„Всѣ простые, *не преувеличенныя юмористически и не*

„*идеализированныя трагически* отношенія литературы къ
 „окружающей дѣйствительности и къ русскому быту—по
 „прямой линіи ведутъ свое начало отъ взгляда на жизнь
 „Ивана Петровича Бѣлкина“ (тамъ же, стр. 248).

Такимъ образомъ, Пушкинъ въ созданіи этого типа
 совершилъ величайшій поэтический подвигъ; ибо, чтобы
 понимать предметъ, нужно стать къ нему въ надлежа-
 щее отношеніе, и Пушкинъ нашелъ такое отношеніе
 къ предмету, который былъ вовсе неизвѣстенъ и требо-
 валъ всей силы его зоркости и правдивости. „Капитан-
 скую дочку“ нельзя рассказывать въ иномъ тонѣ и съ
 инымъ взглядомъ, чѣмъ какъ она рассказана. Иначе все
 въ ней будетъ искажено и извращено. Наше русское
 типовое, нашъ душевный типъ здѣсь въ первый разъ
 былъ воплощенъ поэзіею, но явился въ столь простыхъ
 и малыхъ своихъ формахъ, что потребовалъ особаго тона
 и языка; Пушкинъ долженъ былъ *измѣнить возвышен-
 ный строй своей лиры*. Для тѣхъ, кто не понималъ
 смысла этой перемены, она показалась палостью поэта,
недостойною его генія; но мы видимъ теперь, что тутъ-то
 и обнаружилась геніальная широта взгляда и вполне
 самобытная сила творчества нашего Пушкина.

IV

Для ясности мы должны еще нѣсколько времени
 остановиться на этомъ предметѣ. Открытіе значенія Бѣл-
 кина въ пушкинскомъ творчествѣ составляетъ главную
 заслугу Ап. Григорьева. Вмѣстѣ съ тѣмъ это была для
 него исходная точка, съ которой онъ объяснялъ внут-
 ренній ходъ всей послѣ-пушкинской художественной ли-
 тературы. Такимъ образомъ уже тогда, въ 1859 году,

онъ видѣлъ въ настроеніи нашей литературы слѣдующіе главные элементы:

1) „Тщетныя усилія насильственно создать въ себѣ „и утвердить въ душѣ обаятельные призраки и идеалы „чужой жизни“.

2) „Столь же тщетная борьба съ этими идеалами и „столь же тщетныя усилія вовсе отъ нихъ оторваться и „замѣнить ихъ чисто-отрицательными и смиренными „идеалами“.

Уже тогда Аполлонъ Григорьевъ, слѣдуя своей точкѣ зрѣнія, такъ опредѣлилъ Гоголя: „Гоголь явился только „мѣркою нашихъ антипатій и живымъ органомъ ихъ „законности, *потомъ чисто-отрицательнымъ*: симпатій- „же нашихъ кровныхъ, племенныхъ, жизненныхъ онъ „олицетворить не могъ, во-первыхъ, какъ малороссъ, а „во-вторыхъ, какъ уединенный и болѣзненный аскетъ“ (тамъ же, стр. 240).

Весь же общій ходъ нашей литературы, ея существенное развитіе выражены Григорьевымъ такъ: „Въ „Пушкинѣ надолго, если не навсегда, завершился, обрисовавшись широкимъ очеркомъ, весь нашъ душевный „процессъ—и тайна этого процесса въ его слѣдующемъ, „глубоко-душевномъ и благоухающемъ стихотвореніи (Возрожденіе):

Художникъ варваръ кистью сонной
Картину генія чернить,
И свой рисунокъ незаконный
На ней безсмысленно чертить.
Но краски чуждыя съ лѣтами
Спадають ветхой чешуей,
Созданье генія предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой.
Такъ исчезаютъ заблужденья

Съ измученной души моей,
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ, чистыхъ дней.

„Этотъ процессъ со вѣми нами въ отдаленности и „съ нашею общественною жизнью—совершался и понынѣ „совершается. Кто не видитъ могучихъ произрастаній „типового, коренного, народного—того природа обдѣлила „зрѣніемъ и вообще чутьемъ“ (тамъ же, стр. 246).

Итакъ, изъ взгляда на Бѣлкина, изъ проникновенія въ смыслъ борьбы, совершавшейся въ Пушкинѣ, у Ап. Григорьева вытекаетъ взглядъ на русскую литературу, которымъ все ея произведенія связуются въ одну цѣпь. Каждое звено этой цѣпи можетъ служить доказательствомъ и повѣркою того, что дѣйствительно найдена ихъ взаимная связь. Каждый послѣ-пушкинскій писатель можетъ быть вполне объясненъ не иначе, какъ если мы примемъ въ основаніе общую мысль Ап. Григорьева. Уже тогда, отношеніе нашихъ современныхъ писателей къ Пушкину было формулировано нашимъ критикомъ въ слѣдующихъ общихъ чертахъ:

„Пушкинскій Бѣлкинъ“, пишетъ Ап. Григорьевъ, „это „тотъ Бѣлкинъ, который плачется въ повѣстяхъ Тургенева „о томъ, что онъ—вѣчный Бѣлкинъ, что онъ принадле- „жить къ числу „лишнихъ людей“ или „куцыхъ“,—ко- „торому въ Писемскомъ смерть хотѣлось бы (но совер- „шенно тщетно) подсмѣяться надъ блестящимъ и страст- „нымъ типомъ,—котораго хочетъ не въ мѣру и насиль- „ственно поэтизировать Толстой, и передъ которымъ даже „Петръ Ильичъ драмы Островскаго: „Не такъ живи какъ „хочется“—смирняется... по крайней мѣрѣ до новой ма- „сляницы и до новой Груши“ (тамъ же, стр. 252).

V.

Мы говоримъ вещи, которыя многимъ должны показаться странными и неслыханными, которыя идутъ противъ предразсудковъ, давно установившихся и очень распространенныхъ. Но намъ кажется, что настало время высказать правду, — что мы уже можемъ сдѣлать это, не прибѣгая ни къ какимъ преувеличеніямъ и гаданіямъ, а основываясь на фактахъ, на томъ, что уже отошло въ исторію литературы, хотя и очень недавнюю. Для того, чтобы дать дѣлу полную опредѣленность и ясность, мы прервемъ здѣсь, однакоже, аналитическій ходъ нашего разсужденія, и прямо выскажемъ нѣсколько общихъ положеній, способныхъ къ гораздо бѣльшему развитію, чѣмъ какое мы можемъ имъ дать въ настоящей статьѣ.

Ап. Григорьева мы считаемъ лучшимъ нашимъ критикомъ, дѣйствительнымъ основателемъ русской критики. Ему принадлежитъ единственный существующій у насъ *полный взглядъ* на русскую литературу, т. е. взглядъ, охватывающій одною мыслью всѣ ея явленія и направленія, — взглядъ, вѣрный до сихъ поръ, блистательно подтверждаемый такими произведеніями, какъ „Война и Миръ“.

Обыкновенное понятіе, составившееся о нашей критикѣ, — другое. Лучшимъ нашимъ критикомъ признають Бѣлинскаго, а продолжателями его дѣла считаютъ Добролюбова, Писарева и пр. Намъ слѣдуетъ хотя въ общихъ чертахъ характеризовать эту школу критиковъ, для того, чтобы яснѣе выставить, чѣмъ отличается отъ нея Григорьевъ и въ чемъ его заслуги.

Бѣлинскій сдѣлалъ чрезвычайно много для нашей критики. Онъ былъ первый необыкновенно-чуткій и безгранично-пламенный поклонникъ литературы; своимъ

глубокимъ восторгомъ ко всему истинно-великому въ литературѣ и безпощадной враждою ко всему посредственному и мелкому, онъ поднялъ значеніе литературы, придавъ ей небывалый вѣсъ въ умахъ читателей, сдѣлалъ изъ художественной словесности и ея критики серьезнѣйшее изъ серьезныхъ дѣлъ; но — по несчастію — онъ же самъ, своими руками, сталъ разрушать зданіе, построенное съ такою любовью и составлявшее его истинную славу; а его усердные послѣдователи постарались довести до конца это разрушеніе, начатое ихъ учителямъ.

Если кто хочетъ видѣть Бѣлинскаго во всей силѣ его таланта, во всей правильности приложенія этого таланта, тотъ долженъ обратиться не къ послѣднимъ томамъ его сочиненій, а именно къ самымъ первымъ. Тутъ дышитъ безъ примѣси та страстная любовь къ художеству, которая составляла лучшій даръ критика. Онъ одинъ смѣлъ и умѣлъ относиться съ восторгомъ къ тому, на что другіе смотрѣли холодно или небрежно. Съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ Ап. Григорьевъ приводитъ въ своей статьѣ, на которую мы ссылались, одно мѣсто изъ „Литературныхъ Мечтаній“, писанныхъ Бѣлинскимъ еще въ 1834 году. Остановившись надъ стихами Пушкина:

Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,

Бѣлинскій говоритъ:

„Да, я свято вѣрю, что онъ (Пушкинъ) исполнъ раз-
„дѣлялъ безотрадную муку отверженной любви черноокой
„черкешенки или своей Татьяны, этого лучшаго и лю-
„бимѣйшаго идеала его фантазіи; что онъ, вмѣстѣ съ
„своимъ мрачнымъ Гиреемъ, томился этою тоскою души,

„пресыщенной наслажденіями и все еще не въдавшей наслажденій; что онъ горѣлъ неистовымъ огнемъ ревности въмѣстѣ съ Заремою и Алеко, и упивался дикою любовью Земфиры, что онъ скорбѣлъ и радовался за свои идеалы, что журчаніе его стиховъ согласовалось съ его рыданіями и смѣхомъ... Пусть скажутъ, что это — пристрастіе, идолопоклонство, дѣтство, глупость; но я лучше хочу вѣрить тому, что Пушкинъ мистифируетъ „Библіотеку для чтенія“, чѣмъ тому, что его талантъ погасъ. Я вѣрю, думаю, и мнѣ отрадно вѣрить и думать, что Пушкинъ подаритъ намъ новыми созданіями, которыя будутъ выше прежнихъ“...

Какъ глубоко проникнуть критикъ созданіями поэта! Какая вѣра въ то, что душа самого поэта разлита въ этихъ созданіяхъ и живетъ ихъ жизнью! Вотъ настоящее *живое* сочувствіе, которое требуется для пониманія поэтовъ и для ихъ критики!

Но прошло десять или одиннадцать лѣтъ, и какъ измѣнились отношенія критика къ поэту! Бѣлинскій уже толкуетъ о томъ, что человѣкъ развитой не можетъ чувствовать ревности, — уже не понимаетъ Татьяны, уже отвергаетъ самыя простыя и ясныя сочувствія поэта. По отношенію къ предмету нашей статьи, небезынтересно привести здѣсь сужденіе Бѣлинскаго о семействѣ Лариныхъ, съ которымъ мы уже ставили въ параллель семейство Ростовыхъ. Вотъ что говорилъ Бѣлинскій въ 1845 году:

„Вездѣ видите вы въ немъ (въ Пушкинѣ) человѣка, душою и тѣломъ принадлежащаго къ основному принципу, составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, вездѣ видите русскаго помѣщика... Онъ падаетъ въ этомъ классѣ на все, что противорѣчитъ гу-

манности; но принципъ класса для него — вѣчная истина... И потому въ самой сатирѣ его такъ много любви, самое отрицаніе его такъ похоже на одобреніе и на любованіе... Вспомните описаніе семейства Лариныхъ во второй главѣ и особенно портретъ самого Ларина... Это было причиною, что въ „Онѣгинѣ“ многое устарѣло теперь“ (Соч. Бѣлинск. т. 8, стр. 8, 604).

Какое непониманіе! Какой рѣзкій и несправедливый выводъ, будто для Пушкина крѣпостное право — было вѣчною истиною! Въ какомъ дурномъ и мелкомъ смыслѣ была истолкована критикомъ та *любовь* къ простымъ и смиреннымъ типамъ, которыя у Пушкина имѣла столь высокое значеніе и была вовсе независима отъ всякихъ правъ и сословныхъ принциповъ!

Что же случилось? Очевидно, умъ и вкусъ Бѣлинскаго были омрачены чѣмъ-то такимъ, что, заслоняло отъ него дѣйствительный смыслъ произведеній поэта. Самъ критикъ даетъ намъ разгадку, замѣчая, что „Онѣгинъ“ *устарѣлъ*. Очевидно, Бѣлинскій уже подвелъ Пушкина подъ какія-то требованія прогресса, уже пересталъ видѣть въ поэтѣ откровенія неизмѣнныхъ законовъ души, откровенія тайнъ человѣческаго сердца вообще и русскаго въ особенности, а сталъ смотрѣть и измѣрять, насколько произведенія Пушкина *пригодны для потребностей настоящей минуты*. Критикъ, очевидно, жалѣетъ, что Пушкинъ не сталъ обличителемъ крѣпостнаго права; между тѣмъ, тутъ нѣтъ ничего страннаго и досаднаго; у Пушкина были другія задачи, осмѣлимся сказать, гораздо болѣе широкія и важныя, и Бѣлинскій оказался въ положеніи того нѣмца, который, какъ разсказываетъ Карлейль, жаловался на солнце за то, что отъ него нельзя закурить сигарки.

Бѣлинскому выпала на долю та несчастная судьба, которой очень обыкновенно подвергаются русскіе люди. Онъ не имѣлъ твердыхъ взглядовъ, какихъ-нибудь прочныхъ основаній для своей умственной дѣятельности. Единственная его сила заключалась въ любви къ литературѣ и удивительномъ эстетическомъ вкусѣ. Когда же онъ пересталъ руководиться этой любовью и этимъ вкусомъ, онъ потерялъ всякую точку опоры и сталъ блуждать по вѣянію вѣтра.

Служеніе требованіямъ времени—вотъ то направленіе, которое тогда свирѣпствовало въ Европѣ и увлекло собою нашего критика. Это было нѣкоторое идолопоклонство передъ настоящею минутою, — слѣдствіе того узко-историческаго взгляда, который былъ извлеченъ изъ перетолкованной и доведенной до крайности системы Гегеля. Все прошлое тогда разсматривалось только какъ приготовленіе къ настоящей минутѣ, и, какъ скоро не имѣло значенія *теперь же, сейчасъ*, почиталось вздоромъ, который слѣдовало отбрасывать и забывать. Люди воображали себя полными представителями всего разума, который содержится въ исторіи, полными распорядителями всего будущаго, къ которому идетъ человѣчество. Для нихъ ни въ чемъ не было тайнъ, и они ниоткуда не ждали откровеній; они считали себя мѣрою всѣхъ желаній, всѣхъ потребностей, всѣхъ ожиданій человѣчества. Они вѣрили въ *общій разумъ* и въ *общій прогрессъ* этого разума. Отсюда, какъ необходимое слѣдствіе—невѣріе во все то, гдѣ дѣйствуютъ таинственныя силы, болѣе широкія и глубокія, чѣмъ разумъ *съ его бѣдными логическими доводами* (слова Л. Н. Толстаго), — неvěріе въ жизнь, которую они готовы были ломать и перестраивать по своимъ понятіямъ, — неvěріе въ народ-

ное творчество, въ литературу, въ искусство, въ національность.

Вотъ къ этому-то направленію, господствовавшему на Западѣ, и по существу дѣла космополитическому, примкнулъ Бѣлинскій въ послѣднее время своей дѣятельности, примкнулъ по той жаждѣ истины, которая его отличала, и по отсутствію какихъ-нибудь иныхъ твердыхъ основъ для своей мысли. Понятно, что ничего добраго собственно для критики отсюда выйти не могло. Слѣдствіемъ было то, что Бѣлинскій не успѣлъ развить въ себѣ и не оставилъ намъ никакого полного, цѣльнаго взгляда на нашу литературу; онъ не завѣщалъ намъ мысли, которую слѣдовало бы развивать. Сужденіями его слѣдуетъ дорожить, такъ какъ они часто были внушаемы, помимо всякихъ теорій, живою любовью къ дѣлу и живымъ его пониманіемъ; но эти сужденія лишены связи и—потому—силы. Прямое же наслѣдство, оставленное намъ Бѣлинскимъ, заключается въ той злополучной теоріи прогресса, которую онъ такъ жарко проповѣдывалъ и которую его послѣдователи разработали съ величайшимъ усердіемъ. Для одного не только кое-что устарѣло въ Пушкинѣ, а весь Пушкинъ никуда не годится, другой забраковалъ Лермонтова, третій—Тургенева, четвертый—Кольцова и т. д. Словомъ, вся наша литература устарѣла, отстала, не содержитъ ничего годнаго и полезнаго *для настоящей минуты*, и современный русскій человѣкъ имѣетъ право наслаждаться только одними стихотвореніями г. Минаева и романами г. Рѣшетникова.

Люди, идущіе, противъ силы вещей, становятся жертвами этой силы. Жизнь покрываетъ посмѣяніемъ тѣхъ, кто не вѣритъ въ нее, не прислушивается къ ней, а

дерзко думаетъ согнуть ее подъ свою мѣрку. Бѣлинскій отказался отъ вѣры въ русскую литературу, и литература его не послушалась, она пошла путями, которыхъ онъ не ожидалъ и оставила въ сторонѣ своихъ мнимыхъ вожатаевъ. Самъ Бѣлинскій еще избѣгъ большихъ промаховъ и не испыталъ разочарованія; въ самые послѣдніе годы, его великое критическое чутье подсказало ему вѣрную оцѣнку Тургенева, Гончарова, О. Достоевскаго, какъ значительныхъ талантовъ. Но что сдѣлали послѣдователи Бѣлинскаго? Какъ они цѣнили старые и новые таланты, дѣйствовавшіе послѣ его смерти?

Явился, наприимѣръ, Островскій и сразу занялъ видное мѣсто въ литературѣ. Когда, послѣ долгаго молчанія, западническая критика наконецъ возродилась подъ перомъ Добролюбова, что она сдѣлала съ этимъ новымъ писателемъ? Она его *перетолковала* на свой ладъ. Въ знаменитой статьѣ „Темное царство“ Добролюбовъ сдѣлалъ изъ Островскаго обличителя купцовъ, обнажителя тѣхъ безобразій, которыя наполняютъ ихъ бытъ. Такимъ образомъ, былъ совершенно искаженъ характеръ дѣятельности писателя. Островскій, какъ извѣстно, стремился вывести на сцену тѣ самобытные русскіе типы, которые—въ грубыхъ и искаженныхъ формахъ, но все-таки сохранились въ купеческомъ быту. И вся критическая дѣятельность Добролюбова была подобнымъ же перетолкованіемъ смысла художественныхъ произведеній въ пользу своей теоріи. Онъ подводилъ писателя подъ свою идею, но дѣлалъ видъ, что писатель самъ подъ нее подходитъ и къ ней стремится.

Впослѣдствіи, однакоже, дѣло на этомъ не могло остановиться. Оказалось такое противорѣчіе между нашими художественными писателями и ихъ критиками,

что о согласіи, хотя бы внѣшнемъ, и думать было невозможно. Нѣкоторые попробовали было поступать такъ: отрицать у того художника, который имъ не нравился, всякій художественный талантъ. Но этотъ смѣлый критическій пріемъ не имѣлъ успѣха. Такъ, напр., хотя и было напечатано, что г. Тургеневъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ обнаружилъ полное отсутствіе художественности, но это мнѣніе не нашло себѣ послѣдователей. Наконецъ, г. Писаревъ счелъ за болѣе простое и разумное—совершенно сбросить маску. Онъ сталъ прямо говорить: мнѣ нѣтъ никакого дѣла до направленія художника, до его взглядовъ и сочувствій, а также и до его таланта; я просто возьму тѣ же жизненные явленія, о которыхъ онъ говоритъ, и буду излагать читателю *свои* мысли.

Такимъ образомъ, между нашею художественною литературой и нашею критикой произошелъ полный разрывъ: фактъ давно замѣченный и совершенно выяснившійся. Работа нашихъ творческихъ талантовъ стала непонятною и чуждою для нашей критики; литература, по крайней мѣрѣ въ главныхъ, крупныхъ своихъ представителяхъ, не подчинилась тому направленію, которое ей указывали, и, несмотря на яростные крики и вопли, дѣлала свое дѣло, гораздо болѣе глубокое, чѣмъ то, которое ей указывали ея недовольные руководители.

Писатель, о которомъ мы теепрь говоримъ, гр. Л. Н. Толстой, сталъ являться со своимъ произведеніями также послѣ Бѣлинскаго, незадолго до упомянутаго возрожденія западнической критики. Разумѣется, онъ также мало было понять, какъ и другіе; но замѣчательно и характеристично, что разрывъ между литературою и критикою здѣсь выступилъ еще явственнѣе. Гр. Л. Н. Тол-

стаго не только не поняли, но даже вовсе о немъ не говорили. Несмотря на то, что онъ былъ сразу замѣченъ, и каждое новое его произведеніе читалось съ жадностію, критика даже не перетолковывала его, даже не чувствовала позыва говорить по поводу его свои мысли.

Былъ однакоже человѣкъ, который все это время зорко видѣлъ движеніе литературы, правильно цѣнилъ дѣйствовавшіе таланты и понималъ смыслъ ихъ работы. Это былъ Ап. Григорьевъ. Въ 1862 году онъ написалъ двѣ статьи о гр. Толстомъ (см. *Время* 1862, янв. и сент.); а такъ какъ западническая критика въ это время продолжала господствовать, то онъ, въ укоръ ей поставилъ надъ этими статьями заглавіе: *явленія нашей литературы, пропущенныя критикой*. Въ своемъ письмѣ въ редакцію (см. *Эпоха* 1864, авг.) онъ настаивалъ, чтобы *непрерывно* статьи шли подъ этимъ заглавіемъ, а надъ первою статьею выставилъ эпиграфъ: *Vox clamantis in deserto*, т. е. *Гласъ вопиющаго въ пустынь!*

VI.

Общія начала критики Ап. Григорьева очень просты и общеизвѣстны, или, по крайней мѣрѣ, должны быть почитаемы общеизвѣстными. Это тѣ глубокія начала, которыя завѣщаны намъ нѣмецкимъ идеализмомъ, единственною философіею, къ которой до сихъ поръ должны прибѣгать всѣ, желающіе понимать исторію или искусство. Этихъ началъ держатся, напримѣръ, Ренанъ, Карлейль; эти самыя начала въ послѣднее время съ такимъ блескомъ и съ немалымъ успѣхомъ приложилъ Тэнъ къ исторіи англійской литературы. Такъ какъ нѣмецкая

философія, въ силу нашей отзывчивости и слабости нашего самобытнаго развитія, у насъ принялась гораздо раньше, чѣмъ во Франціи или въ Англіи, то немудрено, что нашъ критикъ давно уже держался тѣхъ взглядовъ, которые въ настоящую минуту составляютъ новость для Французовъ и впервые успѣшно распространяются между ними.

Въ общихъ чертахъ, какъ мы сказали, взгляды эти просты. Они состоятъ въ томъ, что каждое художественное произведеніе представляетъ отраженіе своего вѣка и своего народа,—что есть существенная неразрывная связь между настроеніемъ народа, его своеобразнымъ душевнымъ складомъ, событіями его исторіи, его нравами, религіею и пр. и тѣми созданіями, которыя производятъ художники этого народа. Принципъ національности господствуетъ въ искусствѣ и литературѣ, какъ и во всемъ. Видѣть связь литературы съ племенемъ, которому она принадлежитъ, найти отношеніе между литературными произведеніями и тѣми жизненными элементами, среди которыхъ они явились,—значить понимать исторію этой литературы.

Замѣтимъ здѣсь же существенную разницу, которая отличаетъ Ап. Григорьева отъ другихъ критиковъ, ближайшимъ образомъ, напримѣръ, отъ Тэна. Для Тэна всякое художественное произведеніе есть не болѣе, какъ нѣкоторая *сумма* всѣхъ тѣхъ явленій, подъ которыми оно явилось: свойствъ племени, историческихъ обстоятельствъ и пр. Каждое явленіе есть не болѣе, какъ слѣдствіе предыдущихъ и основаніе послѣдующихъ. Григорьевъ же, вполне признавая эту связь, видѣлъ еще, что всѣ явленія литературы имѣютъ одинъ общій корень,—что всѣ они суть частныя и временныя проявленіе-

нія одного и того же духа. Въ данномъ народѣ художественныя произведенія представляютъ какъ бы многообразныя попытки выразить все одно и то же—душевную сущность этого народа; въ цѣломъ же человѣчествѣ они составляютъ выраженіе вѣчныхъ требованій души человеческой, ея неизмѣнныхъ законовъ и стремленій. Такимъ образомъ, въ частномъ и временномъ мы всегда должны видѣть только обособившееся и воплотившееся выраженіе общаго и неизмѣннаго.

Все это очень просто; эти положенія давно стали, особенно у насъ, ходячими фразами; отчасти сознательно, а большею частію бессознательно, они признаются почти всѣми. Но отъ общей формулы до ея приложенія еще далеко. Какъ бы твердо ни былъ убѣжденъ физикъ, что всякое явленіе имѣетъ свою причину, это убѣжденіе не можетъ быть намъ порукою, что онъ откроетъ причину хотя бы одного, самаго простаго явленія. Для открытія требуется изслѣдованіе, нужно близкое и точное знакомство съ явленіями.

Ап. Григорьевъ, рассматривая новую русскую литературу съ точки зрѣнія народности, видѣлъ въ ней *постоянную борьбу европейскихъ идеаловъ, чуждой нашему духу поэзіи, съ стремленіемъ къ самобытному творчеству, къ созданію чисто русскихъ идеаловъ и типовъ*. Опять—мысль въ своемъ общемъ видѣ очень ясная, очень простая и вѣроподобная. Зачатки этого взгляда можно найти у другихъ, у И. Кирѣевскаго, у Хомякова, ясно указывавшихъ на преобладаніе у насъ чуждыхъ идеаловъ, на необходимость и возможность для насъ своего искусства. У Хомякова въ особенности встрѣчаются истинно-глубокомысленныя, поразительно вѣрныя замѣчанія о русской словесности, рассматри-

ваемой съ точки зрѣнія народности. Но это не болѣе какъ общія замѣчанія, притомъ не чуждыя односторонности. Странное дѣло! Отъ глазъ этихъ мыслителей; въ силу самой высоты ихъ требованій, ускользнуло именно то, что должно бы ихъ всего болѣе радовать; они не видѣли, что борьба своего съ чужеземнымъ уже давно началась,—что искусство, въ силу своей всегшней чуткости и правдивости, предупредило отвлеченную мысль.

Для того, чтобы видѣть это, недостаточно было глубокихъ общихъ взглядовъ, яснаго теоретическаго пониманія существенныхъ вопросовъ; нужна была непоколебимая вѣра въ искусство, пламенная страсть къ его произведеніямъ, сліяніе своей жизни съ тою жизнью, которая разлита въ нихъ. Таковъ и былъ Ап. Григорьевъ, человѣкъ до конца своей жизни оставшійся неизмѣнно преданнымъ искусству, не подчинявшій его чуждымъ для него теоріямъ и взглядамъ, а напротивъ—отъ него ждавшій откровеній, въ немъ искавшій *новаго слова*.

Трудно представить себѣ человѣка, у котораго бы его литературное призваніе еще тѣснѣе сливалось съ самою жизнью. Въ своихъ „Литературныхъ Скитальчествахъ“ вотъ что онъ говоритъ о своихъ университетскихъ годахъ:

„Юность, настоящая юность, началась для меня поздно, а это было что-то среднее между отрочествомъ и юностію. Голова работаетъ, какъ паровая машина, скачетъ во всю прыть къ оврагамъ и безднамъ, а сердце живетъ только мечтательною, книжною, напускною жизнью. *Точно не я это живу, а разные образы литературы во мнѣ живутъ*. На входномъ порогѣ этой эпохи написано: „Московскій университетъ“ послѣ пре-

„образованія 1836 года,—университетъ Рѣдкина, Крылова, Морощкина, Крюкова, университетъ таинственнаго гегелизма съ тяжелыми его формами и стремительной, рвущейся неодолимо впередъ силой,—университетъ Грановскаго“...

За Московскимъ университетомъ слѣдовалъ Петербургъ и первая эпоха литературной дѣятельности, затѣмъ—опять Москва и вторая эпоха дѣятельности, болѣе важная. Объ ней онъ говоритъ такъ:

„Мечтательная жизнь кончена. Начинается настоящая молодость, съ жаждой настоящей жизни, съ тяжкими уроками и опытами. Новыя встрѣчи, новые люди,—люди, въ которыхъ нѣтъ ничего или очень мало книжнаго,—люди, которые „продергиваютъ“ въ самихъ себѣ, и въ другихъ все напускное, все подогрѣтое, и носятъ въ душѣ безпритязательно, наивно до безсознательности, вѣру въ народъ и народность. *Все „народное“, даже „мѣстное“* (т. е. Московское), что окружало мое воспитаніе, *все, что я на время успѣлъ почти заглушить въ себѣ, отдавшись могущественнымъ влеченіямъ науки и литературы*, поднимается въ душѣ съ неожиданною силою и растетъ, растетъ до фанатической исключительной вѣры, до нетерпимости, до пропаганды...“

Двухгодичное пребываніе за границею, слѣдовавшее за этою эпохою, произвело новый *переломъ* въ душевной и умственной жизни критика.

„Западная жизнь“, говоритъ онъ, — „во очію развертывается передо мною чудесами своего великаго прошедшаго, и вновь дразнить, поднимаетъ, увлекаетъ. *Но не сломилась и въ этомъ живомъ столкновеніи въра въ свое, въ народное. Смягчило оно только фанатизмъ въ вѣры*“ . (Время 1862, дек.).

Вотъ въ краткихъ чертахъ тотъ процессъ, въ которомъ сложились убѣжденія нашего критика и по окончаніи котораго были имъ написаны первыя статьи о Пушкинѣ. Ап. Григорьевъ пережилъ увлеченіе западными идеалами и возвращеніе къ своему, къ народному, неистребимо жившему въ его душѣ. Поэтому, онъ съ величайшею ясностію видѣлъ въ развитіи нашего искусства всѣ явленія, всѣ фазисы той *борьбы*, о которой мы говорили. Онъ превосходно зналъ, какъ дѣйствуютъ на душу типы, созданные чужимъ художествомъ, — какъ душа стремится принять формы этихъ типовъ и въ какомъ-то снѣ и броженіи живетъ ихъ жизнью,—какъ вдругъ она можетъ очнуться отъ этого лихорадочно-тревожнаго сна и, оглянувшись на божій свѣтъ, *встряхнуть кудрями и почувствовать себя свѣжею и молодою, такую же, какою она была до увлеченія призраками...* Искусство приходитъ затѣмъ въ нѣкоторый разладъ съ самимъ собою; оно то подсмѣивается, то сожалеетъ, то даже впадаетъ въ ярое негодованіе (Гоголь), но съ непобѣдимой силою обращается къ русской жизни и начинаетъ въ ней искать своихъ типовъ, своихъ идеаловъ.

Ближе и точнѣе процессъ этотъ обнаруживается въ тѣхъ результатахъ, которые изъ него получились. Григорьевъ показалъ, что къ чужимъ типамъ, господствовавшимъ въ нашей литературѣ, принадлежитъ почти все то, что носитъ на себѣ печать *героическаго*, — типы блестящіе или мрачные, но во всякомъ случаѣ сильные, страстные, или, какъ выражался нашъ критикъ, *хищные*. Русская же натура, нашъ душевный типъ явился въ искусствѣ прежде всего въ типахъ *простыхъ и смиренныхъ*, повидимому, чуждыхъ всего героическаго, какъ Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ, Максимъ Максимычъ у Лер-

монтова и пр. Наша художественная литература представляет непрерывную борьбу между этими типами, стремление найти между ними правильныя отношенія, — то развѣнчиваніе, то превознесеніе одного изъ двухъ типовъ, хищнаго или смирнаго. Такимъ образомъ, на примѣръ, одна сторона дѣятельности Гоголя сводится Ап. Григорьевымъ на слѣдующую формулу:

„Героическаго нѣтъ уже въ душѣ и жизни: чтò кажется героическимъ, то въ сущности—Хлестаковское „или Поприщинское...“

„Но странно“, прибавляетъ критикъ, „что никто не „потрудился спросить себя, *какого* именно героическаго „нѣтъ больше въ душѣ и въ натурѣ—и въ *какой* натурѣ его нѣтъ? Предпочли нѣкоторые или стоять за „героическое, уже осмѣянное (и замѣчательно, что за героическое стояли господа, болѣе склонныя къ практически-юридическимъ толкамъ въ литературѣ), или „стоять за натуру“.

„Не обратили вниманіе на обстоятельство весьма „простое. Со временъ Петра Великаго народная натура „примѣривала на себя выдѣланныя формы героическаго, „выдѣланныя не ею. Кафтанъ оказывался то узокъ, то „коротокъ; нашлась горсть людей, которые кое-какъ его „напялили и стали переважно въ немъ расхаживать. Гоголь сказалъ всѣмъ, что они щеголяютъ въ чужомъ „кафтанѣ—и этотъ кафтанъ сидитъ на нихъ, какъ на „коровѣ сѣдло. Изъ этого слѣдовало только то, что ну- „женъ другой кафтанъ по мѣркѣ толщины и роста, а „вовсе не то, чтобы вовсе остаться безъ кафтана, или „продолжать паялить на себя кафтанъ изношенный“. (Соч. Ап. Григорьева, I, стр. 332).

Чтò же касается до Пушкина, то онъ не только

первый почувствовалъ вопросъ во всей его глубинѣ, не только первый вывелъ во всей правдѣ русскій типъ смирнаго и благодушнаго человѣка, но въ силу высокой гармоніи своей гениальной натуры, первый же указалъ правильное отношеніе къ хищному типу. Онъ не отрицалъ его, не думалъ его развѣнчивать; какъ примѣры чисто-русскаго страстнаго и сильнаго типа, Григорьевъ приводилъ Пугачева къ „Капитанской дочкѣ“, „Русалку“. Въ Пушкинѣ борьба имѣла самый правильный характеръ, такъ какъ его гений ясно и спокойно чувствовалъ себя равнымъ всему великому, чтò было и есть на землѣ; онъ былъ, какъ выражается Григорьевъ, „заклинатель и властелинъ“ тѣхъ многообразныхъ стихій, которыя въ немъ возбуждались чуждыми идеалами.

Вотъ въ краткомъ очеркѣ направленіе Григорьева и тотъ взглядъ, котораго онъ достигъ, слѣдуя этому направленію. Взглядъ этотъ до сихъ поръ сохраняетъ свою силу, до сихъ поръ оправдывается всѣми явленіями нашей литературы. Русскій художественный реализмъ начался съ Пушкина. Русскій реализмъ не есть слѣдствіе оскудѣнія идеала у нашихъ художниковъ, какъ это бываетъ въ другихъ литературахъ, а напротивъ—слѣдствіе усиленнаго исканія чисто-русскаго идеала. Всѣ стремленія къ натуральности, къ строжайшей правдѣ, всѣ эти изображенія лицъ малыхъ, слабыхъ, больныхъ, тщательное уклоненіе отъ преждевременнаго и неудачнаго созданія героическихъ лицъ, казнь и развѣнчиваніе разныхъ типовъ, имѣющихъ притязаніе на героизмъ, всѣ эти усилія, вся эта тяжкая работа, имѣютъ себѣ цѣлью и надеждою—узрѣть нѣкогда русскій идеалъ во всей его правдѣ и въ необманчивомъ величій. И до сихъ поръ идетъ борьба между нашими сочувствіями къ простому

и доброму человѣку и неизбѣжными требованіями чего-то высшаго, съ мечтою о могучемъ и страстномъ типѣ. Въ самъ дѣлъ, что такое „Дымъ“ Тургенева, какъ не отчаянная новая схватка художника съ хищнымъ типомъ, который онъ такъ явно хотѣлъ бы заклеить и унижить въ лицѣ Ирины? Что такое Литвиновъ, какъ не типъ смирнаго и простаго человѣка, на сторонѣ котораго, очевидно, всѣ сочувствія художника, и который однакоже, въ сущности, позорно пасуетъ въ столкновеніи съ хищнымъ типомъ?

Наконецъ, самъ гр. Л. Н. Толстой не явно ли стремится возвести въ идеалъ именно простаго человѣка? „Война и Миръ“, эта огромная и пестрая эпопея—что она такое, какъ не апоѳеоза смирнаго русскаго типа? Не тутъ ли разсказано, какъ наоборотъ хищный типъ спасовалъ передъ смиреннымъ,—какъ на Бородинскомъ полѣ простые русскіе люди побѣдили все, что только можно представить себѣ самаго героическаго, самаго блестящаго, страстнаго, сильнаго, хищнаго, т. е. Наполеона I и его армію?

Читатели видятъ теперь, что наши отступленія, касавшіяся Пушкина, нашей критики и Ап. Григорьева, были не только умѣстны, а даже совершенно необходимы, такъ какъ все это тѣснѣйшимъ образомъ связано съ нашимъ предметомъ. Скажемъ прямо, что, объясняя *частный* характеръ „Войны и Мира“, то есть, самую существенную и трудную сторону дѣла, мы не могли бы быть оригинальными, даже если бы этого желали. Такъ вѣрно и глубоко указаны Ап. Григорьевымъ существеннѣйшія черты движенія нашей литературы, и такъ мало мы чувствуемъ себя въ силахъ тягаться съ нимъ въ критическомъ пониманіи.

VII.

Исторія художественной дѣятельности гр. Л. Н. Толстаго, которую всю вплоть до „Войны и Мира“ еще засталъ и успѣлъ оцѣнить нашъ единственный критикъ, замѣчательна въ высокой степени. Теперь, когда мы видимъ, что эта дѣятельность привела къ созданію „Войны и Мира“, мы еще яснѣе понимаемъ ея важность и характеръ, яснѣе можемъ видѣть и правильность указаній Ап. Григорьева. И обратно, прежнія произведенія гр. Л. Н. Толстаго всего прямѣе приводятъ насъ къ пониманію частнаго характера „Войны и Мира“.

Это можно сказать вообще о каждомъ писателѣ; у cadaго есть связь настоящаго съ прошлымъ, и одно другимъ поясняется. Но оказывается, что ни у одного изъ нашихъ художественныхъ писателей эта связь не имѣетъ такой глубины и крѣпости,—что ничья дѣятельность не представляетъ бѣльшей стройности и цѣльности, чѣмъ дѣятельность гр. Л. Н. Толстаго. Онъ выступилъ на свое поприще вмѣстѣ съ Островскимъ и Писемскимъ: онъ явился со своими произведеніями немногимъ позже Тургенева, Гончарова, Достоевскаго. Но между тѣмъ, какъ всѣ его сверстники по литературѣ давно уже высказались, давно обнаружили наибольшую силу своего таланта, такъ что можно было вполне судить о его мѣрѣ и направленіи,—гр. Л. Н. Толстой все продолжалъ упорно работать надъ своимъ дарованіемъ и вполне развернулъ его силу только въ „Войнѣ и Мирѣ“. Это было медленное и трудное созрѣваніе, которое дало тѣмъ болѣе сочный и огромный плодъ.

Всѣ предыдущія произведенія гр. Л. Н. Толстаго суть не болѣе, какъ *этюды*, наброски и попытки, въ

которыхъ художникъ не имѣлъ въ виду какого-нибудь цѣльнаго созданія, полного выраженія своей мысли, законченной картины жизни, какъ онъ ее понималъ, — а только разработку частныхъ вопросовъ, отдѣльныхъ лицъ, особенныхъ характеровъ, или даже особенныхъ душевныхъ состояній. Возьмите, напримѣръ, рассказъ „Мятедь“; очевидно, все вниманіе художника и весь интересъ рассказа сосредоточивается на тѣхъ странныхъ и едва уловимыхъ ощущеніяхъ, которыя испытываетъ человѣкъ, заносимый снѣгомъ, безпрестанно засыпающій и просыпающійся. Это простой этюдъ съ натуры, подобный тѣмъ этюдамъ, на которыхъ живописцы изображаютъ клочекъ поля, кустарникъ, часть рѣчки при особенномъ освѣщеніи и трудно передаваемомъ состояніи воды и пр. Такой характеръ, въ большей или меньшей степени, имѣютъ всѣ прежнія произведенія гр. Л. Н. Толстаго, даже тѣ, которыя имѣютъ нѣкоторую внѣшнюю цѣльность. „Казаки“, напримѣръ, повидимому, представляютъ полную и мастерскую картину жизни казацкой станицы; но гармонія этой картины, очевидно, нарушена тѣмъ огромнымъ мѣстомъ, которое въ ней дано чувствамъ и волненіямъ Оленина; вниманіе автора слишкомъ односторонне направлено въ эту сторону, и вмѣсто стройной картины, выходитъ *этюдъ изъ душевной жизни* нѣкотораго московскаго юноши. Такимъ образомъ „совершенно органическими, живыми созданіями“ Ап. Григорьевъ признавалъ у гр. Л. Н. Толстаго только „Семейное счастье“ и „Военные рассказы“. Но теперь, послѣ „Войны и Мира“ мы должны измѣнить это мнѣніе. „Военные рассказы“, казавшіеся критику *вполнѣ-органическими* произведеніями, оказываются, въ сравненіи съ „Войною и Миромъ“, тоже не болѣе, какъ этюдами,

приготовительными набросками. Остается, слѣдовательно, только одно „Семейное счастье“, романъ, который по простотѣ своей задачи, по ясности и отчетливости ея разрѣшенія, дѣйствительно составляетъ вполнѣ живое цѣлое. „Это произведеніе—тихое, глубокое, простое и высоко-поэтическое, съ отсутствіемъ всякой эффектности, съ прямымъ и неломаннымъ поставленіемъ вопроса о переходѣ чувства страсти въ иное чувство“. Такъ говорить Ап. Григорьевъ.

Если же это справедливо, если дѣйствительно, за однимъ исключеніемъ, до „Войны и Мира“ гр. Л. Н. Толстой дѣлалъ только этюды, то спрашивается, изъ-за чего бился художникъ, какія задачи его задерживали на пути творчества? Легко убѣдиться, что въ немъ все это время происходила нѣкоторая борьба, совершался нѣкоторый трудный душевный процессъ. Ап. Григорьевъ хорошо это видѣлъ и въ своей статьѣ утверждалъ, что этотъ процессъ еще не кончился; мы видимъ теперь, какъ справедливо это мнѣніе: душевный процессъ художника завершился или, по крайней мѣрѣ, значительно созрѣлъ не прежде, какъ съ созданіемъ „Войны и Мира“.

Въ чемъ же дѣло? Существенною чертою внутренней работы, происходившей въ гр. Л. Н. Толстомъ, Ап. Григорьевъ считаетъ *отрицаніе* и относитъ эту работу къ тому *отрицательному процессу*, который начался уже въ Пушкинѣ. Именно—отрицаніе *всего наноснаго, напускнаго въ нашемъ развитіи*, — вотъ что господствовало въ дѣятельности гр. Л. Н. Толстаго вплоть до „Войны и Мира“.

Итакъ, внутренняя борьба, совершавшаяся въ нашей поэзіи, получила отчасти новый характеръ, котораго она еще не имѣла во время Пушкина. Критическое отношеніе прилагается уже не просто къ „высоко-

парнымъ мечтаніямъ“, не къ тѣмъ душевнымъ настроеніямъ, когда поэту „казались нужны“

Пустыни, волнъ края жемчужны,
И гордой дѣвы идеаль,
И безъимянныя страданья.

Теперь правдивый взглядъ поэзіи устремленъ уже на самое наше общество, на дѣйствительныя явленія, въ немъ совершающіяся. Въ сущности, впрочемъ, это тотъ же самый процессъ. Люди никогда не жили и никогда не будутъ жить иначе, какъ подъ властью идей, подъ ихъ руководствомъ. Какое бы ничтожное по содержанию общество мы ни вообразили, заправлять его жизнью всегда будутъ нѣкоторые понятія, можетъ быть, извращенныя и смутныя, но все-таки не могущія утратить своей идеальной природы. Итакъ, критическое отношеніе къ обществу есть въ сущности борьба съ идеалами, которыя въ немъ живутъ.

Процессъ этой борьбы ни у кого изъ нашихъ писателей не изложенъ съ такою глубокою искренностію и правдивою отчетливостію, какъ у гр. Л. Н. Толстаго. Герои его прежнихъ произведеній обыкновенно мучатся этою борьбою, и рассказъ о ней составляетъ существенное содержаніе этихъ произведеній. Для примѣра возьмемъ то, что одинъ изъ нихъ, Николай Иртеньевъ, пишетъ въ главѣ, носящей французское заглавіе *„comme il faut“*.

„Мое любимое и главное подраздѣленіе людей въ то время, о которомъ я пишу, было—на людей *comme il faut* и на *comme il ne faut pas*. Второй родъ подраздѣлялся еще на людей собственно не *comme il faut* и простой народъ. Людей *comme il faut* я уважалъ и считалъ достой-

ными имѣть со мной равныя отношенія; вторыхъ—притворялся, что презираю, но въ сущности ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали—я ихъ презиралъ совершенно“.

„Мнѣ кажется даже, что ежели бы у насъ былъ братъ, мать или отецъ, которыебы не были *comme il faut*, я бы сказалъ, что это несчастіе, но что ужъ тутъ между мной и ими не можетъ быть ничего общаго“.

Вотъ какова можетъ быть сила французскихъ и иныхъ понятій, и вотъ одинъ изъ яркихъ образцовъ той общественной фальши, среди которой росли герои гр. Л. Н. Толстаго.

„Я зналъ и знаю“, заключаетъ Николай Иртеньевъ, „очень, очень много людей *старыхъ, гордыхъ, самоуверенныхъ, рязкихъ въ сужденіяхъ*, которые на вопросъ, если такой задается имъ на томъ свѣтѣ: „кто ты такой? И что ты тамъ дѣлалъ?“, не будутъ въ состояніи отвѣтить иначе какъ: *je fus un homme très comme il faut*“.

„Эта участь ожидала меня“ *).

Вышло, однакоже, совершенно другое, и въ этомъ внутреннемъ поворотѣ, въ томъ тяжкомъ перерожденіи, которое совершаютъ надъ собою эти юноши, заключается величайшая важность. Вотъ что говоритъ объ этомъ Ап. Григорьевъ:

„Душевный процессъ, который раскрывается намъ въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“ и первой половинѣ „Юности“—процессъ необыкновенно-оригинальный. Герой этихъ замѣчательныхъ психологическихъ этюдовъ родился и воспитался въ средѣ общества, столь искусственно сло-

*) Сочиненія графа Л. Н. Толстаго. Спб. 1864 ч. I, стр. 123.

„жившейся, столь исключительной, что она въ сущности не имѣетъ реального бытія, — въ сферѣ такъ называемой „аристократической, въ сферѣ высшаго свѣта. Неудивительно, что эта сфера образовала Печорина — самый крупный свой фактъ — и нѣсколько болѣе мелкихъ явленій, каковы герои разныхъ великосвѣтскихъ повѣстей. *„Удивительно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и знаменательно то, что изъ нея, этой узкой сферы, выходитъ, т. е. отрывается отъ нея посредствомъ анализа, герой разсказа Толстаго. Вѣдь не вышелъ же изъ нея, несмотря на весь свой умъ, Печоринъ; не вышли же изъ нея герои графа Саллогуба и г-жи Евгеніи Туръ!.. А съ другой стороны, становится понятнымъ, когда читаешь этюды Толстаго, какимъ образомъ, несмотря на туже исключительную сферу, натура Пушкина сохранила въ себѣ живую струю народной, широкой и общей жизни, способность и понимать эту живую жизнь, и глубоко ей сочувствовать, и временами даже съ нею отождествляться“.*

Итакъ, внутренняя работа художника имѣла необыкновенную силу, необыкновенную глубину, и дала результатъ несравненно высшій, чѣмъ у многихъ другихъ писателей. Зато, какая же это была тяжелая и продолжительная работа! Укажемъ здѣсь хотя на главнѣйшія ея черты.

Прежніе герои гр. Л. Н. Толстаго обыкновенно питали въ себѣ очень сильный и совершенно неопредѣленный идеализмъ, т. е. есть, стремленіе къ чему-то высокому, прекрасному, доблестному безъ всякихъ формъ и очертаній. Это были, какъ выражается Ап. Григорьевъ, „идеалы на воздухѣ, созиданіе сверху, а не снизу, — то, что погубило нравственно и даже физически Го-

голя“. Но этими воздушными идеалами герои гр. Л. Н. Толстаго не удовлетворяются, не останавливаются на нихъ, какъ на чемъ-то несомнѣнномъ. Напротивъ, начинается двоякая работа: во-первыхъ, анализъ существующихъ явленій и доказательство ихъ несостоятельности передъ идеалами; во-вторыхъ, *упорное, неутомимое исканіе такихъ явленій дѣйствительности, въ которыхъ бы идеалъ осуществлялся.*

Анализъ художника, направленный къ обличенію всякаго рода душевной фальши, поразителенъ своею тонкостію, и онъ-то преимущественно бросился въ глаза читателямъ. „Анализъ“, пишетъ Ап. Григорьевъ, „развивается рано въ героѣ „Дѣтства, Отрочества“ и „Юности“ и подкапывается глубоко подъ основы всего того условнаго, чѣмъ онъ окруженъ, — того условнаго, что въ немъ самомъ“. „Онъ роется терпѣливо и безпоощадно-строгое въ каждомъ собственномъ чувствѣ, даже въ томъ самомъ, которое по виду кажется совершенно святымъ (глава *Исповѣдь*), — уличаетъ каждое чувство во всемъ, что въ чувствѣ *сдѣлано*, даже напередъ ведетъ каждую мысль, каждую дѣтскую или отроческую мечту до ея крайнихъ граней. Вспомните, напримѣръ, мечты героя *Отрочества*, когда его заперли въ темную комнату за непослушаніе гувернеру. Анализъ въ своей безпощадности заставляетъ душу признаться себѣ въ томъ, въ чемъ стыдно себѣ самому признаваться“.

„Та же безпощадность анализа руководитъ героя и въ *Юности*. Поддаваясь своей условной сферѣ, принимая даже ея предразсудки, онъ постоянно *казнитъ самого себя* и изъ этой казни выходитъ побѣдителемъ“.

Такимъ образомъ, сущность этого процесса заключается въ „казни, совершаемой имъ надъ всѣмъ фаль-

„шивымъ чисто сдѣланнымъ въ ощущеніяхъ современнаго человѣка, котораго Лермонтовъ суевѣрно обоготворилъ въ своемъ Печоринѣ“. „Анализъ Толстаго дошелъ до глубочайшаго невѣрія во всѣ *приподнятыя, необыденныя* чувства души человѣческой въ извѣстной сферѣ. Онъ разбилъ готовые, сложившіеся, отчасти чужіе намъ идеалы, силы, страсти, энергіи“.

По отношенію къ такимъ чисто-фальшивымъ явленіямъ, анализъ Толстаго, замѣчаетъ далѣе Ап. Григорьевъ, „правъ вполне,—правѣе, чѣмъ анализъ Тургенева, иногда, и даже нерѣдко, кадящій нашимъ фальшивымъ сторонамъ, и съ другой стороны—правѣе, чѣмъ анализъ Гончарова, ибо *казнитъ во имя глубокой любви къ правдѣ и искренности ощущеній*, а не во имя узкой бюрократической практичности“.

Такова чисто-отрицательная работа художника. Но сущность его таланта обнаруживается гораздо яснѣе въ положительныхъ сторонахъ его работы. Идеализмъ не внушаетъ ему ни презрѣнія къ дѣйствительности, ни вражды къ ней. Напротивъ, художникъ смиренно вѣритъ, что дѣйствительность содержитъ въ себѣ истинно прекрасныя явленія; онъ не довольствуется созерцаніемъ воздушныхъ идеаловъ, существующихъ только въ его душѣ, а упорно ищетъ хотя бы частнаго и неполнаго, но на дѣлѣ во очію существующаго воплощенія идеала. На этомъ пути, по которому онъ идетъ съ неизмѣнной правдивостію и зоркостію, онъ приходитъ къ двумъ выходамъ: или ему—въ видѣ слабыхъ искръ попадаются явленія, болѣею частію слабыя и мелкія, въ которыхъ онъ готовъ видѣть осуществленіе своихъ завѣтныхъ думъ, или же онъ не довольствуется этими явленіями, утомляется своими безплодными исканіями и приходитъ въ отчаяніе.

Герои гр. Л. Н. Толстаго иногда прямо представлены какъ будто бродящими по свѣту, по казацкимъ станицамъ, деревнямъ, петербургскимъ шпицъ-баламъ и пр. и старающимися разрѣшить вопросъ: есть ли на свѣтѣ истинная доблесть, истинная любовь, истинная красота души человѣческой? И вообще, начиная даже съ дѣтства, они невольно останавливаютъ свое вниманіе на случайно попадающихся имъ явленіяхъ, въ которыхъ имъ открывается какая-то другая жизнь, простая, ясная, чуждая испытываемаго ими колебанія и раздвоенія. Эти явленія они принимаютъ за то, чего искали. „Анализъ“, говоритъ Ап. Григорьевъ, „доходя до явленій ему неподдающихся, передъ ними останавливается. Въ этомъ отношеніи въ высокой степени замѣчательны главы *о нянь, о любви Маши къ Василью*, и въ особенности глава *о юродивомъ*, въ которой анализъ сталкивается съ явленіемъ, составляющимъ и въ самой народной простой жизни нѣчто рѣдкое, исключительное, эксцентрическое. Всѣ эти явленія анализъ противопоставляетъ всему условному, его окружающему“.

„Въ *Военныхъ разсказахъ*, въ разсказѣ *Встрѣча въ отрядѣ*, въ *Двухъ тусарахъ*—анализъ продолжаетъ свое дѣло. Останавливаясь передъ всѣмъ, чтò ему не поддается, и переходя тутъ—то въ паѳосъ передъ громадно-грандіознымъ, какъ Севастопольская эпопея, то въ изумленіе передъ всѣмъ смиренно-великимъ, какъ смерть Валенчука, или капитанъ Хлоповъ, онъ безпопаденъ ко всему искусственному и сдѣланному, является ли оно въ буржуазномъ штабсъ-капитанѣ Михайловѣ, въ казскомъ ли героѣ à la Марлинскій, въ совершенно ли ломанной личности юнкера въ разсказѣ *Встрѣча въ отрядѣ*“.

Эта трудная, копотливая работа художника, это упорное исканіе истинно-свѣтлыхъ точекъ въ сплошномъ сумракѣ сѣрой дѣйствительности долго, однакоже, не даетъ никакого прочнаго результата, даетъ только намеки и отрывочныя указанія, а не цѣльный, ясный взглядъ. И часто художникъ утомляется, часто на него находятъ отчаяніе и невѣріе въ то, чего онъ ищетъ, часто онъ впадаетъ въ апатію. Оканчивая одинъ изъ севастопольскихъ рассказовъ, въ которомъ онъ жадно искалъ и, по видимому, не нашелъ явленій *истинной доблести* въ людяхъ, художникъ съ глубокой искренностію говоритъ:

„*Тяжелое раздумье одолеваетъ меня.* Можетъ быть, не „надо было говорить этого, можетъ быть то, что я ска- залъ, принадлежитъ къ одной изъ тѣхъ *злыхъ истинъ*, „которыя, безсознательно таясь въ душѣ каждаго, не „должны быть высказываемы, чтобы не сдѣлаться вред- „ными, какъ осадокъ вина, который не надо взбалты- „вать, чтобы не испортить его“.

„Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? Гдѣ „выраженіе добра, которому должно подражать въ этой „повѣсти? *Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и „всѣ дурны*“ *).

Поэтъ часто и съ удивительною глубиною высказы- валъ свое отчаяніе, хотя этого и не замѣтили читатели, вообще мало расположенные къ подобнымъ вопросамъ и чувствамъ. Такъ, напримѣръ, отчаяніе слышно въ „Люцернѣ“, въ „Альбертѣ“ и еще раньше—въ „Запискахъ маркера“. „Люцернѣ“, какъ замѣчаетъ Ап. Григорьевъ, „представляетъ очевидное выраженіе *пантеистической скорби за жизнь и ея идеалы, за все сколько-нибудь*

*) Сочин. гр. Л. Н. Толстаго, ч. II, стр. 61.

искусственное и сдѣланное въ душу человеческой“. Еще яснѣе и рѣзче та же мысль высказана въ „Трехъ смер- тяхъ“. Тутъ смерть дерева является для художника са- мою нормальною. „Она поставлена сознаніемъ“, гово- ритъ Ап. Григорьевъ, „выше смерти не только развитой барыни, но и выше смерти простаго человѣка“. Нако- нецъ, само „Семейное счастье“, выражаетъ, по замѣ- чанію того же критика, „суровую покорность судьбѣ, не падающей цвѣта человѣческихъ чувствъ“.

Такова тяжелая борьба, совершавшаяся въ душѣ поэта, таковы фазисы его долгаго и неутомимаго исканія идеала въ дѣйствительности. Немудрено, что посреди этой борьбы онъ не могъ производить стройныхъ худо- жественныхъ созданій,—что его анализъ имѣлъ часто характеръ напряженный до болѣзненности. Только вели- кая художественная сила была причиной,—что этюды, порождаемые столь глубокою внутреннею работою, со- хранили на себѣ печать неизмѣнной художественности. Художника поддерживало и укрѣпляло высокое стре- мленіе, съ такою силою высказанное имъ въ концѣ того самаго рассказа, изъ котораго мы выписали его *тяже- лое раздумье*.

„Герой моей повѣсти“, говоритъ онъ, „*герой несо- „мнѣнный, котораго я люблю всеми силами души*, ко- „торого старался воспроизвести во всей красотѣ его и ко- „торый всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—*правда*“.

Правда есть лозунгъ нашей художественной литера- туры; правда руководить ее и въ критическомъ отно- шеніи къ чужимъ идеаламъ и, въ исканіи своего.

Какой же окончательный выводъ изъ этой исторіи развитія таланта гр. Л. Н. Толстаго, исторіи столь по- учительной и въ такихъ яркихъ и правдивыхъ художе-

ственныхъ формахъ лежащей передъ нами въ его произведеніяхъ? Къ чему пришелъ, на чемъ остановился художникъ?

Когда Ап. Григорьевъ писалъ свою статью, гр. Л. Н. Толстой замолкъ на нѣкоторое время, и критикъ приписалъ эту остановку той апатіи, о которой мы говорили. „Апатія“, писалъ Ап. Григорьевъ, „ждала непремѣнно на серединѣ такого глубоко-искренняго процесса, «но что она не конецъ его, — въ этомъ, вѣроятно, никто изъ вѣрующихъ въ силу таланта Толстаго даже и не сомнѣвается». Вѣра критика не обманула его, и предсказаніе его оправдалось. Талантъ развернулся со всею своею силою и далъ намъ „Войну и Миръ“.

Но куда клонился этотъ талантъ въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ? Какія симпатіи въ немъ выработались и окрѣпли среди его внутренней борьбы?

Уже въ 1859 году Ап. Григорьевъ замѣчалъ, что гр. Л. Н. Толстой *не въ мѣру и насильственно стремится опозитизировать типъ Бѣлкина*; въ 1862 году критикъ пишетъ:

„Анализъ Толстаго разбилъ готовые, сложившіеся, отчасти чужіе намъ идеалы, силы, страсти, энергіи. *Въ русской жизни онъ видитъ только отрицательный типъ простаго и смирнаго человека* и привязался къ нему всею душою. Вездѣ слѣдитъ онъ идеалъ простоты „душевныхъ движеній: въ горести няни (въ „Дѣтствѣ и отрочествѣ“) о смерти матери героя, — горести, противопологаемой имъ — нѣсколько эффектной, хотя и глубокой скорби старой графини; въ смерти солдата Валенчука, въ честной и простой храбрости капитана Хлопова, явно превосходящей въ его глазахъ — несомнѣнную же, но крайне эффектную храбрость одного изъ

„кавказскихъ героевъ à la Марлинскій; въ покорной смерти „простаго человѣка, противопоставленной смерти — страдающей, но капризно страдающей барыни...“

Вотъ самая существенная черта, самая важная особенность, которою характеризуется художественное міросозерцаніе гр. Л. Н. Толстаго. Понятно, что въ этой особенности заключается и нѣкоторая односторонность. Ап. Григорьевъ находитъ, что гр. Л. Н. Толстой дошелъ до любви къ смирному типу — *преимущественно по невѣрію въ блестящій и хищный типъ*, — что онъ иногда и пересаливаетъ въ своей строгости къ „приподнятымъ“ чувствамъ. „Немногіе“, говоритъ критикъ, „будуть, напримѣръ, съ нимъ согласны на счетъ бѣднѣйшей глубины горя няни передъ горемъ старухи-графини“.

Пристрастіе къ простому типу, впрочемъ, есть общая черта нашей художественной литературы; поэтому, какъ относительно гр. Л. Н. Толстаго, такъ и вообще относительно нашего искусства имѣетъ огромную важность и заслуживаетъ величайшаго вниманія слѣдующее общее заключеніе критика.

„Не правъ анализъ Толстаго потому, что не придаетъ „значенія блестящему *дѣйствительно* и страстному *дѣйствительно* и хищному *дѣйствительно* типу, который и въ природѣ и въ исторіи имѣетъ свое оправданіе, т. е. оправданіе своей возможности и реальности“.

„Не только мы были бы народъ весьма не щедро одаренный природою, если бы мы видѣли свои идеалы въ однихъ смиренныхъ типахъ, — будь это Максимъ Максимычъ, или капитанъ Хлоповъ, даже и смиренные типы Островскаго; но, пережитые нами съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ типы — чужіе намъ только отчасти, только можетъ быть, по своимъ формамъ и по своему, такъ

„сказать, доску. Пережиты они нами потому собственно, „что къ воспринятію ихъ наша природа столь же способна, какъ и всякая европейская. Не говоря уже о „томъ, что *у насъ въ исторіи были хищные типы*, и не „говоря уже о томъ, что *Стеньку Разина изъ міра этно- „ческихъ сказаній народа не выживешь*;—нѣтъ, самые въ „чуждой жизни сложившіеся типы не чужды намъ, и у „нашихъ поэтовъ облекались въ своеобразныя формы. „Вѣдь Тургеневскій Василій Лучиновъ—XVIII вѣкъ, но „русскій XVIII вѣкъ, а ужъ его, на примѣръ, страстный и „беззаботно прожигающій жизнь Веретьевъ—и подавно“.

VIII.

Вотъ тѣ точки зрѣнія, съ которыхъ мы можемъ судить о *частномъ* характерѣ „Войны и Мира“. Покойный критикъ поставилъ ихъ ясно, и намъ остается сдѣлать только ихъ приложеніе къ новому произведенію таланта, такъ вѣрно и глубоко имъ понятаго.

Онъ угадалъ, что апатія и лихорадочная напряженность анализа должны пройти. Они миновали совершенно. Въ „Войнѣ и Мирѣ“ талантъ вполне владѣетъ своими силами, спокойно распоряжается пріобрѣтеніями долгаго и тяжкаго труда. Какая твердость руки, какая свобода, увѣренность, простая и отчетливая ясность въ изображеніи! Для художника кажется, нѣтъ, ничего труднаго, и куда бы ни обратилъ онъ свой взглядъ,—въ палатку Наполеона, или въ верхній этажъ дома Ростовыхъ,—ему все открывается до малѣйшихъ подробностей, какъ будто онъ имѣетъ силу видѣть по своей волѣ во всѣхъ мѣстахъ и то, что есть, и то, что было. Онъ ни передъ чѣмъ не останавливается; трудныя сцены, гдѣ въ душѣ

борются разнообразныя чувства или пробѣгаютъ едва уловимыя ощущенія, онъ, какъ будто шутя и нарочно, дорисовываетъ до самаго конца, до малѣйшей черточки. Мало того, на примѣръ, что онъ съ величайшею правдою изобразилъ намъ безсознательно-геройскія дѣйствія капитана Тушина; онъ еще заглянулъ ему въ душу, подслушалъ тѣ слова, которыя тотъ шепталъ, самъ того не замѣчая.

„У него въ головѣ“, рассказываетъ художникъ такъ же просто и свободно, какъ будто дѣло идетъ объ обыкновеннѣйшей въ мірѣ вещи, „у него въ головѣ устроенъ свой фантастическій міръ, который составлялъ „его наслажденіе въ эту минуту. Непріятельскія пушки „въ его воображеніи были не пушки, а *трубки, изъ которыхъ рѣдкими клубами выпускалъ дымъ невидимый курильщикъ*“.

„—Вишь, пыхнулъ опять,—*проговорилъ Тушинъ шепотомъ про себя*, въ то время, какъ съ горы выскакивалъ клубъ дыма и влѣво полосой относился вѣтромъ,—теперь мячикъ жди, отсылать назадъ“.

„Звукъ то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрѣлки подъ горою представлялся ему „*чѣмъ-то дыханіемъ*. Онъ прислушивался къ затиханію „и разгоранію этихъ звуковъ“.

„—*Ишь, задыхалась опять, задыхалась*, говорилъ онъ „про себя. *Самъ онъ представлялся себѣ огромнаго роста, „мошнымъ мужчиной, который обѣими руками швыряетъ „французамъ ядра*“ (Т. I, ч. 2-я, стр. 122).

Итакъ, это — тотъ же тонкій, всепроницающій анализъ, но получившій уже полную свободу и твердость. Мы видѣли, что отсюда вышло. Художникъ спокойно, ясно относится ко всѣмъ своимъ лицамъ и ко всѣмъ

чувствамъ своихъ лицъ. Борьбы въ немъ нѣтъ, и онъ — какъ не вооружается усиленно противъ „приподнятыхъ“ чувствъ, такъ и не останавливается съ изумленіемъ передъ простыми чувствами. И тѣ, и другія онъ умѣетъ изображать во всей ихъ *правдѣ*, въ ровномъ дневномъ свѣтѣ.

Въ „Люцернѣ“, въ одну изъ минутъ того *тяжелого раздумья*, о которомъ мы упоминали, художникъ съ отчаяніемъ спрашивалъ себя: „У кого въ душѣ такъ „непоколебимо это *мѣрило добра и зла*, чтобы онъ могъ „мѣрить имъ бѣгущіе факты?“

„Въ „Войнѣ и Мирѣ“ это мѣрило, очевидно, найдено, имѣется въ полномъ обладаніи художника, и онъ съ увѣренностію измѣряетъ имъ всякіе факты, какіе только вздумаетъ взять.

Изъ предыдущаго понятно, однакоже, какіе должны быть результаты этого измѣренія. Все фальшивое, блестящее только по внѣшности, — беспощадно разоблачается художникомъ. Подъ искусственными, наружно-изящными отношеніями высшаго общества онъ открываетъ намъ цѣлую бездну пустоты, низкихъ страстей и чисто-животныхъ влеченій. Напротивъ, все простое и истинное, въ какихъ бы низменныхъ и грубыхъ формахъ оно ни проявлялось, находитъ въ художникѣ глубокое сочувствіе. Какъ ничтожны и поплы салоны Анны Павловны Шереръ и Эленъ Безухой, и какой поэзіей облеченъ смиренный бытъ *дядюшки*!

Мы не должны забывать, что семейство Ростовыхъ, хотя они и графы, есть простое семейство русскихъ помѣщиковъ, тѣсно связанное съ деревнею, сохраняющее весь строй, всѣ преданія русской жизни и только случайно соприкасающееся съ большимъ свѣтомъ. Большой

свѣтъ есть сфера, совершенно отъ нихъ отдѣльная, глетворная сфера, прикосновеніе которой такъ губительно дѣйствуетъ на Наташу. По своему обыкновенію, авторъ рисуетъ эту сферу по тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя испытываетъ отъ нея Наташа. Наташу живо поражаетъ та фальшь, то отсутствіе всякой естественности, которое господствуетъ въ нарядѣ Эленъ, въ пѣніи Итальянцевъ, въ танцахъ Дюпора, въ декламации M^{lle} George; но вмѣстѣ съ тѣмъ пылкую дѣвушку невольно увлекаетъ атмосфера искусственной жизни, въ которой ложь и аффектація составляютъ блестящій покровъ всякихъ страстей, всякой жажды наслажденій. Въ большомъ свѣтѣ мы неминуемо наталкиваемся на французское, на итальянское искусство; идеалы французской и итальянской страстности, столь чуждые русской натурѣ, дѣйствуютъ на нее въ этомъ случаѣ развращающимъ образомъ.

Другое семейство, къ хроникѣ котораго принадлежитъ то, что рассказывается въ „Войнѣ и Мирѣ“, семейство Болконскихъ точно также не принадлежитъ къ большому свѣту. Скорѣе можно сказать, что оно *выше* этого свѣта, но во всякомъ случаѣ оно внѣ его. Припомните княжну Марью, не имѣющую никакого подобія свѣтской дѣвушки; припомните враждебное отношеніе старика и его сына къ маленькой княгинѣ Лизѣ, самой очаровательной свѣтской женщинѣ.

Итакъ, несмотря на то, что одно семейство — графское а другое — княжеское, „Война и Миръ“ не имѣетъ и тѣни великосвѣтскаго характера. „Великосвѣтскость“ нѣкогда очень соблазняла нашу литературу и породила въ ней цѣлый рядъ фальшивыхъ произведеній. Лермонтовъ не успѣлъ освободиться отъ этого увлеченія, которое Ап. Григорьевъ называлъ „болѣзнью моральнаго

лакейства“ Въ „Войнѣ и Мирѣ“ русское искусство явилось совершенно свободнымъ отъ всякаго признака этой болѣзни; эта свобода имѣетъ тѣмъ болѣшую силу, что здѣсь искусство захватило тѣ самыя сферы, гдѣ, по-видимому, господствуетъ большой свѣтъ.

Семья Ростовыхъ и семья Болконскихъ, по ихъ внутренней жизни, по отношеніямъ ихъ членовъ, — суть такія же русскія семьи, какъ и всякія другія. Для лицъ той и другой семьи, семейныя отношенія имѣютъ существенную, господствующую важность. Вспомните Печорина, Онѣгина; у этихъ героевъ нѣтъ семьи, или по крайней мѣрѣ семья не играетъ въ ихъ жизни никакой роли. Они заняты и поглощены своею личною, индивидуальною жизнью. Самая Татьяна, оставаясь вполнѣ вѣрною семейной жизни, не измѣняя ей ни въ чемъ, нѣсколько чуждается ея:

Она въ семьѣ своей родной
Казалась дѣвочкой чужой.

Но, какъ только Пушкинъ сталъ изображать простую русскую жизнь, напр. въ „Капитанской дочкѣ“, семья тотчасъ взяла всѣ свои права. Гриневы и Мироновы являются на сцену какъ два семейства, какъ люди, живущіе въ тѣсныхъ семейныхъ отношеніяхъ. Но нигдѣ съ такою яркостію и силою не выступала русская семейная жизнь, какъ въ „Войнѣ и Мирѣ“. Юноши, какъ Николай Ростовъ, Андрей Болконскій, живутъ и своей особой, личною жизнью, честолюбіемъ, кутежомъ, любовью и пр.; они часто и надолго отрываются отъ дома своего службою и занятіями, но домъ, отецъ, семья — составляетъ для нихъ святыню и поглощаетъ лучшую половину ихъ думъ и чувствъ. Что касается до жен-

щинъ, княжны Марьи, Наташи, онѣ вполнѣ погружены въ сферу семейства. Описаніе счастливой семейной жизни Ростовыхъ и несчастной — Болконскихъ, со всѣмъ разнообразіемъ отношеній и случаевъ, составляетъ существеннѣйшую и классически-превосходную сторону „Войны и Мира“.

Позволимъ себѣ сдѣлать еще одно сближеніе. Въ „Капитанской дочкѣ“, какъ и въ „Войнѣ и Мирѣ“. изображено столкновеніе частной жизни съ государственною. Оба художника, очевидно, чувствовали желаніе подсмотреть и показать то отношеніе, въ которомъ русскій человѣкъ находится къ своей государственной жизни. Не въ правѣ ли мы отсюда заключить, что къ числу существеннѣйшихъ элементовъ нашей жизни принадлежитъ двоякая связь: связь съ семействомъ и связь съ государствомъ?

Итакъ, вотъ какая жизнь изображена въ „Войнѣ и Мирѣ“, — не личная эгоистическая жизнь, не исторія индивидуальных стремленій и страданій; изображена жизнь общинная, связанная во всѣхъ направленіяхъ живыми узами. Въ этой чертѣ, намъ кажется, обнаруживается истинно-русскій, истинно-самобытный характеръ произведенія гр. Л. Н. Толстаго.

А что же страсти? Какую роль играютъ личности, характеры въ „Войнѣ и Мирѣ“? Понятно, что страстямъ здѣсь не можетъ ни въ какомъ случаѣ принадлежать первенствующее мѣсто, и что личные характеры не будутъ выдаваться изъ общей картины огромностію своихъ размѣровъ.

Страсти не имѣютъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ ничего блестящаго, картиннаго. Возьмемъ для примѣра любовь. Это — или простая чувственность, какъ у Пьера въ от-

ношеніи къ женѣ, какъ у самой Эленъ къ ея обожателямъ; или наоборотъ, это—совершенно спокойная, глубоко-человѣчественная привязанность, какъ у Софьи къ Николаю, или какъ постепенно возникающія отношенія между Пьеромъ и Наташею. Страсть, въ чистомъ своемъ видѣ, является только между Наташею и Курагинымъ; и тутъ она—со стороны Наташи представляетъ какое-то безумное опьяненіе, и только со стороны Курагина оказывается тѣмъ, что называется *passion* у французовъ, понятіе не русское, но, какъ извѣстно, сильно привившееся къ нашему обществу. Припомните, какъ Курагинъ восхищается своею *богиней*, какъ онъ, „съ пріемами знатока, разбираетъ передъ Долоховымъ достоинство ея рукъ, плечъ, ногъ и волосъ“. (Т. III, стр. 236). Не такъ чувствуетъ и выражается истинно-любящій Пьеръ: „она обворожительна“, говоритъ онъ о Наташѣ, „а отчего, я не знаю: вотъ все, что можно про нее сказать“. (Тамъ же, стр. 203).

Точно такъ и всѣ другія страсти, все то, въ чемъ раскрывается отдѣльная личность человѣка, злоба, честолюбіе, мщеніе, — все это или проявляется въ видѣ мгновенныхъ вспышекъ, или переходитъ въ постоянныя, но уже болѣе спокойныя отношенія. Вспомните отношенія Пьера къ его женѣ, къ Друбецкому и пр. Вообще, „Война и Миръ“ не возводитъ страстей въ идеаль; надъ этой хроникой, очевидно, господствуетъ *вѣра въ семью* и столь же очевидно, *невѣріе въ страсти*, то есть, невѣріе въ ихъ продолжительность и прочность, — убѣжденіе, что какъ бы сильны и прекрасны не были эти личныя стремленія, они современемъ поблекнутъ и исчезнутъ.

Что касается до характеровъ, то совершенно ясно,

что сердцу художника остались попрежнему неизмѣнно милы типы простые и смиренные,—отраженіе одного изъ любимѣйшихъ идеаловъ нашего народнаго духа. Благодушные и смиренные герои, Тимохинъ, Тушинъ, благодушные и простые люди, княжна Марья, графъ Илья Ростовъ,—обрисованы съ тѣмъ пониманіемъ, съ тою глубокою симпатіею, которая намъ знакома изъ прежнихъ произведеній гр. Л. Н. Толстаго. Но всякій, кто слѣдилъ за прежнею дѣятельностію художника, не можетъ быть не пораженъ тою смѣлостію и свободою, съ которою гр. Л. Н. Толстой сталъ изображать и типы сильные, страстные. Въ „Войнѣ и Мирѣ“ художникъ какъ-будто въ первый разъ овладѣлъ тайною сильныхъ чувствъ и характеровъ, къ которымъ прежде всегда относился съ такою недоувѣрчивостію. Болконскіе — отецъ и сынъ уже никакъ не принадлежатъ къ смирному типу. Наташа представляетъ очаровательное воспроизведеніе страстнаго женскаго типа, въ одно время сильнаго, пылкаго и нѣжнаго.

Свою нелюбовь къ хищному типу художникъ, впрочемъ, заявилъ въ изображеніи цѣлаго ряда такихъ лицъ, какъ Эленъ, Анатоль, Долоховъ, ямщикъ Балага и пр. Все это—натуры по преимуществу хищныя; художникъ сдѣлалъ изъ нихъ представителей зла и разврата, отъ котораго страдаютъ главные лица его семейной хроники.

Но самый интересный, самый оригинальный и мастерской типъ, созданный гр. Л. Н. Толстымъ, есть лицо Пьера Безухова. Это, очевидно, сочетаніе обоихъ типовъ, смирнаго и страстнаго, чисто русская натура, одинаково исполненная добродушія и силы. Мягкій, застѣнчивый, дѣтски-простодушный и добрый, Пьеръ по

временамъ обнаруживаетъ въ себѣ (какъ говоритъ авторъ) натуру своего отца. Кстати—этотъ отецъ, богачъ и красавецъ Екатерининскаго времени, который въ „Войнѣ и Мирѣ“ является только умирающимъ и не произноситъ ни одного слова—составляетъ одну изъ поразительнѣйшихъ картинъ „Войны и Мира“. Это вполне—умирающій левъ, до послѣдняго издыханія поражающій могуществомъ и красотой. Натура этого-то льва порой и отзывается въ Пьерѣ. Вспомните, какъ онъ трясетъ за шиворотъ Анатоля, этого буяна, главу повѣсь, дѣлавшихъ штуки, которыя *обыкновенному человеку давно бы заслужили Сибирь* (т. III, стр. 259).

Каковы бы, впрочемъ, ни были сильные русскіе типы, изображенные гр. Л. Н. Толстымъ, все-таки очевидно, что въ совокупности этихъ лицъ мало блестящаго, дѣятельнаго, и что сила тогдашней Россіи гораздо болѣе опиралась на стойкость смирнаго типа, чѣмъ на дѣйствія сильнаго. Самъ Кутузовъ, величайшая сила, изображенная въ „Войнѣ и Мирѣ“, — не имѣетъ въ себѣ блестящихъ сторонъ. Это—медлительный старикъ, главная мощь котораго обнаруживается въ той легкости и свободѣ, съ которою онъ носитъ на себѣ тяжелое бремя своей опытности. *Терпѣніе и время* его лозунгъ. (Т. IV, стр. 221).

Самыя двѣ битвы, въ которыхъ съ наибольшей ясностію показаны размѣры, какихъ можетъ достигать сила русскихъ душъ,—Шенграбенское дѣло и Бородинская битва,—имѣютъ, очевидно, характеръ оборонительный, а не наступательный. По мнѣнію князя Андрея, успѣхомъ при Шенграбенѣ мы обязаны болѣе всего *геройской стойкости капитана Тушина*. (Т. I, ч. I, стр. 132). Сущность же Бородинской битвы заключалась въ

томъ, что атакующая армія французовъ была поражена ужасомъ передъ врагомъ, который, „потерявъ *половину* войска, *стоялъ такъ же угрозою* въ концѣ, какъ и въ началѣ сраженія“ (т. IV, стр. 337). Итакъ, здѣсь повторилось давнишнее замѣчаніе историковъ, что русскіе не сильны въ нападеніи, но что въ *оборонѣ* имъ нѣтъ равныхъ на свѣтѣ.

Мы видимъ, слѣдовательно, что все геройство русскихъ сводится на силу типа самоотверженнаго и безтрепетнаго, но вмѣстѣ смирнаго и простаго. Типъ же истинно блестящій, исполненный дѣятельной силы, страстности, хищности,—очевидно, представляютъ, и по сущности дѣла должны представлять,—французы со своимъ предводителемъ Наполеономъ. По дѣятельной силѣ и блеску, русскіе ни въ какомъ случаѣ не могли поравняться съ этимъ типомъ, и, какъ мы уже замѣтили, весь рассказъ „Войны и Мира“ изображаетъ столкновение этихъ двухъ столь различныхъ типовъ и побѣду типа простаго надъ типомъ блестящимъ.

Такъ какъ мы знаемъ коренное, глубокое нерасположеніе нашего художника къ блестящему типу, то здѣсь именно намъ слѣдуетъ искать пристрастнаго, неправильнаго изображенія; хотя, съ другой стороны, пристрастіе, имѣющее столь глубокіе источники, можетъ повести къ безцѣннымъ откровеніямъ,—можетъ достигнуть правды, незамѣчаемой равнодушными и холодными глазами. Въ Наполеонѣ художникъ какъ будто прямо хотѣлъ разоблачить, развѣнчать блестящій типъ,—развѣнчать его въ величайшемъ его представителѣ. Авторъ положительно относится враждебно къ Наполеону, какъ будто вполне раздѣляя чувства, которыя въ ту минуту питала къ нему Россія и русская армія. Сравните то,

какъ держать себя на Бородинскомъ полѣ Кутузовъ и Наполеонъ. Какая чисто-русская простота у одного, и сколько аффектаціи, ломанья, фальши у другого!

При такого рода изображеніи, нами овладѣваетъ невольное недовѣріе. Наполеонъ у гр. Л. Н. Толстаго не довольно уменъ, глубокъ и даже не довольно страшенъ. Художникъ схватилъ въ немъ все то, что такъ противно русской натурѣ, такъ возмущаетъ ея простые инстинкты; но нужно думать, что эти черты въ своемъ, то есть, французскомъ мірѣ не представляютъ той неестественности и рѣзкости, какую въ нихъ видятъ русскіе глаза. Должно быть въ томъ мірѣ была своя красота, свое величіе.

И однакоже, такъ какъ это величіе уступило величію русскаго духа, — такъ какъ на Наполеонѣ лежалъ грѣхъ насилія и угнетенія, — такъ какъ доблесть французовъ была дѣйствительно помрачена сіяніемъ русской доблести, — то нельзя не видѣть, что художникъ былъ правъ, набрасывая тѣнь на блестящій типъ императора, нельзя не сочувствовать чистотѣ и правильности тѣхъ инстинктовъ, которыми онъ руководился. Изображеніе Наполеона все-таки изумительно вѣрно, хотя мы и не можемъ сказать, чтобы внутренняя жизнь его и его арміи была захвачена въ такой глубинѣ и полнотѣ, въ какой намъ во очію представлена тогдашняя русская жизнь.

Таковы нѣкоторыя черты *частной* характеристики „Войны и Мира“. Изъ нихъ, надѣмся, будетъ ясно по крайней мѣрѣ, сколько чисто-русскаго сердца положено въ это произведеніе. Еще разъ каждый можетъ убѣдиться, что настоящія, дѣйствительныя созданія искусства глубочайшимъ образомъ связаны съ жизнью, душою, всею натурою художника; они составляютъ испо-

вѣдь и воплощеніе его душевной исторіи. Какъ созданіе вполне живое, вполне искреннее, проникнутое лучшими и задушевнѣйшими стремленіями нашего народнаго характера, „Война и Миръ“ есть произведеніе несравненное, составляетъ одинъ изъ величайшихъ и своеобразнѣйшихъ памятниковъ нашего искусства. Значеніе этого произведенія въ нашей художественной литературѣ — мы выразимъ словами Ап. Григорьева, которыя были сказаны имъ десять лѣтъ тому назадъ и ничѣмъ такъ блистательно не подтверждены, какъ появленіемъ „Войны и Мира“:

Кто не видитъ могучихъ произрастаній типового, коренного, народнаго — того природа обдѣлила зрѣніемъ и вообще чувствомъ.

1869 г. 24 янв.

(Заря 1869, февраль).

IV.

ЛИТЕРАТУРНАЯ НОВОСТЬ.

(О появлении 5-го тома).

3-го марта появился въ Петербургѣ давно жданный 5-й томъ „Войны и Мира“ и производитъ сильнѣйшее впечатлѣніе. Читатели уже были подготовлены къ этому впечатлѣнію четырьмя предыдущими томами; они уже научились понимать автора, знали его манеру разсказа, были знакомы со всѣми его лицами. И потому пятый томъ, гдѣ гр. Л. Н. Толстой, вслѣдствіе тѣхъ событій, которыя ему пришлось въ немъ разсказывать, долженъ былъ развернуть всю силу своего таланта, — гдѣ ему нужно было сдѣлать новыя и глубочайшія откровенія душевной жизни своихъ героев, — поразилъ читателей съ бѣльшею силой, чѣмъ всѣ прежніе томы. Это была капля, переполнившая чашу, — новый восторгъ, тѣмъ болѣе всѣхъ изумившій, что и прежнему восторгу, казалось, не было мѣры. Читатели, глубоко увлеченные и потрясенные прежними томами, не могутъ надивиться, откуда взялась у автора сила — увлечь и потрясти ихъ еще глубже, раскрыть передъ ними еще болѣе серіозныя, еще труднѣе постижимыя тайны жизни и исторіи. Пятымъ томомъ разсказъ не кончается; но уже теперь

совершенно ясно, что, каковы бы ни были послѣдующіе томы, и даже будутъ они или нѣтъ, — „Война и Миръ“ есть произведеніе *гениальное*, равное всему лучшему и истинно-великому, что произвела русская литература. Каждый читавшій и уразумѣвшій не можетъ не чувствовать, что такія сцены, какъ свиданіе Наташи съ княземъ Андреемъ, встрѣчи Николая Ростова съ княжною Марьею въ Воронежѣ, смерть князя Андрея, Кутузовъ, получающій вѣсть объ оставленіи Москвы французами, и пр. — суть сцены безсмертныя. Немногія страницы, гдѣ является солдатъ Каратаевъ имѣющій столь важный смыслъ во внутренней связи цѣлаго разсказа, едва-ли не заслоняютъ собою всю ту литературу, которая была у насъ посвящена изображеніямъ быта и внутренней жизни простаго народа. Однимъ словомъ, съ появленіемъ 5-го тома „Войны и Мира“ невольно чувствуется и сознается, что русская литература можетъ причислить *еще одного* къ числу своихъ *великихъ писателей*. Кто умѣетъ цѣнить высокія и строгія радости духа, кто благоговѣетъ передъ гениальностію и любитъ освѣжать и укрѣплять свою душу созерцаніемъ ея произведеній, тотъ пусть порадуется, что живетъ въ настоящее время.

(Заря 1869, мартъ).

V.

Война и Миръ. Сочиненіе гр. Л. Н. Толстаго. Томы V
VI. Москва, 1869.

„Нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ
простоты, добра и правды“.

Война и Миръ т. VI, стр. 62.

I.

Наконецъ великое произведеніе кончено. Наконецъ оно передъ нами, оно навсегда наше, и исчезли всякія наши волненія. Въ то время, какъ гр. Л. Н. Толстой какъ будто замедлилъ окончаніемъ своего труда, мы невольно мучились страхомъ и надеждой. Художникъ, какъ мы видимъ теперь, спокойно и увѣренно продолжалъ свою работу; твердою рукою онъ доканчивалъ ея послѣднія части; но мы, простые смертные, съ невольнымъ замедленіемъ сердца ждали совершенія таинственного дѣла. Мы дивились до изумленія, какъ могла творческая сила, не ослабѣвая ни на минуту, дѣйствовать въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, и, еще не сѣмѣвъ понять всего величія открывшихся передъ нами силъ, не успѣвъ привыкнуть къ этому величію, малодушно страшились за окончаніе великаго и безцѣннаго дѣла. Самыя нелѣпыя опасенія приходили намъ въ голову.

Но наконецъ картина готова, и вся передъ нами.

Красота ея открывается съ новою, съ поразительною силою. Только теперь всѣ подробности заняли свое надлежащее мѣсто, ясно обозначился центръ, ясно выступилъ колоритъ отдѣльных частей, и, обнимая картину однимъ взглядомъ, мы можемъ отчетливо видѣть ея общее освѣщеніе, связь всѣхъ ея фигуръ и неотразимую мысль, которая составляетъ душу всего произведенія, которая даетъ ему полное единство, полную жизнь. Всмотритесь, вчитайтесь, попробуйте обозрѣть весь рассказъ какъ одно цѣлое, — впечатлѣніе будетъ усиливаться и возрастать по мѣрѣ вашего вниманія и изученія.

Какая громада и какая стройность! Ничего подобного не представляетъ намъ ни одна литература. Тысячи лицъ, тысячи сценъ, всевозможныя сферы государственной и частной жизни, исторія, война, всѣ ужасы, какіе есть на землѣ, всѣ страсти, всѣ моменты человеческой жизни, отъ крика новорожденного ребенка до послѣдней вспышки чувства умирающаго старика, всѣ радости и горести, доступныя человѣку, всевозможныя душевныя настроенія, отъ ощущеній вора, укравшаго червонцы у своего товарища, до высочайшихъ движеній героизма и думъ внутреннего просвѣтленія, — все есть въ этой картинѣ. А между тѣмъ, ни одна фигура не заслоняетъ другой, ни одна сцена, ни одно впечатлѣніе не мѣшаютъ другимъ сценамъ и впечатлѣніямъ, все на мѣстѣ, все ясно, все раздѣльно и все гармонируетъ между собою и съ цѣлымъ. Подобнаго чуда въ искусствѣ, притомъ чуда, достигнутаго самыми простыми средствами, еще не бывало на свѣтѣ. Эта простая и въ то же время невообразимо-искусная группировка не есть дѣло внѣшнихъ соображеній и прилаживаній; она могла

быть только плодомъ геніальнаго прозрѣнія, которое однимъ взглядомъ, простымъ и яснымъ, объемлетъ и проникаетъ все многообразное теченіе жизни.

Ревниво осматриваемъ мы наше сокровище, это неожиданное богатство нашей литературы, честь и украшеніе ея современнаго періода: нѣтъ-ли гдѣ недостатковъ? Нѣтъ-ли пропусковъ, противорѣчій? Нѣтъ-ли какихъ-нибудь важныхъ несовершенствъ, за которыя мы, конечно, съ избыткомъ были бы вознаграждены сильными сторонами „Войны и Мира“, но которыя намъ все-таки больно было бы видѣть въ этомъ произведеніи? Нѣтъ, нѣтъ ничего, что могло-бы помѣшать полной радости, что смущало бы нашъ восторгъ. Всѣ лица выдержаны, всѣ стороны дѣла схвачены, и художникъ до послѣдней сцены не отступилъ отъ своего безмѣрно-широкаго плана, не опустилъ ни одного существеннаго момента, и довелъ свой трудъ до конца безъ всякаго признака измѣненія въ тонѣ, взглядѣ, въ приѣмахъ и силѣ творчества. Дѣло по истинѣ изумительное!

Для ясности попробуемъ сдѣлать коротенькій очеркъ двухъ послѣднихъ томовъ.

Пятый томъ содержитъ занятіе Москвы французами и все время ихъ пребыванія въ ней. Шестой—бѣгство французовъ и эпилогъ—развязку всѣхъ событій, государственныхъ и частныхъ. Надъ пятымъ томомъ царитъ ужасъ, а надъ шестымъ, несмотря на всѣ его мрачныя картины, уже носится вѣяніе мира, уже ясно, что все стихаетъ, борьба кончена, и скоро наступитъ обыкновенное теченіе жизни.

Пятый томъ, начинающійся совѣтомъ въ Филяхъ, на которомъ рѣшено было отдать Москву, и оканчивающійся сценою, когда Кутузовъ получаетъ извѣстіе о выступленіи

французовъ изъ столицы, поразителенъ изображеніемъ того страшнаго удара, который былъ нанесенъ русскимъ душамъ потерей Москвы. Люди потерялись, ошалѣли, обезумѣли отъ жестокаго потрясенія. Растопчинъ, Пьеръ, посѣтители питейнаго дома на Варваркѣ,— всѣ потеряли голову, всѣ чувствовали и дѣйствовали подъ давленіемъ неописаннаго ужаса. Самъ Кутузовъ, до конца вѣрившій и ни разу не колебавшійся, задумался, какъ никогда онъ не задумывался. Главное лицо пятаго тома, Пьеръ, на которомъ всего яснѣе отражается нравственный процессъ, совершавшійся въ русскихъ душахъ, своими поведеніями всего лучше изображаетъ чувства, овладѣвшія тогда всѣми. Его бѣгство изъ своего дворца, переездъ, попытка убить Наполеона, и пр., все свидѣтельствуетъ о глубокомъ душевномъ потрясеніи, о страстномъ желаніи — такъ или иначе раздѣлить бѣдствіе своей родины, страдать тогда, когда всѣ страдаютъ. Онъ наконецъ добивается своего, и въ плѣну—успокоивается. Въ плѣну онъ сливается съ массою простонародныхъ лицъ, и въ этой массѣ встрѣчаетъ чело-вѣка, который всего яснѣе, всего глубже показываетъ ему силу и красоту русскаго народа,—Платона Каратаева. Убѣжавши съ Бородинскаго поля, Безухій размышлялъ такъ: „Какъ ужасенъ страхъ, и какъ позорно „я отдался ему! А они... они все время до конца были „тверды, спокойны“ *Они въ понятіи Пьера были солдаты, тѣ, которые были на батарее, и тѣ, которые его кормили и тѣ, которые молились на икону. Они—эти „странные, невѣдомые ему доселѣ, они ясно и резко отдѣлялись въ его мысли отъ другихъ людей“* (стр. 35, т. V). Затѣмъ во снѣ ему видится масонъ-благодѣтель, говорящій о добрѣ, о возможности быть тѣмъ, чѣмъ

были они. „И они со всѣхъ сторонъ, съ своими простыми, добрыми лицами, окружали благодѣтеля“. Такъ образъ народа съ неизгладимою силою отпечатлѣлся въ душѣ Пьера на Бородинскомъ полѣ. Но это впечатлѣніе еще разъ, съ бѣльшею силою, въ болѣе конкретных формахъ, повторилось для Пьера тогда, когда онъ всего способнѣе былъ его принять, — въ плѣну, среди величайшихъ страданій. „Платонъ Каратаевъ“, говоритъ авторъ, „остался навсегда въ душѣ Пьера самымъ сильнымъ и дорогимъ воспоминаніемъ и олицетвореніемъ всего русскаго, добраго и круглаго“ (тамъ же, стр. 233). Въ лицѣ Каратаева Пьеръ видѣлъ то, какъ русскій народъ мыслить и чувствуетъ при самыхъ крайнихъ бѣдствіяхъ, какая великая вѣра живетъ въ его простыхъ сердцахъ. Душевная красота Каратаева поразительна, выше всякой похвалы. Вспомнимъ, какъ долго наша литература занималась простымъ народомъ, сколько попытокъ было сдѣлано, чтобы уловить его духъ и силу, сколько подобныхъ попытокъ есть у самого гр. Л. Н. Толстаго. Вся эта литература, всѣ эти попытки превзойдены и навсегда заслонены несравненною фигуροю Каратаева, показывающею, какъ глубоко овладѣлъ художникъ труднѣйшими задачами, волновавшими цѣлый литературный періодъ, и его самого вмѣстѣ съ другими.

Итакъ, внутренній смыслъ пятаго тома сосредоточенъ на Пьерѣ и Каратаевѣ, какъ на лицахъ, которыя, страдая вмѣстѣ со всѣми, но оставаясь безъ дѣйствія, имѣли возможность продумать и выносить въ душѣ впечатлѣніе великаго общаго бѣдствія. Для Пьера глубокій душевный процессъ окончился нравственнымъ обновленіемъ; Наташа говоритъ, что Пьеръ морально очистился, что плѣнъ былъ для него нравственною банею (т. VI,

стр. 136). Каратаеву нечему было учиться; онъ словомъ и дѣломъ училъ другихъ, и умеръ, завѣщавъ свой духъ Пьеру.

Рядомъ съ этими событіями внутренней духовной жизни стоятъ въ пятомъ томѣ всякаго рода внѣшнія событія. Отъѣздъ Ростовыхъ, хлопоты и порыванія Рас-топчина, убійство Верещагина, капитанъ Рамбаль со своими разсказами, Мишо, доносящій Царю о взятіи Москвы, разстрѣливаніе русскихъ поджигателей, и т. д. Всѣ эти сцены съ изумительной живостію рисуютъ намъ ходъ всего дѣла въ эту тяжелую эпоху, тогдашнюю жизнь Москвы, Россіи, отъ Царя до послѣдняго солдата.

Но творчество нашего художника достигаетъ своей высшей силы тамъ, гдѣ оно касается вѣчныхъ, непреходящихъ интересовъ души человѣческой. Участіе князя Андрея въ общихъ дѣлахъ кончилось на Бородинскомъ полѣ, гдѣ онъ былъ смертельно раненъ. Ему предстояли теперь уже однѣ частныя его дѣла—свиданіе съ Наташею и смерть. Изображеніе этого свиданія и внутренняго просвѣтлѣнія, испытаннаго княземъ Андреемъ передъ смертію, есть верхъ художественнаго совершенства, дѣйствительное откровеніе тайнъ человѣческаго сердца, потрясающее насъ своею неизмѣримою глубиною. Другой разсказъ не менѣе поразителенъ. Въ пятомъ же томѣ разсказывается, какъ среди всеобщихъ бѣдствій, завязалась любовь между княжною Марьею и Николаемъ Ростовымъ. Чистота и нѣжность этихъ отношеній невыразимы, безконечны. Невольно изумляешься тому, какъ просты и, вмѣстѣ, какъ чисты оба эти существа, какой ясный свѣтъ можетъ горѣть въ самыхъ обыкновенныхъ людяхъ. Итакъ, князь Андрей—умираетъ, Николай Ро-

стовъ влюбляется въ свою будущую жену, Пьеръ страдаетъ—вся гамма человѣческой жизни еще разъ взята художникомъ въ пятомъ томѣ.

Шестой томъ—развязка,—конецъ страшныхъ событий и начало новой жизни. Характеръ отступленія французской арміи и образъ дѣйствій нашихъ войскъ показанъ съ такою же ясностію и вѣрностію, какъ и смыслъ Бородинской битвы и значеніе гибели Москвы для насъ и для французовъ. Событія идутъ быстро, но не опущено ничего требуемаго полнотою картины. Обрисована партизанская война, положеніе бѣгущихъ французовъ, жестокость однихъ русскихъ, благодушіе другихъ, „чувство величественнаго торжества въ соединеніи съ жалостію къ врагамъ и сознаніемъ своей правоты“, какъ говоритъ авторъ (т. VI, стр. 91). Наконецъ, Кутузовъ, подобно тому, какъ въ пятомъ томѣ, является въ началѣ, „когда уже стало ясно, что непріятель вездѣ бѣжитъ“ (стр. 88), и въ концѣ, когда онъ въ Вильнѣ выслушиваетъ выговоръ Государя (стр. 107).

Мы видимъ при этомъ, какъ погибали юноши (смерть Пети Ростова), какъ невѣсты горевали объ женихахъ и сестры о братьяхъ (Наташа и княжна Марья о князѣ Андрѣ), какъ матери убивались объ дѣтяхъ (графиня Ростова объ Петѣ). Когда же кончилась война, наступаютъ свиданія въ Москвѣ тѣхъ лицъ, которыя были разлучены войною, начинаются рассказы и разспросы, завязываются новыя отношенія и начинается новая жизнь.

Внутренній смыслъ хроники заканчивается послѣдними поученіями, преподаваемыми Пьеру его собственными страданіями и предсмертными рѣчами и смертью Каратаева. Живо и глубоко изображаетъ художникъ

обновленіе Пьера. Въ этомъ обновленіи олицетворено обновленіе всей Россіи, то раскрытіе духовныхъ силъ, которое должно было послѣдовать за испытаніями и борьбою. Для Пьера, какъ и для Россіи, начался новый, лучшій періодъ. Очистившійся, укрѣпленный и просвѣтленный страданіемъ, Пьеръ заслуживаетъ любовь Наташи и испытываетъ все счастье, къ какому только способенъ.

Тутъ опять художникъ вступаетъ въ область неизмѣнныхъ, непреходящихъ интересовъ человѣческой жизни, и опять поднимается до высоты удивительной и несравненной. Онъ рисуетъ намъ двѣ семьи, двѣ новыя семьи, сложившіяся подъ вліяніемъ всѣхъ рассказанныхъ имъ событий и составляющія какъ бы вѣнецъ дѣла, какъ бы плодъ на одной изъ безчисленныхъ вѣтокъ дерева, выдержавшаго благотворную бурю,—Россіи. Никогда еще не было на свѣтѣ подобнаго описанія супружеской жизни, потому что не было описанія русской семьи, т. е. самой лучшей изъ всѣхъ семей на свѣтѣ. Любовь между мужемъ и женою въ полномъ разцвѣтѣ ихъ силъ, чистая, нѣжная, твердая, неизбежно глубокая,—въ первый разъ изображена намъ во всей ея высокой силѣ и безъ единой прикрасы.

Картина двухъ новыхъ семействъ удивительно гармонически заканчиваетъ всю хронику. Когда начинался рассказъ, передъ нами открывались два семейства, уже давно сложившіяся,—семейство Болконскихъ, въ которомъ были взрослые сынъ и дочь, и семейство Ростовыхъ, въ которомъ Николай былъ еще только студентомъ, а Наташѣ было двѣнадцать лѣтъ. Черезъ пятнадцать лѣтъ (таковъ періодъ, обнимаемый хроникою), передъ нами являются двѣ молодыя семьи съ маленькими дѣтьми. Съ гениальнымъ тактомъ художникъ началъ свою

семейную хронику съ людей настолько взрослыхъ, что мы можемъ ими заинтересоваться, и кончилъ картинами, въ которыхъ даже грудныя дѣти намъ безконечно милы, такъ какъ принадлежатъ къ семействамъ, съ которыми мы сжились и сроднились во время разсказа.

Полная картина человѣческой жизни.

Полная картина тогдашней Россіи.

Полная картина того, чтѣ называется исторіею и борьбою народовъ.

Полная картина всего, въ чемъ люди полагаютъ свое счастье и величіе, свое горе и униженіе.

Вотъ чтѣ такое „Война и Миръ“.

II.

Но какой же смыслъ великаго произведенія? Нельзя ли въ короткихъ словахъ изобразить существенную мысль, разлитую въ этой огромной эпопее, указать на ту душу, для которой всѣ подробности разсказа составляютъ только воплощеніе, а не сущность?

Дѣло трудное. Скажемъ здѣсь нѣсколько словъ по этому поводу, для разъясненія кое-какихъ недоразумѣній.

„Война и Миръ“ испытываетъ на себѣ судьбу всего истинно-великаго. Истинно-великое часто вовсе не признается людьми; иногда оно увлекаетъ ихъ, покоряетъ ихъ своей силѣ; но *не понимается* оно почти всегда, почти безъ всякаго исключенія. Обыкновеннѣйшій ходъ дѣла таковъ, что люди *чувствуютъ* величіе, но его *не понимаютъ*. Такъ это было съ Пушкинымъ въ послѣднюю эпоху его дѣятельности; такъ это продолжается съ Пушкинымъ до сихъ поръ, несмотря на удивительнѣйшій прогрессъ, который мы у себя сочинили; такъ это

случилось, и необходимо должно было случиться, и съ „Войною и Миромъ“. Неотразимая прелесть художественнаго разсказа всѣхъ поразила, всѣхъ покорила; но въ то же время обнаружилось повальное недоумѣніе, совершенная неспособность понять самый смыслъ произведенія. Читатели, подобно *черни* въ стихотвореніи Пушкина, никакъ не могли рѣшить вопросъ:

Зачѣмъ такъ звучно онъ поетъ?
Напрасно ухо поражая,
Къ какой онъ цѣли насъ ведетъ?
О чемъ бренчитъ? Чему насъ учитъ?
Зачѣмъ сердца волнуетъ, мучитъ
Какъ своенравный чародѣй?

Можно сказать, что „Война и Миръ“ есть самое непонятное изъ всѣхъ произведеній русской литературы, столь же непонятное, какъ самъ Пушкинъ.

Но чтѣ же тутъ мудренаго, и какъ же иначе могло быть? Чѣмъ выше явленіе само по себѣ, тѣмъ оно труднѣе для пониманія. Въ отношеніи къ „Войнѣ и Миру“ нельзя даже сваливать всю вину на дурное состояніе нашей литературы и вообще нашихъ читателей; главная вина непониманія и недоумѣнія заключается въ той страшной высотѣ, на которую поднялся гр. Л. Н. Толстой и которая недоступна для большинства.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь „Война и Миръ“ подымается до высочайшихъ вершинъ человѣческихъ мыслей и чувствъ, до вершинъ, обыкновенно недоступныхъ людямъ. Вѣдь гр. Л. Н. Толстой есть поэтъ въ старинномъ и наилучшемъ смыслѣ этого слова; онъ носитъ въ себѣ глубочайшіе вопросы, къ какимъ только способенъ человѣкъ; онъ прозрѣваетъ и открываетъ намъ сокровеннѣйшія

тайны жизни и смерти. Какъ же вы хотите, чтобы его поняли люди, для которыхъ подобныхъ вопросовъ вовсе не существуетъ, и которые такъ тупы, или, если хотите, такъ умны, что никакихъ тайнъ ни въ себѣ, ни вокругъ себя не находятъ? Смыслъ исторіи, сила народовъ, таинство смерти, сущность любви, семейной жизни и т. п. — вотъ вѣдь предметы гр. Л. Н. Толстаго. Что же? Развѣ всѣ эти и подобные предметы — такія легкія вещи, что ихъ можетъ понимать первый попавшійся человѣкъ? Развѣ есть что-нибудь мудреное въ томъ, что для пониманія ихъ у многихъ и многихъ не хватаетъ ни ширины ума, ни жизненнаго опыта?

Если мы только сообразимъ обыкновенное умственное состояніе не столько простыхъ читателей, сколько главнымъ образомъ „цѣнителей и судей“, то мы перестанемъ удивляться кривымъ и пустымъ толкамъ, которыми было встрѣчено произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, и которые будутъ, конечно, раздаваться около него еще нескончаемые годы. Есть вѣдь множество людей, которые никогда не мыслили и не чувствовали, а только всю жизнь прикидываются мыслящими и чувствующими. Всю жизнь они, собственно говоря, мошенничаютъ, то есть постоянно обманываютъ другихъ, надѣвая на себя маску мыслей и чувствъ, которыхъ вовсе не имѣютъ. Многіе изъ нихъ даже вовсе не вѣрятъ, что на свѣтѣ существуетъ мысль и чувство, и простодушно считаютъ людей мыслящихъ и чувствующихъ за такихъ же обманщиковъ, какъ они сами. Они судятъ какъ Пандалевскій (благодаримъ васъ, г. Тургеневъ), который, послушавъ Рудина, призналъ его въ глубинѣ души только „очень ловкимъ человѣкомъ“, т. е. гораздо ловчѣ себя. (Соч. Тург. т. III, стр. 274).

И такіе люди судили, судятъ и будутъ судить о „Войнѣ и Мирѣ“.

Есть другой, болѣе современный типъ „судей“, также очень распространенный и игравшій даже важнѣйшія роли въ нашемъ прогрессѣ. Это люди — чрезвычайно тупые и въ то же время чрезвычайно самоувѣренные. Не имѣя ни ума ни сердца, они однакоже воображаютъ себя все понимающими, способными сочувствовать всему хорошему. Самолюбіе ихъ такъ велико и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ слѣпо и простодушно, что имъ кажется смѣшнымъ и обиднымъ, когда что-нибудь или кто-нибудь ставится выше ихъ. Они питаютъ самую дѣтскую, самую заразительную увѣренность, что для ихъ образованія и ихъ ума все доступно, все понятно. Первое слѣдствіе отсюда то, что они съ полной важностію, съ неописаннымъ увлеченіемъ и жаромъ проповѣдываютъ величайшія пошлости, сообразныя мелкости ихъ ума и сердца. Второе слѣдствіе — что все, чего они не понимаютъ, они признаютъ за совершенную глупость.

И такіе люди судили, судятъ и будутъ судить о „Войнѣ и Мирѣ“.

Говорить ли о множествѣ другихъ? Большею частью, поэзія, наука, всѣ области мысли и творчества являются людямъ какимъ-то дремучимъ и безпредѣльнымъ лѣсомъ, въ которомъ они, боясь заблудиться, ходятъ только по тропинкамъ, уже протоптаннымъ другими, а чаще всего держатся большой, давно извѣзженной дороги. Большею частью, люди, для собственнаго удобства и собственной безопасности, смотрятъ въ землю, а не на небо, замѣчаютъ только то, что приходится по ихъ росту, успѣваютъ разглядѣть на своемъ жизненномъ пути только подножія великихъ явленій нравственнаго

міра и никогда не становятся на точку зрѣнія, съ которой бы ясно открывались истинные размѣры этихъ явленій. А если люди и попадаютъ случайно на такую точку, то они слишкомъ близоруки, чтобы видѣть то, что открывается предъ ними.

Какъ бы то ни было, безмѣрная высота „Войны и Мира“ необходимо должна была повести къ непониманію. Въ нашей молодой и слишкомъ быстро движущейся литературѣ еще мало распространено понятіе о тѣхъ опасностяхъ, которыя предстоятъ людямъ, публично объявляющимъ свои мысли. „Война и Миръ“ естественно должна была стать камнемъ преткновенія для тѣхъ, кто брался судить объ этомъ произведеніи. Многимъ суждено было по этому случаю собственными руками наложить на свой лобъ клеймо тупости и непонятливости, соединенной съ самодовольствомъ и дерзостію. Постараемся же избѣжать подобнаго позора и быть почтительными и понятливыми, сколько можемъ.

III.

Итакъ, какой же смыслъ „Войны и Мира“?

Всего яснѣе, намъ кажется, этотъ смыслъ выражается въ тѣхъ словахъ автора, которыя мы поставили эпиграфомъ: „Нѣтъ величія“, говоритъ онъ, „тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды“.

Задача художника состояла въ томъ, чтобы изобразить истинное величіе, какъ онъ его понимаетъ, и противопоставить его ложному величію, которое онъ отвергаетъ. Эта задача выразилась не только въ противопоставленіи Кутузова и Наполеона, но и во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ борьбы, вынесенной цѣлою Рос-

сією, въ образѣ чувствъ и мыслей каждаго солдата, во всемъ нравственномъ мірѣ русскихъ людей, во всемъ ихъ бытѣ, во всѣхъ явленіяхъ ихъ жизни, въ ихъ манерѣ любить, страдать, умирать. Художникъ изобразилъ со всею ясностію, въ чемъ русскіе люди полагаютъ человѣческое достоинство, въ чемъ тотъ идеалъ величія, который присутствуетъ даже въ слабыхъ душахъ и не оставляетъ сильныхъ даже въ минуты ихъ заблужденій и всякихъ нравственныхъ паденій. Идеалъ этотъ состоитъ, по формулѣ данной самимъ авторомъ, въ простотѣ, добрѣ и правдѣ. Простота, добро и правда побѣдили въ 1812 году силу, не соблюдавшую простоты, исполненную зла и фальши. Вотъ смыслъ „Войны и Мира“.

Другими словами—художникъ далъ намъ новую, русскую формулу *героической жизни*, ту формулу, подъ которую подходитъ Кутузовъ и подъ которую никакъ не можетъ подойти Наполеонъ. О Кутузовѣ авторъ прямо говоритъ: „*Простая, скромная, и потому истинно величественная* фигура эта не могла утѣться въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія“ (т. VI, стр. 88). Но тоже самое слѣдуетъ разумѣть обо всѣхъ русскихъ людяхъ, обо всѣхъ фигурахъ, выведенныхъ въ „Войнѣ и Мирѣ“. Ихъ чувства, мысли и желанія, насколько въ нихъ есть героическаго, насколько въ нихъ проявляется стремленіе къ героическому и пониманіе героическаго, не укладываются въ тѣ чужія и лживыя формы, которыя созданы Европою. Весь русскій душевный строй *проще, скромнѣе*, представляетъ ту гармонію, то равновѣсіе силъ, которыя одни согласны съ истиннымъ величіемъ и нарушеніе которыхъ мы ясно чув-

ствуемъ въ величіи другихъ народовъ. Обыкновенно насъ плѣняютъ и долго еще будутъ плѣнять блескъ и мощь тѣхъ формъ жизни, которыя создаются силами, не соблюдающими гармоніи, вышедшими изъ взаимнаго равновѣсія. Этихъ яркихъ формъ всякаго рода страстей, всякаго рода душевныхъ напряженій, разрастающихся до ослѣпляющаго величія, — много создала Европа, много создалъ древній міръ. Мы, младшій изъ великихъ народовъ, невольно увлекаемся этими формами чуждой жизни; но въ глубинѣ души у насъ хранится другой, своеобразный идеалъ, въ сравненіи съ которымъ часто меркнутъ и являются безобразіемъ — воплощенія въ дѣйствительности и искусствѣ идеаловъ, несогласныхъ съ нашимъ душевнымъ строемъ.

Чисто-русскій героизмъ, чисто-русское героическое во всевозможныхъ сферахъ жизни, — вотъ что далъ намъ гр. Л. Н. Толстой, вотъ главный предметъ „Войны и Мира“. Если мы оглянемся на нашу прошлую литературу, то намъ будетъ яснѣе, какую огромную заслугу оказалъ намъ художникъ, и въ чемъ состоитъ эта заслуга. Основатель нашей самобытной литературы, Пушкинъ, одинъ только въ своей великой душѣ носилъ сочувствіе всѣмъ родамъ и видамъ величія, всѣмъ формамъ героизма, почему и могъ онъ постигнуть и русскій идеалъ, почему и могъ стать основателемъ русской литературы. Но въ его дивной поэзіи этотъ идеалъ проступалъ только чертами, только указаніями, безошибочными и ясными, но неполными и неразвитыми.

Явился Гоголь и не совладалъ съ безмѣрною задачей. Раздался плачъ по идеалѣ, полились „сквозь видимый міру смѣхъ незримыя слезы“, свидѣтельствовавшія, что художникъ не хочетъ отказаться отъ идеала

но и не можетъ достигнуть его воплощенія. Гоголь сталъ отрицать эту жизнь, которая такъ упорно не выдавала ему своихъ положительныхъ сторонъ. „Нѣтъ у насъ героическаго въ жизни; мы всѣ или Хлестаковы, или Попричины“ — вотъ заключеніе, къ которому пришелъ несчастный идеалистъ.

Задача всей литературы послѣ Гоголя состояла только въ томъ, чтобы отыскать русскій героизмъ, сгладить то отрицательное отношеніе, въ которое сталъ къ жизни Гоголь, уразумѣть русскую дѣйствительность болѣе правильнымъ, болѣе широкимъ образомъ, чтобы не могъ отъ насъ укрыться тотъ идеалъ, безъ котораго народъ такъ же не могъ бы существовать, какъ тѣло безъ души. Для этого требовалась тяжкая и долгая работа, и ее-то сознательно и бессознательно несли и совершали всѣ наши художники.

Но первый разрѣшилъ задачу гр. Л. Н. Толстой. Онъ первый одолѣлъ всѣ трудности, выносилъ и побѣдилъ въ своей душѣ процессъ отрицанія, и освободившись отъ него, сталъ творить образы, воплощающіе въ себѣ положительныя стороны русской жизни. Онъ первый показалъ намъ въ неслыханной красотѣ то, что ясно видѣла и понимала только безупречно-гармоническая, всему великому доступная душа Пушкина. Въ „Войнѣ и Мирѣ“ мы опять нашли свое героическое, и теперь его уже никто отъ насъ не отниметъ.

Попробуемъ частіе и опредѣленнѣе указать, что сдѣлано гр. Л. Н. Толстымъ. Не вся задача рѣшена, не вся широкая область русской души исчерпана гр. Л. Н. Толстымъ, но та половина задачи, которая въ настоящую минуту была всего настоятельнѣе и важнѣе, получила въ „Войнѣ и Мирѣ“ рѣшеніе, по своей силѣ

и ясности не уступающее никакому другому созданію поэзіи, принадлежащее къ высшимъ ея проявленіямъ, какія только существуютъ и будутъ существовать.

Не весь русскій идеалъ воплотился у гр. Л. Н. Толстаго, но съ неотразимою силою и прелестію у него раздался „голосъ за простое и доброе, поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго“. Этотъ голосъ въ первый разъ послышался у Пушкина, а смыслъ его въ первый разъ понять и засвидѣтельствованъ Ап. Григорьевымъ, употребившимъ и приведенное нами въ кавычкахъ выраженіе. (Соч. Ап. Григорьева, I, стр. 326, 333 и др.). Замѣчательно то буквальное сходство, которое оказывается въ формулѣ Григорьева и въ опредѣленіи гр. Л. Н. Толстымъ истиннаго величія. Это величіе должно совмѣщать *простоту, добро* и правду, т. е. быть чуждо всего *ложнаго*.

Голосъ за простое и доброе противъ ложнаго и хищнаго—вотъ существенный, главнѣйшій смыслъ „Войны и Мира“. Это тотъ прекрасный и своеобразный элементъ нашей литературы, который былъ открытъ въ ней и прослѣженъ съ великою чуткостію Ап. Григорьевымъ. Но критикъ, столь вѣрно понимавшій глубочайшія струны нашей поэзіи, едва ли предвидѣлъ и ожидалъ, что этотъ голосъ послѣ его смерти раздастся несравненно сильнѣе, чѣмъ онъ когда-либо его слышалъ, что могучій звукъ этого прекраснаго голоса нѣкогда покроетъ весь гамъ нашей литературы и примкнетъ по своей несравненной чистотѣ и силѣ, къ дивнымъ звукамъ Пушкинской поэзіи.

Особенный смыслъ этого голоса—вотъ что намъ слѣдуетъ опредѣлить. Если мы для 'этого прослѣдимъ всѣ лица и событія „Войны и Мира“, то мы ясно увидимъ, что симпатіи автора имѣютъ нѣкоторую односторонность,

выкупаемую тѣмъ большею проникательностію и глубиною относительно той стороны, въ которую обращены эти симпатіи. Существуетъ на свѣтѣ какъ будто два рода героизма: одинъ — дѣятельный, тревожный, порывающійся, другой—страдательный, спокойный, терпѣливый. Ап. Григорьевъ замѣтилъ въ нашей литературѣ появленіе лицъ, представляющихъ въ своей натурѣ это различіе, и называлъ ихъ двумя различными типами, *хищнымъ* и *смирнымъ*. Гр. Л. Н. Толстой, очевидно, съ величайшимъ сочувствіемъ относится къ страдательному или смирному героизму, и — очевидно же — мало питаетъ сочувствія къ героизму дѣятельному и хищному. Въ пятomъ и шестomъ томѣ эта разница въ симпатіи выступила еще рѣзче, чѣмъ въ первыхъ томахъ. Къ категоріи дѣятельнаго героизма относятся не только французы вообще и Наполеонъ въ особенности, но и множество русскихъ лицъ, напр. Растопчинъ, Ермоловъ, Милорадовичъ, Долоховъ и пр. Къ категоріи смирнаго героизма принадлежитъ прежде всего — самъ Кутузовъ, величайшій образецъ этого типа, потомъ Тупинъ, Тимохинъ, Дохтуровъ, Коновницынъ и пр., вообще — вся масса нашихъ военныхъ и вся масса русскаго народа. Весь рассказъ „Войны и Мира“ какъ будто имѣетъ цѣлью доказать превосходство смирнаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ, который повсюду оказывается не только побѣжденнымъ, но и смѣшнымъ, не только безсильнымъ, но и вреднымъ. Самая ясная и живая фигура, въ которой гр. Л. Н. Толстой съ удивительною силою очертилъ типъ людей, думающихъ быть дѣятельными героями, есть Растопчинъ. Мы слышали, что это лицо угадано авторомъ совершенно вѣрно, что самыя подробныя и многолѣтнія историческія изысканія только под-

тверждают поэтическую проницательность гр. Л. Н. Толстого *). Передъ величіемъ совершающихся событій, люди, подобные Растопчину, являются ничтожными и жалкими, не потому, чтобы это были личности очень слабыя сами по себѣ, а потому, что они порываются вмѣшаться въ ходъ событій, неизмѣримо превышающихъ собою размѣры ихъ силъ. Въ этомъ преувеличеніи своего значенія, въ этомъ нелѣпомъ и дерзкомъ самообольщеніи, у автора оказываются виновными не только отдѣльные лица, но цѣлые народы, на примѣръ, французы, приведшіе на насъ Европу, и цѣлыя сферы въ самой Россіи, на примѣръ, придворная сфера, сфера военныхъ штабовъ и т. д. Авторъ показываетъ, какъ повсюду — увѣренность въ своей силѣ, признаніе за своею личностію способности измѣнять и направлять событія ведетъ только къ ошибкамъ и неизбѣжно соединяется съ игрою самыхъ дурныхъ страстей, самолюбія, тщеславія, зависти, ненависти и пр.

Такимъ образомъ, по смыслу всего разсказа, у хищнаго типа отнято всякое поприще дѣйствія. Между тѣмъ, вообще говоря, невозможно отрицать, чтобы люди рѣшительные, смѣлые — не имѣли никакой важности въ ходѣ дѣла, чтобы русскій народъ не порождалъ людей, дающихъ просторъ своимъ личнымъ взглядамъ и силамъ. Совершенно справедливо, что при такомъ развитіи личности она большею частью отличается весьма непривлекательными чертами; но несомнѣнно также, что въ этихъ людяхъ проявляются и прекрасныя свойства русской душевной силы.

Итакъ, есть сторона русскаго характера, которая

*) Такъ отзывался покойный Александръ Николаевичъ Поповъ.

не вполне схвачена и изображена авторомъ. Нужно ждать еще художника, который бы сумѣлъ такъ отнестись къ этой сторонѣ, какъ, на примѣръ Пушкинъ, относился къ Петру I:

Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
Какая дума на челѣ,
Какая сила въ немъ сокрыта!
А въ семъ конѣ какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И гдѣ опустишь ты копыта?
О, могучий властелинъ судьбы!
Не такъ-ли ты надъ самой бездной,
На высотѣ, уздой желѣзной
Россію вздернулъ на дыбы?

(Мѣдный Всадникъ).

Но пока нѣтъ у насъ чистыхъ и ясныхъ образовъ дѣятельнаго героизма, пока этотъ героизмъ не нашелъ себѣ своего поэта-выразителя, мы должны смиренно поклониться передъ поэтомъ, прославившимъ и воплотившимъ передъ нами героизмъ смиренія. Мы только можемъ гадать и смутно прозрѣвать черты инаго величія, также свойственнаго русской натурѣ, а то величіе, которое изображено гр. Л. Н. Толстымъ, мы уже видимъ воочию, въ ясномъ воплощеніи.

И въ существенномъ пунктѣ мы не можемъ не согласиться съ поэтомъ, то есть, мы вполне признаемъ превосходство смирнаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ. Гр. Л. Н. Толстой изобразилъ намъ если не самыя сильныя, то, во всякомъ случаѣ, самыя лучшія стороны русскаго характера, тѣ его стороны, которымъ принадлежитъ и должно принадлежать верховное значеніе. Какъ нельзя отрицать, что Россія побѣдила Наполеона не дѣятельнымъ, а смиреннымъ героизмомъ, такъ

Прежде всего, сознаемся со всею откровенностію, что одно дѣло вредить другому. Философскія разсужденія гр. Л. Н. Толстаго сами по себѣ чрезвычайно хороши; если бы онъ выступилъ съ нимъ въ отдѣльной книгѣ, то его нельзя было бы не признать отличнымъ мыслителемъ, и книга его была бы одною изъ тѣхъ немногихъ книгъ, которыя вполнѣ заслуживаютъ названіе философскихъ. Но въ сосѣдствѣ съ хроникою „Войны и Мира“, на ряду съ ея животрепещущими картинами, эти разсужденія кажутся слабыми, мало занимательными, мало соотвѣтствующими величію и глубинѣ предмета. Въ этомъ отношеніи гр. Л. Н. Толстой сдѣлалъ большую ошибку противъ художественнаго такта: его хроника очевидно, подавляетъ собою его философію, и его философія мѣшаетъ его хроникѣ. Многіе „цѣнители и судьи“, изъ тѣхъ, которые

Имѣютъ даръ одно худое видѣть,

обрадовались этой ошибкѣ и тотчасъ напали на „Войну и Миръ“ со слабаго мѣста, со стороны разсужденій объ исторіи, очевидно, воображая, что тутъ-то они побѣдятъ навѣрное. Эти господа, намъ кажется, очень ошиблись; мы не помнимъ ни единого дѣльнаго замѣчанія со стороны тѣхъ, кто весьма презрительно отзывался объ философскихъ взглядахъ гр. Л. Н. Толстаго, и полагаемъ вообще, что авторы этихъ отзывовъ еще далеко не доросли до своего подсудимаго.

Вся бѣда, впрочемъ, заключается только въ первомъ впечатлѣніи; пройдетъ немного времени, и наши глаза привыкнутъ ясно раздѣлять два предмета, которые смѣшиваются только на первый взглядъ: хронику „Войны и Мира“ и ея философію. Хроника сама по себѣ со-

ставляетъ такое стройное, ясное, законченное цѣлое, что для всякаго, сколько-нибудь способнаго понимать художественныя произведенія, никакія приставки и вводныя мысли не могутъ ослабить неотразимаго впечатлѣнія, не затемнять въ ней ни одной черты, такъ какъ всѣ ея черты чисты, просты и вполнѣ отчетливы. Что же касается до философіи гр. Л. Н. Толстаго, то, когда мы привыкнемъ разсматривать ее отдѣльно отъ хроники, — и она обнаружитъ тѣ неотъемлемыя достоинства, которыя теперь теряются въ слишкомъ блестящемъ сосѣдствѣ хроники.

Философскіе взгляды гр. Л. Н. Толстаго тѣсно связаны съ содержаніемъ его хроники, они содержатъ въ себѣ замѣчательно точную и глубокую формулировку нѣкоторыхъ вопросовъ, касающихся исторіи вообще, но они не захватываютъ, не исчерпываютъ въ отвлеченной формѣ всего содержанія, которое „Война и Миръ“ представляетъ въ формѣ художественной. Вотъ наше сужденіе, которое мы постараемся подкрѣпить кое-какими замѣчаніями и ссылками.

Мысль о томъ, что исторія совершается помимо людскаго произвола, что въ ней, неожиданно для разума и усилій людей, обнаруживается дѣйствіе другихъ, болѣе могучихъ и глубокихъ силъ, — вотъ главная мысль и философіи и хроники гр. Л. Н. Толстаго. Что движетъ народами? Отчего зависятъ ихъ страшныя столкновенія, ихъ побѣды и пораженія? Вотъ вопросы, на которые отвѣчаетъ гр. Л. Н. Толстой своими разсужденіями, и на эти же вопросы еще яснѣе, еще вразумительнѣе отвѣчаетъ вся хроника „Войны и Мира“, излагающая въ лицахъ и картинахъ, какъ Наполеонъ оказался „ничтожнѣйшимъ орудіемъ исторіи“ (Т. VI, стр. 84),

какъ онъ ничего не могъ сдѣлать противъ той силы, которою дѣйствительно управляются событія. Высокоумные господа, считающіе возможнымъ восхищаться поэзіею гр. Л. Н. Толстаго и глумиться надъ его философіею, очевидно, не замѣчаютъ этой связи между тою и другою, то есть не замѣчаютъ, какъ говорится, слона, чѣмъ ясно показываютъ, что и ихъ глумленіе и ихъ восхищеніе одинаково безмысленны. Нельзя восхищаться безукоризненно-правдивымъ художественнымъ разсказомъ гр. Л. Н. Толстаго и не видѣть, что этимъ разсказомъ вполне подтверждаются его мысли о великихъ людяхъ, о власти, о значеніи каждаго отдѣльнаго чело-вѣка въ общемъ ходѣ событій, о томъ, что недоста-точны и лживы объясненія историковъ, и т. д. Это цѣ-лый рядъ прекрасныхъ истинъ, тѣсно связанныхъ между собою и лишь иногда выраженныхъ преувеличенно, что очень легко исправить, держась несомнѣннаго руковод-ства, даннаго намъ самимъ гр. Л. Н. Толстымъ, т. е. его хроники.

Пусть, напримѣръ, кто-нибудь попытается отрицать то положеніе, которое мы только-что привели, именно, что Наполеонъ былъ *ничтожнѣйшимъ орудіемъ исторіи*. По смыслу хроники это вѣдь не значитъ, что Напо-леонъ былъ чело-вѣкъ тупой умомъ и слабый волею; напротивъ, все дѣло въ томъ, что онъ былъ необычайно проницателенъ и энергиченъ, и однакоже, *не могъ ни-чего уразумѣть и ничего сдѣлать*, когда на сцену вы-ступили дѣйствительныя силы исторіи; въ самой ссылкѣ, на островъ св. Елены, какъ доказываетъ гр. Л. Н. Тол-стой, онъ не понималъ того, что съ нимъ случилось въ Россіи, и слѣдовательно, онъ былъ вполне слѣпымъ орудіемъ высшихъ судебъ, обнаружилъ самымъ разни-

тельнымъ образомъ свое ничтожество, такъ какъ стол-кнулся съ силою безмѣрно превышавшею его волю и его разумъ.

Изъ „Войны и Мира“ ясно, что каждый солдатъ, повиновавшійся силѣ исторіи и потому содѣйствовавшій событію, которое она совершала, былъ въ этомъ отно-шеніи выше Наполеона, который ничего не сдѣлалъ и не могъ сдѣлать ни въ пользу событія, ни противъ него. Дѣятельность солдата была направлена на возможное, которое и совершалось; дѣятельность Наполеона была направлена на невозможное—и слѣдовательно была со-вершенно бесплодна. Вотъ смыслъ, въ которомъ Напо-леонъ оказался *ничтожнѣйшимъ* орудіемъ исторіи.

Люди сами не знаютъ, чему они служатъ орудіемъ; наибольшее посрамленіе выпадаетъ на долю тѣхъ, ко-торые имѣютъ притязаніе на наибольшее величіе. Вотъ простыя истины, къ которымъ сводятся многія разсуж-денія гр. Л. Н. Толстаго. Въ этихъ разсужденіяхъ такъ много вѣрнаго и яснаго, что они въ большей своей части не составляютъ новыхъ открытій, а представляютъ только оригинальное развитіе мыслей, давно уже высказанныхъ, хотя далеко не общераспространенныхъ.

Фатализмъ—вотъ какъ называли философскій взглядъ гр. Л. Н. Толстаго на исторію, не догадываясь, что это названіе само по себѣ ничего еще не выражаетъ. Фата-лизмъ, точно такъ же, какъ *пантеизмъ*, *идеализмъ*—суть общіе термины, подъ которые подходитъ всякая фило-софія, что не мало удивляетъ тѣхъ, которые съ первый разъ знакомятся съ философскими системами. Вы хотите объяснить, какъ міръ произошелъ отъ божества, дер-жится имъ и зависитъ отъ него,—это будетъ *пантеизмъ*. Вы хотите объяснить сущность явленій, смыслъ, для

котораго вселенная составляет оболочку,—это будетъ *идеализмъ*. Вы, наконецъ, хотите понять причины, по которымъ исторія *необходимо* должна была совершаться такъ, а не иначе,—это будетъ *фатализмъ*.

Итакъ, мы не находимъ чего-либо совершенно новаго, или чего-либо рѣзко уклоняющагося отъ истины въ основныхъ взглядахъ гр. Л. Н. Толстаго; но всякій безпристрастный читатель долженъ, по нашему мнѣнію, признать, что эти взгляды развиты съ необыкновенной оригинальностію, съ настоящимъ философскимъ талантомъ, и изложены мастерскимъ языкомъ, соединяющимъ чрезвычайную простоту и ясность съ силою и выразительностію.

Послѣдняя половина эпилога вся посвящена гр. Л. Н. Толстымъ изложенію его философіи исторіи. Тутъ въ порядкѣ и связи изложены его мнѣнія; и мы были удивлены многими превосходными, чисто-классическими страницами этихъ разсужденій. Вопросъ *о свободѣ воли* тутъ поставленъ съ замѣчательною глубиною, которой мы не найдемъ и малой доли у Бокля, или Милля, или другихъ, нынѣ у насъ любимыхъ, философовъ.

Приведемъ нѣкоторыя, наиболѣе выдающіяся мѣста.

«Если бы сознаніе свободы», говоритъ гр. Л. Н. Толстой, «не было *отдѣльнымъ и независимымъ отъ разума источникомъ самопознанія*, оно бы подчинялось разсужденію и опыту; но въ дѣйствительности такое подчиненіе никогда не бываетъ и *немыслимо*».

«Рядъ опытовъ и разсужденій показываетъ человѣку, что онъ, *какъ предметъ наблюденія*, подлежитъ извѣстнымъ законамъ, а человѣкъ подчиняется имъ и никогда не борется съ разъ узнаннымъ имъ закономъ тяготѣнія или непроницаемости. Но тотъ же рядъ опытовъ и разсужденій показываетъ ему, что полная свобода, которую онъ сознаетъ въ себѣ, не-

возможна, что всякое дѣйствіе его зависитъ отъ организаціи, отъ его характера и дѣйствующихъ на него мотивовъ; но человѣкъ никогда не подчиняется выводамъ этихъ опытовъ и разсужденій».

«Сколько бы разъ опытъ и разсужденіе ни показывали человѣку, что въ тѣхъ же условіяхъ, съ тѣмъ же характеромъ онъ сдѣлаетъ то же самое, что и прежде, онъ, въ тысячный разъ приступая въ тѣхъ же условіяхъ, съ тѣмъ же характеромъ къ дѣйствію, всегда кончающемуся одинаково, несомнѣнно чувствуетъ себя столь же увѣреннымъ въ томъ, что онъ можетъ поступать, какъ онъ захочетъ, какъ и до опыта. Всякій человѣкъ, дикій и мыслитель, какъ бы неотразимо ему ни доказывали разсужденіе и опытъ то, что невозможно представить себѣ два поступка въ однихъ и тѣхъ же условіяхъ жизни, чувствуетъ, что безъ этого безсмысленнаго представленія (составляющаго сущность свободы), онъ не можетъ себѣ представить жизни. Онъ чувствуетъ, что, какъ бы это ни было невозможно, это есть; ибо безъ этого представленія свободы онъ не только не понимаетъ бы жизни, но не могъ бы жить ни одного мгновенія».

«Если понятіе о свободѣ для разума представляется безсмысленнымъ противорѣчіемъ, какъ возможность совершить два поступка въ одинъ и тотъ же моментъ, то *это доказываетъ только то, что сознаніе свободы не подлежитъ разуму*». (Т. VI, стр. 267 и 268).

И такъ, свобода и вопросы о ней составляютъ область, не подлежащую обыкновенному познанію, обыкновеннымъ приемамъ и выводамъ разсужденій и опытовъ. Обыкновенное знаніе есть ничто иное, какъ отыскиваніе необходимости и, слѣдовательно, отрицаніе свободы. Мы получаемъ, слѣдовательно, двѣ области мышленія: одна—вполнѣ подчинена разуму и неизбежно ведетъ къ фатализму; другая имѣетъ источники познанія, независимые отъ разума, и обнимаетъ вопросы о свободѣ.

«Только въ наше самоувѣренное время популяризаціи знаній», продолжаетъ гр. Л. Н. Толстой, «благодаря сильнѣйшему орудію невѣжества—распространенію книгопечатанія, вопросъ о свободѣ воли сведенъ на такую почву, на которой и не можетъ быть самаго вопроса. Въ наше время, большинство такъ называемыхъ передовыхъ людей, т. е. толпа невѣждъ приняла работы естествоиспытателей, занимающихся одной стороною вопроса, за разрѣшеніе всего вопроса».

«Души и свободы нѣтъ, потому что жизнь человѣка выражается мускульными движеніями, а мускульныя движенія обуславливаются нервной дѣятельностію; души и свободы нѣтъ, потому что мы въ неизвѣстный періодъ времени произошли отъ обезьянъ,—говорятъ, пишутъ и печатаютъ они. вовсе не подозревая того, что тысячелѣтія тому назадъ, всѣми религіями, всѣми мыслителями не только признанъ, но никогда и не былъ отрицаемъ тотъ самый законъ необходимости, который съ такимъ стараніемъ они стремятся доказать теперь фізіологіей и сравнительной зоологіей. Они не видятъ того, что роль естественныхъ наукъ въ этомъ вопросѣ состоитъ только въ томъ, чтобы служить орудіемъ для освѣщенія одной стороны его. Ибо то, что съ точки зрѣнія наблюденія, разумъ и воля суть только отдѣленія (sécrétions) мозга, и то, что человѣкъ, слѣдуя общему закону, могъ развиться изъ низшихъ животныхъ въ неизвѣстный періодъ времени, уясняетъ только съ новой стороны, тысячелѣтія тому назадъ признанную всѣми религіями и философскими теоріями, истину о томъ, что съ точки зрѣнія разума человѣкъ подлежитъ законамъ необходимости,—но ни на волосъ не подвигаетъ разрѣшеніе вопроса, имѣющаго другую, противоположную сторону, основанную на сознаніи свободы».

«Если люди произошли отъ обезьянъ въ неизвѣстный періодъ времени, то это столь же понятно, какъ и то, что люди произошли отъ горсти земли въ извѣстный періодъ времени (въ первомъ случаѣ X есть время, во второмъ происхожденіе), и вопросъ о томъ, какимъ образомъ соединяется сознаніе свободы человѣка съ закономъ необходимости, которому подлежитъ человѣкъ, не можетъ быть разрѣшенъ сравнительною фізіологіей и зоологіей, ибо въ лягушкѣ, кроликѣ и обезьянѣ

мы можемъ наблюдать только мускульно-нервную дѣятельность, а въ человѣкѣ—и мускульно-нервную дѣятельность и сознаніе».

«Естествоиспытатели и ихъ поклонники, думающіе разрѣшить вопросъ этотъ, подобны штукатурамъ, которыхъ бы приставили заштукатурить одну сторону стѣны церкви и которые, пользуясь отсутствіемъ главнаго распорядителя работъ, въ порывѣ усердія замазывали бы своей штукатуркой и окна, и образа, и лѣса, и неутвержденные еще стѣны, и радовались бы на то, что съ ихъ штукатурной точки зрѣнія все выходитъ ровно и гладко» (т. VI, стр. 269 и 270).

Вотъ истинно-глубокомысленная, превосходно выраженная и до конца выдержанная постановка различія, существующаго между изслѣдованіями, для которыхъ верховнымъ закономъ можетъ быть только необходимость, и между совершенно иною областью мысли,—вопросами о свободѣ. Происхожденіе человѣка отъ обезьяны, столь сильно смущавшее многихъ, здѣсь поставлено на настоящее мѣсто, правильно и точно отнесено къ тѣмъ положеніямъ, которыя ни мало не касаются главной сущности дѣла.

И такъ, гр. Л. Н. Толстой отнюдь не фаталистъ въ строго-опредѣленномъ смыслѣ этого слова, и никакъ фаталистомъ быть не можетъ. Онъ отличаетъ исторію, какъ науку фаталистическую (подобно всѣмъ другимъ частнымъ наукамъ) отъ тѣхъ умозрѣній, которыя содержатъ глубочайшія начала наукъ и высшіе вопросы о свободѣ.

«Точно также», говоритъ онъ, «какъ предметъ всякой науки есть проявленіе неизвѣстной сущности, сама же эта сущность можетъ быть только предметомъ метафизики,—точно также проявленіе силы свободы людей въ пространствѣ, времени и зависимости отъ причинъ, составляетъ предметъ

исторіи; *сама же свобода есть предметъ метафизики*» (т. VI, стр. 284).

Въ другомъ мѣстѣ, онъ указываетъ на то, что метафизическіе вопросы составляютъ главные центры наукъ нравственнаго міра. Въ самомъ простомъ видѣ онъ излагаетъ эти вопросы такъ:

«Человѣкъ есть твореніе всемогущаго, всеблагаго и всевѣдущаго Бога. Что же такое есть грѣхъ, понятіе о которомъ вытекаетъ изъ сознанія свободы человѣка? Вотъ вопросъ богословія».

«Дѣйствія людей подлежатъ общимъ, неизмѣннымъ законамъ, выражаемымъ статистикой. Въ чемъ же состоитъ отвѣтственность человѣка передъ обществомъ, понятіе о которой вытекаетъ изъ сознанія свободы? Вотъ вопросъ права».

«Поступки человѣка вытекаютъ изъ его прирожденнаго характера и мотивовъ дѣйствующихъ на него. Что такое есть совѣсть и сознаніе добра и зла поступковъ, вытекающее изъ сознанія свободы? Вотъ вопросъ этики».

«Человѣкъ, въ связи съ общей жизнью человѣчества, представляется подчиненнымъ законамъ, опредѣляющимъ эту жизнь. Но тотъ же человѣкъ, независимо отъ этой связи, представляется свободнымъ. Какъ должна быть разсматриваема прошедшая жизнь народовъ и человѣчества, — какъ произведеніе свободной, или несвободной дѣятельности людей? Вотъ вопросъ исторіи» (т. VI, стр. 269).

И такъ, безъ понятія свободы нравственныя науки не имѣли бы никакого смысла. Вопросы, относящіеся къ свободѣ, составляютъ самую душу этихъ наукъ, несмотря на то, что и тутъ господствуетъ фатализмъ, который вообще свойственъ знанію. Подводя поступки людей подъ законы статистики, ихъ душевныя свойства подъ законы образованія характера, развитіе народовъ подъ общіе законы жизни человѣчества, — мы стремимся внести фатализмъ въ эти науки; но весь интересъ ихъ

заключается не въ этомъ фатализмѣ, а въ томъ, что содержится подъ нимъ, какъ подъ оболочкой. Чѣмъ рѣзче и глубже въ нихъ проводится фатализмъ, тѣмъ опредѣленнѣе и отчетливѣе выступаетъ передъ нами область свободы, тѣмъ громче звучитъ противорѣчіе и яснѣе слышенъ голосъ, возвѣщающій намъ нравственный смыслъ явленій.

Прекрасно слыша этотъ голосъ, хорошо понимая, что въ немъ одномъ заключается значеніе исторіи, авторъ, однакоже, посвятилъ весь конецъ своего труда задачѣ чисто-формальной; его заинтересовалъ не дѣйствительный смыслъ исторіи, а только вопросъ о *применіи необходимости и свободы*, то есть о томъ, какимъ образомъ исторія возможна какъ наука въ тѣсномъ смыслѣ. Цѣлый рядъ остроумныхъ и тонкихъ разсужденій опредѣляетъ отношенія между необходимостью и свободою, и авторъ приходитъ къ заключенію, что въ исторіи, не отвергая дѣйствительной свободы, и не пытаясь проникнуть въ ея сущность, мы должны *отказаться отъ несуществующей *) свободы и признать неощущаемую нами зависимость*.

Этими словами оканчивается „Война и Миръ“. Какое — скажемъ прямо — нехудожественное заключеніе! Скучно и странно читать хотя превосходныя, но совершенно сухія разсужденія послѣ живыхъ лицъ и картинъ хроники. А что нехорошо въ художественномъ отношеніи, то непременно будетъ нехорошо и въ другихъ отношеніяхъ. Такъ случилось и здѣсь. Конечно, были бы не скучны такіа разсужденія, которыя бы вполне стояли на высотѣ хроники, вполне исчерпывали ея

*) То есть такой, какую мы обыкновенно въ себѣ воображаемъ.

предметъ. Но этого здѣсь нѣтъ. Читатель, слѣдя за философскими мыслями автора, все ждетъ, что авторъ приложитъ свои общія соображенія къ главному своему предмету, къ борьбѣ Россіи съ Европой. Но авторъ какъ будто вовсе забылъ о томъ, что составляетъ весь интересъ его произведенія.

Ошибка заключается не въ неправильности мысли, а въ ея неполнотѣ. Очевидно, всѣ разсужденія автора ни мало не показываютъ намъ, какой смыслъ имѣла борьба, изображенная въ хроникѣ, какія силы въ ней проявились. Такъ справедливо оказывается ученіе Канта и другихъ философовъ, что связь причинъ и слѣдствій, изысканіе *необходимаго* хода вещей, — въ чемъ состоятъ всѣ цѣли науки въ тѣсномъ смыслѣ, — не исчерпываетъ содержанія явленій, что причинность есть ничто иное, какъ форма нашего ума, которая, въ качествѣ формы, не можетъ захватить собою сущности. Между тѣмъ, вопросъ о свободѣ воли, о нравственномъ смыслѣ явленій есть вопросъ о сущности.

Сущность дѣла передъ нами живо и ясно выступаетъ въ хроникѣ, и вовсе не затрогивается въ разсужденіяхъ автора объ исторіи. Еслибы художникъ закончилъ свою книгу философскими или какими угодно мыслями, изъ которыхъ намъ сталъ бы яснѣе смыслъ Бородинскаго сраженія, сила русскаго народа, тотъ идеалъ, который насъ тогда спасъ и живетъ насъ до сихъ поръ, — мы были бы довольны. Но формулы обыкновеннаго знанія сами по себѣ холодны, безстрастны, безразличны; они не уловляютъ ни красоты, ни добра, ни правды, то есть того, что всего выше на свѣтѣ, въ чемъ заключается самый существенный интересъ нашей жизни. Для науки — самое отвратительное явленіе, какъ

и самое высокое, есть только слѣдствіе извѣстныхъ причинъ; но для живыхъ людей это не все равно. Для науки міръ превращается въ мертвую, однообразную игру причинъ и слѣдствій; но для живого человѣка міръ имѣетъ красоту, жизнь, составляетъ предметъ отчаянія или восторга, благоговѣнія или отвращенія, — и въ этомъ состоитъ для насъ существенная сторона дѣла. Умъ не находитъ въ мірѣ ничего, кромѣ какой-то безконечной и бессмысленной механики; но сердце указываетъ намъ другой смыслъ, который въ сущности одинъ только и важенъ.

Итакъ, главной мысли „Войны и Мира“ нельзя искать въ философскихъ формулахъ гр. Л. Н. Толстаго, а нужно искать въ самой хроникѣ, гдѣ жизнь исторіи изображена съ такой изумительной полнотою, гдѣ для нашего сердца столько высокихъ откровеній. Тутъ очевидно, что вопросъ о нашей борьбѣ съ Европою есть совершенно особенный вопросъ; тутъ ясно свѣтится тотъ чисто-русскій идеалъ, который намъ дороже всего на свѣтѣ и въ которомъ, наконецъ, все дѣло.

Самъ авторъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ приходитъ къ отвлеченнымъ положеніямъ, очевидно, не вытекающимъ изъ его заключительныхъ разсужденій. Называя войну 1812 года *величайшею изъ всѣхъ извѣстныхъ войнъ* (т. VI, стр. 2), онъ замѣчаетъ, что она была въ то же время войною, „не подходящею ни подъ какія прежнія преданія войны“ (стр. 4). Бородинское сраженіе онъ называетъ *однимъ изъ самыхъ поучительныхъ явленій исторіи* (стр. 1) именно потому, что оно представляетъ какое-то противорѣчіе обыкновенному ходу историческихъ явленій.

«Все факты исторіи», говоритъ онъ, «подтверждаютъ справедливость того, что большіе или меньшіе успѣхи войска одного народа противъ войска другаго народа суть причины или по крайней мѣрѣ существенные признаки увеличенія или уменьшенія силы народовъ. Войско одержало побѣду, и тотчасъ же увеличились права побѣдившаго народа въ ущербъ побѣжденному. Войско понесло пораженіе—и тотчасъ же по степени пораженія народъ лишается правъ, а при совершенномъ пораженіи своего войска—совершенно покоряется».

«Такъ было (по исторіи) съ древнѣйшихъ временъ и до настоящаго времени. Вся войны Наполеона служатъ подтвержденіемъ этого правила. По степени пораженія австрійскихъ войскъ, Австрія лишается своихъ правъ и увеличиваются права и силы Франціи. Побѣда французовъ подъ Іеной и Ауерштеггомъ уничтожаетъ самостоятельное существованіе Пруссіи».

«Но вдругъ, въ 1812 году, французами одержана побѣда подъ Москвой. Москва взята, и вслѣдъ за этимъ, безъ новыхъ сраженій, не Россія перестала существовать, а перестала существовать 600-тысячная армія, потомъ — Наполеоновская Франція. *Натянутъ факты на правила исторіи*, сказать, что поле сраженія въ Бородинѣ осталось за русскими, что послѣ Москвы были сраженія, уничтожившія армію Наполеона,—*невозможно*» (т. V, стр. 12).

Выводъ, къ которому приходитъ авторъ и въ которомъ содержится *поучительность* Бородинскаго сраженія и *новый* результатъ, не подходящій подъ преданія исторіи, состоитъ въ слѣдующемъ:

«Періодъ кампаніи 1812 года отъ Бородинскаго сраженія до изгнанія французовъ доказалъ, что выигранное сраженіе не только не есть причина завоеванія, но даже и не постоянный признакъ завоеванія;—доказалъ, что *сила, рѣшающая участь народовъ, лежитъ не въ завоевателяхъ, даже не въ арміяхъ и сраженіяхъ, а въ чемъ-то другомъ*» (тамъ же, стр. 3).

Итакъ, исторія не есть однообразная игра однихъ и тѣхъ же силъ, не есть безконечная вереница повторяющихся причинъ и слѣдствій; въ ней есть событія *особенныя*, представляющія *особенный* смыслъ, особенную поучительность, такъ какъ они обнаруживаютъ дѣйствіе силъ дотолѣ неясныхъ или не существовавшихъ. Въ исторіи раскрывается и обнаруживается что-то закрытое и глубокое, является нѣчто новое, воплощается то, что еще никогда не было воплощено. Если такъ, то въ этомъ одномъ и состоитъ интересъ и поучительность исторіи.

Гр. Л. Н. Толстой въ своей великолѣпной эпопее показалъ намъ, *что* обнаружилось въ нашей борьбѣ съ Наполеономъ. Въ первый разъ отъ начала исторіи ясно и грозно проявился русскій идеалъ, и передъ этимъ идеаломъ сломилась и померкла вся сила Наполеона и Наполеоновской Франціи. Вотъ примѣръ того смысла, который заключается въ исторіи и составляетъ ея существенное содержаніе. Дѣло вовсе не въ побѣдѣ, не въ томъ, что случилась новая комбинація единичныхъ силъ, вслѣдствіе которой рушилось могущество, до тѣхъ поръ все покорявшее и побѣждавшее; сущность дѣла въ томъ, *что* скрывается подъ этою механическою игрою причинъ и слѣдствій. Подъ нею скрывается пробужденіе силы, еще не дѣйствовавшей въ мірѣ,—духа *простоты добра и правды*.

Простота есть высшее изящество, высшая красота человѣка.

Добро и правда—суть высшія цѣли, для которыхъ долженъ жить и дѣйствовать человѣкъ.

Таковы лучшія черты идеала, хранящагося въ русскомъ народѣ. Этотъ духъ смиренія и доброты много принесъ и приноситъ намъ всякаго вреда и всякихъ

бѣдъ; но этотъ же духъ побѣдилъ Наполеона, разрушилъ его армію и государство.

V.

Мы старались разсмотрѣть „Войну и Миръ“ съ главныхъ точекъ зрѣнія, съ которыхъ, какъ мы думаемъ, слѣдуетъ разсматривать это произведение. Мы старались быть краткими и опускали множество замѣчаній, которыя напрашивались подъ перо и которыя, можетъ быть, окажется нужнымъ высказать. Мы не говорили ни объ удивительномъ языкѣ, ни о несравненной твердости и чистотѣ художественныхъ приемовъ автора, хотя во всѣхъ этихъ отношеніяхъ „Война и Миръ“ есть произведение образцовое, такъ что его долженъ прилежно изучать всякій русскій писатель по художественной словесности. Все это приходится отложить до другаго времени, и мы поспѣшимъ къ заключенію нашей статьи, которая, какъ мы это предчувствуемъ, и безъ того покажется нашимъ рецензентамъ необыкновенно *длинной* и *донельзя туманной*.

Но прежде заключенія, сдѣлаемъ еще одно небольшое отступленіе; оно быть можетъ, будетъ кстати и не помѣшаетъ дѣлу. Именно — подыдемъ здѣсь камушекъ, брошенный въ „Войну и Миръ“ изящною рукою (какъ говорятъ изящные фельетонисты) г. Тургенева. Въ одно время съ появленіемъ VI тома гр. Л. Н. Толстаго появился первый томъ новаго изданія сочиненій г. Тургенева, и въ этомъ томѣ, въ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“, между многими диковинками заключается одна весьма любопытная, — взгляды г. Тургенева на всю нашу современную изящную словесность. Тутъ вы найдете отзывы

обо всѣхъ нашихъ знаменитостяхъ, даже о самой новѣйшей, о г. Рѣшетниковѣ; есть отзывъ и о „Войнѣ и Мирѣ“.

Какъ это случилось, т. е. какимъ образомъ г. Тургеневъ, говоря о своей прошлой дѣятельности, успѣлъ не оставить безъ краткой оцѣнки ни одного изъ своихъ нынѣшнихъ собратьевъ по поэзіи, — это понять не совсѣмъ легко. Повидимому, дѣло простое; отзывы пришлось къ слову, вызваны связью съ тѣмъ или другимъ предметомъ рѣчи. Но если мы сообразимъ полноту этихъ отзывовъ, ихъ характеръ, оригинальность и вѣскость сужденій, въ нихъ заключающихся, то мы невольно станемъ подозрѣвать г. Тургенева въ хитрости и подумаемъ, что онъ только прикидывается простодушно-разболтавшимся писателемъ, которому случайно попадаютъ на языкъ самыя разнообразныя имена.

Есть вещи, о которыхъ говорить вскользь, мимоходомъ — нельзя. Есть слова, вѣсь которыхъ долженъ быть извѣстенъ всякому, и которыхъ произносить нельзя прикидываясь, что мы не знаемъ этого вѣса. Такъ какъ г. Тургеневъ учился нѣмецкой философіи, такъ какъ въ „Воспоминаніяхъ“ онъ самъ много толкуетъ объ авторитетахъ и объ отношеніяхъ къ нимъ, то мы позволимъ себѣ здѣсь маленькое отвлеченное разсужденіе на тему Гоголя: *обращаться съ словомъ нужно честно*; другими словами, это будетъ такой вопросъ: почему писатель долженъ и какимъ образомъ онъ можетъ избѣгать всякаго злоупотребленія своимъ авторитетомъ?

Мы вовсе не принадлежимъ къ строгимъ моралистамъ, которые готовы возложить на писателей тяжкую и едва ли выполнимую отвѣтственность. Многіе, какъ напримѣръ Гоголь, думаютъ, что писатель долженъ отвѣчать за впечатлѣніе, производимое его словами. Слѣдо-

вательно, онъ долженъ взвѣсить понятія и умственные силы читателей и говорить такъ, чтобы его слова были поняты въ ихъ настоящемъ смыслѣ и не породили бы никакого заблужденія, не возбудили бы никакихъ дурныхъ страстей. По мнѣнію этихъ моралистовъ писатель виноватъ во всякомъ своемъ поспѣшномъ, недодуманномъ, неумѣло сказанномъ словѣ.

Подобныя требованія мы находимъ слишкомъ высокими и потому примѣнимыми только въ рѣдкихъ случаяхъ. Сказать писателю: ты долженъ быть умнѣе и дальновиднѣе всѣхъ твоихъ читателей,—не значитъ ли это возложить на писателей долгъ, котораго они въ большинствѣ случаевъ выполнить не могутъ? Если даже многіе охотно принимаютъ на себя такія обязанности и воображаютъ себя свѣтилами и наставниками, то большею частію мы справедливо видимъ въ этомъ одно ихъ излишнее самолюбіе.

Итакъ, обязанности писателя, по нашему мнѣнію, проще и легче. Отъ него, строго говоря, требуется только одно — полная искренность. Требуется не то, чтобы онъ самъ строго и точно взвѣшивалъ свои слова (этотъ даръ не всякому дается), а чтобы онъ намъ, читателямъ, давалъ полную возможность произвести это взвѣшиваніе. Требуется не то, чтобы онъ самъ никогда не обманывался и не ошибался (кто за себя поручится?), а чтобы онъ насъ не обманывалъ, насъ не вводилъ въ ошибку. А для этого нужно не только не лгать завѣдомо, не только не писать того, чего не думаешь, но каждую свою мысль высказывать открыто и ясно, *не скрывая тѣхъ основаній и побужденій, по которымъ она возникла и сказана*. Когда мы знаемъ, что человѣкъ говоритъ искренно, и видимъ, съ какою цѣлью онъ говоритъ, чего хочетъ,

чѣмъ заинтересованъ, — мы можемъ быть вполне довольны добросовѣстностію такого человѣка, и уже сами разберемъ, есть ли толкъ въ его словахъ, или нѣтъ.

Поэтому мы считаемъ, что писатель погрѣшаетъ противъ своихъ обязанностей, если онъ говоритъ намеками, если онъ умышленно пользуется своимъ авторитетомъ и какъ будто невзначай роняетъ инныя вѣскія слова, надѣясь, что они произведутъ въ такой формѣ больше дѣйствія. Писатель, который, подобно злоязычной бабѣ, говоритъ объ одномъ, а думаетъ о другомъ, который въ мягкую и ласковую рѣчь вставляетъ шпильки для тѣхъ или другихъ слушателей, который льститъ подъ видомъ общихъ разсужденій, и жалитъ, изливаясь любовію въ литературѣ, — такой писатель преступаетъ самыя простыя и скромныя свои обязанности.

Совершенно мимоходомъ, занятый, повидимому, очень важными соображеніями, г. Тургеневъ называлъ гр. Л. Н. Толстаго писателемъ пристрастнымъ и невѣжественнымъ. Вотъ слова г. Тургенева: „Самый печальный примѣръ *отсутствія истинной свободы, проистекающаго изъ отсутствія истиннаго знанія* представляетъ намъ послѣднее произведеніе гр. Л. Н. Толстаго „Война и Миръ“, которое въ то же время, по силѣ творческаго, поэтическаго дара, стоитъ едва ли не во главѣ всего, чтò явилось въ нашей литературѣ съ 1840 года“. (Соч. Тург. т. I, 1869 г. стр. С.).

И только! Г. Тургеневъ прикидывается наивнымъ и простодушнымъ и дѣлаетъ видъ, что ему нуженъ былъ этотъ отзывъ только для примѣра, только ради небольшого поясненія его собственныхъ мыслей. Какъ будто о такихъ вещахъ можно говорить мимоходомъ! Какъ будто, признавши „Войну и Миръ“ выше всего, чтò

явилось у насъ съ 1840 года, то-есть съ „Мертвыхъ душъ“, и слѣдовательно выше собственныхъ своихъ твореній, г. Тургеневъ имѣлъ право говорить о произведеніи гр. Л. Н. Толстаго вскользь, мелькомъ, и, съ улыбкой на устахъ и взоромъ, устремленнымъ на созерцаніе высшихъ истинъ, произнести объ этомъ произведеніи сколь возможно тяжкій приговоръ!

Намъ и читателямъ теперь приходится разбирать и догадываться, какой смыслъ имѣетъ эта *шпилька*, такъ искусно вставленная въ изящныя „Воспоминанія“ г. Тургенева. Чтò значить, напимѣръ, *отсутствіе истиннаго знанія* у гр. Л. Н. Толстаго, заявляемое г. Тургеневымъ такъ положительно и безъ малѣйшихъ околичностей, какъ будто это дѣло самое ясное и не подлежащее никакому сомнѣнію? Это значить во-первыхъ вообще, что г. Тургеневъ считаетъ себя несравненно образованнѣе гр. Л. Н. Толстаго, а во-вторыхъ въ частности, что г. Тургеневъ, вѣроятно, недоволенъ невѣжественными, по его мнѣнію, взглядами гр. Л. Н. Толстаго на исторію, на Наполеона, на войну 1812 года.

Предметъ любопытный, и еслибы г. Тургеневъ поступилъ согласно съ обязанностями всякаго писателя, большаго и малаго, то-есть выразилъ бы ясно мысль, какую ему Богъ послалъ, то мы могли бы по мѣрѣ силъ и сами разсудить объ этомъ предметѣ. Теперь же ограничимся слѣдующими замѣчаніями.

Образованіе само по себѣ, безъ ума, безъ сердца, есть вздоръ. Можно долго учиться философіи, всю жизнь читать умнѣйшія книги, знать множество языковъ и все-таки не только не сдѣлать ничего путнаго, а даже не быть умнымъ человѣкомъ. Все дѣло въ *истинномъ знаніи*, какъ выразился г. Тургеневъ весьма неудачно

для себя и очень удачно для насъ. Мы ничего не знаемъ объ *образованіи* г. Л. Н. Толстаго, кромѣ только того, что какъ писатель съ высокимъ настроеніемъ ума онъ никогда, ни въ одной строчкѣ своихъ произведеній не вздумалъ ни похвалиться малѣйшей чертой своего образованія, ни въ какомъ бы то ни было смыслѣ унижить дѣйствительно умныя вещи. Что же касается до *истиннаго знанія*, то чрезвычайное обиліе этого знанія у гр. Л. Н. Толстаго есть дѣло, не подлежащее никакому сомнѣнію и для всякаго очевидное. Чего только не знаетъ этотъ человѣкъ! И притомъ, чего только не знаетъ онъ — не по книгамъ, а этимъ *истиннымъ знаніемъ*, котораго часто ни въ какихъ книгахъ не доищешься! Не только душа человѣческая — истинная область поэта — ему знакома лучше, чѣмъ всякимъ ученымъ психологамъ; безчисленныя сферы жизни и дѣятельности извѣстны ему такъ, какъ одной изъ нихъ не знаетъ иной человѣкъ, вращающійся въ ней цѣлую жизнь.

Сверхъ художественной геніальности мы должны признать за гр. Л. Н. Толстымъ огромную способность знанія, сверхъ поэтического дара — философскій талантъ, сверхъ изумительнаго умѣнья понимать смыслъ того, чтò пишется въ книгахъ и того, чтò еще ни въ какихъ книгахъ не написано, — огромную начитанность по предмету нашихъ войнъ съ Наполеономъ.

Въ словахъ г. Тургенева о невѣжествѣ гр. Л. Н. Толстаго намъ слышится всего яснѣе одно — страхъ передъ авторитетомъ западной науки, страхъ, весьма распространенный въ русскомъ обществѣ и въ русской литературѣ. Г. Тургеневъ вздумалъ насъ поугаты своею образованностію и ссылкою на какое-то *знаніе*, о которомъ, мы увѣрены, онъ самъ не имѣетъ яснаго понятія.

явилось у насъ съ 1840 года, то-есть съ „Мертвыхъ душъ“, и слѣдовательно выше собственныхъ своихъ твореній, г. Тургеневъ имѣлъ право говорить о произведеніи гр. Л. Н. Толстаго вскользь, мелькомъ, и, съ улыбкой на устахъ и взоромъ, устремленнымъ на созерцаніе высшихъ истинъ, произнести объ этомъ произведеніи сколь возможно тяжкій приговоръ!

Намъ и читателямъ теперь приходится разбирать и догадываться, какой смыслъ имѣетъ эта *ипилка*, такъ искусно вставленная въ изящныя „Воспоминанія“ г. Тургенева. Чтò значить, на примѣръ, *отсутствіе истиннаго знанія* у гр. Л. Н. Толстаго, заявляемое г. Тургеневымъ такъ положительно и безъ малѣйшихъ околичностей, какъ будто это дѣло самое ясное и не подлежащее никакому сомнѣнію? Это значить во-первыхъ вообще, что г. Тургеневъ считаетъ себя несравненно образованнѣе гр. Л. Н. Толстаго, а во-вторыхъ въ частности, что г. Тургеневъ, вѣроятно, недоволенъ невѣжественными, по его мнѣнію, взглядами гр. Л. Н. Толстаго на исторію, на Наполеона, на войну 1812 года.

Предметъ любопытный, и еслибы г. Тургеневъ поступилъ согласно съ обязанностями всякаго писателя, большаго и малаго, то-есть выразилъ бы ясно мысль, какую ему Богъ послалъ, то мы могли бы по мѣрѣ силъ и сами разсудить объ этомъ предметѣ. Теперь же ограничимся слѣдующими замѣчаніями.

Образованіе само по себѣ, безъ ума, безъ сердца, есть вздоръ. Можно долго учиться философіи, всю жизнь читать умнѣйшія книги, знать множество языковъ и все-таки не только не сдѣлать ничего путнаго, а даже не быть умнымъ человѣкомъ. Все дѣло въ *истинномъ знаніи*, какъ выразился г. Тургеневъ весьма неудачно

для себя и очень удачно для насъ. Мы ничего не знаемъ объ *образованіи* г. Л. Н. Толстаго, кромѣ только того, что какъ писатель съ высокимъ настроеніемъ ума онъ никогда, ни въ одной строчкѣ своихъ произведеній не вздумалъ ни похвалиться малѣйшей чертой своего образованія, ни въ какомъ бы то ни было смыслѣ унижить дѣйствительно умныя вещи. Что же касается до *истиннаго знанія*, то чрезвычайное обиліе этого знанія у гр. Л. Н. Толстаго есть дѣло, не подлежащее никакому сомнѣнію и для всякаго очевидное. Чего только не знаетъ этотъ человѣкъ! И притомъ, чего только не знаетъ онъ — не по книгамъ, а этимъ *истиннымъ знаніемъ*, котораго часто ни въ какихъ книгахъ не доищешься! Не только душа человѣческая — истинная область поэта — ему знакома лучше, чѣмъ всякимъ ученымъ психологамъ; безчисленныя сферы жизни и дѣятельности извѣстны ему такъ, какъ одной изъ нихъ не знаетъ иной человѣкъ, вращающійся въ ней цѣлую жизнь.

Сверхъ художественной геніальности мы должны признать за гр. Л. Н. Толстымъ огромную способность знанія, сверхъ поэтическаго дара — философскій талантъ, сверхъ изумительнаго умѣнья понимать смыслъ того, чтò пишется въ книгахъ и того, чтò еще ни въ какихъ книгахъ не написано, — огромную начитанность по предмету нашихъ войнъ съ Наполеономъ.

Въ словахъ г. Тургенева о невѣжествѣ гр. Л. Н. Толстаго намъ слышится всего яснѣе одно — страхъ передъ авторитетомъ западной науки, страхъ, весьма распространенный въ русскомъ обществѣ и въ русской литературѣ. Г. Тургеневъ вздумалъ насъ поугаать своею образованностію и ссылкой на какое-то *знаніе*, о которомъ, мы увѣрены, онъ самъ не имѣетъ яснаго понятія.

Эти вѣчныя пуганья какою-то неопредѣленною и неизвѣстно гдѣ существующею *западною наукою* — приличны только тому, кто самъ не знаетъ, что ему думать и чего держаться. У кого же есть собственная мысль, того ничѣмъ не испугаешь.

Мы переходимъ такимъ образомъ ко второму упреку, заключающемуся въ шпилькѣ г. Тургенева; именно — г. Тургеневъ называетъ Толстаго человѣкомъ *несвободнымъ*, конечно, разумѣя подъ этимъ то, что Толстой будто бы пристрастенъ къ своему народу и своей исторіи, что онъ подчиняется этимъ великимъ авторитетамъ. Но умственная свобода и умственное рабство вовсе не этимъ опредѣляется, вовсе не состоитъ въ независимости отъ всякихъ авторитетовъ, а заключается въ томъ, чтобы и наше подчиненіе и наше возстаніе исходили *изъ насъ самихъ*, были яснымъ и сознательнымъ дѣломъ *нашего* ума и *нашего* сердца. Не подчиняться никакимъ авторитетамъ есть сущая глупость, ибо это значило бы ничего не уважать и ничего не любить. „Есть, сказалъ одинъ умный человѣкъ, свобода разнаго рода: есть, напримеръ, свобода отъ здраваго смысла, да только какой же толкъ въ подобной свободѣ?“ Истинно свободенъ не тотъ, кто не имѣетъ силы ни во что повѣрить, не имѣетъ ума, чтобы понять верховную важность извѣстныхъ началъ, а тотъ, кто, вѣря и понимая, дѣйствуетъ при этомъ *своимъ* умомъ, *своею* душою, а не подъ чужимъ вліяніемъ, не подъ страхомъ общественнаго мнѣнія, не ради постороннихъ дѣлу причинъ. Собственное убѣжденіе — вотъ истинная свобода.

Если мы взглянемъ съ этой точки зрѣнія, — то безъ сомнѣнія убѣдимся, что нѣтъ человѣка болѣе свободнаго, чѣмъ Толстой, и что, если мы захотимъ найти

примѣръ рабства, то самый разительный примѣръ представляетъ г. Тургеневъ, тотъ самый, который теперь поднималъ толки о свободѣ писателя. Кто, въ самомъ дѣлѣ, можетъ укорить гр. Н. Л. Толстаго въ томъ, что онъ когда-нибудь плылъ по вѣтру, что онъ подчинялся чужимъ мнѣніямъ или минутнымъ настроеніямъ общества и литературы? Ни на одномъ произведеніи этого писателя не лежитъ отпечатка какого бы то ни было подчиненія. Вездѣ слышна упорная, *независимая* работа его собственнаго ума. Повторимъ то, что мы доказывали въ „Зарѣ“ прошлаго года: ни одинъ изъ нашихъ писателей не представляетъ такого длиннаго и цѣльнаго, вполне органическаго развитія, какъ гр. Л. Н. Толстой. Вспомните, что дѣлалось въ это время въ литературѣ, какія въ ней совершались воздушныя революціи, какими метеорами наполненъ былъ воздухъ, какими обманчивыми миражами заслоненъ былъ весь горизонтъ. Чего-чего только у насъ не было! Люди самые проникательные готовы были обмануться и признать важность и существенность того, что въ дѣйствительности было пѣной и брызгами. Гр. Л. Н. Толстой во все это время не подпалъ ни единому изъ многихъ вліяній. Глубокая, упорная внутренняя работа дѣлала его совершенно независимымъ отъ всякихъ вліяній минуты. Каждое его произведеніе свидѣтельствуетъ, что онъ писатель *свободный* въ лучшемъ, въ высочайшемъ смыслѣ этого слова, — то есть писатель самостоятельный, имѣющій *свои* мысли, *свои* задачи.

Возьмите же теперь, для контраста и поясненія, г. Тургенева, который самъ напросился на невыгодное для себя сравненіе. Чѣмъ только не былъ г. Тургеневъ, какимъ вліяніямъ онъ не подчинялся? Каждое минутное

настроение наших журналов и наших литературных кружков отражалось на немъ съ такою быстротою и силою, какой мы едва ли найдемъ другой примѣръ. Вотъ истинный *рабъ* минуты, человѣкъ, какъ будто не имѣющій ничего своего, а все заимствующій отъ другихъ. Къ нему больше, чѣмъ къ кому нибудь, идутъ слова, сказанныя вообще о поэтахъ:

Вы всѣ на колоколъ похожи,
Въ который можетъ зазвонить
На площади любой прохожій.

Самостоятельности, и слѣдовательно независимости, нѣтъ въ г. Тургеневѣ никакой; будучи эхомъ чужихъ взглядовъ и настроеній, г. Тургеневъ не сумѣлъ до сихъ поръ выработать себѣ точки зрѣнія, которая подымалась бы выше изображаемыхъ имъ явленій. Чтò изъ того, что во время разгара нигилизма онъ написалъ „Отцовъ и Дѣтей“, а во время разгара патріотизма — „Дымъ“? Если человѣкъ руководится желаніемъ — противорѣчить настроенію минуты, — онъ все-таки зависитъ отъ минуты, онъ говоритъ не свое, а то, чтò въ немъ вызывается этимъ противорѣчіемъ. Нѣкоторое время можно было думать, что у г. Тургенева есть какіе-нибудь высшіе взгляды, изъ-за которыхъ онъ осуждаетъ мимолетныя явленія нашего прогресса. Но теперь плачевная истина вполне обнаружилась; оказалось, что г. Тургеневъ стоитъ даже ниже этихъ явленій; не зная, чтò ему дѣлать, гдѣ установить свою точку опоры, онъ рѣшился наконецъ объявить себя приверженцемъ *нигилизма*, т. е. самой послѣдней и, по нашему мнѣнію, самой уродливой формы нашего прогресса. И этотъ человѣкъ объявляетъ себя свободнымъ! И онъ имѣетъ

смѣлость укорять другихъ въ рабствѣ, да еще кого—
Л. Н. Толстаго!

VI.

Предыдущее разбирательство оказалось вовсе не лишнимъ дѣломъ: оно прямо приводитъ насъ къ нѣкоторымъ общимъ замѣчаніямъ относительно нашей литературы, которыми мы и закончимъ нашу статью. Совершенно ясно, что съ 1868 года, то-есть съ появленія „Войны и Мира“, составъ того, чтò собственно называется русскою литературою, то-есть составъ нашихъ художественныхъ писателей, получилъ иной видъ и иной смыслъ. Гр. Л. Н. Толстой занялъ первое мѣсто въ этомъ составѣ, мѣсто неизмѣримо высокое, поставившее его далеко выше уровня остальной литературы. Писатели, бывшіе прежде первостепенными, обратились теперь во второстепенныхъ, отошли на задній планъ. Если мы взглянемъ въ это перемѣщеніе, совершившееся самымъ безобиднымъ образомъ, т. е. не въ силу чьего-нибудь пониженія, а вслѣдствіе огромной высоты, на которую взомель раскрывшій свои силы талантъ, то намъ невозможно будетъ не радоваться этому дѣлу отъ всего сердца. До сихъ поръ, кто были представители русской литературы, кто занималъ въ ней первое мѣсто, и для насъ, и для иностранцевъ? Конечно, Тургеневъ, Островскій, Некрасовъ. Вотъ тѣ таланты, которые своею дѣятельностію, своимъ успѣхомъ, своимъ неотразимымъ обаяніемъ—господствовали надъ массою читателей. И чтò же? Ни одинъ изъ нихъ, по несчастію, не заслуживалъ полного сочувствія, ни одинъ не былъ человѣкомъ вполне свободнымъ—такъ какъ ужъ пошла рѣчь

о свободѣ, — ни одинъ не былъ чистъ отъ важныхъ недостатковъ. О колебаніяхъ? Тургенева мы уже говорили; колебанія г. Островскаго не менѣе многочисленны, хотя менѣе были замѣчены и истолкованы читателямъ нашею критикою. Чтѣ же касается до г. Некрасова, то о немъ давно извѣстно, что онъ отдалъ свою музу въ крѣпостное рабство извѣстнымъ идеямъ и направленіямъ. Это самый талантливый изъ нашихъ стихотворцевъ, но вмѣстѣ наименѣе смѣлый, наиболѣе уродующій и пригибающій свои чувства въ угоду стремленіямъ, которымъ подчинился.

Такимъ образомъ, наша литература представляла жалкое зрѣлище. Вслѣдствіе неправильности нашего умственного развитія, люди самые талантливые были испорчены; они или шли по ложной дорогѣ, покоряясь общему теченію, или сами не знали, чтѣ дѣлать, и метались изъ стороны въ сторону. Но явился наконецъ богатырь, который не поддался никакимъ нашимъ язвамъ и повѣтріямъ, который разметалъ, какъ щепки, всякіе тараны, отшибающіе у русскаго образованнаго человѣка ясный взгядъ и ясный умъ, всѣ тѣ авторитеты, подъ которыми мы гнемся и ежимся. Изъ тяжелой борьбы съ хаосомъ нашей жизни и нашего умственного міра (мы говорили объ этой борьбѣ въ прошломъ году) онъ вышелъ только могучѣе и здоровѣе, только развилъ и укрѣпилъ въ ней свои силы, и разомъ поднялъ нашу литературу на высоту, о которой она и не мечтала.

Какъ же не радоваться? Теперь мы будемъ даже снисходительнѣе къ нашимъ прежнимъ представителямъ литературы; мы не станемъ испытывать той печали и злобы, которая бывало волновала насъ, когда мы видѣли, что руководство толпы принадлежитъ людямъ или упор-

но коснѣющимъ на ложномъ пути, или не знающимъ хорошенъко, чего имъ держаться и потому угождающимъ господствующему вѣтру. Богъ съ ними! Ихъ царство миновало!

Какъ же не радоваться? Послѣ долгихъ уклоненій отъ настоящей дороги, послѣ всякихъ заразъ, которыя русская литература выносила въ своемъ тѣлѣ со всѣми ихъ послѣдовательными симптомами, она наконецъ возвращается къ своему прежнему здоровью. Та могучая гармоническая сила, которая нѣкогда сказала въ Пушкинѣ и съ тѣхъ поръ какъ будто обмелѣла, разбилась на мелкіе ручьи, затерялась въ трясилахъ и болотахъ, вдругъ снова во очію явилась намъ, вдругъ показалась намъ въ новыхъ формахъ, но съ тою же печатью несравненной прелести, здоровая, чистая, по своей простотѣ и внутреннему равновѣсію превосходящая самыя высокія поэтическія силы другихъ народовъ. Какъ же не радоваться!

Если теперь иностранцы спросятъ у насъ о нашей литературѣ, то мы не скажемъ имъ въ отвѣтъ, что она подаетъ прекрасныя надежды, что она заключаетъ великолѣпныя задатки, не станемъ пускаться въ оговорки и приводить разныя смягчающія обстоятельства, чтобы объяснить уродливость и односторонность современныхъ нашихъ литературныхъ авторитетовъ; мы прямо укажемъ на „Войну и Миръ“, какъ на зрѣлый плодъ нашего литературнаго движенія, какъ на произведеніе, передъ которымъ мы сами преклоняемся, которое для насъ дорого и важно не *за немѣнѣемъ лучшихъ*, а потому, что оно принадлежитъ къ самымъ великимъ, самымъ лучшимъ созданіямъ поэзіи, какія мы только знаемъ и можемъ вообразить. Западныя литературы въ

настоящее время не представляют ничего равного, и даже ничего близко подходящего къ тому, чѣмъ мы теперь обладаемъ.

Если братья славяне попросятъ теперь у насъ книгъ, то мы не будемъ, *скрѣпя сердце*, посылать имъ Тургенева, Островскаго, Некрасова; нѣтъ, мы пошлемъ имъ этихъ писателей спокойно и безбоязненно, потому что вмѣстѣ съ ними пошлемъ и „Войну и Миръ“. Свѣтъ, которымъ сіяетъ произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, такъ силенъ, что при немъ не страшны всѣ эти меньшія свѣтила, озаряющія нашу жизнь такимъ слабымъ и неровнымъ, а часто даже совершенно неправильнымъ свѣтомъ. Всѣ слабыя и больныя стороны нашей литературы теперь сами собою обличаются; у насъ есть мѣрка здоровой и могучей поэзіи, и, въ сравненіи съ этимъ образцомъ, получаютъ свое настоящее значеніе тѣ неполные и искаженные проблески поэзіи, съ которыми мы такъ долго возились, которымъ по неволѣ приписывали больше важности, чѣмъ они ея имѣютъ на самомъ дѣлѣ.

Но главное, конечно, не въ томъ, что мы скажемъ Европѣ, или что пошлемъ славянамъ; главное—въ насъ самихъ, въ томъ благотворномъ вліяніи, которое можетъ имѣть „Война и Миръ“ на духовное развитіе нашего общества,—этого больного общества, пораженного недугами, приводящими иногда въ ужасъ и отчаяніе людей, преданныхъ своему народу. Въ изящной литературѣ, въ журналистикѣ, въ массѣ читающихъ и пишущихъ людей,—вездѣ господствуетъ такая слабость мысли, такое искаженіе инстинктовъ и понятій, такое обиліе предразсудковъ и заблужденій,—что невольно является страхъ за наше духовное развитіе, невольно приходитъ въ голову мысль, не поражены ли мы какою-нибудь неизлѣ-

чимою болѣзною, не суждено ли русскому уму и сердцу заглохнуть и вымереть подъ язвами, раздающими нашъ духовный строй. Вотъ то существенное дѣло, въ которомъ „Война и Миръ“ можетъ принести намъ помощь и отраду. Эта книга есть прочное пріобрѣтеніе нашей культуры, столь же прочное и непоколебимое, какъ, на примѣръ, сочиненія Пушкина. Пока жива и здорова наша поэзія, до тѣхъ поръ нѣтъ причины сомнѣваться въ глубокомъ здоровьи русскаго народа и можно принимать за миражъ всѣ болѣзненные явленія, совершающіяся, такъ сказать, на окраинахъ нашего духовнаго царства. „Война и Миръ“ скоро станетъ настольною книгою каждаго образованнаго русскаго, классическимъ чтеніемъ нашихъ дѣтей, предметомъ размышленія и поученія для юношей. Съ появленіемъ великаго произведенія гр. Л. Н. Толстаго наша поэзія опять займетъ подобающее ей мѣсто, сдѣлается правильнымъ и важнымъ элементомъ воспитанія, какъ въ тѣсномъ смыслѣ—воспитанія подросткающаго поколѣнія, такъ и въ обширномъ смыслѣ—воспитанія всего общества. И все крѣпче и крѣпче, все сознательнѣе и сознательнѣе мы будемъ питать приверженность къ прекрасному идеалу, проникающему собою книгу гр. Л. Н. Толстаго, къ идеалу *простоты, добра и правды*.

(Заря 1870, январь).

1870. 10 янв.

VI.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ КЪ СТАТЬЯМЪ О
„ВОЙНѢ И МИРѢ“ *).

Выпуская отдѣльной брошюрою оттиски моихъ статей о „Войнѣ и Мирѣ“, я желалъ бы этимъ способствовать лучшему пониманію произведенія гр. Л. Н. Толстаго. Насколько вѣрны и достойны своего высокаго предмета мои мысли, пусть судятъ люди, разумѣющіе дѣло; но одно я знаю навѣрное: я шелъ правильнымъ, надлежащимъ путемъ. Я не спорилъ съ художникомъ, не торопился стать къ нему въ положеніе судьи, не чувствовалъ желанія противорѣчить его отдѣльнымъ мнѣніямъ и высказывать свои собственные, будто бы болѣе основательные взгляды на тѣ же вещи. Прежде всего я постарался понять созданіе художника, проникнуть въ смыслъ того очарованія, которое такъ могущественно и неотразимо овладѣло мною: уразумѣть, откуда и въ чемъ эта сила? Вотъ почему я надѣюсь, что не лишень той награды, которая достается и слѣдуетъ за такое простое и смиренное отношеніе къ дѣлу. Не только я награжденъ тѣмъ, что скоро понялъ безмѣрно-великую

*) Эти нѣсколько словъ были напечатаны подъ именемъ *предисловія* въ книжкѣ: *Критическій разборъ «Войны и Мира»*. Спб. 1871. Книжка состояла изъ оттисковъ четырехъ предыдущихъ статей.

цѣнность „Войны и Мира“, но мнѣ думается, я заслужилъ и болѣе важную награду: въ нѣкоторой мѣрѣ я понялъ душу этого произведенія, отразившееся въ немъ міросозерцаніе художника; я нашелъ тѣ точки зрѣнія, тѣ категоріи, съ которыхъ его слѣдуетъ судить, и мнѣ открылась связь его съ исторіею и ходомъ нашей литературы.

Что такое литература? Что такое искусство? Вопросы темные и мало кѣмъ понимаемые. Напримѣръ, ходячее мнѣніе, составившееся о „Войнѣ и Мирѣ“, заключается въ томъ, что это произведеніе очень высокое, по своимъ художественнымъ достоинствамъ, но будто бы не содержащее глубокой мысли, не имѣющее большаго внутренняго значенія. Такимъ образомъ, искусству еще разъ нанесено жестокое оскорбленіе, еще разъ заявлено, что даже гениальный художественный даръ можетъ ограничиться пустою, чуждою жизни игрою своихъ силъ. Какъ будто возможна подобная бессмыслица! Какъ будто могутъ существовать живыя явленія, не соблюдающія существенныхъ условій жизни!

Въ томъ же самомъ смыслѣ меня бранятъ эстетикомъ, то-есть (на ихъ языкѣ) человекомъ, который вообразилъ, что художественныя красоты могутъ существовать отдѣльно отъ внутренняго, живаго, серьезнаго смысла, и который гоняется за такими красотами и наслаждается ими. Вотъ какую непомѣрную глупость мнѣ приписываютъ! И этою глупостію собственнаго сочиненія, объясняютъ, между прочимъ, и мой восторгъ отъ „Войны и Мира“.

Прошу вниманія разумѣющихъ и желающихъ разумѣть читателей; въ настоящей брошюрѣ они увидятъ,

въ чемъ дѣло. Въ такихъ великихъ произведеніяхъ, какъ „Война и Миръ“, всего яснѣе открывается истинная сущность и важность искусства. Поэтому „Война и Миръ“ есть также превосходный пробный камень всякаго критическаго и эстетическаго пониманія, а вмѣстѣ и жестокой камень преткновенія для всякой глупости и всякаго нахальства. Кажется, легко понять, что не „Войну и Миръ“ будутъ цѣнить по вашимъ словамъ и мнѣніямъ, а васъ будутъ судить по тому, что вы скажете о „Войнѣ и Миры“.

Если почитатели этого произведенія найдутъ, что я способствовалъ истолкованію его внутренняго, глубокаго смысла, то это было бы для меня великою и очень желательною похвалою.

1871, 19 февр.

VII.

ОБУЧЕНІЕ НАРОДА.

О народномъ образованіи (статья гр. Л. Н. Толстаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1874, Сентябрь).

I.

Немудрено, что эта статья возбудила всеобщее вниманіе; таково уже свойство всего, что пишетъ гр. Л. Н. Толстой. Сила его заключается не въ необычности содержанія, не въ эффектѣ изложенія, а въ такой простотѣ и искренности, которая дѣйствуетъ въ тысячу разъ сильнѣе всякихъ эффектовъ, и которою каждая его страница сейчасъ же рѣзко отличается отъ всей обыкновенной литературы. Чтобы писать такъ, нужно, прежде всего, очень любить свой предметъ; читатели чувствуютъ, что гр. Л. Н. Толстой заговорилъ о дѣлѣ, которое близко его душѣ, которому онъ посвятилъ много силъ и времени.

Со своей стороны, мы хотимъ здѣсь только указать читателямъ всю великую важность вопроса, поставленнаго гр. Л. Н. Толстымъ. Многіе могутъ ошибиться, принявъ поднимающійся споръ за одно изъ тѣхъ безчисленныхъ разногласій, которыя появляются въ педагогическомъ мірѣ; между тѣмъ, дѣло гораздо важнѣе.

Это — коренной, главный споръ педагоги, это — самый существенный вопросъ, какой только есть въ этой области. Надъ спорами объ обученіи грамотѣ легко посмѣяться, и, вѣроятно, многіе посмѣиваются. Не все ли равно, въ сущности, по какой методѣ учить? Вѣдь цѣль одна — грамотность, и, скорѣе или медленнѣе, а она достигается. Точно такъ, можно сказать, что, кѣмъ бы ни были заведены училища, самими-ли крестьянами, или земствомъ и министерствомъ, — все равно, лишь бы были заведены. Школы, учрежденныя сверху, и школы, возникшія снизу имѣютъ одну цѣль, одинъ смыслъ, и если вѣдомства, стоящія надъ народомъ, хлопчутъ о правильномъ надзорѣ и правильно мѣ обученіи, то вѣдь, это же — не дурное дѣло. Итакъ, больше грамотности, больше школъ — вотъ все, чего надобно желать, чего всѣ одинаково желаютъ. Если же выходятъ разногласія о средствахъ и приѣмахъ, то это неизбежно по слабости самой человеческой природы; но при одинаковости цѣли эти споры не могутъ повредить сущности дѣла.

Такъ могутъ говорить и, вѣроятно, говорятъ многіе, вѣрующіе въ твердость и простоту дѣлъ человеческихъ. Между тѣмъ, все насъ убѣждаетъ, что тамъ, гдѣ возможно благо, возможно и соразмѣрное ему зло; такъ и въ настоящемъ случаѣ проявляется такое искаженіе дѣла, которое тѣмъ печальнѣе, чѣмъ это дѣло важнѣе. Грамотность и образованіе сами по себѣ суть вещи безразличныя; что народъ нужно учить, объ этомъ никто не спорить; но весь вопросъ въ томъ, *чему* учить? И такъ какъ въ этомъ вопросѣ возможны разногласія, то и оказывается, что *цѣли* школы могутъ быть различны, и, слѣдовательно, споръ идетъ о самомъ существѣ дѣла.

Гр. Л. Н. Толстой превосходно поставилъ этотъ во-

просъ. Онъ настоятельно утверждаетъ, какъ утверждалъ и пятнадцать лѣтъ назадъ, что существуетъ разногласіе и недоумѣніе относительно *содержанія* обученія, и что выйти изъ этого разногласія и недоумѣнія можно не иначе, какъ разрѣшивши новый вопросъ: *Кому* нужно предоставить опредѣленіе этого содержанія? *Кто* здѣсь рѣшитель?

Въ самомъ дѣлѣ, если мы предположимъ, что содержаніе народнаго образованія можетъ быть опредѣляемо всякимъ, на основаніи какихъ-нибудь общихъ соображеній, то мы этимъ самымъ предоставимъ каждому свободу рѣшать дѣло по своему. Кто что задумаетъ, тотъ то и сдѣлаетъ, и, слѣдовательно, въ настоящемъ случаѣ, все дѣло будетъ зависѣть отъ учредителей школъ и отъ учителей. Мы имъ даемъ, такимъ образомъ, чрезвычайное право, и прямо отказываемся отъ общаго рѣшенія вопроса. Мы говоримъ какъ будто такъ: кто учить, тотъ пускай и рѣшаетъ вопросъ, чему и какъ учить.

И всѣмъ извѣстно, что есть множество самоувѣренныхъ людей, которые охотно принимаютъ на себя это право и даже считаютъ его своею естественною и неотъемлемою собственностію. Такъ называемые *просвѣщенные* люди обыкновенно такъ горды своимъ образованіемъ, такъ вѣрятъ въ него, что и не задумываются надъ вопросомъ о достаточности своего авторитета. Они думаютъ, что въ своемъ просвѣщеніи стоятъ на совершенно твердой почвѣ, и что всѣ ихъ безчисленные разногласія ничего не значатъ въ сравненіи съ той, будто бы ясной и единой, цѣлью, къ которой они одинаково стремятся. Вотъ узелъ дѣла. Гр. Л. Н. Толстой описываетъ свое положеніе въ этомъ отношеніи слѣдующимъ образомъ:

„Вопросъ этотъ (*въ чемъ состоитъ критеріумъ того, чему и какъ должно учить*), какъ тогда (15 лѣтъ тому назадъ), такъ и теперь представляется мнѣ краеугольнымъ камнемъ всей педагогiи, и разрѣшенію этого вопроса я посвятилъ изданіе педагогическаго журнала „Ясная Поляна“. Въ нѣсколькихъ статьяхъ я старался поставить этотъ вопросъ во всей его значительности и, сколько умѣлъ, старался разрѣшить его. Въ то время я не нашелъ въ педагогической литературѣ не только сочувствiя, не нашелъ даже и противорѣчiй, но совершеннѣйшее равнодушіе къ поставленному мною вопросу. Были нападки на нѣкоторыя подробности, мелочи, но самый вопросъ, очевидно, никого не интересовалъ. Я тогда былъ молодъ, и это равнодушіе огорчало меня. Я не понималъ, что я съ своимъ вопросомъ: почему вы знаете, какъ учить? былъ подобенъ тому человѣку, который бы, положимъ хоть въ собраніи турецкихъ пашей, обсуждающихъ вопросъ о томъ, какъ бы побольше съ народа собрать податей, предложилъ бы имъ слѣдующее: гг., чтобы знать, съ кого сколько податей, надо разобрать вопросъ: на чемъ основано наше право взиманія? Очевидно, всѣ наши продолжали бы свое обсужденіе о мѣрахъ взиманія и только молчаніемъ отвѣтили бы на неумѣстный вопросъ. Но обойти вопроса нельзя. 15 лѣтъ тому назадъ на него не обратили вниманія, и педагоги каждой школы, увѣренные, что всѣ остальные врутъ, а они правы, преспокойно предписывали свои законы, основывая свои положенія на философіи весьма сомнительнаго свойства, которую они подкладывали подъ свои теорiйки“ (стр. 178, 179).

Какъ ни рѣзко сравненіе педагоговъ съ турецкими пашами, и права просвѣщать народъ съ правомъ взиманія

податей, но это сравненіе вполне справедливо, вполне выражаетъ сущность дѣла. Для многихъ педагоговъ народъ не имѣетъ въ этомъ дѣлѣ никакого голоса, никакого значенія, а они, напротивъ, имѣютъ такое же неограниченное право просвѣщать его и образовывать по своему, какъ турецкій паша собирать подати съ своего пашалыка.

Все это вытекаетъ изъ того понятія, которое составилось о просвѣщеніи. Просвѣщенію приписываются всѣ тѣ права, какія мы придаемъ истинѣ, когда разумѣемъ ее въ самомъ чистомъ и совершенномъ видѣ. Нѣтъ авторитета, который бы стоялъ выше авторитета такъ называемаго просвѣщенія. Оно, будто бы, всегда нужно, всегда полезно, и притомъ не только въ полномъ своемъ составѣ, а и въ каждой малѣйшей части, и въ каждой самой слабой степени. Можно подумать, что мы нашли наконецъ то высочайшее и несомнѣнное благо, ради котораго нужно пренебрегать и даже жертвовать всѣмъ остальнымъ. Всякій шагъ на пути къ такъ называемому просвѣщенію, всякое движеніе въ его сторону считается уже приближеніемъ къ такому благу.

Весьма важно здѣсь то, что сторонники этого блага суть вмѣстѣ и его обладатели, такъ что на нихъ переходитъ тотъ авторитетъ, который приписывается просвѣщенію. Просвѣщеніе не есть авторитетъ, стоящій выше самихъ просвѣщенныхъ людей; по самому понятію своему, оно въ нихъ и заключается, и нигдѣ въ иномъ мѣстѣ и быть не можетъ. По крайней мѣрѣ, таково обыкновенное понятіе объ этомъ дѣлѣ. Насъ увѣряютъ, что просвѣщеніе въ дѣйствительности вполне соотвѣтствуетъ своей идеѣ; что оно дѣлаетъ человѣка вполне самостоятельнымъ, освобождаетъ его умъ отъ всякихъ

путь, даетъ ему возможность самому изслѣдовать вещи, самому черпать изъ источниковъ истины, и, слѣдовательно, даетъ ему право на такъ называемыя *убѣжденія*, на свое собственное рѣшеніе вопросовъ. Вотъ почему просвѣщенный человѣкъ не есть *служитель* просвѣщенія, а есть, какъ говорятъ, его *носитель*.

Понятна отсюда та увѣренность, съ которою поступаютъ просвѣщенные люди, когда вздумаютъ обучать народъ, то есть массу, не имѣющую, по ихъ мнѣнію, никакого просвѣщенія. Они, во-первыхъ, ни мало не сомнѣваются, что, трудясь надъ этимъ дѣломъ, принесутъ народу самую существенную пользу, какая только возможна, а во-вторыхъ, что каждый изъ нихъ имѣетъ право самъ рѣшить, чему именно слѣдуетъ учить народъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь они должны передавать народу то просвѣщеніе, которое въ нихъ самихъ заключается, и слѣдовательно, каждый будетъ сообщать ему то пониманіе вещей, въ которомъ убѣжденъ, и будетъ вести его тѣмъ путемъ, который считаетъ несомнѣннымъ. Вотъ отчего такіе учителя народа являются нѣкотораго рода проповѣдниками, дающими отвѣты на всякіе вопросы и употребляющими всякій предметъ, всякій случай для вразумленія своихъ духовныхъ дѣтей. Гр. Л. Н. Толстой дѣлаетъ по этому поводу очень глубокое замѣчаніе. Выписавши наставленіе одного педагога о томъ, какъ вести такого рода бесѣды, онъ говоритъ:

„Невольно представляется вопросъ, — знаютъ, или не знаютъ дѣти все то, чтò имъ такъ хорошо рассказываетъ въ этой бесѣдѣ? Если ученики все это знаютъ, то къ слову, на улицѣ или дома, тамъ, гдѣ не нужно „поднимать лѣвой руки, вѣрно умѣютъ все сказать болѣе красивымъ и русскимъ языкомъ, чѣмъ имъ велятъ

„это тутъ сдѣлать; никакъ не скажутъ, что лошадь *покрыта* шерстью; если такъ, то для чего имъ приказано „повторять эти отвѣты такъ, какъ ихъ сдѣлалъ учитель? „Если же они не знаютъ этого (чего, кромѣ любимаго „суслика, нельзя допустить), то является вопросъ: чѣмъ „будетъ *учитель руководствоваться* въ такъ важно называемой „программѣ вопросовъ? *Наукой ли зоологій? или логикой? или наукой краснорѣчія?* Если же *никакою* изъ нихъ, а только желаніемъ разговаривать о *видимомъ* въ предметахъ, то *видимаго* въ предметахъ *такъ много* и *такъ оно разнообразно*, что необходима *путеводная нить*, о чемъ говорить, а при наглядномъ обученіи нѣтъ и не можетъ быть этой нити“.

„Всѣ знанія человѣческія только затѣмъ и подраздѣлены, чтобы можно было ихъ удобнѣе собирать, приводить въ связь и передавать, и эти подраздѣленія называются науками. *Говорить же о предметахъ внѣ научныхъ разграниченій* можно чтò хотите и всякій вздоръ, какъ это мы и видимъ“ (стр. 159, 160).

Вотъ превосходное указаніе на самый существенный пунктъ. Гр. Л. Н. Толстой справедливо находитъ нелѣпымъ право учителя говорить о всевозможныхъ предметахъ, ничѣмъ не руководясь, кромѣ своихъ собственныхъ соображеній. А откуда это право? Очевидно, изъ того преувеличеннаго понятія о дѣлѣ, которое имѣютъ педагоги. Они очень расположены воображать учителя въ роли просвѣщеннаго человѣка, попавшаго въ страну дикихъ. Учитель—это маленькое свѣтило во тьмѣ, свѣтило, которому и подобаешь свѣтить уже собственнымъ свѣтомъ. Онъ учитъ и говорить, и мыслить, и открывать истину въ вещахъ. Вотъ почему онъ и можетъ выбирать всякіе предметы, какіе вздумаетъ.

Между тѣмъ, естественно, что несостоятельность такихъ претензій должна обнаруживаться на каждомъ шагу. Не только учителя, но и наставники этихъ учителей не умѣютъ ни образцово говорить, ни образцово мыслить, ни вѣрно открывать истину. Они—люди обыкновенные и не могутъ обладать силами, которыя и людямъ необыкновеннымъ доступны только отчасти. Между тѣмъ, учителя пытаются сыграть свою роль, и вотъ выходитъ комедія—являются безчисленные нелѣпости, неточное употребленіе словъ, неточные логическіе выводы, извращенныя и спутанныя свѣдѣнія. Выходитъ вздоръ всякаго рода и вида, и этимъ безчисленнымъ вздоромъ угощаются ученики, и это называется просвѣщеніемъ народа!

Устранить это зло есть очевидно только одно средство,—именно предложить народу образцовую рѣчь, образцовое мышленіе, правильное знаніе. Такія сокровища у насъ есть, хотя неполныя и немногія, и гр. Л. Н. Толстой правильно указываетъ, гдѣ ихъ искать:—въ наукахъ, т. е. въ тѣхъ систематическихъ совокупностяхъ знаній, которыя, въ бѣльшемъ или меньшемъ совершенствѣ, выработаны человѣческимъ умомъ въ теченіе долгихъ вѣковъ его дѣятельности. Странно, что педагоги какъ будто забыли дѣйствительное значеніе наукъ, забыли, что эти произведенія человѣческаго духа суть очень опредѣленные и своеобразные организмы, которыми нельзя распоряжаться по произволу, и которые нужно или брать какъ они есть, или вовсе ихъ не брать. Если я хочу учить народъ, то я еще могу предлагать ему механику, или химію, или анатомію, — смотря по своимъ соображеніямъ; но менѣе всего я имѣю право перепутать все это вмѣстѣ, или склеить что нибудь но-

вое и воображать, что создалъ такимъ образомъ наилучшую пищу для ума народа. Между тѣмъ, педагоги, вообразивши себя какими-то воплощеніями научнаго духа, такъ именно и поступаютъ. У нихъ появились какія-то новыя науки: *природовѣдѣніе, отечествовѣдѣніе, міровѣдѣніе* и т. п. Даже не разбирая этихъ явленій, а только судя по общимъ условіямъ образованія наукъ, можно заранѣе сказать, что эти попытки должны безконечно грѣшить противъ истиннаго научнаго духа, то-есть, что въ нихъ нѣтъ именно того, что одно нужно—правильнаго развитія мысли и точнаго пониманія. Фразерство, поверхность умственной работы,—вотъ неизбѣжные плоды этихъ мнимыхъ наукъ. Въ газетахъ смѣялись надъ тѣмъ, что ученики народныхъ школъ называли птицъ *воздушными явленіями*, человѣка *растеніемъ*, а картофель *ископаемымъ*; но если бы ученики были вышколены и такъ, что не путали бы множества сообщаемыхъ имъ терминовъ, они не ушли бы отъ болѣе глубокаго зла, отъ воображенія, что они что-нибудь знаютъ, тогда какъ ничему не учились, какъ слѣдуетъ.

Итакъ, не учителя нужно брать мѣрою обученія, а какіе-нибудь помимо его существующіе предметы и явленія. Если мы скажемъ: учитель долженъ научить дѣтей ариметикѣ, правильно писать, понимать Евангеліе, и т. д., то мы, очевидно, даемъ ему задачу совершенно опредѣленную, и притомъ такую, которой смыслъ и достоинства не отъ него зависятъ, а заключаются въ ней самой. Точно такъ, если отъ школы требуется, чтобы ученики знали геометрію Эвклида, или могли читать Цезаря и Тацита, то мы заранѣе увѣрены, что дѣтямъ будетъ предложена настоящая наука, и что они будутъ изучать образцовую рѣчь, а не одни

соображенія и способы выраженія учителя, въ достоинствѣ которыхъ нельзя быть увѣреннымъ. Такая постановка дѣла всего естественѣе, всего сообразнѣе съ обыкновенными силами людей, и одна можетъ вести къ цѣли, то-есть къ распространенію настоящаго образованія и къ избѣжанію всякаго фальшиваго и половинчатаго знанія, всѣхъ тѣхъ уродливостей, которыя въ этомъ дѣлѣ возможны, чѣмъ во многихъ другихъ. Но если принять этотъ взглядъ, то учителю уже нельзя будетъ толковать о всевозможныхъ вещахъ; придется отказаться отъ энциклопедизма, отъ общихъ понятій, и ограничиться немногими *избранными* предметами. И, слѣдовательно, во всей силѣ явится вопросъ гр. Л. Н. Толстаго: *чему* слѣдуетъ учить, и *кто* долженъ выбирать предметы обученія?

Главный же принципъ, который нужно признать въ этомъ случаѣ, состоитъ, какъ мы видѣли, въ томъ, что педагогія должна отказаться отъ верховнаго авторитета въ дѣлѣ народнаго образованія, точно такъ, какъ каждый учитель долженъ отказаться отъ своего личнаго авторитета просвѣщеннаго человѣка, въ пользу авторитета той науки, того языка, которымъ онъ учитъ. Не педагогія должна рѣшать, чему учить народъ; это рѣшеніе принадлежитъ высшей области—той культурѣ, религіозной, умственной, художественной, которая существуетъ на лицо въ настоящую минуту. Педагогія любитъ разсматривать народъ какъ *tabula rasa*, какъ массу человѣческихъ душъ, въ которой ничего нѣтъ, гдѣ все нужно начинать съ самаго начала. Между тѣмъ, въ народѣ есть культурныя начала, и педагогія должна имъ *служить*, какъ учитель служить той наукѣ, которую преподаетъ. У народа есть языкъ, религія, есть даже своя любимая литература—церковно-славянская;

слѣдовательно, нужно учить народъ читать и писать, нужно дать ему ариѳметику, потребность въ которой ему ясна какъ нельзя болѣе, и прибавить сюда церковно-славянское чтеніе. Въ этомъ будетъ состоять *русская грамотность*, первая степень образованія,—задача вовсе не легкая, если бы мы вздумали выполнять ее съ совершенной полнотою и отчетливостію.

Если теперь мы вздумаемъ пойти дальше, то предметы *среднихъ* и *высшихъ* степеней образованія мы точно также должны опредѣлять не по отвлеченнымъ соображеніямъ, а согласно съ существующей культурой, съ тѣмъ самымъ принципомъ, на которомъ основывается, напримѣръ, раздѣленіе каѳедръ въ университетахъ и въ академіяхъ наукъ. Для cadaго возраста нужно только *выбирать*, а не создавать вновь предметы обученія.

II.

Мы говорили о предметахъ обученія; теперь поговоримъ о его способахъ.

Въ этомъ отношеніи, мы находимъ у педагоговъ такія же преувеличенныя мнѣнія, какъ и въ ихъ понятіяхъ о томъ, что просвѣщеніе составляетъ какой-то цѣльный взглядъ на міръ, который возможно и должно передавать сперва учителямъ, а черезъ нихъ и учащимся. Относительно методовъ обученія у педагоговъ есть столь же высокій идеалъ, котораго они мечтаютъ достигнуть; они стремятся найти—а многіе увѣрены, что уже нашли—такой методъ, по которому могутъ *развивать* человѣческую душу, даже болѣе—*растить* ее, то-есть совершать дѣло, обыкновенно приписываемое самой при-

родѣ. Гр. Л. Н. Толстой приводитъ слѣдующія слова г. Евтушевскаго:

„Не вдаваясь въ широкую область спорнаго вопроса о *„врожденныхъ способностяхъ* человѣка, мы видимъ только, что ребенокъ не можетъ имѣть врожденныхъ представлений и понятій о предметахъ реальныхъ, — *ихъ нужно* *образовать*, и отъ искусства образованія *ихъ со стороны воспитателя и учителя* зависитъ какъ ихъ правильность, такъ и прочность. Въ *уходѣ за развитіемъ души* ребенка нужно быть *гораздо осторожнѣе*, нежели въ *уходѣ за его тѣломъ*. Если пища для тѣла и различныя тѣлесныя упражненія подбираются, какъ по количеству, такъ и по качеству, сообразно съ возрастаніемъ *человѣка*, тѣмъ болѣе нужно быть осторожнымъ въ *выборѣ* пищи и упражненій для ума. Разъ положенное *дурно* основаніе будетъ шатко поддерживать все на немъ *„укрѣпляющееся“* (*Отечеств. Зап.* 1874. Сентябрь, стр. 155).

Вотъ довольно ясное изложеніе господствующихъ мнѣній. Педагоги почему-то увѣрены, что надъ душою они имѣютъ гораздо больше силы, чѣмъ надъ тѣломъ *человѣка*. Относительно тѣла никто не рѣшится отрицать прирожденные особенности въ каждомъ недѣлимомъ, но относительно души вопросъ кажется „спорнымъ“, такъ что не будетъ нелѣпости держаться и того мнѣнія, что всѣ душевныя свойства *человѣка* зависятъ отъ воспитанія. Поэтому, относительно тѣла можно еще надѣяться, что *человѣкъ* и безъ всякихъ особыхъ заботъ, безъ тщательнаго выбора пищи и гимнастическихъ упражненій, вырастетъ не калѣкою, не уродомъ, что у него всѣ члены разовьются хорошо; но относительно души надобно быть *гораздо осторожнѣе*: „разъ положенное дурно основа-

ніе“, говоритъ г. Евтушевскій, „будетъ шатко поддерживать все на немъ укрѣпляющееся“. Это значитъ, что педагогъ какъ будто самъ строить какія-то части въ душевномъ организмѣ ребенка, строить безъ пособія силъ природы, и потому возведетъ шаткое зданіе, если положить непрочное основаніе.

Въ этихъ мнѣніяхъ, конечно, есть доля справедливости. Дѣйствительно, душа многообразнѣе, подвижнѣе, впечатлительнѣе, богаче формами, чѣмъ тѣло *человѣка*. Всѣ вліянія принимаются ею быстрѣе и дѣйствуетъ на нее глубже, чѣмъ на тѣло. Однако же, самостоятельности, самобытности, упругости, вѣрности внутреннимъ законамъ развитія—въ ней не меньше. Размѣры и характеръ нравственныхъ и умственныхъ силъ *человѣка* опредѣляются природою, а не воспитаніемъ. *Уходъ за душою* *человѣка*, какъ выражается г. Евтушевскій, не можетъ имѣть болѣшихъ результатовъ, чѣмъ *уходъ за* *какимъ-нибудь растеніемъ*. Листья сдѣлаются больше, стебель укоротится, плоды станутъ сочнѣе; но форма листьевъ и плодовъ, всѣ ихъ видовыя особенности, всѣ существенныя свойства останутся тѣ же. Такъ и *человѣкъ*; *каковъ въ колыбелькѣ, таковъ и въ могилку*. Только для поверхностнаго взгляда, для посторонняго наблюдателя, можетъ показаться, что *человѣкъ* измѣнился въ своей натурѣ, въ существенныхъ чертахъ; спросите мать, отца, которые знаютъ каждую минуту его жизни,—они часто вамъ скажутъ: да онъ таковъ съ трехъ лѣтъ.

Итакъ *прирожденные способности* нельзя считать „спорнымъ вопросомъ“; это дѣло очевидное и несомнѣнное. Воспитатель не можетъ надѣяться и не долженъ брать на себя—передѣлать душу *человѣка*, измѣнить ея силы; эти силы, нравственная и умственная

природа человека, составляют для педагога нечто *данное*, от него независимое; самое развитие ихъ точно также совершается помимо его усилий, само собою; ему предстоитъ только способствовать этому развитію, оберегать его, давать ему просторъ и пищу, устранять препятствія, а не создавать и направлять его по своему.

Есть, однако же, область душевной жизни, въ которой воспитаніе имѣетъ, по видимому, больше силы и которая, поэтому, внушаетъ педагогѣмъ преувеличенныя притязанія; это область *умственной* дѣятельности, самая подвижная, самая измѣнчивая, и многообразная. Натуру человека измѣнить нельзя; но можно укрѣпить данныя ему силы, и всего больше, по видимому, силу ума, которую такъ легко упражнять; мало того,—не будучи въ состояніи дать воспитываемому умъ высшаго качества, чѣмъ у него есть, мы можемъ, однако же, сообщить ему множество *познаній*, можемъ *обогащать* ими даже слабый умъ. Понятно, что здѣсь открывается для педагогѣмъ самое широкое поприще.

„Ребенокъ“, пишетъ г. Евтушевскій, „не можетъ имѣть врожденныхъ представленій и понятій о предметахъ реальныхъ—ихъ нужно образовывать“. Еще общѣе это можно выразить такъ: качества ума ребенка отъ насъ не зависятъ; но отъ насъ зависитъ то, въ какомъ порядкѣ и какіе предметы будетъ познавать этотъ умъ; словомъ—умъ есть пустая форма; наполнить ее надлежащимъ содержаніемъ—вотъ важная задача воспитателя.

Эту задачу—самую доступную, самую очевидную,—преимущественно и разрабатываетъ современная педагогія. Но она зашла въ своихъ понятіяхъ объ этой задачѣ до самыхъ странныхъ преувеличеній. Она вообра-

зила, что она можетъ и должна дать учащемуся *все содержаніе*, какое способенъ получить его умъ, и что она знаетъ тотъ *наилучшій* порядокъ, при которомъ одною это содержаніе пріобрѣтается надлежащимъ образомъ. Такое притязаніе слышится и въ словахъ г. Евтушевскаго: „нужно“, говоритъ онъ, „*образовать понятія*“ (подразумѣвается: въ головѣ ученика); „правильность ихъ и прочность (въ головѣ ученика) зависитъ отъ искусства образованія ихъ со стороны воспитателя и учителя“ (стр. 155).

Такимъ образомъ, педагогъ готовъ смотрѣть на ребенка какъ на существо неимѣющее *никакихъ понятій*, по крайней мѣрѣ, *никакихъ „правильныхъ и прочныхъ“ понятій*, и беретъ на себя *образовать въ немъ* такія понятія. Умъ учащагося разсматривается не только какъ *tabula rasa*, а даже какъ доска Богъ-знаетъ чѣмъ засоренная и испачканная, которую нужно обметать, вымывать и чертить на ней что слѣдуетъ. Порядокъ этого начертыванія вполне зависитъ отъ педагога и долженъ быть послѣдовательный и постепенный, сообразный плану, заранее утвержденному педагогомъ.

Вотъ взглядъ на дѣло, который прямо ведетъ къ мученію дѣтей, къ безплоднымъ усиліямъ учителей, къ фальши и безтолковщинѣ, и который основывается на явной ошибкѣ въ пониманіи природы человека. Положимъ, что умъ есть сила формальная: но эта сила не можетъ не дѣйствовать, ни даже существовать безъ нѣкотораго содержанія. Педагоги напрасно воображаютъ, что ученикъ къ нимъ является не имѣя никакого содержанія въ своемъ умѣ, и также, что они могутъ распоряжаться этимъ умомъ, вливать въ него все, что имъ вздумается. И въ томъ и въ другомъ случаѣ они очень

заблуждаются. Умъ принимаетъ только то, что самъ хочетъ, что для него интересно, и онъ наполняется содержаниемъ постоянно, съ первой минуты сознанія. Тотъ впадетъ въ величайшую нелѣпость, кто подумаетъ, что вполне овладѣлъ таинственнымъ процессомъ познанія, этимъ сочетаніемъ умственной формы и умственного матеріала въ нераздѣльное и неслиянное единство.

Послѣдствія, проистекающія отъ неправильнаго взгляда всего нагляднѣе доказываютъ его неправильность. Гр. Л. Н. Толстой возмущается тѣмъ, что съ крестьянскими дѣтьми педагоги бесѣдуютъ такъ, какъ будто въ умѣ этихъ дѣтей была совершенная пустота.

„Можетъ быть“, говоритъ онъ, „дѣти готтентотовъ, негровъ, можетъ быть иныя нѣмецкія дѣти могутъ не знать того, что имъ сообщаютъ въ такихъ бесѣдахъ; но русскія дѣти, кромѣ блаженныхъ, всѣ, приходя въ школу, знаютъ не только, что *внизъ*, что *вверхъ*, что лавка, что столъ, что двое, что одинъ и т. п., но, по моему опыту, крестьянскія дѣти, посылаемые родителями въ школу, всѣ умѣютъ хорошо и правильно выражать свои мысли, умѣютъ понимать чужую мысль (если она выражена по-русски) и знаютъ считать до 20-ти и болѣе; играя въ бабки, считают парами, шестью, и знаютъ, сколько бабокъ и сколько паръ въ шестерѣ. Очень часто, приходившіе ко мнѣ въ школу ученики приносили съ собой задачу гусей и разъясняли ее“ (Стр. 157, 158).

Итакъ, дѣти являются съ готовыми понятіями, съ готовымъ языкомъ, съ зачатками ариметики.

„Въ Россіи“, замѣчаетъ далѣе гр. Л. Н. Толстой, „мы часто говоримъ дурнымъ языкомъ, а народъ всегда хорошимъ“. „Мужикъ и крестьянскій мальчикъ скажутъ

„совершенно справедливо, что весьма трудно понимать, что говорятъ эти существа — подразумѣвая учителей. Незнаніе народа такъ полно въ этомъ мірѣ педагоговъ, что они смѣло говорятъ, будто бы въ крестьянскую школу приходятъ дикари, и потому смѣло учатъ ихъ тому, что *внизъ* и что *вверхъ*, что классная доска стоитъ на подставкѣ и подъ нею лоточекъ. Они не знаютъ того, что если бы ученики спрашивали учителя, то очень много бы оказалось вещей, которыхъ не знаетъ учитель; что если, напримѣръ, стереть краску съ доски, то всякій почти мальчикъ скажетъ, изъ какого дерева эта доска: еловая, липовая или осиновая, — чего не скажетъ учитель; что про кошку и курицу мальчикъ разскажетъ всегда лучше учителя, потому что наблюдалъ ихъ больше учителя; что вмѣсто задачи о возахъ мальчикъ знаетъ задачи о воронахъ, о скотинѣ, о гусахъ. Педагоги нѣмецкой школы и не подозрѣваютъ той смѣтливости, того настоящаго жизненнаго развитія, того отращиванія отъ всякой фальши, той готовой насмѣшки надъ всѣмъ фальшивымъ, которая такъ присуща русскому крестьянскому мальчику“ (стр. 173, 174).

И всѣмъ этимъ умственнымъ богатствомъ педагоги пренебрегаютъ, какъ будто оно ни къ чему не годится; этихъ самыхъ дѣтей они принимаютъ *развивать*, они выдумали искусство образовывать въ маленькихъ головахъ правильныя, настоящія понятія. На этомъ основаны всякаго рода *наглядныя обученія*, разныя бесѣды, въ которыхъ непрерывнымъ спрашиваніемъ дѣти наводятся на признаки желаемого понятія и будто бы получаютъ его въ первый разъ въ надлежащей ясности. Въ дѣтяхъ, будто бы, совершается при помощи учителя вполне отчетливый и раздѣльный умственный процессъ.

Какъ мы уже замѣтили, тутъ большая ошибка. Умъ не можетъ быть приведенъ въ дѣйствіе чисто *механически*, одними внѣшними возбужденіями или побужденіями. Настоящимъ образомъ онъ начинаетъ дѣйствовать только тогда, когда имѣетъ къ тому свой собственный, *внутренній* интересъ. Въ самомъ чистомъ видѣ этотъ интересъ является въ видѣ опредѣленнаго *вопроса*, вытекающаго изъ того, чтò уже есть въ умѣ, и требующаго разрѣшенія. Вообще, умственные операціи совершаются не иначе, какъ если впереди видна *цѣль* этой дѣятельности; въ этомъ состоитъ отличіе ума отъ слѣпыхъ безсознательныхъ силъ. При обученіи, самымъ простымъ и очевиднымъ интересомъ является *новость* предметовъ, возбуждающая и поддерживающая уже существующую въ дѣтскихъ душахъ любознательность. Ребенокъ увѣренъ заранѣе, что онъ многого не знаетъ, что учитель умнѣе и свѣдущѣе его; но эта вѣра возбуждаетъ только вниманіе ученика, которое, если оно долго понапрасну напрягается, обращается въ недоумѣніе и скуку; дѣятельность же ума возбуждается въ ученикѣ только тогда, когда онъ завидѣлъ цѣль, когда онъ самъ по себѣ, безъ помощи учителя, чувствуетъ въ себѣ интересъ къ предмету обученія.

Между тѣмъ, чтò дѣлается при томъ обученіи, которымъ добиваются такъ называемаго развитія? Гр. Л. Н. Толстой привелъ нѣсколько примѣровъ этихъ хитрыхъ бесѣдъ, и эти примѣры поразили читателей своею безсодержательностью, отсутствіемъ въ нихъ всякаго интереса для познанія. Онъ справедливо замѣчаетъ, что „всякій ученикъ 6-ти, 7-ми, 8-ми и 9-ти лѣтъ *ничего не пойметъ* изъ этихъ вопросовъ именно потому, что онъ „все это знаетъ и не можетъ понять, о чемъ говорить“

(стр. 157). „Русскій ребенокъ не можетъ и не хочетъ „вѣрить (онъ имѣетъ слишкомъ большое уваженіе къ учителю и къ себѣ), чтобы его серьезно спрашивали: „потолокъ внизу или наверху? или — сколько у него „ногъ?“ (стр. 165).

Но такъ какъ, однакоже, отъ учениковъ требуется, чтобы они отвѣчали, то умъ ихъ направляется къ этой цѣли, и смышленные мальчики, не зная сами, для чего, научаются говорить, чтò нужно. „Результатъ бесѣды будетъ тотъ“, говоритъ гр. Л. Н. Толстой, „что дѣтямъ „или велятъ выучить слова учителя, или свои слова передѣлать, помѣстить въ извѣстномъ порядкѣ (и порядкѣ не „всегда правильномъ), запомнить и повторить“ (стр. 160).

Поэтому, элементъ принужденія и механическаго затверживанія необходимо долженъ войти въ такое обученіе. Гр. Л. Н. Толстой съ особенною настойчивостію указываетъ и объясняетъ это слѣдствіе методы, которая, повидимому, кладетъ въ основаніе самое свободное дѣйствіе ума учащихся.

„Въ школѣ“, говоритъ онъ, „царствуетъ постоянный внѣшній порядокъ, и дѣти находятся подъ постояннымъ страхомъ и могутъ быть руководимы только при „величайшей строгости. Г. Королевъ упомянулъ вскользь „о томъ, что при звуковомъ обученіи не пренебрегаются „колотушки. Я видѣлъ это въ школахъ нѣмецкой манеры „и полагаю, что безъ колотушекъ невозможно обойтись „въ новой нѣмецкой школѣ, такъ какъ она, точно также „какъ церковная школа, учить не спрашиваясь о томъ, „чтò интересно знать ученику, а учить тому, чтò по „убѣжденію учителя кажется нужнымъ, и потому школа эта „можетъ основываться только на принужденіи“ (стр. 176).

Вотъ то живое, непосредственное и ясное отношеніе,

которое гр. Л. Н. Толстой принялъ за исходную точку своихъ разсужденій. Необходимость принужденія доказываетъ, что тѣ готовыя мѣрки развитія, которыя употребляются педагогами, не годятся для учащихся, что онѣ остаются безъ отзвѣа въ душѣ учениковъ, или даже встрѣчаютъ противодѣйствіе. Чтобы достигнуть непринужденности, остается одно средство—дать свободу уму ученика, и, слѣдовательно, примѣняться къ его движеніямъ.

„Никто, вѣроятно, не станетъ спорить, что наилучшее отношеніе между учителемъ и учениками есть отношеніе естественности, что противоположное естественному отношенію есть отношеніе принудительности. Если это такъ, то мѣрило всѣхъ методовъ состоитъ въ большей или меньшей естественности отношеній, и потому въ меньшемъ или большемъ принужденіи при ученіи“. — „Въ той мысли, что для успѣшнаго обученія нужно не принужденіе, а *возбужденіе интереса въ ученикѣ*, согласны всѣ педагоги противной мнѣ школы. Разница между нами только та, что это положеніе о томъ, что ученіе должно возбуждать интересъ ребенка, у нихъ затеряно въ числѣ другихъ, противорѣчащихъ этому, положеній о *развитіи*, въ которомъ *они увѣрены и къ которому принуждаютъ*; тогда какъ для возбужденія интереса въ ученикѣ, наивозможнѣйшее облегченіе, и потому непринужденность и естественность ученія, считая *основнымъ и единственнымъ мѣриломъ* хорошаго и дурнаго ученія“ (стр. 183).

Вотъ плодотворное начало, которымъ нужно руководиться при обученіи. Ученикъ не долженъ быть разсматриваемъ, какъ безформенный матеріалъ, какъ пустой сосудъ, въ которомъ учитель строить и образуетъ

тѣ понятія, какія захочетъ. Ученикъ есть живое существо, самостоятельно развивающееся, и отъ насъ требуется давать ему то, на что у него есть требованіе, а не то, что мы хотимъ. Какъ таинственно растетъ и развивается его тѣло, такъ точно таинственно растетъ и развивается его умъ. Учитель не производитъ этого развитія и не управляетъ имъ, онъ только даетъ ему пищу, онъ только упражняетъ тѣ органы, которые уже выросли и окрѣпли. Явилась у ребенка способность образовывать *понятія*, явилась въ его умѣ категорія *числа*—пусть учитель упражняетъ эту способность и укрѣпляетъ эту категорію, никакъ не мечтая, будто онъ самъ ихъ создалъ, или еще долженъ создать. То, что само растетъ въ душѣ, то одно живо и сильно; нужно только слѣдить за этимъ ростомъ и имъ пользоваться.

Но если такъ, то оказывается, что роль педагога гораздо проще, скромнѣе и естественнѣе, чѣмъ ее обыкновенно воображаютъ. Его главная потребность — *живой тактъ*, который бы давалъ ему понимать то, что дѣлается въ душѣ ученика. Не въ томъ дѣло, чтобы по своему образовывать понятія въ головѣ ребенка — задача едва ли достижимая,—а въ томъ, чтобы только наблюдать, какъ они у него образуются, и помогать этому образованію. Такимъ образомъ, учитель вовсе не есть господинъ развитія учащихся,—онъ его слуга. Роль педагога во всѣхъ отношеніяхъ служебная. Не онъ создаетъ, и даже не онъ выбираетъ предметы обученія — эти предметы даны ему существующею культурою, опредѣлены умственными потребностями народа. Точно такъ, не онъ создаетъ способности воспитываемаго лица и опредѣляетъ порядокъ и степень ихъ развитія; онъ только даетъ имъ пищу, только открываетъ имъ поприща, на

которыхъ они могутъ дѣйствовать. Педагогу слѣдуетъ не изобрѣтать новыя задачи, не мечтать о томъ, какъ дать новое направленіе душевной и умственной жизни человѣчества, ему нужно только сознать задачи, даваемые сущностію дѣла, и подчиняться имъ. Тогда его трудъ сдѣлается опредѣленнѣе, проще, и по тому самому возможнѣе и полезнѣе: онъ будетъ отъ себя требовать не столько проникновенія въ тайны душевной природы человѣка, сколько терпѣнія и любви; и вмѣстѣ будетъ чувствовать, что служить нѣкоторому великому дѣлу, одинаково стоящему какъ выше учениковъ, такъ и выше его самого.

Читавшіе статью гр. Л. Н. Толстаго, намъ кажется, согласятся, что она проникнута именно этимъ духомъ. Искренняя и чуткая любовь къ народу не могла не указать нашему поэту на самыя правильныя и естественныя отношенія въ этомъ практическомъ, жизненномъ вопросѣ.

(Гражданинъ 1874, № 48 и 50).

VIII.

Чѣмъ люди живы (Въ журналѣ „Дѣтскій Отдыхъ“, Москва, 1881, т. III, стр. 407—434).

Новое произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, на которое, конечно, съ жадностію бросились всѣ его почитатели, произвело на этотъ разъ особенно сильное впечатлѣніе. Когда этотъ голосъ раздается среди шума нашей литературы, онъ всегда покрываетъ этотъ шумъ, покрываетъ не блескомъ и трескомъ, а тѣмъ тономъ искренности и простоты, передъ которымъ всѣ другія, и даже громкія, рѣчи вдругъ начинаютъ казаться напускною реторикой, умышленною шумихой. Но на этотъ разъ, въ маленькомъ рассказѣ Л. Н. Толстаго послышалась еще особая нота, такая глубокая и нѣжная, что она схватила за сердце самыхъ равнодушныхъ. Самое главное достоинство всего рассказа есть, конечно, удивительная сердечная теплота, и легко видѣть, что эта теплота находится въ прямой связи съ занятіями гр. Л. Н. Толстаго въ послѣднее время, о которыхъ, вѣроятно, знаютъ многіе читатели, съ занятіями тою книгой, изъ которой взяты восемь эпиграфовъ, стоящіе передъ рассказомъ. Евангельскій духъ, евангельская точка зрѣнія, вотъ что поразило читателей, поразило неожиданно и неотразимо. Неожиданно потому, что этотъ духъ едва въ насъ теп-

лится, давно заглушенъ и ежедневно заглушается другими вліяніями; неотразимо потому, что онъ явился въ дѣйствительно художественной формѣ, т. е. самой ясной и выразительной изъ всѣхъ формъ.

Чѣмъ люди живы? Они живы любовью, и рассказъ состоитъ въ изображеніи этой животворной любви.

Бѣдный сапожникъ даетъ у себя пріютъ голому нищему; женщина, имѣющая груднаго ребенка, беретъ къ себѣ двухъ только-что родившихся дѣвочекъ, у которыхъ умерла мать.

И любовь скрѣпляется и растетъ; нищій оказывается ангеломъ, а дѣвочки замѣняютъ самыхъ лучшихъ дочерей для своей воспитательницы.

И вотъ, эти подвиги и дѣйствія любви изображены со всею ясностію, то есть изображены не одни внѣшніе поступки, а самыя души людей и то, что происходитъ въ этихъ душахъ. Въ нихъ проявилось чувство дѣйствительной любви, чистой, безкорыстной и простой, и оно-то приводитъ читателя въ умиленіе.

Замѣтимъ, однакоже, что нѣтъ ничего необыкновеннаго въ томъ, что тутъ рассказано. Городскому жителю, и вообще, достаточному человѣку съ удобной квартирой и правильнымъ хозяйствомъ, конечно, покажется трудно взять бѣдняка съ улицы и раздѣлить съ нимъ и свое жилье и свои занятія. Но между бѣдняками, и простыми, и даже образованными, такіе случаи гораздо возможны и не въ диковинку. Точно также, дамѣ, имѣющей груднаго ребенка, не придетъ и въ голову кормить еще другихъ дѣтей, когда она, можетъ быть, не хочетъ кормить и своего. Обставляя свою жизнь удобствами и усложняя ее, мы, очевидно, ставимъ помѣхи сближенію людей, и дѣлаемъ тяжелымъ и даже невоз-

можнымъ то взаимное участіе, которое совершенно просто дѣлается у крестьянъ и бѣдняковъ.

Итакъ, въ рассказѣ Л. Н. Толстаго не совершаются какіе-нибудь чрезвычайные жертвы и подвиги. Да и люди, которые здѣсь дѣйствуютъ, не имѣютъ въ себѣ ничего героическаго; это — самые обыкновенные люди, скорѣе маленькіе, чѣмъ большіе люди, по размѣрамъ своихъ душъ. Сапожникъ Семень — добрый, но простой малый, любящій иногда выпить, какъ всѣ сапожники. Матрена — женщина хозяйственная, говорливая, любопытная и немножко сварливая, — словомъ обыкновеннѣйшая женщина. Купчиха тоже отличается только добротою и мягкостію, развившимися среди менѣе заботливой и трудной жизни. Во всемъ этомъ нашъ авторъ остался вѣренъ самому себѣ. Главный фонъ всѣхъ произведеній Л. Н. Толстаго есть описаніе самыхъ обыкновенныхъ людей и самыхъ обыкновенныхъ событій.

Но откуда же неотразимое впечатлѣніе этого рассказа? Въ чемъ его сила? Безъ сомнѣнія, въ томъ, что художникъ сталъ совершенно въ уровень съ этими людьми, что онъ смотритъ на нихъ не сверху и не снизу, а прямо, какъ на равныхъ, какъ на братьевъ, какъ на своихъ. Онъ даже сталъ говорить ихъ языкомъ, такъ же, какъ онъ здѣсь думаетъ ихъ мыслями и чувствуетъ ихъ чувствами. Тонъ рассказа, поэтому, нѣсколько уклоняется отъ прямого тона самаго художника; это собственно — *народный рассказъ, пересказанный Л. Н. Толстымъ*. Пересказъ этотъ, однако, таковъ, что народное сказаніе дѣлается въ немъ для насъ вполне понятнымъ, исполненнымъ глубокаго смысла, какого мы никогда не сумѣли бы найти въ простомъ народномъ сказаніи. Мы вдругъ начинаемъ понимать, чѣмъ живутъ эти люди, на чемъ

держится эта простая жизнь, какія чувства и мысли составляют ея опору, руководство, отраду, ея главное зерно. Они живутъ—духомъ Христовымъ; они въ немъ видятъ главный смыслъ жизни; они искренно исповѣдуютъ ученіе любви, какъ верховное правило дѣйствій и мыслей; они слѣдуютъ наставленіемъ ангеловъ. Словомъ, они, хотя и малые и слабые люди, но истинные христіане. Вотъ что обнаруживается для насъ изъ разсказа съ неотразимою художественною выпуклостію. Въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ сказать, что художникъ не только не заставляетъ насъ смотрѣть на описанныя лица сверху внизъ, но напротивъ, поднимаетъ насъ до уровня этихъ лицъ, даетъ намъ чувствовать въ ихъ мысляхъ и дѣйствіяхъ вѣяніе истинной жизни, внушаетъ намъ, что отъ насъ самихъ, пожалуй, постоянно несетъ „мертвымъ духомъ“, и что сапожникъ Семенъ со своею семьею болѣе достоинъ общества ангеловъ, чѣмъ мы съ вамп, любезный читатель.

Вотъ въ чемъ, мнѣ кажется, главная прелесть и новость разсказа Л. Н. Толстаго.

(Гражданинъ, 1882, № 10—11).

IX.

ВЗГЛЯДЪ НА ТЕКУЩУЮ ЛИТЕРАТУРУ.

Вы расчесываете у себя зудъ вашего мнѣнія до тѣхъ поръ, пока не станете паршивыми съ головы до ногъ.

Шекспиръ.

I.

Отличительная черта русской литературы, и черта очень печальная, есть ея очевидная *искусственность*, т. е. что она не растетъ естественно изъ нашихъ духовныхъ силъ и жизненныхъ потребностей, а развивается больше всего въ силу побочныхъ вліяній, изъ подражанія, изъ тщеславія, для развлеченія, или изъ разсчета. Таковъ, впрочемъ, общій характеръ всей нашей умственной дѣятельности, и отъ этого происходитъ, что объемъ этой дѣятельности гораздо шире, чѣмъ ея содержаніе. У насъ есть Академія Наукъ, университеты и другія ученые учрежденія, но ученыхъ и учености очень мало. Точно также, пишется и печатается несравненно больше, чѣмъ слѣдуетъ, т. е. пропорція дѣльныхъ книгъ, настоящаго умственнаго труда, необыкновенно мала сравнительно съ другими просвѣщенными странами. Читающая публика растетъ съ каждымъ днемъ, но число серьезныхъ, истинно просвѣщенныхъ читателей ничтожно

и, можно думать, не только не растеть, а убываетъ. У насъ множество газетъ, но политической силы, т. е. настоящаго государственнаго и общественнаго значенія, онѣ почти не имѣютъ.

Въ самомъ дѣлѣ, чтѣ такая русская газета? Стоитъ ли за нею какое-нибудь опредѣленное дѣло, опредѣленная партія? Очевидно, нѣтъ, такъ какъ нѣтъ у насъ дѣлъ и партій, имѣющихъ обязанность и право говорить самостоятельно. Поэтому, въ сущности у насъ газета есть личный органъ ея редактора, и „Московскія Вѣдомости“ однажды весьма правильно объявили себя такимъ органомъ. Въ другихъ странахъ, опредѣленная партія или извѣстное направленіе общественнаго мнѣнія создаютъ себѣ органъ въ газетѣ; у насъ наоборотъ—газета стремится возбудить общественное мнѣніе, образовывать себѣ партію. Такъ точно, въ другихъ странахъ университетъ есть созданіе той учености, которая уже развилась въ обществѣ; у насъ наоборотъ—университетъ стремится насадить ученость въ обществѣ, еще чуждомъ учености. Преимущественно правительство у насъ заботится объ успѣхахъ наукъ и распространеніи просвѣщенія; такъ точно, оно же сочло нужнымъ вызвать въ извѣстной мѣрѣ развитіе общественнаго мнѣнія. Но въ сущности, правительство придаетъ значеніе не партіямъ, а голосамъ отдѣльныхъ лицъ, и наши публицисты не выразители мнѣній общества, а внушители этихъ мнѣній, руководители общества.

Въ новомъ журналѣ „Устой“ мы встрѣтили слѣдующія сѣтованія:

„Въ то время, когда западно-европейскія партіи выработываютъ свои программы на основаніи богатаго опыта жизни, русскія должны ихъ созидать чисто мате-

„матическимъ путемъ, оперируя надъ отвлеченными величинами, или того хуже—надъ иксами. Западно-европейскій публицистъ, утверждая, положимъ, что необходимы такія-то и такія-то реформы, такія-то и такія-то законодательныя мѣры, прямо вамъ сошлетъ на резолюцію такого-то и такого-то митинга, на постановленіе такой-то и такой-то ассоціаціи, на прессу, не имѣющую надобности скрывать истину, и т. д. За него, слѣдовательно, говорить, и въ большинствѣ случаевъ громко и ясно, сама жизнь, и на его долю остается, такимъ образомъ, только нетрудная задача регистраціи. Но чтѣ прикажете дѣлать публицисту русскому?“ и т. д. („Устой“, 1882. №№ 9 и 10, стр. 82).

Все это довольно вѣрно. Но вотъ вопросъ, кто же васъ просилъ быть русскимъ публицистомъ? Откуда такое призваніе? Какъ случилось, что вы избрали себѣ дѣятельность, для которой нѣтъ никакихъ прямыхъ требованій, никакихъ надлежащихъ условій? Чтѣ это за партія, не имѣющая программы, но во чтѣ бы то ни стало желающіе ее составить? Очевидно, роль публициста выбирается только по наслышкѣ, по подражанію, изъ желанія стать руководителемъ, но неизвѣстно въ чемъ и неизвѣстно кого.

И этому отвлеченному публицисту соотвѣтствуетъ его публика, точно такая же отвлеченная. Публика у насъ не просвѣщенная, не проникнутая какими-нибудь опредѣленными идеями, вкусами, ученіями, а только еще стремящаяся къ просвѣщенію, только еще жаждущая идей, ищущая убѣжденій и вкусовъ. Всѣ стараются быть образованными, но никто еще не знаетъ, въ чемъ состоитъ истинное образованіе. Просвѣщеніе у насъ почти не растеть само собой, изъ своихъ естественныхъ кор-

ней, а распространяется сверху, преимущественно усилиями правительства. Молодежь мужская и женская постоянно стекается въ столицы и большіе города, отчасти изъ отвлеченнаго честолюбиваго желанія чему-нибудь учиться, еще больше изъ желанія куда-нибудь дѣвать себя, но главное — изъ расчета на чины и мѣста, для которыхъ образованіе поставлено непремѣннымъ условіемъ. Правительство имѣло сперва въ виду приготовить себѣ нужныхъ людей и, приготовивши, размѣщало ихъ по назначенію; но потомъ оно вполне распустило свою задачу и стало хлопотать о всякаго рода просвѣщеніи, и въ размѣрахъ неограниченныхъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, оно отказалось отъ размѣщенія своихъ питомцевъ, отъ доставленія имъ поприща дѣятельности. Оно вводило къ намъ патентованныя на Западѣ программы и порядки, посылало за границу молодыхъ людей, но не могло само давать направленіе нашему образованію, вливать въ него нѣкоторый духъ; а еще меньше могла быть во власти правительства серіозность и глубина, съ которою принималось просвѣщеніе. Нельзя даровать того, чего не существуетъ; очевидно, само общество, самъ народъ долженъ создать свою серіозную науку, твердое и ясное направленіе своего просвѣщенія. Такъ Ломоносовъ, Державинъ и т. д. создали русскую художественную литературу не въ силу правительственныхъ программъ и указаній, а по внушенію своего генія. Въ научной же сферѣ у насъ не укрѣпилось и не развилось ничего самостоятельнаго. Мы особенно отличились въ тѣхъ наукахъ, гдѣ самостоятельность почти невозможна, въ математикѣ, химіи и т. п. Не нужно, однако, забывать главнаго. Пусть нашъ Чебышевъ одинъ изъ первыхъ математиковъ, пусть Менделѣевъ даже первый химикъ въ мірѣ — Кеплеръ

химіи; но тѣ народы, съ которыми мы желаемъ соперничать, не только производятъ великихъ химиковъ и математиковъ; они могутъ гордиться болѣе — они создали самую химію и самую математику.

Въ наукахъ же нравственнаго міра, то-есть въ тѣхъ, гдѣ есть просторъ для установленія самобытныхъ точекъ зрѣнія, для открытія своихъ особыхъ горизонтовъ, мы ничего почти не сдѣлали. Поэтому, тутъ мы подвергаемся непрерывному и жалкому колебанію. Каждое поколѣніе учится по новымъ европейскимъ книжкамъ философіи, исторіи, юриспруденціи; но далеко еще не успѣютъ наши профессора выслужить своей двадцатипятилѣтній срокъ, какъ оказываются давно уже отсталыми въ сравненіи съ движеніемъ Европы; тогда молодые люди устремляются на вновь явившіяся книги, или на новыхъ европейскихъ профессоровъ, и становятся на нѣкоторое время современными и передовыми, а затѣмъ въ свою очередь запаздываютъ и отстаютъ. Такъ мы вѣчно гонимся за Европой и вѣчно отъ нея отстаемъ. Очевидно, только въ томъ случаѣ, еслибъ у насъ совершалось свое собственное движеніе, мы могли бы поравняться съ нею, или даже перегнать ее.

При такомъ положеніи дѣлъ, чтѣ же такое наша публика, нашъ читающій міръ? Это — масса людей, потерявшихъ всякія точки опоры, не приуроченныхъ ни къ какому дѣлу или интересу, не имѣющихъ никакихъ умственныхъ преданій и авторитетовъ, но сильно возбужденныхъ и вмѣстѣ подавленныхъ требованіемъ образованія. Всякая публика во всѣхъ странахъ міра жаждетъ авторитета, ищетъ готовыхъ мнѣній, печатныхъ указаній, которыя бы каждое утро выводили ее изъ нерѣшительности, помогали ей мыслить и говорить. Газета

въ этомъ случаѣ такъ же необходима, какъ обѣдъ. Но нѣтъ въ мірѣ публики такой боязливой и нерѣшительной, какъ русская; тутъ истинно, кто палку взялъ, тотъ и капраль. Полуобразованные съ робостію затверживаютъ слова и мысли, выдаваемые имъ за выраженіе просвѣщенныхъ взглядовъ, а наши публицисты — большіе мастера терроризовать свою публику и, вмѣсто разъясненія дѣла, пугать ее отсталостію и измѣною разнымъ священнымъ знаменамъ.

Прибавьте къ этому ту зыбкость ума и ту склонность къ идеализму, которыя составляютъ наши природныя черты, и даже преимущественно черты Великорусскаго племени. Способность доходить до послѣднихъ краевъ каждой мысли, отрицать самое завѣтное и легко бросаться отъ одной крайности въ противоположную, порождаетъ въ насъ ту умственную шаткость, отъ которой мы обыкновенно спасаемъ себя какимъ-нибудь упорнымъ старовѣрствомъ, или же безпрекословной, радостной покорностью родинѣ, государству. Склонностью къ идеализму я называю здѣсь то погруженіе въ себя, въ свои мысли, въ силу котораго мы чрезвычайно мало способны къ объективности. Мы ненормально дальнорзки и видимъ въ окружающей дѣйствительности только то, что намъ указываютъ наши мысли; для остальнаго же мы совершенно слѣпы. Отъ этого происходитъ, что мы въ нѣкоторыхъ вещахъ очень щепетильны, очень требовательны, но вообще — небрежны и неряшливы; мы бываемъ при случаѣ такими энтузіастами, или наоборотъ — такими циниками, какихъ еще міръ не производилъ; но мы почти неспособны видѣть предметы въ надлежащемъ свѣтѣ и въ ихъ дѣйствительныхъ размѣрахъ.

При такой подвижности умовъ, при отсутствіи кор-

ней въ нашемъ просвѣщеніи, при господствѣ полуобразованія, естественно, что власть надъ умами существуетъ только одна — авторитетъ Запада. Не тѣ или другія частности, а общее направленіе западной жизни дѣйствуетъ на насъ, не встрѣчая своему вліянію никакихъ серьезныхъ препятствій. А въ чемъ состоитъ теперь это направленіе? На Западѣ, очевидно, одна идея заслонила собою всѣ другія и усиливается съ каждымъ днемъ — *идея политическая*. Религія, искусство, наука отодвинуты на задній планъ, и политика стремится обратить ихъ въ свои служебныя силы. Въ политикѣ ищутъ себѣ исхода нравственныя потребности человѣчества; энергія людей все больше и больше устремляется въ эту сторону, и Западъ, съ свойственной ему послѣдовательностію и твердостію, конечно, будетъ развивать свою идею, пока не изживетъ ее вполне.

Политическая идея выступила на смѣну религіозной идеи, которою до XVIII-го вѣка жила Европа. Новое направленіе жизни, разумѣется, встрѣтило себѣ сопротивленіе въ другихъ историческихъ стихіяхъ, и изъ этого сопротивленія развились различныя реставраціи, иногда высокаго значенія, напр. въ искусствѣ — романтика, въ философіи — гегелизмъ, въ государственной сферѣ — начало національностей. Но политическая идея, какъ такой принципъ, который устанавливалъ новое *единое на потребу*, или обращала эти реставраціи въ свою пользу, или понемногу брала верхъ надъ ними и совершенно ихъ устраняла. Исторія намъ постоянно показываетъ подобное преобладаніе одной стороны жизни надъ всѣми другими, и прогрессъ заключается какъ будто въ томъ, что люди, перебравши эти стороны одну за другою, возвращаются къ началу одного и того же круга.

Всѣмъ этимъ теченіямъ европейской жизни мы подчинялись въ нашемъ умственномъ и литературномъ развитіи. Романтика дала намъ нашу поэзію, нѣмецкая философія возбудила у насъ первое движеніе самостоятельной мысли, движеніе самосознанія. Съ славянофиловъ начинается поворотъ въ нашей умственной жизни. Какъ извѣстно, они—націоналы въ смыслѣ отрицанія космополитическихъ идей; они—самобытники, какъ противники подражательности; они — консерваторы, какъ защитники тѣхъ живыхъ началъ, на которыхъ выросла, окрѣпла и держится Россія. Съ тѣхъ поръ, какъ это направленіе выступило съ такою силою мысли и слова, которая дала ему мѣсто въ высшемъ разрядѣ литературныхъ явленій, направленія въ нашей умственной жизни установились, и началось не только логическое, но и сознательное ихъ развитіе, которое имѣетъ верховное значеніе въ литературѣ и которому предстоитъ далекая будущность. Всѣ наши *русскія партіи*, всякіе консерваторы и патріоты, не только не имѣютъ права отречься отъ славянофильства, а обязаны признавать его существенные принципы и могутъ расходиться только въ частностяхъ, слѣдовательно работать лишь въ пользу болѣе правильнаго и полнаго раскрытія и приложенія этихъ принциповъ. У насъ много безсознательныхъ славянофиловъ, и, какъ не разъ было сказано, весь нашъ простой народъ—такіе славянофилы. Но мы говоримъ здѣсь не о безсознательныхъ явленіяхъ, а объ литературѣ; въ ней мы имѣемъ право требовать сознанія.

Съ появленіемъ славянофильства, и западничество должно было получить настоящій сознательный характеръ; оно также обязано—и стать въ отчетливыя, ясныя отношенія къ *русской идее*, выставляемой славяно-

филами, и сознательно держаться той *западной идеи*, которая все сильнѣе и сильнѣе проникаетъ собою умственную жизнь Европы. Вопросъ поставленъ, формулированъ; уйти отъ него некуда, развѣ только въ легкомысліе или равнодушіе.

II.

Вотъ тѣ точки зрѣнія, съ которыхъ, намъ кажется, слѣдуетъ разсматривать движеніе нашей литературы. Эта литература, представляющая столько отвлеченности и искусственности, разыгрывающая роль образованной, взрослой литературы, плодящая все больше и больше не только поэтовъ и романистовъ, но и партій и ихъ программъ и публицистовъ, пріобрѣтающая съ каждымъ годомъ все большее число читателей, которые жаждутъ идей и руководства, и заимствуютъ отъ нея и всѣ опоры для сужденій и самыя слова для ихъ выраженія,—эта литература естественно должна имѣть преимущественно теоретическій характеръ, должна быть главнымъ образомъ поприщемъ общихъ мѣстъ, общихъ вопросовъ. Но изъ всѣхъ вопросовъ самый существенный и господствующій надъ всѣми другими есть вопросъ объ авторитетѣ Запада, такъ какъ этотъ авторитетъ, непрерывно гнетущій и непрерывно возбуждающій, есть единственный ясный авторитетъ въ нашей умственной средѣ. Противъ него поднялась реакція, заявленъ протестъ, и всѣ наши вражды и партіи сводятся къ этому главному раздвоенію, къ борьбѣ этихъ двухъ началъ.

Давно уже наша умственная исторія совершается одинаковымъ порядкомъ. Со временъ Грибоѣдова и до нашихъ дней, наши мальчики набираются „какихъ-то

новыхъ правилъ“, а отцы въ глупомъ самодовольствѣ восклицаютъ:

Извольте посмотрѣть на нашу молодежь,
На юношей, сынковъ и внучатъ:
Журимъ мы ихъ, а если разберешь,
Въ пятнадцать лѣтъ учителей научатъ!

До нашихъ дней, чтò дѣлаютъ образованные и достаточные люди?

Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ...

До нашихъ дней, люди серьезные молятся все о томъ же:

Чтобъ истребилъ Господь нечистый этотъ духъ
Пустаго, рабскаго, слѣпаго подражанья,
Чтобъ искру заронилъ онъ въ комъ-нибудь съ душой,
Кто могъ бы словомъ иль примѣромъ
Насъ удержать, какъ крѣпкою вожжей,
Отъ жалкой тошноты по сторонѣ чужой.

И, со временъ Грибоѣдова и до нашихъ дней, мы слышимъ о своихъ общественныхъ порядкахъ все тотъ же возгласъ:

Лохмотьевъ Алексѣй чудесно говорить,
Что радикальныя потребны тутъ лѣкарства:
Желудокъ больше не варить!

Въ теченіе шестидесяти лѣтъ, прошедшихъ съ тѣхъ поръ, когда указаны эти черты, существенное положеніе дѣлъ осталось то же, и, если мы станемъ подводить итоги того, чтò сдѣлано у насъ въ наукѣ и литературѣ по этому главнѣйшему вопросу, то нельзя будетъ воздержаться отъ глубокаго унынія. Повидимому, все такъ же обстоитъ, какъ и прежде, и мы только толчемся на

одномъ мѣстѣ. Умственный міръ нашъ *растетъ, но не зрѣетъ*, какъ выражался Чаадаевъ. Даже наоборотъ, можно думать, что нынче западная идея получила нѣкоторый перевѣсъ. Вліяніе ея отчасти обострилось и породило то въ высшей степени злокачественное явленіе, которое называется *нигилизмомъ*. Нигилизмъ есть очень характерное порожденіе нашей земли, въ которомъ равно сказались и западное вліяніе, и нашъ русскій умъ съ его быстротою и отчаянностію. Это—самая послѣдовательная, самая опредѣленная и потому наиболѣе оригинальная и поучительная изъ нашихъ партій. Теперь, когда Бакунины и Крапоткины стали словомъ и дѣломъ работать въ самой Европѣ, мы могли бы злобно посмѣяться и сказать, что уже платимъ Западу долгъ, что уже вносимъ свою долю участія въ его политическое развитіе.

Но какіе же у насъ другіе, болѣе отрадныя успѣхи? Мудрено, очень мудрено сказать. Не будемъ несправедливы; задача—совладать съ западною идеею, конечно, громадная задача, и естественно, что она подавляетъ наши силы. Однакоже, если мы точно великій народъ, то было, кажется, достаточно времени, чтобы совершить какіе-нибудь изъ умственныхъ подвиговъ, которыхъ требуетъ эта задача. Между тѣмъ, мы до сихъ поръ не только въ математикѣ и химіи, а и во всѣхъ другихъ наукахъ, имѣющихъ на Западѣ свое особенное, одностороннее направленіе, рабски слѣдуемъ Европейцамъ. Появились, правда, нѣкоторые прекрасные зачатки, нѣкоторыя довольно твердыя указанія самобытныхъ путей и постановокъ; но нѣтъ ничего цѣлаго, совершеннаго. А что всего печальнѣе—постоянно обнаруживается чрезвычайная слабость научнаго духа, поразительная

неспособность къ общимъ идеямъ, къ ихъ ясному и твердому развитію. Все идетъ порывами, скачками, брызгами, и ничего не выходитъ послѣдовательнаго, полнаго и сознательнаго. Эта черта грустна потому, что отнимаетъ надежду на будущее, заставляетъ сомнѣваться въ годности нашихъ силъ для цѣли имъ поставленной. Собственно говоря, въ литературѣ теперь не господствуютъ опредѣленные теченія, а царитъ полный хаосъ, существуютъ лишь поползновенія, порыванія, а не убѣжденія. Чтобы увѣриться въ этомъ, стоить только обратить вниманіе на то, какъ у насъ одинъ пишущій понимаетъ мысли другаго пишущаго. Онъ всегда такъ ихъ искажаетъ, что, очевидно, не имѣетъ яснаго представленія ни о своей, ни о чужой точкѣ зрѣнія. Между тѣмъ, восторги и негодованія происходятъ великіе, и все усиливаются. Наши публицисты, какъ мы видѣли, никакъ не могутъ составить своихъ программъ; но пугать публику, дразнить ее, подзадоривать и наускивать они умѣютъ превосходно и занимаются такимъ дѣломъ съ величайшимъ усердіемъ. Читатели, даже и тѣ, которые могли бы еще кое-что ясно видѣть, совершенно дурѣютъ отъ этихъ непрестанныхъ возбужденій и уже ничего не видятъ въ правильномъ свѣтѣ и видѣ. Есть люди, которые занимаются такимъ омраченіемъ или мороченьемъ публики долгіе годы, и со стороны невозможно не удивляться, какъ совѣсть ни разу не подсказала имъ, что они сами слѣпы, сами не имѣютъ опредѣленной мысли, и, слѣдовательно, не дѣлаютъ ничего хорошаго, упражняясь въ напусканіи въ чужія головы той путаницы, какая царитъ въ ихъ собственной. Вѣроятно, они извиняютъ себя извѣстнымъ ученіемъ, что всякое движеніе, всякая кутерьма лучше, чѣмъ застой и спокойствіе, т. е.

что въ разсужденіи прогресса цѣль оправдываетъ средства.

Но не только чужды умственной работѣ люди мало добросовѣстные и легкомысленные; и тѣ, за которыми нужно признать и сильный умъ и высокія чувства, страдаютъ у насъ какою-то *мыслебоязнью*. Они нерѣдко отличаются великою чуткостію относительно всего враждебнаго дорогимъ для нихъ интересамъ; но ограничиваются только указаніями своего чувства, а не стремятся къ раскрытію идеи этихъ драгоценныхъ интересовъ, къ возведенію своихъ чувствъ въ ясныя и твердыя мысли. Они питаются только своимъ фанатизмомъ и готовы выдѣть что-то кощунственное и святотатственное въ попыткахъ анализа и логической формулировки, обращенныхъ на предметы ихъ уваженія. Понятно, что, при такомъ ходѣ дѣла, положительныя ученія не дѣлаютъ никакихъ успѣховъ, и смута умовъ только увеличивается. Ссылаясь на самыя священные знамена, на завѣтнѣйшіе интересы души человѣческой, русскіе люди, и прямо и косвенно, называютъ другъ друга мерзавцами, измѣнниками, еретиками, извѣргами и сумасшедшими, и забываютъ, или лучше знать не хотятъ, что эти ихъ любимые масштабы не годятся для дѣйствительныхъ явленій. Сѣмена злобы сѣются усердно и успѣшно, а сѣмена мыслей такъ скудно, что страшно подумать, каковъ будетъ созрѣвшій посѣвъ.

Другое дѣло отрицательныя ученія. Они дѣйствительно у насъ дѣлаютъ успѣхи въ своемъ сознательномъ развитіи, потому что всякая смута имъ идетъ въ прокъ, потому что они требуютъ не широкой и ясной мысли, а только отрицанія, потому что нигилизмъ есть самое естественное исповѣданіе людей, у которыхъ нѣтъ пре-

даній, нѣтъ авторитетовъ, нѣтъ никакихъ опоръ для чувствъ и мыслей. Нигилизмъ есть прямое выраженіе умственной и нравственной скудости нашего образованнаго слоя, и можно считать большимъ прогрессомъ, что эта скудость наконецъ высказалась въ такой ясной, сознательной формулѣ. Задача поставлена ясно, безповоротно, но большинство, вмѣсто того, чтобы содрогнуться и задуматься, остается попрежнему довольнымъ пестрою смѣсью своихъ нанесенныхъ вѣтромъ понятій, не имѣющихъ ни корней, ни взаимной гармоніи, или же избираетъ своимъ дѣломъ—гремѣть и пылать, но никакъ не думать. Между тѣмъ, если уже навсегда прекратилась безсознательная жизнь Русской земли, если мы приняли въ себя закваску западнаго просвѣщенія, то намъ не остается другого выхода, какъ самостоятельно работать мыслью; мы сильны, молоды, здоровы, но намъ не достаетъ умственного труда, и намъ угрожаютъ бѣды, отъ которыхъ только онъ одинъ насъ можетъ спасти.

За послѣдніе годы, въ нашей литературѣ занимало большое, даже огромное мѣсто одно явленіе, о которомъ здѣсь кстати сказать. Покойный *Θ. М. Достоевскій* въ своемъ „Дневникѣ Писателя“ дѣйствовалъ какъ публицистъ, касался всякихъ вопросовъ дня, возводя ихъ къ общимъ вопросамъ, и имѣлъ необыкновенный успѣхъ, возбуждалъ симпатію, какой мало можно найти примѣровъ. Если мы вспомнимъ прежнюю журнальную дѣятельность Достоевскаго, начинающуюся съ 1861 г., съ начала „Времени“, то можно вообще сказать, что онъ былъ главнымъ дѣятелемъ и представителемъ нѣкотораго *петербургскаго славянофильства*, составившаго совершенно особую струю въ потокъ петербургской журналистики, струю, расширяющуюся съ каждымъ годомъ. Его

„Дневникъ“, его рѣчь на Пушкинскомъ праздникѣ, его публичныя чтенія были рядомъ истинныхъ побѣдъ надъ публикою; когда онъ умеръ, уваженіе и любовь къ нему вспыхнули яркимъ пламенемъ, котораго не забудетъ никто изъ видѣвшихъ.

Огромное вліяніе Достоевскаго нужно причислить, конечно, къ самымъ отраднымъ явленіямъ, и въ немъ есть одна черта, заслуживающая величайшаго вниманія. Эта черта—отсутствіе злобы въ постановкѣ нашей великой распри между западной и русской идеею. Эта черта поразила всѣхъ въ Пушкинской рѣчи Достоевскаго, но она же характеризуетъ собою и его „Дневникъ“, и его романы. При всей рѣзкости, съ какою онъ писалъ, при всей вспыльчивости его слога и мыслей, нельзя было не чувствовать, что онъ стремится найти выходъ и примиреніе для самыхъ крайнихъ заблужденій, противъ которыхъ ратуетъ. „Смирись гордый человекъ, потрудись, праздный человекъ!“ Эти слова, которыя съ такой неизобразимою силою прозвучали въ Москвѣ надъ толпою, эти слова звучали не угрозой, не ненавистью, а задушевнымъ, братскимъ увѣщаніемъ. Та же нота постоянно слышалась въ „Дневникѣ“, который поэтому съ жадностію читался даже многими нигилистами и направлялъ ихъ на лучшій путь. Молодые люди, именно тѣ, которые искали выхода изъ своихъ мрачныхъ и страшныхъ убѣжденій, не только охотно читали Достоевскаго, но и обращались къ нему частнымъ образомъ, ожидая опоры и руководства. Достоевскій, однако, не былъ ни мыслителемъ, ни публицистомъ въ настоящемъ смыслѣ слова; больше всего онъ былъ художникомъ, и своимъ художническимъ чутьемъ онъ различалъ правду и заблужденіе, добро и зло. Онъ проповѣдывалъ не столько логически,

сколько психологически, и въ своихъ романахъ онъ всего полнѣе выразилъ свои стремленія и свои взгляды на состояніе русскихъ умовъ и душъ. Никто съ такою вѣрностью и глубиною не изображалъ всякаго рода нигилистовъ, и при этомъ онъ обнаруживалъ въ отношеніи къ однимъ презрѣніе и негодованіе, но въ отношеніи къ другимъ—участіе и состраданіе. Онъ понималъ то, что совершается въ людяхъ, сбившихся съ прямого пути. Главною темою его былъ—*раскаившійся нигилистъ*; таковы: Раскольниковъ, Шатовъ, Карамазовъ и пр.

Вотъ примѣръ и поученіе для всѣхъ нашихъ партій. Противъ чего бы мы ни боролись и какъ бы горячо мы ни возставали, намъ нужно не коснѣть въ одной враждѣ и злобѣ, а стремиться къ пониманію своихъ противниковъ и отыскивать ту болѣе высокую сферу, въ которую мы могли бы вывести ихъ изъ ихъ мрака и духовнаго извращенія. Прежде всего и больше всего нужно искать свѣта, потому что,

Увидя свѣтъ, ужъ никому
Назадъ не хочется во тьму.

III.

Настоящая литература, литература въ тѣсномъ смыслѣ, есть литература художественная, творческая. Художество представляетъ возможность такого полного и широкаго выраженія идей, какого неспособны дать никакіе другіе приемы изложенія. Русскій характеръ, достоинства и недостатки русскаго ума и сердца и смыслъ движеній нашей жизни—яснѣе выражаются въ произведеніяхъ Пушкина, Гоголя, Л. Н. Толстаго, чѣмъ во всѣхъ разсужденіяхъ нашихъ историковъ и публицистовъ. Художество создаетъ живыя лица, воплощаетъ явленія жизни

со всѣмъ ихъ содержаніемъ, съ корнями и задатками. Поэтому, главнымъ предметомъ литературнаго обзрѣнія всегда должна быть художественная словесность. У насъ она, какъ извѣстно, процвѣтаетъ: мы можемъ, кажется, прямо сказать, что словесное художество у насъ болѣе серьезно, исполнено бѣльшей жизни и глубины, чѣмъ въ другихъ странахъ Европы. Эта словесность, какъ и другія отрасли литературы, состоитъ у насъ изъ нѣсколькихъ очень крупныхъ и важныхъ явленій и затѣмъ изъ великаго множества подражательныхъ и очень слабыхъ, т. е. и у нея объемъ несравненно шире содержанія; но на этотъ разъ содержаніе такъ вѣско, что жаловаться не приходится.

Возьмемъ настоящую минуту. Что теперь въ рукахъ читателей? Во-первыхъ, сочиненія Достоевскаго, которыхъ полное собраніе, четырнадцать очень большихъ томовъ быстро выходитъ томъ за томомъ; конечно, только теперь эти сочиненія получаютъ наибольшее свое распространеніе и дѣйствіе. Потомъ—усердно читается Некрасовъ; недавно напечатанъ третій десятокъ тысячъ посмертнаго собранія его сочиненій. Съ этими двумя покойниками по успѣху можно сопоставить Л. Н. Толстаго, котораго разсказъ: „Чѣмъ люди живы“ безъ конца перепечатывается, и непрерывно пишущаго г. Салтыкова, котораго въ послѣдніе два-три года многіе прямо провозглашаютъ *великимъ сатирикомъ*. Намъ кажется, эти четыре имени представляютъ уже очень серьезное содержаніе для читателей, и если требуется, чтобы изящная литература питала умы и сердца, то въ настоящую минуту она у насъ производитъ довольно обильное питаніе. Какого рода это питаніе, есть ли въ немъ ясность и гармонія,—это другой вопросъ; можно стра-

питься этого питанія, или печалиться о немъ, но нельзя не признать, что у насъ есть серіозная словесность, нельзя не задуматься надъ глубиною ея загадочныхъ явленій. Вспомните, напримѣръ, сочиненія Достоевскаго; это цѣлая туча самыхъ живыхъ и разнообразныхъ задачъ.

Конечно, нынѣшняя минута есть развитіе и продолженіе предыдущихъ годовъ. Чтобы взять нашу мысль полнѣе и яснѣе, мы думаемъ остановиться на трехъ явленіяхъ, которыя разсмотримъ въ связи; это — „Новъ“ г. Тургенева (1877 г.), романъ очень поучительный, хотя и неудачный по своей вялости и безсвязности, „Анна Каренина“ гр. Толстаго (1877 г.), романъ, въ которомъ слѣдуетъ видѣть прологъ къ разсказу „Чѣмъ люди живы“, и наконецъ „Братья Карамазовы“ (1881 г.), послѣдній романъ Достоевскаго. Намъ кажется, изъ этихъ трехъ произведеній можно извлечь любопытныя указанія на духовное состояніе нашихъ образованныхъ классовъ.

IV.

Одинъ Гоголь умѣлъ изображать русскую *глупость*. Геніальный малороссъ, серіозный, глубокій, поэтический, онъ былъ пораженъ тѣмъ вѣтромъ въ головѣ, тѣмъ отсутствіемъ всякой твердости мысли, которая такъ часто у насъ встрѣчается, и изобразилъ его въ своихъ Хлестаковыхъ, Ноздревыхъ, Кочкаревыхъ и т. д. Онъ изумительно уловлялъ пустоту ума, неспособность мысли видѣть дѣйствительность, и дважды, въ *Ревизорѣ* и въ *Мертвыхъ Душахъ*, представилъ намъ грандіозное комическое зрѣлище, какъ цѣлый городъ волнуется нелѣпыми представленіями. Очень жаль, что мы не вспоми-

наемъ этихъ картинъ каждый разъ, когда случится съ нами то, что называется *пороть горячку*. Если бы мы внимательно всмотрѣлись въ то, что тогда съ нами происходитъ, мы увидѣли бы, какъ поразительно всѣ наши горячки похожи на волненія, возбужденныя нѣкогда Чичиковымъ и Хлестаковымъ.

Послѣ Гоголя никто уже не умѣлъ смѣяться такъ, какъ онъ, смѣяться вполне отъ души, безъ всякой примѣси другаго чувства, ибо смѣхъ былъ полнымъ отвѣтомъ на изображенныя фигуры и сцены. Наше настроеніе измѣнилось, мы ударились въ печаль и тоску и разучились смѣяться. Теперь случается слышать, что Гоголь скученъ, что въ немъ нѣтъ серіознаго содержанія; удивительное художество перестало на насъ дѣйствовать, и комическія картины мы принимаемъ за дѣйствительныя глупости. Этотъ переломъ начался давно и слѣды его можно найти напр. у Аполлона Григорьева. Сначала онъ былъ восторженнымъ поклонникомъ Гоголя, говорилъ, что только у Гоголя отношеніе къ предметамъ вполне правильно, что напр. у Достоевскаго возводится въ трагедію то, что заслуживаетъ лишь комедіи (направленіе Достоевскаго Ап. Григорьевъ вообще называлъ *сентиментальнымъ натурализмомъ*). Но потомъ взгляды критика измѣнились; увлеченный движеніемъ литературы, ея попытками выставить положительные типы, онъ охладѣлъ къ Гоголю и въ 1861 году писалъ: „Чѣмъ болѣе я въ него на досугъ вчитываюсь, тѣмъ болѣе дивлюсь нашему бывалому ослѣпленію, ставившему его не то что въ уровень съ Пушкинымъ, а, пожалуй, и выше его. Вѣдь Федоръ-то Достоевскій — будь онъ художникъ, а не фельетонистъ, — и глубже, и симпатичнѣе его по взгляду, — и главное, гораздо проще и

„искреннѣе. Вѣдь, прямое, хотя нѣсколько грубое послѣдствіе Гоголя — Писемскій, а косвенное — Гончаровъ“... *).

Критикъ разумѣетъ здѣсь свой давнишній упрекъ этимъ двумъ писателямъ, именно: что у нихъ мало идеальности. Точно такъ, какъ извѣстно, Гоголю приписывалось порожденіе „*натуральной школы*“ и далѣе — „обличительной литературы“. Но эта генеалогія, равно какъ и предпочтеніе Гоголю другихъ талантовъ, представлявшихъ уже не мнимое развитіе его недостатковъ, а какъ бы ихъ восполненіе, — едва ли справедливы. Можно согласиться, что послѣдовавшая литература полнѣе, шире захватила предметъ, но по художественной силѣ, а слѣдовательно и по глубинѣ внутренней правды, она не подымалась выше Гоголя. Чтѣ же касается до дурныхъ *послѣдствій*, которыя ему приписываютъ и которыхъ онъ самъ испугался, то виноватъ въ нихъ не онъ, несчастный художникъ, потерявшій силы, но въ сущности никогда не измѣнявшій *возвышеннаго строя своей лиры*, а виновата сама жизнь, постоянно дѣйствующая такъ, что высокія явленія въ ней понижаются въ своихъ формахъ, выражаются и искажаются. Ясный примѣръ этому можно видѣть въ той судьбѣ гоголевскаго смѣха, о которой мы сказали. Этотъ удивительный смѣхъ, представляющій одно изъ высочайшихъ явленій искусства, исчезъ у насъ почти безъ слѣда. Тяжелое настроеніе духа лишило прямого, правильнаго дѣйствія эти чудесные образцы. Историкъ и критику, который всегда долженъ воздерживаться отъ современныхъ пристрастій и смотрѣть на дѣло съ высоты, въ настоящее время потре-

*) *Эпоха* 1864, окт.

бенъ извѣстный трудъ, чтобы оживить въ себѣ и показать другимъ то, чтѣ такъ далеко отъ нынѣшнихъ литературныхъ вкусовъ и привычекъ.

Нынѣшній смѣхъ, котораго представителемъ нужно считать г. Щедрина, есть совершенно особенная потѣха, очень характерная для нашего времени. Всѣ называютъ г. Щедрина *сатирикомъ*, то есть относятъ его къ межеумочному роду, не принадлежащему къ настоящему художеству, и даже ярые его приверженцы самымъ естественнымъ образомъ пропускаютъ его имя, когда вздумаютъ говорить о нашихъ художественныхъ писателяхъ. Но и понятіе *сатиры* есть нѣчто слишкомъ точное и опредѣленное, въ сравненіи съ тѣмъ, чтѣ пишетъ г. Щедринъ. Это не сатира, а переходящая всякую мѣру карриатура, не иронія, а нахальная издѣвка, неистовое глумленіе, не насмѣшка, а надругательство надъ всякимъ предметомъ, за который берется этотъ сатирикъ. Все это совершается съ несомнѣннымъ талантомъ; скажемъ болѣе — несомнѣнный талантъ нахальства и глумленія одинъ только и руководитъ автора въ его долгой дѣятельности; онъ давно уже забылъ требованія мысли и искусства, давно уже обдумываетъ не лица, а только прозвища, не дѣйствія, а только сальныя выраженія и язвительные обороты рѣчи. Но искусство не даетъ попирать себя безнаказанно; та *правда*, которой мы въ немъ ищемъ и въ которой состоитъ его сущность, не открывается писателю, который не служить искусству добросовѣстно. Вотъ почему этотъ фельетонистъ, конечно, не стоящій имени сатирика, такъ успѣшно потѣшаетъ свою публику, но невообразимо скученъ, почти невозможенъ для чтенія, для людей сколько нибудь серьезныхъ. Изрѣдка можно полюбоваться тѣми

чертами нашей ноздревщины и хлестаковщины, которыя схватываетъ г. Щедринъ; но въ цѣломъ изъ этого ничего не выходитъ, и внимательный читатель скоро убѣждается, что тутъ не только нѣтъ самаго отдаленнаго *послѣдствія* Гоголя, а даже наоборотъ, что вся эта пресловутая сатира сама есть нѣкотораго рода ноздревщина и хлестаковщина, съ большою прибавкою Собакевича.

V

Какъ-бы то ни было, въ русской словесности, очевидно, все больше и больше утрачивается художественная свобода. Замолкъ карающій, но ясный и твердый смѣхъ Гоголя, и слышится шипѣніе злобныхъ издѣвокъ. И во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, свѣтлый міръ искусства потерялъ свою свѣтлость, потускнѣлъ и искажился. Литература подавлена какими-то требованіями и не можетъ избавиться отъ думы, нагоняющей мракъ на всѣ ея созданія. Часто случается слышать, что литература нынче стала серіознѣе, и что этой бѣльшей серіозности слѣдуетъ радоваться. Между тѣмъ, общій ходъ дѣла, если взять его въ существѣ, вовсе не радостный. Всѣ наши крупные таланты, какіе есть на лицо, образовались и заявили себя еще въ Николаевское время. Прошлое царствованіе, когда наша литература такъ непомѣрно расширилась, не произвело ни одного значительнаго таланта. Очевидно, было какое-то вліяніе, подавляющее развитіе художественныхъ силъ, не дававшее имъ зрѣть и складываться, сбивавшее ихъ съ ихъ естественной дороги. Если мы вздумаемъ присмотрѣться къ новымъ и новѣйшимъ произведеніямъ нашей литературы,

то мы сейчасъ и увидимъ, гдѣ корень зла. Невообразимая распушенность, полная небрежность формы указываетъ, что авторы очень мало интересуются идеями тѣхъ предметовъ, о которыхъ вздумали писать, что у нихъ есть другія, постороннія цѣли, ради которыхъ они каждую минуту готовы пожертвовать требованіями искусства. Это даже не тенденціозность, а одна голая тенденція, безъ всякаго зазрѣнія сбрасывающая съ себя форму, въ которую она какъ будто только ради шутки вздумала воплощаться. Ни какое дѣло не можетъ хорошо дѣлаться, если его не дѣлаютъ серіозно. Нельзя служить разомъ двумъ господамъ, и вотъ почему литературная школа, господствовавшая до 1855 года и исповѣдывавшая, что художникъ долженъ всецѣло предаваться искусству, воспитала цѣлый рядъ талантовъ, тогда какъ послѣ *зари обновленія* всѣ явившіеся таланты неизбежно искажались, не успѣвая созрѣть и окрѣпнуть. Нѣтъ ничего мудренаго, что и теперь писатели, болѣе другихъ сохранившіе, или усвоившіе старыя преданія, напр., Маркевичъ, Авсеенко, Стахѣевъ, Боборыкинъ и т. д., даютъ намъ произведенія наиболѣе цѣльныя и колоритныя. У автора такого рода можетъ недоставать опредѣленности и высоты взгляда, но и въ такомъ случаѣ ихъ фигуры бываютъ выпуклѣе и интереснѣе, чѣмъ у писателей, задающихся самой выпрenneй, по ихъ мнѣнію, тенденціей, но ради этой тенденціи пренебрегающихъ и попирающихъ искусство.

Искусство требуетъ свободнаго служенія себѣ, и оно даетъ свободу тому, кто ему служитъ. Оно не стѣсняетъ насъ въ выраженіи нашихъ думъ и чувствъ, а напротивъ, даетъ средства выразить ихъ въ такой полнотѣ и глубинѣ, какая недоступна ни для какого дру-

гаго способа выраженія. И потому, счастливы тѣ, кому выпалъ на долю даръ художества; имъ нѣтъ нужды оглядываться по сторонамъ; искренно служа своему дѣлу, они могутъ быть увѣрены, что выскажутъ въ своихъ произведеніяхъ все лучшее, что хранится въ самой глубинѣ ихъ сердца, о чемъ они сами не знаютъ и не могутъ судить, и что безъ искусства осталось-бы навсегда сокрытымъ и несказаннымъ.

Таковъ идеалъ художественной дѣятельности; но онъ рѣдко и слабо осуществляется въ дѣйствительности. Внутренняя свобода, всегда и вездѣ возможная, является у людей какъ рѣдкое исключеніе и, къ нашему стыду, возникаетъ иногда лишь въ видѣ отпора внѣшнему стѣсненію. Прошлое царствованіе, исполненное такого шума и движенія, глубоко потрясшее весь русскій бытъ, было неблагоприятно для искусства, очевидно, въ силу чрезвычайнаго возбужденія умовъ, устремленія ихъ вниманія на практическіе вопросы и интересы. Началось это время радостнымъ ликованіемъ, розовыми мечтами и надеждами; но, странно!—только-что стали отчасти сбываться эти мечты и надежды, обнаружился какой-то внутренній разладъ, ясная и прямая дорога понемногу стала казаться туманною и ненадежною; появилось общее недоумѣніе и растерянность, нагонявшіе на умы все болѣшую и болѣшую тоску. Напрасно говорятъ, что тутъ происходила правительственная *реакція*; такъ говорятъ журналы, не имѣющіе у себя никакого другого слова и понятія для названія совершавшагося и судящіе лишь по поверхности; въ дѣйствительности, покойный Государь, очевидно, несмотря ни на что, не хотѣлъ измѣнять и не измѣнялъ своему разъ принятому пути. Въ тотъ періодъ, который кончился гибелью великодушнаго *Осво-*

бодителя, происходила не реакція, а нѣчто несравненно болѣе сложное и поучительное; а именно, въ нашихъ образованныхъ слояхъ обнаружилась шаткость, несостоятельность всякихъ идей и принциповъ, сказался крайній, томительный недостатокъ высшаго руководства, прямыхъ цѣлей и надежныхъ путей для дѣятельности. Жизнь какъ будто потеряла свои животворящіе начала, и, несмотря на то, что Россію слѣдуетъ признать не только крѣпкою, на здоровомъ корню сидящею, но и непрестанно возрастающею изъ силы въ силу, несмотря на то, что надъ нами не виситъ никакого внѣшняго бѣдствія, не душитъ насъ никакое насиліе,—мы не можемъ разогнать мрачной думы, твердящей намъ о нашей внутренней растерянности. Не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ; мы мучительно страдаемъ нравственнымъ и умственнымъ голодомъ.

VI.

Искусству, вообще, свойственна чуткость и отзывчивость, такъ что, собственно говоря, художникамъ нужно поставить въ обязанность воздерживаться отъ слишкомъ легкой отзывчивости, держать въ рукахъ свою впечатлительность и направлять ее отъ случайныхъ и минутныхъ предметовъ на предметы болѣе общіе и глубокіе. Но есть школа, которая, напротивъ, обязанностию художниковъ считаетъ, — гоняться за современными явленіями, уловлять послѣдніе народившіеся типы людскихъ характеровъ и положеній. Къ такой школѣ принадлежали Тургеневъ и Достоевскій; разница между ними въ этомъ отношеніи только та, что Тургеневъ очень твердо держался указаннаго правила, тогда какъ Достоевскій, по

нѣкоторой счастливой непослѣдовательности, соединялъ съ этимъ правиломъ стремленіе къ чистому искусству, т. е. къ глубочайшимъ и вѣковѣчнымъ задачамъ. Какъ бы то ни было, произведенія этихъ писателей, отражая въ себѣ духъ минуты, представляютъ чрезвычайный современный интересъ, которому они и обязаны значительною долею своего успѣха.

Романъ *Новь* есть, можетъ быть, самый чистый образецъ произведеній этого рода. Онъ очень любопытенъ и важенъ по содержанію и, если не имѣлъ никакого успѣха, то это только доказываетъ, что никакое содержаніе не спасетъ произведенія, грѣшащаго противъ искусства, не поднимающагося на высоту дѣйствительнаго поэтического созерцанія.

Дѣло было такъ. Романомъ *Отцы и дѣти* авторъ провинился передъ молодымъ поколѣніемъ. Въ этомъ романѣ онъ съ великою чуткостію угадалъ народившійся типъ нигилиста и, изображая его съ полною свободою художника, положилъ на него всѣ тѣни, какія слѣдуетъ. Юноши, узнавшіе себя въ зеркалѣ, были непріятно поражены, и самъ авторъ призналъ себя потомъ, какъ говорится, безъ вины виноватымъ. Чтобы поправить эту вину, очень тяготившую художника, онъ и написалъ *Новь*. Онъ очень усердно слѣдилъ за всѣми нараждавшимися типами молодыхъ людей (ибо такъ уже завелось и утвердилось, что у насъ только молодые люди даютъ новые типы, а люди въ лѣтахъ, очевидно, возвращаются въ типы давно отжившіе), и наконецъ, когда явились *опростѣлые*, то есть, тѣ, которые шли въ народъ и старались *опроститься*, слиться съ народомъ во всемъ своемъ бытѣ, романистъ рѣшился нарисовать большую картину, которая захватывала бы всякаго рода типы этой *нови*,

но въ которой была бы и чета совершенно образцовыхъ опростѣлыхъ (Соломинъ, Маріанна), могущихъ быть принятыми за идеалы. Для контраста и ясности картины, главнымъ лицомъ разсказа выбранъ *Неждановъ*, юноша тоже безупречный по образу мыслей, но носящій въ себѣ уже отжившія свойства и наклонности; онъ сознаетъ это самъ, борется самъ съ собою и погибаетъ въ этой борьбѣ, рѣшившись на самоубійство. Замыселъ, какъ видите, очень недурной, и даже глубокій. Внутренняя борьба *Нежданова* со своими художественными наклонностями, съ собственною тонкостію пониманія, могла бы быть очень интересною, и, вѣроятно, въ мечтахъ автора смерть его должна была заставить расплакаться читающую Россію.

Отчего же произошла неудача? Отчего никто не плакалъ, а всѣ скучали? Очевидная вялость и безсвязность романа, въ которомъ лица безъ достаточнаго основанія мечутся изъ одного мѣста въ другое, и внутренніе мотивы ихъ дѣйствій выясняются очень слабо, зависятъ, намъ кажется, отъ слабости того интереса, который авторъ питаетъ къ предмету. Авторъ *сочинялъ*, а не вдохновлялся широкою и свободною точкою зрѣнія. Въ *Нови* наголо выступаетъ та мораль, которую мы знаемъ по всѣмъ другимъ произведеніямъ автора. Она состоитъ въ томъ, что Рудиныхъ смѣняютъ Лаврецкіе, Лаврецкихъ Базаровы, Базаровыхъ Соломины и т. д., и что, при каждой смѣнѣ, все человѣческое достоинство (а потому и героиня романа) принадлежитъ новому типу, старый же типъ отступаетъ на задній планъ и на низшую ступень. При такой точкѣ зрѣнія нельзя было не почувствовать, наконецъ, совершеннаго равнодушія къ этому великолѣпному прогрессу, въ которомъ каждая ступень

одинаково законна и, слѣдовательно, въ сущности, всѣ ступени одинаково незаконны. Трагедія, совершающаяся въ душѣ Нежданова, была бы очень интересна, если бы авторъ сталъ на одну изъ сторонъ, то есть или на сторону художественной чуткости, или на сторону революціоннаго задора; она была бы еще интереснѣе, если бы авторъ разомъ стоялъ за обѣ стороны, то есть самъ бы мучился этимъ противорѣчіемъ, ища ему примиренія въ чемъ-то высшемъ; но она теряетъ всякую занимательность, если намъ показываютъ, что обѣ стороны законны, но что позднѣйшая ступень, исключая собою предъидущую, вполне и съ избыткомъ замѣняетъ ее и превосходить.

Какъ бы то ни было, картина, изображаемая *Новью*, поразительна, если въ нее вдуматься, преодолевая скуку романа. Чѣмъ держится эта жизнь? Гдѣ въ ней струитой нравственной стихіи, которая одна дѣлаетъ возможнымъ общежитіе людей, одна имѣетъ связующую и примиряющую силу? Въ видѣ какихъ-то свѣтлыхъ точекъ эта стихія мелькаетъ въ главныхъ лицахъ романа; все остальное кругомъ—мракъ и хаосъ, съ которымъ они борются. Изображеніе это нельзя назвать невѣрнымъ; авторъ старательно изучалъ свой предметъ и всячески тщился быть точнымъ въ подробностяхъ. Но изображеніе вѣрно только до тѣхъ поръ, пока мы ищемъ однихъ *сознательныхъ* нравственныхъ началъ и въ нихъ однихъ способны видѣть нѣчто свѣтлое; *безсознательную* нравственную стихію авторъ вовсе упустилъ изъ виду, не умѣвъ ни разглядѣть, ни изобразить ее,—а это великое горе, потому что доказываетъ намъ, что, хотя бы она была и велика и прекрасна, она, однако же, дѣйствительно глубоко безсознательна.

VII.

Анна Каренина есть произведеніе не чуждое художественныхъ недостатковъ, но представляющее и высокія художественныя достоинства. Во-первыхъ, предметъ такой простой и общій, что многіе, и долго, не могли найти его интереснымъ, не воображали, чтобы въ романѣ могла оказаться современность и поучительность. Разсказъ распадается на двѣ части, или на два слоя, слишкомъ слабо связанныхъ внѣшнимъ образомъ, но внутри имѣющихъ тѣсную связь. На первомъ планѣ городская, столичная жизнь, и рассказывается, какъ Каренина влюбилась въ Вронскаго, вошла съ нимъ въ связь, ушла къ нему отъ мужа, но, живя съ Вронскимъ, такъ измучилась своею страстью, что бросилась подъ вагонъ. На второмъ планѣ, болѣе широко и имѣющемъ болѣе существенное значеніе, исторія деревенскаго жителя Левина; рассказывается, какъ онъ объяснялся въ любви, дѣлалъ предложеніе, говѣлъ, вѣнчался, какъ у него родился сынъ и сталъ наконецъ узнавать отца и мать. Величайшая оригинальность автора обнаруживается въ томъ, что эти обыкновенныя событія, по ясности и глубинѣ, съ которою онъ ихъ изображаетъ, получаютъ поражающій смыслъ и интересъ. Общая идея романа, хотя выполненнаго не вездѣ съ одинаковою силою, выступаетъ очень ясно; читатель не можетъ уйти отъ невыразимо тяжелаго впечатлѣнія, несмотря на отсутствіе какихъ-нибудь мрачныхъ лицъ и событій, несмотря на обиліе совершенно идиллическихъ картинъ. Не только Каренина приходитъ къ самоубійству безъ яркихъ *внѣшнихъ* поводовъ и страданій, но и Левинъ, благополучный во всемъ Левинъ, ведущій такую нормальную жизнь,

чувствуетъ подѣ конецъ расположеніе къ самоубійству, и спасается отъ него только религіозными мыслями, вдругъ пробудившимися въ немъ, когда мужикъ сказалъ, что нужно Бога помнить и жить для души. Это и есть то нравоученіе романа, по которому онъ составляетъ введеніе къ разсказу *Чѣмъ люди живы*.

Каренина живетъ своею страстью. До этой страсти она была голодна душою; съ удивительной тонкостію и ясностію намъ изображена эта столичная и придворная жизнь, въ которой нѣтъ никакой душевной пищи, гдѣ интересы искусственные, миражные. Анна и Вронскій чуть ли не лучшіе люди этой среды, потому что въ нихъ естественныя чувства взяли верхъ надъ всѣми искусственными влеченіями, составляющими радость и горе ихъ круга. Они вполне отдались своей любви; и для Анны эта любовь до конца осталась единственною жизнью, почему и погубила ее. *Анна Каренина* принадлежитъ къ числу чрезвычайно рѣдкихъ произведеній, въ которыхъ дѣйствительно изображена страсть любви. Несмотря на то, что любовь и сладострастіе составляютъ неизмѣнную тему повѣстей и романовъ, обыкновенно авторы довольствуются тѣмъ, что выведутъ на сцену молодую пару и, рассказывая всякаго рода встрѣчи и разговоры, предоставляютъ воображенію читателя подсказать ему чувства и волненія, сопровождающія эти встрѣчи и разговоры. Въ *Аннѣ Карениной*, напротивъ, точно описанъ самый душевный процессъ страсти, — дѣло столь новое и необыкновенное, что многіе критики и читатели даже не могли понять его и печатно выразили свое недоумѣніе. Страсть здѣсь возникаетъ съ перваго взгляда, безъ предварительныхъ разговоровъ о вкусахъ и убѣжденіяхъ. По стариннымъ романамъ это такъ и должно быть, но

мы почему-то почти уже забыли эти старыя исторіи. Затѣмъ страсть растетъ, и авторъ рассказываетъ каждый ея фазисъ такъ же ясно и понятно, какъ этотъ первый взглядъ влюбившихся. Все полнѣе и полнѣе раскрывается чувство; Анна начинаетъ ревновать,—

Кто любить, тотъ ревность невольно питаетъ,

какъ поется въ *Русланѣ*. Сущность ревности, внутренняя борьба Анны и Вронскаго рассказаны такъ убѣдительно и отчетливо, что ужасно видѣть неизбѣжную послѣдовательность этого развитія. Несчастная Анна, положившая всю душу на свою страсть, необходимо должна была сгорѣть на этомъ огнѣ. Когда она почувствовала, что ей измѣняетъ ея единственное благо, она позвала смерть. Она не стала дожидаться полного охлажденія, или измѣны Вронскаго; она умерла не отъ оскорбленій или несчастій, а отъ своей любви. Исторія трогательная и жестокая, и если-бы авторъ не былъ такъ безпощаденъ къ своимъ героямъ, если-бы онъ могъ измѣнить своей неподкупной правдивости, онъ могъ бы заставить насъ горько плакать надъ несчастной женщиной, погибшей отъ безповоротной преданности своему чувству. Но авторъ взялъ дѣло полнѣе и выше. Тонкими, но совершенно ясными чертами онъ обрисовалъ намъ *нечистоту* этой страсти, не покоренной выпшему началу, не одухотворенной никакимъ подчиненіемъ. Мало того. У Карениной и у ея мужа, въ минуты потрясеній и болѣзни, совершаются сознательные проблески чисто духовныхъ началъ (вспомните больную послѣ родовъ Анну и Каренина, прощающаго Вронскаго), проблески, бысто затянутые тиною другихъ враждебныхъ

имъ чувствъ и мыслей. Одинъ Вронскій остается *плотнымъ* съ начала и до конца.

Такимъ образомъ, съ ужасающею правдою намъ показанъ этотъ міръ полной слѣпоты, полного мрака. Контрастъ ему составляетъ міръ, повидимому, гораздо болѣе свѣтлый, міръ Левина, человѣка искренняго, простаго, со многими недостатками, но съ чистымъ сердцемъ. Каренинъ и Вронскій—типы чиновника и военнаго, Левинъ—типъ помѣщика. Ихъ собственно три брата: старшій, отъ другаго отца, Кознышевъ—славянофилъ; второй, Николай Левинъ,—нигилистъ; третій, Константинъ Левинъ, герой романа,—представляетъ какъ бы просто русскаго человѣка безъ готовыхъ теорій. Это сопоставленіе очень поучительно; оно даетъ намъ образчики главнѣйшихъ умственныхъ настроеній въ нашемъ обществѣ, картину нашего умственнаго броженія. Наилучшій представитель этого броженія, имѣющій на своей сторонѣ всѣ симпатіи автора, есть Константинъ Левинъ, вѣчно умствующій о самыхъ общихъ вопросахъ и не принимающій ходячихъ рѣшеній. Конечно, это расположеніе къ умствованію есть чисто русская черта, и вся наша современная литература единогласно свидѣтельствуетъ, что такое умствованіе никогда не было въ болѣе широкомъ ходу, чѣмъ теперь.

Но романъ изображаетъ намъ не умствованія, а жизнь Левина, даже самый полный расцвѣтъ его жизни, и авторъ, именно, хотѣлъ намъ показать, какъ возникаютъ мысли Левина изъ событій его жизни, изъ неотразимыхъ чувствъ его сердца. Повидимому, это совершенно благополучная жизнь; Левинъ человѣкъ достаточный, онъ молодъ, силенъ, онъ забавляется охотой и очень преданъ своимъ занятіямъ хозяйствомъ, онъ женится на той,

которую любить, и становится счастливымъ отцемъ семейства. Картины всѣхъ этихъ удовольствій и радостей принадлежать къ лучшимъ и истинно удивительнымъ страницамъ романа. Спрашивается, откуда же могли взяться мрачныя мысли, и даже мысль о самоубійствѣ? Если всмотрѣться, то мы почувствуемъ пустоту этой жизни, и намъ станетъ понятенъ душевный голодъ Левина. Авторъ приводитъ Левина въ столкновеніе съ различнѣйшими сферами людей и дѣлъ, и вездѣ съ своей чудесной ясностію показываетъ, какъ Левинъ не могъ примкнуть ни къ одной изъ этихъ сферъ. Онъ страшно одинокъ, и одинокъ въ силу своей чуткости, своей правдивости и искренности, не допускающей никакихъ компромиссовъ, отвергающей всякую фальшь. Такимъ образомъ, лучшій изъ людей, выведенныхъ въ романѣ, менѣе всего способенъ слиться съ окружающей жизнью. Онъ ее отвергаетъ, и это отверженіе тѣмъ сильнѣе, что оно совершается безъ раздраженія и невольно; Левинъ ничего не обличаетъ, ни на что не нападаетъ,—онъ просто уходитъ отъ того, что ему противно. Въ концѣ романа изображена волна общественнаго одушевленія, пробѣжавшая во время сербской войны; Левинъ и тутъ устранивается, уходя отъ волны въ тѣ глубокіе народные слои, которые остались незатронутыми, хотя вполне подчинились ей по общему теченію своей жизни. Въ свое время, этотъ эпизодъ надѣлалъ шума, и даже журналъ, печатавшій *Анну Каренину*, отказался его напечатать. Но въ сущности, романъ содержитъ много картинъ, гораздо болѣе безотрадныхъ. Несмотря на полнѣйшую мягкость пріемовъ, едва ли было когда-нибудь сдѣлано болѣе мрачное изображеніе всего русскаго быта. Только міръ крестьянъ, лежащій на самомъ дальнемъ планѣ и лишь

изрѣдка ясно выступающій, только этотъ міръ сіяетъ спокойною, ясною жизнью, и только съ этимъ міромъ Левину иногда хочется слиться. Онъ чувствуетъ, однако, что не можетъ этого сдѣлать.

Что же остается Левину? Что остается человѣку, который подпалъ такому жестокому разобщенію съ окружающею жизнью? Ему остается онъ самъ, его личная жизнь. Но личная жизнь есть всегда игралище случая. Когда смертельно заболѣлъ братъ Николай, когда жена мучится родами, когда громъ упалъ на дерево, подъ которымъ спалъ малютка-сынъ, и въ тысячѣ другихъ, болѣе мелкихъ событій, въ самыхъ своихъ радостяхъ и удачахъ, Левинъ чувствуетъ, что онъ во власти случайностей, что самая нить его жизни ежеминутно можетъ порваться такъ же легко, какъ тонкая паутинка. Вотъ откуда его отчаяніе. Если *моя* жизнь и радость есть единственная цѣль жизни, то эта цѣль такъ ничтожна, такъ хрупка, такъ очевидно недостижима, что можетъ внушать лишь отчаяніе, можетъ лишь давить человѣка, а не воодушевлять его. И вотъ гдѣ начинается поворотъ Левина къ религіознымъ мыслямъ.

VIII.

Таковъ очевидный смыслъ *Анны Карениной*. Задача взята глубоко, взятъ вѣковѣчный вопросъ человеческой жизни, а не одинъ лишь современный типъ и современный интересъ. Если бы авторъ не расточилъ на Левина столько реализма, сколько безпощадно-правдивой растушовки, онъ могъ бы сдѣлать изъ Левина не простаго смертнаго, неловкаго и колеблющагося, исполненнаго слабостей, — а какого-нибудь новаго Гамлета, заму-

ченнаго своими мыслями не вслѣдствіе горя и поражающихъ его преступленій, а напротивъ, среди полнаго высшаго благополучія. Но этотъ романъ дѣйствительно изображаетъ нашу современность; на горѣ намъ (или, можетъ быть, на радость?) вѣчные вопросы у насъ волнуютъ обыкновенныхъ людей и при обыкновенныхъ обстоятельствахъ. У насъ совершается какое-то колебаніе человеческой совѣсти, заражающее цѣлыя толпы всевозможныхъ людей, конечно, изъ образованныхъ классовъ. Помѣщикъ, не вѣрящій въ свое право владѣть землею; чиновникъ, не вѣрящій въ свое дѣло и полагающій, что его трудъ никакъ не можетъ стоить получаемого имъ жалованья; образованный и достаточный человѣкъ, завидующій мужику; отецъ, отрекающійся отъ всякой собственной жизни ради своихъ дѣтей; человѣкъ въ полномъ цвѣтѣ силъ и среди молодой семьи, не находящій смысла въ своей жизни и преслѣдуемый мыслью о самоубійствѣ, — эти и подобныя черты свидѣлствуютъ, что въ этомъ бытѣ исчезли твердыя начала, что почва колеблется подъ ногами этихъ людей. Левинъ нашелъ спасеніе въ религіозныхъ мысляхъ, но *Анна*, принадлежавшая къ миражному верхнему слою, несмотря на всѣ свои мученія, не образумилась ни на минуту, не знала даже, куда обратиться, чтобы искать спасенія. Это отсутствіе всякой серіозности въ понятіяхъ такъ называемыхъ образованныхъ людей, отсутствіе того что собственно называется нравственностію, съ великимъ мастерствомъ изображено въ картинахъ большого свѣта. Весь же романъ есть изображеніе общаго душевнаго хаоса, господствующаго во всѣхъ слояхъ, кромѣ самаго нижняго.

Этотъ же нравственный хаосъ, очевидно, есть глав-

ный предмет *Братьевъ Карамазовыхъ*. Тема этого романа отчасти есть повтореніе темы *Преступленія и наказанія*, но слегка напоминаетъ и *Анну Каренину*. Здѣсь совершается уже не простое убійство, а *отцеубійство*, къ которому приводятъ нигилистическія мысли о томъ, что *все позволено*, что самоуправство, имѣющее ясныя, разумныя основанія и цѣли, можетъ быть простираемо на все, что не существуетъ никакой границы, которой бы оно не имѣло права переступить. Выведены на сцену три брата, какъ представители трехъ различныхъ направленій: младшій, Алексѣй, исповѣдуетъ славянофильскія убѣжденія въ высокой религіозной ихъ формѣ; средній, Иванъ, есть нигилистъ, тоже самаго высокаго разряда; старшій, Дмитрій, есть простой малообразованный русскій человѣкъ, съ большой склонностью умствовать, но безъ опредѣленнаго образа мыслей. Въ началѣ авторъ говоритъ, что настоящій герой его разсказа есть Алексѣй; но, по мѣрѣ писанія романа, первая часть его разрослась сама въ цѣлый огромный романъ, а остальные двѣ части, которыя должны были вполне выразить мысль разсказа, къ несчастію унесены авторомъ въ могилу. Такимъ образомъ, главнымъ героемъ *Братьевъ Карамазовыхъ* оказался не Алексѣй, а пока старшій братъ Дмитрій. По обыкновенію автора, весь романъ имѣетъ нѣсколько фантастическій колоритъ, состоящій въ томъ, что событія и встрѣчи слѣдуютъ другъ за другомъ съ ненатуральною быстротою и отчасти произвольно, но еще болѣе въ томъ, что всѣ дѣйствующія лица исполнены слишкомъ сложныхъ и слишкомъ быстро смѣняющихся чувствъ. Любовь и ненависть, подозрѣніе и вѣра, радость и отчаяніе и т. д., говорятъ въ душѣ каждаго лица почти въ одно время; при взаимныхъ сношеніяхъ эти лица

почти не могли бы понимать другъ друга, если бы всѣ не имѣли равно этого особеннаго душевнаго строя. Хотя, такимъ образомъ, внутренніе и внѣшніе элементы разсказа сочетаются ненормально и, сверхъ того, безпрерывно повторяются въ новыхъ варіаціяхъ, но сами по себѣ эти элементы глубоко реальны, въ чемъ и состоитъ сила Достоевскаго и на чемъ основано было его собственное убѣжденіе въ реализмѣ создаваемыхъ имъ картинъ. Внутренняя правда душевныхъ движеній, которая онъ выставлялъ на показъ, неотразимо увлекала читателей, несмотря на всѣ внѣшніе недостатки разсказа.

Въ *Карамазовыхъ* разсказывается, какъ гнусный отецъ, Ѳедоръ Павловичъ, убитъ ради грабежа своимъ незаконнымъ сыномъ, Смердяковымъ, одною изъ гнуснѣйшихъ и фантастичнѣйшихъ фигуръ романа. Смердякова посвятилъ въ нигилизмъ и почти подбилъ на убійство Иванъ Карамазовъ. Оба они, какъ *Раскольниковъ* въ *Преступленіи и наказаніи*, неожиданно для себя, чувствуютъ страшныя угрызенія совѣсти, до того, что Иванъ впалъ въ нервную горячку, а Смердяковъ повѣсилъ. Между тѣмъ, обвиненіе и кара за убійство по ошибкѣ падаетъ на Дмитрія, который тоже ненавидѣлъ отца, не только вообще за его гнусность, но и изъ-за недоданныхъ денегъ, а особенно изъ ревности къ гулящей дѣвушкѣ Грушѣ. Существенная черта разсказа заключается въ томъ, что Дмитрій, несмотря на свою злобу, несмотря на отчаяніе, къ которому его привели страсти и всякіе проступки и въ которомъ онъ мечтаетъ уже о самоубійствѣ, — Дмитрій воздерживается отъ убійства отца. При всѣхъ своихъ кутежахъ и буйствахъ, онъ исполненъ идеальныхъ порывовъ, онъ вѣритъ въ

Бога и бессмертіе души, и этотъ строй мыслей спасаетъ его отъ злодѣйства, для котораго у него были всяческіе поводы и возможности. Когда же на него обрушивается приговоръ въ каторгу, онъ не ропщетъ, онъ понимаетъ, что несетъ наказаніе не только за другихъ, но и за свои вины; онъ чувствуетъ въ себѣ поворотъ къ обновленію, къ воскресенію въ себѣ новаго, чистаго человѣка.

Фонъ для этой хаотической картины поставленъ авторомъ самый опредѣленной и свѣтлый, именно—монастырь, олицетворяющій въ себѣ религію, православіе, разрѣшеніе всякихъ вопросовъ и несокрушимую надежду на побѣду истинно-живыхъ началъ. Къ послушнику Алешѣ и теперь всѣ обращаются, ища душевнаго успокоенія и руководства. Въ слѣдующемъ романѣ Алешѣ предстояли, вѣроятно, еще большія волненія и испытанія. Иванъ Карамазовъ, судя по всему, долженъ былъ выйти на дорогу политическаго преступника и совершить какое-нибудь страшное покушеніе (не даромъ *Карамазовъ* такъ похоже на *Каракозовъ*). И все оканчивалось, вѣроятно, побѣдою свѣтлыхъ началъ и ихъ яркимъ откровеніемъ въ лицѣ Алеши.

Въ настоящемъ же романѣ изображена главнымъ образомъ душевная шатость, доходящая до крайнихъ предѣловъ. Какъ-будто авторъ вообще задавался мыслью о такъ называемой *ширинѣ* русской натуры, объ этомъ поразительномъ сочетаніи въ той же душѣ великаго добра съ великимъ зломъ, объ готовности въ одно время и къ подвигу и къ злодѣянію, о равной способности и всѣмъ пожертвовать и все попортить. Въ *Легендѣ объ великомъ инквизиторѣ* нигилизмъ возведенъ на свою высшую точку, до мыслей грандіозныхъ въ своей кощунственности; чувствуется, что этотъ Иванъ Карамазовъ

долженъ повернуть, и если повернетъ, съ такою же силою уйдетъ въ противоположную сторону.

Таковы три самыя крупныя произведенія нашей литературы за послѣднее время. Въ каждомъ изъ нихъ есть по самоубійству, и вообще много отчаянія; каждое изъ нихъ изображаетъ нравственный хаосъ, жестокое колебаніе человѣческой совѣсти; два послѣднія—*Анна Каренина* и *братья Карамазовы*, указываютъ на религію, какъ на выходъ изъ хаоса и отчаянія.

Очевидно, мы переживаемъ нѣкоторый внутренній переломъ, имѣющій, судя по указаннымъ чертамъ, вселичайшую важность и глубину. Безпокойное чувство этого нравственнаго переворота смутно отзывается въ душахъ. Но до сознанія, до настоящаго пониманія далеко; для господствующихъ понятій и вкусовъ, для того, что нынче называются *образованіемъ* и *просвѣщеніемъ*, разумѣніе дѣла трудно, почти недоступно; и *внутреннее племя*, какъ выразился Гоголь, еще не содрогается....

6 янв.

(Русь 1883, январь.).

IX.

ФРАНЦУЗСКАЯ СТАТЬЯ ОБЪ Л. Н. ТОЛСТОМЪ.

Читатели „Руси“, вѣроятно, сохранили особенное впечатленіе отъ *Зимнихъ разсказовъ* г. Вогюэ. (См. „Русь“, 1884 г., №№ 4, 5, 6). Не говоримъ о мастерствѣ разсказа, которое такъ обыкновенно у французовъ; самое пріятное и даже удивительное то, что этотъ иностранецъ относится къ русской жизни не только безъ неприязни, не только съ серіознымъ пониманіемъ, а даже съ явнымъ пристрастіемъ, что онъ умѣетъ сочувствовать очень глубокимъ, доступнымъ только сердечному вниканію, свойствамъ русской натуры. Къ такой искренней ласкѣ мы не привыкли.

Лѣтомъ нынѣшняго года явилась статья Вогюэ объ Л. Н. Толстомъ *), очень замѣчательная въ томъ же отношеніи; авторъ цѣнитъ нашего писателя съ величайшей любовью, съ такимъ пониманіемъ, какого можно пожелать всякому русскому. Онъ готовъ поставить Л. Н. Толстаго наравнѣ съ величайшими писателями всѣхъ временъ; онъ восхищается имъ, вѣрно и тонко оцѣни-

вая его художественныя достоинства. Но кромѣ того, Вогюэ подымается въ своей статьѣ до самыхъ высокихъ и общихъ точекъ зрѣнія; для него Л. Н. Толстой есть лучший показатель не только современнаго искусства, но вмѣстѣ, и потому самому, и русскаго духа, и даже отчасти духа современной Европы. Замѣчанія, сдѣланныя въ этомъ отношеніи въ статьѣ Вогюэ, чрезвычайно заинтересовали насъ, и мы подѣлимся ими съ читателями. Мы увѣрены, что даже простыя выписки изъ этой статьи прочитаются съ живѣйшимъ интересомъ. У насъ рѣдко встрѣчаются сужденія, имѣющія такую широту. Главное дѣло тутъ—чувство того нравственнаго переворота, того колебанія совѣсти, которое слышится теперь и въ Европѣ, и у насъ. Это чувство выражено въ статьѣ очень ясно и сильно; въ то же время, какъ намъ кажется, оно обсуждается съ точекъ зрѣнія не вполне вѣрныхъ, и авторъ какъ будто готовъ искать гдѣ-нибудь спасенія отъ самыхъ благородныхъ и глубокихъ своихъ симпатій.

I.

По общему направленію мыслей, по душевному строю Л. Н. Толстаго, французскій писатель называетъ его *нигилистомъ*. Очевидно, тутъ отчасти виновато происхожденіе этого слова nihil, и въ статьѣ часто повторяется звучное французское слово néant, съ оттѣнкомъ, который трудно передать по-русски. Вотъ главные въ этомъ отношеніи слова статьи:

„Прежде всякаго другаго и больше всякаго другаго, „Толстой есть въ одно время и выразитель, и распространитель того состоянія русской души, которое по-

*) Les écrivains russes contemporains. Le comte Léon Tolstoi. *Revue des deux Mondes*, 15 juill. 1884.

„лучило имя нигилизма. Въ религіозной исповѣди, которую онъ написалъ, романистъ, обратившійся въ богослова, въ пяти строчкахъ даетъ намъ исторію своей души: „Я прожилъ на свѣтѣ пятьдесятъ пять лѣтъ; за исключеніемъ четырнадцати или пятнадцати лѣтъ дѣтства, я тридцать пять лѣтъ прожилъ нигилистомъ, въ прямомъ и настоящемъ значеніи этого слова, — не социалистомъ и революціонеромъ, какъ обыкновенно принимаютъ это слово, но я былъ нигилистомъ въ смыслѣ отсутствія всякой вѣры“. Мы вовсе не нуждались въ этомъ позднемъ признаніи: оно громко вопіяло изъ всѣхъ писаній этого автора, хотя страшное слово въ нихъ ни разу не произнесено. — Тургеневъ распозналъ болѣзнь и изучилъ ее объективно; Толстой страдалъ ею отъ первыхъ дней, не имѣя сначала вполнѣ яснаго сознанія своего состоянія; его пораженная душа высказываетъ на каждой страницѣ тоску, тяготящую надъ всѣми душами его племени. Если всего интереснѣе тѣ книги, которыя вѣрно выражаютъ жизнь извѣстной части человѣчества въ данный моментъ исторіи, то нашъ вѣкъ не произвелъ ничего болѣе интереснаго, чѣмъ сочиненія Толстаго“ (стр. 267, 268).

Тутъ — явное смѣшеніе двухъ разнородныхъ вещей, и нельзя оставить этого смѣшенія безъ разъясненія. То, что Вогюэ называетъ нигилизмомъ, есть ничто иное, какъ полный практическій скептицизмъ, не теорія, а жизнь, не содержащая никакихъ твердыхъ основъ для мысли и дѣятельности, бессознательная духовная пустота. Это вовсе не то, что принято называть нигилизмомъ, не та болѣзнь, которую нѣсколько анализировалъ Тургеневъ и который далъ это названіе. Настоящій нигилистъ есть именно социалистъ и революціонеръ, то есть

человѣкъ увѣренный, знающій что ему дѣлать, нимало не сомнѣвающийся ни въ своихъ познаніяхъ, ни въ правилахъ своей нравственности. Положимъ, нигилизмъ вырастаетъ на почвѣ духовной пустоты; но эта пустота не всегда разрѣшается этимъ узкимъ и скуднымъ исходомъ. Дѣло для насъ чрезвычайно важное. Люди, глубоко страдающіе болѣзнію пустоты, когда сознаютъ ее и переболѣютъ ею, очевидно, имѣютъ возможность подняться до высочайшихъ душевныхъ проявленій, до самаго свѣтлаго пониманія и великой нравственной красоты. Этого нельзя сказать о тѣхъ, кто уже попалъ въ колею давно окрѣпшихъ западныхъ ученій. Тургеневъ не имѣлъ взгляда настолько широкаго, чтобы уразумѣть и оцѣнить все значеніе русской подвижности и глубины, сказывающейся въ душахъ, страдающихъ пустотою, и потому его нигилистъ есть самый обыкновенный нигилистъ, то есть человѣкъ, имѣющій вполнѣ готовый кодексъ и думающій очень мало.

Итакъ, неправильно Л. Н. Толстой назвалъ себя нигилистомъ, и неправильно называетъ его такъ авторъ статьи, придавая этому слову слишкомъ широкій смыслъ. Слѣдующее мѣсто статьи, какъ намъ кажется, очень хорошо поясняетъ этотъ вопросъ.

„Князь Андрей“, рассказываетъ г. Вогюэ, „принять у Сперанскаго; извѣстно, каково было непонятное счастье этого семинариста. — Это былъ какой-то Сіэсъ, чуть было не надѣлившій Россію конституціею и управлявшій нѣкоторое время имперіею во имя чистаго разума, силлогизмовъ доктора каноническаго права“. И Вогюэ приводитъ выписку изъ Л. Н. Толстаго:

„Главная черта ума Сперанскаго, поразившая князя Андрея, была несомнѣнная, непоколебимая вѣра въ силу

„и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти въ голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнѣніе въ томъ, что не вздоръ ли все то, что я думаю, и все то, во что я вѣрю? И этотъ-то особенный складъ ума Сперанскаго всего болѣе привлекъ къ себѣ князя Андрея“. (*Война и Миръ*, т. 3, въ началѣ).

„Вотъ она“, замѣчаетъ сейчасъ Вогюэ, „та черта, по которой вы узнаете нигилиста (*въ князь Андрея*); онъ увертывается и уходитъ въ свою пустоту (*néant*) до потери всякой увѣренности. Последнее замѣчаніе (*Л. Н. Толстаго*) очень вѣрно; оно вполне объясняетъ власть, которую Сперанскій имѣлъ надъ своимъ государемъ и надъ своею страной и, если взять дѣло общѣе, ту силу, которая постоянно подчиняетъ эти нерѣшительные умы западному положительному складу ума“ (*id.* p. 284).

Истолкованіе очень тонкое, сдѣланное французскимъ писателемъ вслѣдствіе яснаго чувства и сознанія разницы, существующей между умами западными и русскими. И тутъ, мы можемъ прямо сказать: именно Андрей Болконскій съ его нерѣшительностію и не похожъ на нигилиста въ точномъ смыслѣ слова; наоборотъ, именно Сперанскій представляетъ складъ ума, свойственный настоящимъ нигилистамъ, ихъ непоколебимую вѣру въ сдѣланные разъ выводы, ихъ опредѣленность въ пониманіи вещей. Достоевскій когда-то ихъ называлъ *прямолинейными умами*, а еще прежде, Аполлонъ Григорьевъ, ради журнальных приличій, далъ имъ имя *теоретиковъ* и подъ этимъ именемъ выводилъ нигилистическія ученія, противъ которыхъ боролся. Припомнимъ кстати, что многихъ изъ главныхъ *теоретиковъ* дало намъ то

самое сословіе, изъ котораго вышелъ Сперанскій. Есть эпоха въ недавней исторіи нашей литературы, которую въ грубыхъ чертахъ можно описать такъ: у насъ долго одни дворяне занимались литературою; поэтому и Пушкинъ когда-то замѣтилъ, говоря о писателяхъ:

Въ Россіи же мы все—дворяне,
Все, кромѣ двухъ или трехъ; за то
Мы ихъ и ставимъ ни во что.

Но вдругъ явились семинаристы, быстро добились главной, руководящей роли, и почти все дворяне-литераторы смиренно покорились и пошли слѣдомъ за этими увѣренными теоретиками.

II.

Несравненно яснѣе характеризуетъ Вогюэ умственное настроеніе и все душевное развитіе Л. Н. Толстаго въ слѣдующемъ мѣстѣ, которое, по его важности, мы приведемъ вполне, не прерывая своими замѣчаніями.

„Въ силу страннаго и часто встрѣчающагося противорѣчія, этотъ возмущенный и колеблющійся умъ, тонущій въ туманѣ нигилизма, одаренъ несравненною зоркостью и проницательностію для научнаго изслѣдованія явлений жизни; онъ ясно, быстро, аналитически видитъ все, что ни бываетъ на землѣ, и наружность и внутренность человѣка; во-первыхъ, реальности доступныя чувствамъ, потомъ—игру страстей, самые летучіе мотивы дѣйствій, самыя легкія смущенія совѣсти. Можно бы сказать: умъ англійскаго химика въ душѣ индійскаго буддиста; пусть кто хочетъ беретъ объяснѣть это удивительное сочетаніе: кто сумѣетъ это сдѣлать, тотъ

„объяснить современную Россію. Толстой ходитъ среди
 „человѣческаго общества съ тою простотою и естествен-
 „ностію, въ которой, повидимому, отказано французскимъ
 „писателямъ; онъ смотритъ, слушаетъ, онъ сохраняетъ
 „въ себѣ образъ и удерживаетъ эхо того, чтò видѣлъ и
 „слышалъ; и это—навсегда, съ такою точностію, которая
 „вынуждаетъ наше громкое подтвержденіе. Не доволь-
 „ствуясь тѣмъ, что собралъ разсѣянные черты обще-
 „ственной фizioноміи, онъ ихъ разлагаетъ на ихъ по-
 „слѣдніе элементы съ какимъ-то утонченнымъ ожесточе-
 „ніемъ; вѣчно занятый вопросомъ, какъ и почему со-
 „вершается данный поступокъ, онъ за видимымъ дѣй-
 „ствіемъ преслѣдуетъ начальную мысль, онъ не выпу-
 „скаетъ ея изъ виду, пока не обнажитъ ея, извлеки
 „ее изъ сердца съ самыми сокровенными и тонкими ея
 „корнями. Къ несчастію, его любопытство на этомъ не
 „останавливается. Эти явленія представляютъ ему очень
 „твердую почву, когда онъ изучаетъ ихъ въ отдѣльности,
 „но онъ хочетъ узнать ихъ общія связи, хочетъ под-
 „няться до законовъ, управляющихъ этими связями, до
 „недостижимыхъ причинъ. Тутъ его отчетливое зрѣніе
 „отуманивается; безстрашный изслѣдователь теряетъ
 „опору и падаетъ въ бездну философскихъ противорѣчій;
 „въ себѣ и вокругъ себя онъ чувствуетъ только пустоту
 „и мракъ; лица, которыя онъ заставляетъ говорить, пред-
 „лагаютъ жалкія метафизическія объясненія; и вдругъ,
 „раздраженные этими школьными глупостями, они сами
 „уходятъ изъ-подъ своихъ истолкованій“.

„По мѣрѣ того, какъ онъ подвигается въ своемъ писаніи
 „и въ своей жизни, все больше и больше колеблемый сомнѣ-
 „ніемъ обо всемъ, Толстой расточаетъ свою холодную
 „проницательность на созданія своего воображенія, усиливающіяся

„вѣрить въ какую-нибудь послѣдовательную систему и
 „выполнять ее на дѣлѣ; но, подъ этимъ внѣшнимъ холодомъ
 „слышится рыданіе сердца, алчущаго вѣчныхъ предме-
 „товъ. Наконецъ, утомясь сомнѣніемъ и исканіемъ, убѣ-
 „дясь, что всѣ исчисленія разума приводятъ только къ
 „позорной несостоятельности, попавъ подъ чары мисти-
 „цизма, который уже давно сторожилъ его безпокойную
 „душу, нигилистъ вдругъ повергается къ ногамъ Бога,—
 „какого Бога, мы сейчасъ увидимъ. Я долженъ буду го-
 „ворить въ концѣ этого этюда о странномъ фазисѣ, ко-
 „торый приняла мысль этого писателя; надѣюсь сдѣлать
 „это со всею сдержанностію, какая слѣдуетъ живому,
 „со всѣмъ уваженіемъ, какое слѣдуетъ искреннему убѣж-
 „денію. Я не знаю ничего болѣе занимательнаго, какъ
 „нынѣшнія заявленія г. Толстаго о томъ, чтò творится
 „въ глубинѣ его души; это цѣлый кризисъ, которому под-
 „вергается теперь русская душа, кризисъ, являющійся въ
 „ракурсѣ, въ полномъ освѣщеніи, на высотѣ. Этотъ
 „мыслитель есть законченный типъ, вліятельный вождь
 „множества умовъ; онъ пробуетъ высказать то, чтò
 „смутно чувствуютъ эти умы“ (ib. p. 268—269).

Тутъ, какъ видятъ читатели, вопросъ о складѣ ума
 и направленіи мыслей Л. Н. Толстаго берется во всей
 ширинѣ. Французскій критикъ чрезъ-вычайно вѣрно за-
 мѣчаетъ, что это направленіе составляетъ главный нервъ
 всѣхъ произведеній Толстаго, что оно находится въ тѣс-
 ной связи съ самыми приемами его творчества. Далѣе,
 что это — направленіе глубокое, захватывающее самые
 важные интересы человѣческой жизни. Наконецъ, что
 отсюда же объясняется и тотъ послѣдній поворотъ мы-
 сли Толстаго, который такъ удивилъ и удивляетъ мно-
 гихъ. Тутъ утверждается и сязь писателя съ человѣ-

комъ, и единство всего, что писано Толстымъ отъ начала до послѣдней строчки. Почему же этотъ процессъ, такой правильный и такой важный, процессъ, приведшій великаго художника къ Богу, почему онъ не встрѣчаетъ полнаго сочувствія со стороны французскаго критика? Это сомнѣнiе, это исканiе—что можетъ быть естественнѣе? Не тѣмъ ли и поражаетъ насъ Толстой, что величайшая пытливость и серіозность чувствуется во всемъ, что онъ ни изображаетъ? — Эти *рыданія алчущаго сердца*, которыя подслушалъ критикъ въ картинахъ, написанныхъ съ такой несравненной яркостью и точностію, ужели это не законное явленіе человѣческой души, не лучшій ея откликъ на все, что она испытываетъ въ жизни? И наконецъ, порывъ къ Богу есть, безъ сомнѣнiя, единый правильный исходъ изъ всей борьбы.

Между тѣмъ, критикъ, такъ вѣрно установившій общую формулу развитія Толстаго, такъ ясно видящій связь между фазисами этого развитія, вполне признаетъ, и хотѣлъ бы удержать для себя, только одно художество нашего писателя. Пружину, двигавшую этимъ художествомъ, ту думу, которая его воодушевляла, она называетъ *нигилизмомъ*, а исходъ изъ всѣхъ сомнѣній и исканій — *мистицизмомъ*, — два слова, очевидно, имѣющія для критика значеніе порицанія, хотя бы и не такого страшнаго, какъ для многихъ. Такъ называемый *нигилизмъ* и такъ называемый *мистицизмъ* Толстаго критикъ отвергаетъ, какъ нѣкоторую болѣзнь, или уродливость. Онъ хотѣлъ бы, какъ и многое множество читателей, чтобы Толстой ограничился однимъ творчествомъ.

Невозможное и странное требованіе! Глубокая и серіозная мысль разлита во всѣхъ произведеніяхъ Тол-

стаго, и выдѣлить ее изъ нихъ, выдернуть изъ нихъ этотъ стержень невозможно. Не ясно ли, что эта страшная чуткость, эта небывалая ясность изображенія связаны съ упорнымъ исканіемъ правды и не могутъ помириться ни на чемъ половинчатомъ, не могутъ быть обмануты никакою видимостію? Такого художника могла удовлетворить только истинная жизнь, только вѣчная правда; онъ всегда стремился къ ней, всегда ее одну имѣлъ въ виду.

Когда онъ замолкъ и разнеслись слухи, что онъ не хочетъ болѣе писать романовъ, всѣ принялись сокрушаться о томъ, что будутъ впередъ лишены такого великаго удовольствія. Но удовольствія онъ, кажется, достаточно принесть читателямъ и имѣетъ уже нѣкоторое право негодовать на нихъ за то, что они продолжаютъ требовать отъ него забавы, но остались совершенно чужды его задушевнымъ стремленіямъ, нисколько не приняли той мысли, которая составляетъ душу его произведеній. Если бы они вникали въ эту мысль, можетъ быть, они поняли бы, что для человѣка бываютъ дѣла и занятія, которыя выше художества, что прежде всего нужно найти такое дѣло и дѣлать его, а уже потомъ думать или не думать о художествѣ.

III.

Французскій критикъ очень ясно видитъ цѣльность всѣхъ писаній Толстаго. Онъ дѣлаетъ подробный разборъ „Войны и мира“ и „Анна Карениной“, съ торжествомъ выставляетъ на видъ ихъ художественныя достоинства и показываетъ, что основная мысль въ томъ и другомъ произведеніи одинакова.

Главными выразителями этой мысли онъ справедливо считаетъ Левина и Пьера, называя ихъ *нигилистами* въ томъ неправильномъ смыслѣ, который онъ придаетъ этому слову. Свой рассказъ о Пьерѣ онъ оканчиваетъ такъ: „Тотъ же Пьеръ олицетворяетъ чувства „русского народа въ 1812 г., національное возстаніе противъ чужеземца, мрачное безуміе, которое овладѣло „побѣжденною Москвою и изъ котораго вышелъ этотъ „навсегда необъяснимый пожаръ, зажженный неизвѣстно „чьими руками. Это безуміе—составляетъ высшую точку „книги: непроницаемый образъ дѣйствій Растопчина, „Вѣрещагинъ, отданный на жертву толпѣ, сумасшедшіе „и преступники, выпущенные на волю, входъ французъ въ Кремль, таинственное пламя, поднявшееся „ночью, и то, какъ его видятъ и толкуютъ о немъ длинные ряды бѣглецовъ, покрывающіе собою дороги, все „это—картины, поражающія трагическимъ величіемъ, написанныя чертами простыми и красками трезвыми. Про „себя, въ глубинѣ души, а думаю, что ничего выше „этого я не знаю ни въ какой литературѣ“.

„Графъ Пьеръ остался въ городѣ, пожираемомъ „пламенемъ; онъ, какъ въ галлюцинаціи, оставляетъ свой „дворецъ и въ крестьянскомъ платьѣ смѣшивается съ „чернью; онъ бродитъ безъ цѣли, съ смутною мыслью „убить Наполеона, быть мученикомъ, искупительною „жертвой своего народа“.

„Два одинаково-сильныя чувства (говоритъ Толстой) неотразимо привлекали Пьера къ его намѣренію. Первое было чувство потребности жертвы и страданія при сознаніи общаго несчастья, то чувство, вслѣдствіе котораго онъ 25-го поѣхалъ въ Можайскъ и заѣхалъ въ самый пылъ сраженія, теперь убѣжалъ изъ

„своего дома и, вмѣсто привычной роскоши и удобствъ „жизни, спалъ не раздѣваясь на жесткомъ диванѣ и „ѣлъ одну пищу съ Герасимомъ; другое было то неопредѣленное, исключительно-русское чувство презрѣнія ко всему условному, чтѣ считается большинствомъ „людей высшимъ благомъ міра. Въ первый разъ Пьеръ „испыталъ это странное и обаятельное чувство въ Слободскомъ дворцѣ, когда онъ вдругъ почувствовалъ, что „и богатство, и власть, и жизнь, все то, чтѣ съ такимъ „стараніемъ устраиваютъ и берегутъ люди, все это, ежели и стоитъ чего-нибудь, то только по тому наслажденію, съ которымъ все это можно бросить“ („Война и миръ“, т. 5, стр. 123).

„И вотъ“, говоритъ г. Вогюэ, „идутъ страницы за „страницами, гдѣ авторъ развиваетъ эту мысль, подмѣченную нами уже въ первыхъ изліяніяхъ его юности, „этотъ гимнъ нирванѣ, который не иначе поется на „Цейлонѣ, или въ Тибетѣ. Нужно прямо сказать, Пьеръ „Безуховъ есть старшій братъ тѣхъ богатыхъ и ученыхъ людей, которые нѣкогда *пойдутъ въ народъ*, станутъ по доброй волѣ раздѣлять его страданія, понесутъ динамитную бомбу подъ своимъ кафтаномъ, какъ „Пьеръ несетъ кинжалъ,—движимые двоякой потребностью: принять участіе въ общемъ страданіи и наслаждаться уничтоженіемъ другихъ и самихъ себя“.

„Безуховъ, ставши плѣнникомъ французовъ, встрѣчаетъ между товарищами своего несчастья бѣднаго солдата, крестьянина съ душою темною, едва мыслящую, „Платона Каратаева. Этотъ человѣкъ переноситъ бѣдствія этихъ страшныхъ дней съ смиреніемъ и самоотреченіемъ (*l'humble résignation*) вьючнаго животнаго, онъ „смотритъ на графа Пьера съ доброю невинною улыб-

„кою, обращаясь къ нему съ нѣсколькими наивными
„словами, съ народными пословицами мало опредѣлен-
„наго смысла, проникнутыми отреченіемъ, братствомъ,
„особенно же фатализмомъ; разъ вечеромъ, когда онъ
„не въ силахъ идти далѣе, конвой его разстрѣливаетъ
„подъ сосной, среди снѣга, и онъ принимаетъ эту смерть
„съ тѣмъ же самымъ безразличнымъ воспріятіемъ вся-
„каго рода вещей, какъ больная собака,—да, скажемъ
„прямо, какъ безсловесное животное (*la brute*). Съ этой
„встрѣчи начинается возрожденіе Пьера. Тутъ я уже не
„берусь ничего растолковать моимъ соотечественникамъ;
„я говорю то, что есть. Безуховъ, знатный, цивилизо-
„ванный, ученый, идетъ въ ученики къ этому перво-
„бытному созданію, онъ нашелъ наконецъ для себя
„идеалъ жизни, раціональное объясненіе міра въ этомъ
„нищемъ духомъ. Онъ хранитъ память и имя Кара-
„таева какъ талисманъ; съ того времени, ему стоитъ
„лишь подумать о смиренномъ мужикѣ (*shoujik*), чтобы
„почувствовать себя успокоеннымъ, счастливымъ, распо-
„ложеннымъ понимать и любить все, что создано. Ум-
„ственное развитіе нашего философа закончено, онъ до-
„стигъ до высшаго *аватара*, до мистическаго безразли-
„чія“ (стр. 285—286).

Эта страница—самая поучительная въ статьѣ; она
всего лучше показываетъ и глубокое пониманіе смысла
„Войны и мира“, и ту границу, на которой останавли-
вается это пониманіе. Нѣсколько далѣе, критикъ
пытается, однако, уменьшить свое изумленіе и недоумѣніе
примѣрами изъ исторіи. „Не правда-ли“, говоритъ онъ,
„вы узнаете здѣсь ходъ мысли и вѣковое помѣшатель-
„ство восточнаго аскетизма, культъ іоги, неподвижнаго
„факира, созерцающаго свой пупокъ? Мы не далеко отъ

„него съ добрымъ Каратаевымъ, который „медленно ра-
„зувался,—... отдѣляя отъ себя при всякомъ движеніи
„крѣпкій запахъ пота и, получше усѣвшись, обнялъ
„свои поднятыя колѣни и прямо уставился на Пьера“ *).
„Западъ не всегда былъ застрахованъ отъ этой болѣзни;
„и онъ тоже, въ блужданіяхъ аскетизма, восхвалялъ
„скота (*la brute*) и искажалъ божественную притчу о
„нищихъ духомъ. Но истинное отечество этого зарази-
„тельного отреченія—Азія; мать его—Индія и ея уче-
„нія; эти ученія воскресаютъ, съ очень малыми видоиз-
„мѣненіями, въ томъ неистовствѣ, которое увлекаетъ
„часть Россіи въ это умственное и нравственное отре-
„ченіе, иногда тупое по своему квіетизму, иногда вы-
„сокое по своей преданности, какъ евангеліе Будды.
„Все связано между собою“ (стр. 287).

Итакъ, все это—болѣзнь, по мнѣнію критика; весь
смыслъ „Войны и мира“ заключается въ нѣкоторомъ
извращеніи души, столь жестокомъ, что его даже не
могутъ понять люди наслаждающіеся душевнымъ здо-
ровьемъ. Это извращеніе, съ одной стороны, примыкаетъ
къ безумнымъ анархистамъ, съ другой къ бессмыслен-
нымъ факирамъ. Впрочемъ, эти крайніе образчики, ови-п
димому, еще нѣсколько понятны для критика; самое уди-
вительное, самое непостижимое для него, это—Платонъ
Каратаевъ. Каратаевъ, очевидно, не факиръ, и не анар-
хистъ; по опредѣленію критика, онъ просто—*la brute*,
скотъ, безсловесное животное. А между тѣмъ, онъ-то
составляетъ для Пьера (а потому и для Толстаго) при-

*) Въ этой выдержкѣ изъ описанія, какъ разувался Каратаевъ, есть
явная ошибка: слова *медленно* (*lentement*) вовсе нѣтъ въ подлинникѣ;
и напротивъ сказано, что „онъ разувался аккуратно, круглыми, спорыми
безъ замедленія слѣдовавшими одно за другимъ движеніями“ (стр. 228).

мѣръ человѣческаго достоинства, образецъ душевной красоты!

Тутъ—граница пониманія умнаго и глубоко просвѣщеннаго иностраннаго писателя, и тутъ же—разрѣшеніе всего узла. Дѣлая очень правильныя сближенія съ разными историческими явленіями, критикъ забылъ объ одномъ, которое казалось бы всего ближе,—о христіанствѣ. Платонъ Каратаевъ мы знаемъ, что такое,—это крестьянинъ, т. е. христіанинъ. Не стародавнее помѣшательство Азіи, не Индія со своимъ буддизмомъ, а именно христіанство сдѣлало Каратаева „олицетвореніемъ духа простоты и правды“, какъ выразился о своемъ героѣ Толстой (т. 5, стр. 236). Казалось бы, съ этой стороны дѣло должно быть для насъ и всего понятнѣе. Между тѣмъ, критикъ только вскользь упоминаетъ о европейскихъ *блужданіяхъ аскетизма*, но и не думаетъ останавливаться на существенномъ и истинномъ духѣ христіанства. Онъ съ отвращеніемъ смотритъ на фигуру Каратаева, нарисованную съ ясностью и глубиной. Это отвращеніе уже само по себѣ противно христіанскимъ чувствамъ, и очевидно,—оно вытекаетъ изъ двухъ причинъ: во-первыхъ, изъ аристократической гордости просвѣщеніемъ, и во-вторыхъ, изъ совершеннаго незнанія того, въ чемъ заключается истинный духъ христіанской религіи. Во Христѣ всѣ равны, и послѣдніе станутъ первыми—вотъ что непонятно для насъ, просвѣщенныхъ людей, воображающихъ, что просвѣщеніе подняло насъ на новую ступень человѣческаго достоинства. Въ дѣйствительности, наше просвѣщеніе только отвело насъ въ сторону отъ главнаго пути; мы выработали себѣ какое-то новое язычество, при которомъ раздѣленіе между людьми свободно разрослось и при-

няло тысячу разнообразныхъ формъ, и мы почти вовсе забыли сущность той религіи, которая нѣкогда была источникомъ всей нашей духовной жизни. Ничего не можетъ быть поразительнѣе и поучительнѣе того презрѣнія, съ которымъ просвѣщенные люди смотрятъ на Каратаева, и ни въ чемъ недостатки нашего просвѣщенія не выражаются такъ ясно, какъ въ томъ полномъ забвеніи христіанства, которое обнаруживается въ писаніяхъ даже корифеевъ современной мысли, положимъ, напримѣръ, Ренана или Тэна. Индійская религіозность, этотъ недавній предметъ европейскаго любопытства, для насъ какъ будто понятнѣе и занимательнѣе, чѣмъ ученіе Христа *).

Но въ русскомъ простомъ народѣ это ученіе сохранилось, вошло въ плоть и кровь, и составляетъ единственное руководящее правило нравственности. Эти души оправдали изреченіе Тертулліана: большею частью онѣ „по природѣ христіанки“, и среди глубокой тьмы, въ которой часто живутъ, легко находятъ свѣтъ и вступаютъ на истинный путь. Для нашего крестьянина, мужикъ и Царь—вполнѣ равны предъ Богомъ, то есть равны въ

*) Невольно вспоминаются стихи Тютчева къ „Краю русскаго народа“ (который онъ называетъ: „край родной долготерпѣнья“), оканчивающіеся такими строками:

Не пойметъ и не замѣтитъ
Гордый взоръ иноплемennyй,
Что сквозитъ и тайно свѣтитъ
Въ наготѣ твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный
Исходилъ благословляя.

(Примѣчаніе И. С. Аксакова).

самомъ главномъ и высшемъ отношеніи. Эта высшая свобода и это высшее равенство неизменно сохраняются въ душахъ, несмотря на все, что противорѣчитъ имъ во внѣшнемъ порядкѣ и ходѣ дѣлъ, тогда какъ онѣ, очевидно, изгладились до конца въ умахъ той страны, которая такъ часто провозглашала себя страной *свободы, равенства и братства*.

Въ русскомъ художникѣ, выведенномъ на сцену Каратаева, очевидно, сказалось христіанское чувство, проникающее собою весь русскій народъ, безсознательно живущее и въ тѣхъ классахъ, которые пытаются идти по другимъ путямъ. Симпатія, которою Л. Н. Толстой окружилъ Каратаева, и значеніе, которое далъ ему въ своей эпопее, ясно доказываютъ, что поворотъ художника къ религіознымъ мыслямъ, обнаружившійся въ послѣднее время, не былъ внезапною вспышкою, не совершился случайно, подъ какимъ-нибудь внѣшнимъ воздѣйствіемъ, а есть только настроеніе, которое жило въ немъ всегда и все яснѣе и яснѣе раскрывалось въ его произведеніяхъ.

IV.

Приведемъ теперь главное мѣсто, гдѣ критикъ характеризуетъ и обсуждаетъ тѣ заявленія религіозности, которыя въ послѣднее время сдѣланы были авторомъ „Войны и мира“.

„Толстой“, говоритъ критикъ, „поетъ радостный гимнъ и утверждаетъ тономъ несомнѣнной искренности, что онъ нашелъ наконецъ покой души, цѣль жизни, твердыню вѣры. И онъ зоветъ насъ за собою. Очень опасаясь, что закоренѣлые скептики Запада, упорные противъ дѣятельной благодати, вовсе откажутся всту-

„пять въ обсужденіе новой религіи. Они напрасно будутъ искать въ ней оригинальной мысли; они увидятъ въ ней только первый лепетъ раціонализма, старую мечту о миллениумѣ, преданіе постоянно возобновлявшееся съ начала среднихъ вѣковъ — у вальденцевъ, доктардовъ, анабаптистовъ. Счастливая Россія — для нея еще новы эти прекрасныя фантазіи! Одно только должно удивить Западъ — то, что такія ученія оказались подъ перомъ великаго писателя, несравненнаго наблюдателя челоѣческаго сердца“ (стр. 299).

Вотъ первое возраженіе противъ религіозныхъ мыслей Толстого. Оно основано на томъ, что это уже старыя мысли, давно знакомыя и ясно напоминающія такое древнее для насъ время, какъ средніе вѣка.

Если бы мы не были способны, вслѣдствіе привычки, совершенно равнодушно слышать современные предразсудки, то такое возраженіе должно бы было чрезвычайно удивить насъ. Почему же старыя мысли непременно мысли слабыя, невѣрныя? Почему Западъ такъ пораженъ, встрѣчая ихъ *подъ перомъ великаго писателя*? Не правильнѣе ли думать наоборотъ, что именно старыя мысли бываютъ очень хороши, что даже наилучшія мысли — вѣчныя, всегдашнія, неизмѣнно возникающія въ челоѣческой душѣ? Въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ о христіанскихъ мысляхъ, которыя уже двѣ тысячи лѣтъ назадъ проповѣданы и живутъ среди насъ. А если держаться положенія Тертуліана, что душа челоѣческая по природѣ христіанка, то въ той или другой формѣ мы найдемъ сѣмя и слѣдъ этихъ мыслей въ другихъ религіяхъ, а особенно ясно во всѣхъ лучшихъ представителяхъ нравственной природы челоѣка, не только среднихвѣковыхъ, но и дохристіанскихъ. Чему же ди-

виться, что именно подобными мыслями былъ возбужденъ и увлеченъ Л. Н. Толстой?

Исторія нерѣдко сбиваетъ насъ съ пути въ нашихъ сужденіяхъ. Мы не умѣемъ разсмотрѣть новаго, потому что старое своими привычными образами заслоняетъ намъ новизну. Въмѣсто того, чтобы судить о томъ, есть ли жизнь и истина въ мысляхъ, которыя намъ проповѣдуютъ, мы пускаемся въ сближенія, мы говоримъ: это похоже на мысли Платона, или Лейбница, или Спинозы, и потомъ уже ничего отличить не можетъ. Мы совершенно отвыкаемъ судить *по существу дѣла* и вполнѣ довольствуемся одною своею эрудиціею.

Такъ и здѣсь. Въмѣсто того, чтобы въ новомъ появленіи давнишняго стремленія увидѣть жизненность и силу этого элемента человѣческой души, вмѣсто того, чтобы съ жадностью слѣдить за новымъ раскрытіемъ этого элемента, мы напередъ рѣшаемся ничего не видѣть, кромѣ того, чтѣ давно уже знаемъ. Еще хуже: мы не знаемъ и не хотимъ хорошенько знать этого стараго, но напередъ вѣримъ, что оно навсегда пережито человѣчествомъ, навсегда уже мертво, а потому и самое живое современное явленіе признаемъ по аналогіи мертворожденнымъ. Мы становимся равнодушными и невнимательными къ жизни.

Французскій критикъ замѣтилъ, однако, что есть что-то особенное, своеобразное въ настроеніи, которое онъ подвергаетъ своему анализу. Свое опредѣленіе онъ оканчиваетъ слѣдующими замѣчаніями:

„Впрочемъ, эти ученія принимаютъ у славянъ особенный характеръ, или по крайней мѣрѣ этотъ характеръ всего явственнѣе у этого племени. Подъ совокупнымъ вліяніемъ древняго арійскаго духа въ народѣ и ученій

„Шопенгауэра въ образованныхъ классахъ, въ Россіи „предъ нашими глазами происходитъ настоящее воскресе-
„сеніе буддизма; — иначе я не могу назвать этихъ стрем-
„леній. Передъ нами здѣсь опять древнее индійское про-
„творѣчіе между нигилизмомъ, или пантеистическою
„метафизикою, и чрезвычайно высокою нравственностью.
„Этотъ духъ буддизма, въ своихъ отчаянныхъ уси-
„ліяхъ—расширить еще далѣе евангельское милосердіе,
„напиталъ русскую литературу беззавѣтною нѣжностью
„къ природѣ, къ самымъ низменнымъ созданіямъ, къ
„страждущимъ и обездоленнымъ; онъ подсказываетъ
„отреченіе отъ разума предъ скотомъ и внушаетъ беско-
„нечное сердечное соболѣзнованіе. Эта братская простота
„и безпредѣльная нѣжность придаетъ русской литературѣ
„нѣчто чрезвычайно трогательное“ (стр. 299, 300).

Итакъ, братская простота, безпредѣльное состраданіе, беззавѣтная нѣжность къ людямъ и къ природѣ—все это—Шопенгауэръ, индійскій буддизмъ, духъ арійскаго племени, но никакъ не христіанство. Почему же нѣтъ? Для самого Толстаго всего важнѣе, всего драгоцѣннѣе то, чтобы согласовать свои мысли съ ученіемъ Христа, вполнѣ проникнуться этимъ ученіемъ. Таково по крайней мѣрѣ его стремленіе. Но мы не хотимъ этому вѣрить. Наши понятія о христіанствѣ такъ сузились, что мы не опознаемъ его, когда оно является намъ не вполнѣ въ привычныхъ формахъ, что мы не умѣемъ представить себѣ, какъ оно можетъ превышать всякій буддійскій и обще-арійскій духъ, не потому, что отрицаемъ ихъ безусловно, а потому, что объемлетъ ихъ собою и доводитъ до настоящей полноты и опредѣленности. Мы обращаемъ вниманіе на частности, на мелочныя различія и изъ-за нихъ упускаемъ изъ виду самое су-

щественное, потому что давно потеряли чутье къ этому существенному, давно забыли корень того дѣла, о которомъ судимъ.

V.

Критикъ подъ конецъ выставляетъ еще одно важное и рѣшительное возраженіе противъ мыслей Толстаго и вообще противъ русской литературы. Оно состоитъ въ слѣдующемъ:

„Сначала“, говоритъ онъ, „насъ трогаетъ и очаровываетъ эта широкая симпатія. Къ несчастію, я начинаю вспоминать и размышлять; я вспоминаю, что у насъ, у французовъ, тоже былъ свой вѣкъ чувствительности и простонародности: за двадцать лѣтъ до 93 года, всѣ любили всѣхъ, мы возвращались къ полямъ, дѣлались вновь простыми, проливали слезы надъ земледѣльцемъ,—пока онъ не сталъ проливать кровь. Почти математическій законъ историческихъ колебаній таковъ, что за этими изліянiami слѣдуютъ страшныя реакціи, что жалость ожесточается и чувствительность обращается въ неистовство. *Di avertant omen!*“ (стр. 300).

Опять мы находимъ здѣсь сближеніе съ историческимъ явленіемъ, сбивающее нашу мысль на давно знакомую колею. Настроеніе русской литературы здѣсь приравнивается къ той идиличности и сентиментальности, которая господствовала передъ Французскою Революціею. Между тѣмъ, такое приравниваніе совершенно несправедливо, если современный духъ русской литературы имѣетъ болѣе глубокий источникъ, если онъ шире простого мечты о счастіи на лонѣ природы, о новомъ золотомъ вѣкѣ, если мы находимъ въ этомъ духѣ воздѣй-

ствіе религіозной идеи, вѣковѣчныя стремленія Азии, а главное—воздѣйствіе христіанства.

Исторія есть, конечно, разсказъ о постоянныхъ неудачахъ человѣчества, о постоянномъ разрушеніи самыхъ свѣтлыхъ и благородныхъ надеждъ. И Европа такъ напугана своею исторіею, что уже боится во что-нибудь вѣрить; она готова, поэтому, отрицать и самые источники жизни и вѣры.

VI.

Приведемъ наконецъ общее заключеніе критика, въ которомъ онъ не только подводитъ итогъ сказаннаго имъ о русской литературѣ, но и обращается къ себѣ, къ современному настроенію Европы.

„Изъ моего этюда я желаю вывести только одно заключеніе, въ которомъ мы, французы, прямо заинтересованы. Въ умѣ превосходнаго писателя и слѣдовательно въ болѣе смутномъ сознаніи читателей, слѣдующихъ за нимъ и его подталкивающихъ, мы прошли чрезъ четыре точки роковой линіи: чрезъ пантеизмъ, нигилизмъ, пессимизмъ, мистицизмъ. Русскіе, быстрые во всякомъ дѣлѣ, однимъ скачкомъ дошли до послѣдняго предѣла. Да и мы, французы, какъ мы уйдемъ отъ нигилизма, отъ этихъ столь мало французскихъ явленій, которыя въ послѣднія пятнадцать лѣтъ завладѣли нашею литературою и бросаются въ глаза самыхъ неопытныхъ зрителей? Еще болѣе, чѣмъ природа, духъ человѣческій боится пустоты; онъ не можетъ долго держаться въ равновѣсіи на небытіи. Не кончимъ ли мы скептицизмомъ? Можно думать, что нашъ національный характеръ предохранитъ насъ отъ этого; поз-

„волительно надѣяться, что нѣкоторая религіозная идея, „какъ необходимый предѣлъ прогрессіи, явится и утѣшитъ эти молодые таланты, съ такою горечью отрицающіе и страдающіе, или же воздвигнетъ новые таланты, если эти потерпятъ крушеніе.

„Мистицизмъ! Мы говорили, что графъ Толстой, „хорошо чувствуя, гдѣ опасность, энергически защищаетъ отъ этого слова, которое, по его мнѣнію, не „приложимо къ человѣку, признающему царство небесное на землѣ. Нашъ языкъ не представляетъ мнѣ другаго термина для этого случая. Знаменитый писатель, „котораго я не имѣю чести лично знать, благоволилъ „простить меня“ (стр. 301).

Итакъ, мистицизма еще нѣтъ во Франціи, тогда какъ русскіе, *быстрые во всякомъ дѣлѣ*, уже дошли до него. Мистицизмъ—такое печальное и жалкое явленіе, что критикъ извиняется предъ Толстымъ въ употребленіи этого термина, но настаиваетъ на томъ, что, однако же, это—точный терминъ для характеристики направленія Толстого. Поэтому же, хотя Франція движется по той же *роковой линіи*, критикъ надѣется для нея лучшаго, не позорнаго мистицизма, а чего-нибудь заслуживающаго имени настоящей *религіозной идеи*.

Вопросы—важные выше всякой мѣры! Мы ищемъ религіи, Европа ея ищетъ; мы чувствуемъ эту глубочайшую потребность и ждемъ, что откуда-то придетъ восполненіе этого мучащаго насъ недостатка, что оно должно когда-нибудь прійти, что такъ жить, какъ мы теперь живемъ, нельзя. Говоря образно, но совершенно опредѣленно, это можно выразить такъ: мы ищемъ Бога и не находимъ Его; Богъ отъ насъ скрылся, и мы въ тоскѣ ждемъ, когда Онъ вновь намъ откроется.

Но какъ же это возможно? Какъ могло возникнуть такое невѣроятное состояніе? Мы называемъ что-то религіею и увѣряемъ, что мы ея не можемъ найти, несмотря на всѣ исканія, и что кто-то долженъ открыть намъ путь къ ней. Но развѣ вокругъ насъ уже не существуетъ никакой религіи? Развѣ намъ неизвѣстны великія формы религіознаго стремленія, которыми жили и живутъ сотни милліоновъ людей? Но мы, искатели религіи, ничего этого не хотимъ; мы не хотимъ ни пантеизма, ни буддизма, ни христіанства, ни мистицизма. Мы жаждемъ того, чего и сами не знаемъ, вопреки правилу: *ignoti nulla cupido*. Очевидно, состояніе нашихъ умовъ гораздо хуже, чѣмъ мы его выставляемъ. У насъ въ головѣ *винтъ свернулся* и нейдетъ впередъ, а вертится на мѣстѣ (выраженіе Л. Н. Толстаго).

Не Богъ скрылся отъ насъ, а мы упорно отворачиваемся отъ Бога. Если бы не это упорство, то мы легко нашли бы Его, потому что Онъ вездѣ и всегда. И если бы мы сколько-нибудь знали путь къ Богу, то для насъ открылась-бы великая поучительность во всѣхъ религіозныхъ формахъ, въ которыя человѣчество облекало и облекаетъ свое вѣковѣчное стремленіе. Тогда и мистицизмъ, лучшій цвѣтъ этого стремленія, не пугалъ бы насъ, и можетъ быть мы согласились бы съ давнишнимъ положеніемъ, что *всякій истинный христіанинъ есть мистикъ* (иногда безсознательный), хотя бы мы при этомъ и отвергали обратное положеніе, по которому *и всякій мистикъ (сознательный) есть истинный христіанинъ* *).

*) Эти формулы часто повторяются у Лабзина.

VII.

Такъ встрѣтила Европа вѣсть о религіозныхъ стремленіяхъ, овладѣвшихъ Толстымъ. А какъ были встрѣчены эти вѣсти у насъ? Французскій критикъ, какъ мы видѣли, толкуетъ о Шопенгауэрѣ, о буддизмѣ, о религіозныхъ движеніяхъ среднихъ вѣковъ, о душевныхъ особенностяхъ русскаго народа, даже о *древнемъ аріискѣмъ духѣ*. Онъ глубоко заинтересованъ и не столько судить о предметѣ, сколько задумывается надъ нимъ и отказывается судить. У насъ дѣло было проще. Религіозными вопросами у насъ почти никто не занимается. Трудно указать у насъ даже маленькій слой людей, которые интересовались бы вопросами подобными тѣмъ, какіе затрогиваетъ г. Вогюэ; напрасно онъ думаетъ, на примѣръ, что Шопенгауэръ имѣетъ у насъ много поклонниковъ. Въ отношеніи къ религіи наши просвѣщенные люди раздѣляются на два ясныхъ класса. Одни не занимаются религіею потому, что считаютъ ее позорнымъ и не стоящимъ вниманія заблужденіемъ людей; другіе, напротивъ, считаютъ религіозные вопросы дѣломъ святымъ, но, въ силу этого самаго, признаютъ себя совершенно недостойными столь высокаго дѣла, и потому тоже имъ не занимаются. Изученіе и уразумѣніе религіи предоставлено особому классу людей, получающихъ за то приличное, а часто и неприлично малое вознагражденіе. Такъ что, когда прошли слухи, что Толстой читаетъ и объясняетъ Евангеліе, даже пишетъ на него толкованіе, то поднялось великое изумленіе. „Да онъ съ ума сошелъ!“ — сказали вольнодумцы: „развѣ можетъ здравомыслящій человѣкъ заниматься этими давно отжившими предразсудками?“ „Да онъ съ ума сошелъ!“ стали го-

ворить вѣрующіе: „развѣ онъ можетъ, какъ слѣдуетъ, понимать Евангеліе? Для этого нужно быть архіереемъ и кончить курсъ въ духовной академіи!“ Такъ и пошло ходить это сужденіе въ „обществѣ“, и до сихъ поръ можно неожиданно услышать пріятный вопросъ: „не знаете ли, какъ *теперь* здоровье Толстаго?“ — вопросъ, обыкновенно предлагаемый людьми дѣйствительно здоровыми, такъ какъ они не обременяютъ себя никакимъ мышленіемъ, а только повторяютъ тѣ слова, какія придется услышать.

Между тѣмъ, если взять дѣлъ серьезно, то обращенію Толстаго къ Евангелію слѣдовало бы очень радоваться и видѣть въ немъ самое здоровое душевное явленіе. Если бы онъ даже впалъ въ ересь, то это было бы все же въ тысячу разъ лучше, чѣмъ то мертвенное равнодушіе и отчужденіе, съ которымъ мы относимся къ религіи. Какимъ образомъ будутъ у насъ раскрываться истины религіи и развиваться богословскія занятія, если все общество отшатнется отъ нихъ навсегда? Если бы писанія Толстаго имѣли смыслъ только одного возбужденія и толчка къ дѣятельности въ этой области, то и тогда слѣдовало бы только имъ радоваться.

Дѣло въ томъ, что напрасно мы будемъ ссылаться на архіереевъ и на духовныя академіи. По тѣмъ или другимъ причинамъ, наше духовное сословіе преимущественно занималось до сихъ поръ практическою стороною христіанства. Мы можемъ указать на хорошихъ проповѣдниковъ, и у насъ существуетъ проповѣдническая литература. Но богословской литературы у насъ почти нѣтъ. Сошлемся на недавнія заявленія г. Н. Гилярова-Платонова, конечно, вполне авторитетнаго судьи въ этомъ дѣлѣ.

„Православной богословской науки“, говоритъ онъ, „вообще не начиналось еще; все, чтѣ имѣемъ мы, про-

„должаетъ быть компиляціей съ западныхъ богослововъ,
 „у однихъ болѣе удачною, у другихъ менѣе, но компи-
 „ляціей,—не далѣе. Въ самое послѣднее время явив-
 „шіяся диссертациі магистровъ и докторовъ богословія—
 „тѣ же компиляціи, хотя и высматривающія съ высока,
 „съ цитатами изъ первоисточниковъ. Знакомый съ за-
 „падною литературой, однако, легко открываетъ, что уче-
 „ныя изысканія авторовъ идутъ не далѣе вторыхъ рукъ
 „и во всякомъ случаѣ черезъ нихъ“ *).

Не грустно ли, что въ такомъ положеніи находится умственная жизнь страны, въ которой народъ проникнутъ христіанскимъ духомъ больше, чѣмъ въ какой-нибудь другой? Ибо не даромъ французскому писателю, съумѣвшему такъ сочувственно отнестись къ душевному настроенію нашего народа, вспоминается и средневѣковой аскетизмъ, и индійскій буддизмъ, и обще-арійскій духъ—всякія формы сильнѣйшей религіозности. Религія есть дѣйствительно душа нашего народа, и *святой чело-вѣкъ*—его высшій идеалъ.

Въ этой глубокой народной жизни наша сила и наше спасеніе. Мы должны всячески стремиться при-мкнуть къ ней и сердцемъ, и умомъ, привести ее себѣ къ сознанію, проникнуться ею, цѣнить и беречь ее во всѣхъ ея проявленіяхъ. Л. Н. Толстой несомнѣнно одинъ изъ ея прямыхъ выразителей и представителей, и потому, какъ бы его дѣятельность ни представлялась намъ неясною, одностороннею и даже ошибочною, она должна быть для насъ въ высшей степени важна и поучительна.

6 дек. 1884.

(Русь. 1885, № 2).

К О Н Е Ц Ъ .

*) Изъ *прожитаго*. Н. Гилярова-Платонова. „Русск. Вѣстн.“ 1884. іюль, стр. 225.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ СТРАХОВ

КРИТИЧЕСКІЕ СТАТЬИ
 О И. С. ТУРГЕНЕВѢ И Л. Н. ТОЛСТОМЪ

Репринтное издание

Вступительная статья Г. В. Мосалева

Дизайн обложки, подготовка макета А. Н. Вахрушева

Издание подготовлено на кафедре
 теории литературы и истории русской литературы

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 2, каб. 226.

Тел.: (3412) 916-154, e-mail: ktlitff@gmail.com.

Кафедра теории литературы и истории русской литературы
Удмуртского государственного университета
предлагает следующие издания:

Духовная традиция в русской литературе

Сборник научных статей
Ижевск, 2009. — 524 с.

Сборник научных статей подготовлен на основе материалов Международной научной конференции «Духовная традиция в русской литературе» (Ижевск, 13-15 ноября 2008 года). Издание посвящено изучению отечественной словесности в ее культурно-генетической связи с православной духовностью, что обусловлено возрождением интереса к отечественным традициям и ценностям в научной гуманитарной сфере.

Возвращенная критика XIX века. Антология

Ижевск, 2009. — 356 с.

В антологию включены тексты выдающихся критиков II половины XIX века: А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, К.С., И.С. Аксаковых, С.П. Шевырева, А.А. Григорьева, А.В. Дружинина, Н.Н. Страхова, К.Н. Леонтьева. Их критическое наследие было в советскую эпоху или полностью исключено, или истолковано сквозь призму позитивизма и политически ангажированных идеологов. Вместе с тем их работы не утратили ни актуальности проблематики (национальные истоки и начала русской литературы, жажда идеала, поиск истины, соотношение искусства и нравственности), ни совершенства стиля и речи.

Теория Традиции: Христианство и русская словесность

Коллективная монография
Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009. — 354 с.

В монографию вошли работы ученых, осмысляющих отечественную словесность в свете «христианской традиции». В ней рассматриваются вопросы методологии, теории и истории, а также стереотипы и идеологемы позитивистской (марксистской, революционно-демократической, советской) парадигмы с целью возвращения в академическую науку пластов знания, вытесненных на периферию по идеологическим причинам.